

МАРИНА СТРУКОВА



ГЕНОКОД

В осаждённой стране, где пока не едят друг друга,
а иллюзию мира обеспечивает реклама,
где в кармане твоём рука государства-друга
и прогресс освящает холёный слугитель храма,
где националисты готовы раздать всю землю
и страну ужать до параметров огорода,
только чистой кровью гибели не приемлю,
уповая на мощь безупречного генокода.

У Руси в генокоде тысяча битв,
тысяча битв за тысячу лет,
их не выбить ритмом чужих молитв,
это не изменят статьи газет,
и простая речь, и пустая страсть —
мы же помним долгий великий путь.
У Руси в генокоде былая власть,
но без силы злость потеряла суть.

И однажды, соратник, задумаемся: а надо
здесь искать свободу — словно в стогу иголку?
Отвечать за всех — словно псу отвечать за стадо,
а оно привыкло жертвовать лучших — волку.
А оно привыкло волю менять на водку.

СТРУКОВА Марина Васильевна родом из Тамбовской области. Окончила Высшие литературные курсы. Член Союза писателей России с 1996 года. В нашем журнале печатается с 1992 года. Живёт и работает в Москве.

Единицам — правда, массам — вождя покрепче.
И тюремный психолог спросит через решётку:
— Вы про генокод? А вам от этого легче?

У Руси в генокоде тысячи слов,
тысячи слов за тысячу лет,
чаще ложь, а мы этой лжи улов...
— Вновь из рук вырывают плоды побед,
и живут за нас, и попробуй — тронь,
легче выйти вон — в небо белый трап.
У Руси в генокоде живой огонь,
но пригрелись около враг и раб.

ПРИГЛАШЕНИЕ В ЕВРОПУ

Прилетел “юнкерс” пригласить Россию в Европу
бомбами по составу, идущему на Москву.
Что ещё нужно русскому — варвару и холопу,
ордынцу, дегенерату, большевику?

Нам несут свободу, цивилизацию,
истинное просвещение,
протестантское крещение,
некоторым — стерилизацию.

У вагонов девочка лежит во рву,
видит окровавленную траву,
поднимает голову: на крыльях — кресты.
Земля вздрагивает от взрывов на три версты.

Нам несут бизнес, гуманизацию,
Кавказу — освобождение,
славянам — возрождение,
глобальную приватизацию...

...Мёртвого лётчика скручивают в небе стропы.
Девочка вырастет, состарится. На её веку
возможны натовцы с приглашением в Европу
русскому неудачнику, нищоброду, совку.

ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ

Танков гремучая тьма.
Доты — парадом планет.
Немцы сходили с ума.
Русские — нет.
Снег под кровавой корой,
в небе — лучистый просвет.
Немцы стрелялись порой.
Русские — нет.

Немцы сдавались потом,
немцы сломались потом,
немцы платили потом,
наши топтали потом
флаг со священным крестом...

Ваня, чему же ты рад?
Новым надеждам благим?
Русским достался парад,
Прибыль — другим.
Кремль и бесчестен, и лют,
трижды изменится гимн.
Русским достался салют,
воля — другим...

Жалко не прежних идей —
Горько за белых людей.

ТОРГОВЦЫ ОРУЖИЕМ

Мир враждою меняется,
болью, страхом, удушием.
Наша роль не теряется,
мы — торговцы оружием.

В страны не обречённые,
как в другие вселенные,
разбежались учёные.
Но остались — военные.

Строй история сдвинула,
каждый миф — переменная,
вся промышленность сгнула.
Но осталась — военная.

Рейте чаще, валькирии,
над чужими широтами.
Для Ирана и Сирии
БМП с вертолётками,

автоматы с зенитками.
Не продать только удали.
Мы свинцовыми нитками
эти земли опутали.

Будут выстрелы точные,
будут вести тревожные.
Войны ближневосточные —
наши рынки надёжные.

И в эфире истерики
на досуге послушаем,
как подручных Америки
гробят русским оружием.

РЕВОЛЮЦИЯ ОДИНОЧЕК

Расстановка последних точек
в русской летописи сейчас.
Революция одиночек.
Я не верю в рассудок масс —

в студень, залитый мутным пивом,
где один электрод на всех
зажигает словцом красивым,
возбуждает счастливый смех.

Ведь важнейшее из умений —
не чужой транспарант держать:
без метаний и без сомнений
за себя самого решать.

Кто с трибун языком не мелет,
кто на выборы не зовёт,
если надо, быстрее пристрелит,
если надо, смелей взорвёт.

Расстановка последних точек
в русской летописи сейчас.
Революция одиночек.
Отдыхай, креативный класс.

Ложью “левых” и страхом “правых”
множьте перечень неудач,
рассмеётся из грёз кровавых
русский Брейвик — святой палач.

* * *

На гражданскую опоздал
и Второй мировой не знал,
только мужества и не сдал,
место подвига — криминал.

Вам газетчики без затей
наштампуют пустых статей,
расшифруют, за что сидит
офицер, а теперь — бандит.

Только всё, что ты знаешь — ложь.
Я же был, как забытый нож,
как отброшенный автомат:
кто найдёт — я не виноват.

Офицер, а теперь — бандит...
Там, где правилен путь планет,
я у Дона в бою убит
так давно, что меня здесь нет.

* * *

Прячь с долларами конверт,
для выкупа — некомплект,
Россия требует жертв,
как всякий большой проект,
как слишком широкий жест,
способный случайно сбить,
как облачный в небе крест,
который не подрубить.

Ступай на Калинов мост,
где вечно стоит дракон,
Россия — прекрасный монстр —
безжалостна испокон.
Рождённые под ножом,
взращённые для атак,
мы Родину бережём
за славу, за смерть, за так.

* * *

Россия, Россия, ты мой потолок
и стены казённой избушки,
где каменным блоком становится Блок
и Пушкин — названием пушки.

Зато здесь и Солнце, и Месяц, и грош,
и пряник, и кнут, и причастье.
Наш космос привычен и этим хорош,
знакомое зло вроде счастья.

Пусть голос Хозяина грозно звучит
и лучший наряд — это латы,
а ежели кто-то в окно постучит,
то это всегда супостаты.

Терпеть притеснения — возвышенный рок,
расти над другими — неместно,
но я головой подниму потолок
и выйду... и выпаду в бездну.

СМЕРТЬ ПОЭТА

— Домой везите, — он сказал.
— Ты дома, — был ответ.
А всё же виделся вокзал,
где тот и этот свет
пересекались под углом
и разбегались врозь,
как на разъезде рельс излом
с изломом вкривь и вкось;
вокзал, где шёл за рядом ряд
вон из себя народ
слова, что на табло горят,
читать наоборот,
в купе до призрачных застав
дремать на облаках,
пока летит на дно состав
в пылающих венках.

ИРЛАНДСКАЯ СКАЗКА

С войны в изрубленной броне
он ехал на чужом коне,
и видит в паутине тьмы
хрустальные холмы.

Оттуда вышла дева сна,
как лилия, мила,
и чашу, полную вина,
герою подала.
“Отбрось тяжёлое копье,
пусти в луга коня,
зайди на миг”. А миг её —
три сотни лет, три дня.
И сколько времени прошло,
он не заметил, но
всё чаще хмурилось чело,
и губы жгло вино.
Он молвил ласковой жене
однажды поутру:
“Я вспомнил о родной земле:
а всё ли там к добру?”
“Ну, что ж, езжай в юдоль тщеты,
но слушайся меня
и на родную землю ты
не смей ступить с коня”.
Хлестнул он плетью скакуна,
спеша, как из тюрьмы,
исчезли в пропасти без дна
хрустальные холмы.
“Я близко к сердцу не приму,
души не распахну,
не улыбнусь, не обниму,
на всё рукой махну”.
И вот уже края близки,
где был он на посту.
Несут навстречу старики
могильную плиту,
чернеет яма на лугу,
и слышен плач вдали.
С коня он спрыгнул: помогу.
И чует зов земли.
Распался прахом в пустоте.
А на могильной той плите
лишь имя славное его.
И больше ничего.

* * *

Мне бабушка говорила таинственно и напевно:
— В гражданскую это было, пришла к нам в село царевна.
Держалась она достойно, в одежде простой, из ситца,
твердила: осилим войны. Просила за Русь молиться.
В рассказанном лжи не вижу: какое же самозванство —
не в Лондоне, не в Париже — в Рязани учить крестьянство,
скитаться в года лихие, казаться мечтой о чуде.
Укрыли леса глухие, не выдали добры люди
ни власти, ни волчьей пасти. И так она кочевала,
ни крошечки не просила, ни грошика не искала.
Обитатели, сёла, тропы, дороги о край Европы.
Гражданская. Глушь. Россия.
Царевна Анастасия.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ХЛЕБ

От алтаря имперских треб
восходит горький дым.
В моих руках — железный хлеб,
врагов встречаю им.

Он закалён, как воля воль,
победы проводник.
Клубится каменная соль
на свастичный рушник.

Возьмёте? Непомерный груз
не спрятать по торбам,
а отхватить дерзнёте кус —
вовек не по зубам!

* * *

Московский текст — размашисто-широк,
а петербургский — сдержанно-возвышен.
В Москве — бунтарь и воин лучше слышен,
а в Питере — философ и пророк.

Но есть единство чувств и веры ось,
традиция жива народной славой.
Надейся на искусство, лжец двуглавый,
покуда от Кремля не отреклось!

И если Бог не выдаст, чёрт — не съест,
вновь на земле с имперской русской пробой
уравновесят Азию с Европой
московский текст и питерский подтекст.

ГЕННАДИЙ ТРОХИН



ПРЕДАТЕЛЬСТВО

РАССКАЗ

Свёл меня с ней младший лейтенант Миша Кожич. Узнал он, что в одном доме хозяева готовы взять на постой одного или двух квартирантов, но только холостых.

Хозяйка — крепенькая ещё старушка с широко расставленными голубенькими глазками, в которых, казалось, навсегда поселилась хитринка, согласилась сразу. Показала просторную комнату с двумя высоченными, какого-то нерусского типа окнами. Цену заломила... сначала двадцать рублей. Я, было, запротестовал, но она сразу же согласилась, как будто ждала этого, на пятнадцать. Комната мне понравилась, и я отправился за вещами.

Бабка Нюра — так звали мою хозяйку — жила одна. Правда, в Минске жила её дочь с внуком, но навещали они её редко. За год, что я прожил здесь, видел их всего два раза: в Новый год да как-то осенью. Дочь была высокой, стройной. Даже можно было бы назвать её красавицей, если бы не эти тонкие, вечно опущенные в уголках губы, придававшие ей выражение капризное и высокомерное. Пышные белокурые волосы, собранные на затылке в большой кувшинообразный узел, открывали бледную, в золотистых завитках шею с родинкой возле правого уха. “Мама, вы неправильно реже-

ТРОХИН Геннадий Александрович родился в 1943 году в г. Новокузнецке Кемеровской области. Окончил строительный факультет Сибирского металлургического института им. С. Орджоникидзе. Два года служил офицером в армии. Работал на стройке, в проектном институте. Рассказы и повести публиковались в журналах “Слово”, “Смена”, “Наша улица”, “Аврора”, “Невский альманах”, “Сибирские огни”, “День и ночь”, “Огни Кузбасса”, “Чудеса и приключения” и других. Живёт в Новокузнецке.

те картофель. Ну, зачем так крупно? — поучала она мать, как мышь, суетившуюся у плиты. — Мама, куда дели мой халат, который я вам подарила на день рождения? Он так был вам к лицу”. Она работала в школе и всегда, когда разговаривала с матерью или сыном, голос у неё был громкий, с хорошо поставленной дикцией, как на уроке. Но однажды установившееся, как я думал, навсегда, мнение моё о хозяйкиной дочери поколебалось.

Осенью, уже на втором году службы, я всю ночь был в поездке. Командир отпустил меня отсыпаться, приказав в 15-00 явиться на службу. День выдался погожий. Я шёл по тихой, заросшей акацией улице, неся в себе усталость и сладкую радость предстоящего отдыха. В калитке неожиданно столкнулся с бабкиным внуком, который выводил старенький “Диамант”. Поспешно поздоровавшись, мальчишка заюлил по дороге, с трудом перебрасывая через седло ногу.

Она стирала бельё недалеко от крыльца. Тонкие, в белой пене, руки замерли на стиральной доске, на которой я увидел свою майку в синюю полоску! Щёки её моментально покрылись таким нежным румянцем, что я невольно залюбовался ею. А когда она, стремительно повернувшись, взбежала на крыльцо, я какое-то мгновение стоял, как истукан, замороженный её сильными бёдрами, стянутыми стареньким цветастым платком.

“Сколько же ей?.. — вздыхал я, ворочаясь в прохладной постели. — Наверное, тридцать или чуть больше? Разведённая”. Бабка Нюра однажды проговорила, что дочь ещё девчонкой выскочила замуж, не спросив у неё, за артиста областного театра, а он таким гулеваном оказался...

Сны мне снились греховные. Будто иду я по яблоневому саду в одних трусах, а впереди, словно маня меня в таинственную глубину его, мелькает между деревьями женщина. Волосы живым золотом струятся по её телу, и я явственно ощущаю их волнующий аромат. Во рту пересыхает от желания зарыться в них лицом, отчего я бегу за ней, бегу...

Когда я проснулся, её уже в доме не было — уехала в Минск. И только лёгкий аромат духов напомнил мне о моём сне и о хозяйкиной дочери.

Гордостью этого дома был сад. Посаженный ещё до войны на расчищенном от мусора пустыре, он разросся и был, пожалуй, единственной доходной частью хозяйкиного бюджета (пенсия была крошечной у бывшей кастилянши городской бани). Осенью бабка Нюра ездила продавать яблоки в Минск, в Барановичи. Несколько мешков со скидкой в цене сдавала в воинскую часть, в ресторан. Но и на местном рынке не залеживались её яблоки — крупные, с глянцевиной восковой поверхностью да с таким ароматом... Что там говорить! Слава о Нюрином *золотом наливке* дошла даже до нашего полка. Жёны офицеров покупали яблоки только у бабки Нюры — товар проверенный и надёжный. А что до солдат... Одной стороной сад примыкал к воинской части. Кирпичный забор в два метра высотой и заболоченная пустошь за ним не были помехой для любителей полакомиться чужими яблоками. Но бабка Нюра оказалась старушкой упорной, с пробивным характером. Командование полка это поняло сразу, немедленно приняв соответствующие меры: забор обтянули сверху колочей проволокой. А замполит на занятиях по политической подготовке как-то упомянул, что старшина танкового батальона Ян Иванович Кавецкий героически погиб, защищая наш город, в далёком сорок первом. До войны при танковом батальоне были развёрнуты ремонтные мастерские — старшиной там и служил её муж.

Ещё знаменит был этот дом своими наливками и настойками. Наливки бабка Нюра делала на свекольном перваче — чистой и крепкой, как зверь, самогонке. А настойки у неё получались светлыми, как слеза, пенистыми, когда откроешь плотно забитую пробку, с неповторимым ароматом чуточку залежавшихся яблок. Ну, а что до домашнего сала от её кабанчика, копчёного по-деревенски, с дымком, да и просто солёного — это надо пробовать самому: просто так не опишешь. Всё умела бабка Нюра, а вот соседи почему-то недолюбливали её. За что? Не знаю.

Из живности у неё были кабанчик Борька, дворовый пёс Жучок — злая-презлая, в вечных репьях, чёрная лохматая страшила, да кошка Машка. И всё!

Кроме меня, у бабки Нюры жила ещё одна квартирантка — угрюмая пожилая женщина, работавшая уборщицей в каком-то магазине. Выходила она из своей комнаты, расположенной сразу за кухней, редко. Поздоровается и спрячет глаза под брови. Нелюдимая была. Сын её, вечно пьяный сорокалетний мужчина, проводывал мать редко. Недолгоблывала его бабка Нюра — называла сыном колбасника, непутёвым. Да и с его матерью не больно-то была ласкова — частенько переругивались они за стенкой. Какая-то скрытая угроза (так мне казалось) затаилась в маленьких глазках молчаливой квартирантки. Меня всегда удивляло: почему не откажет ей? Человек она в таких делах решительный, к тому же довольно бесцеремонный.

Вставала бабка Нюра с рассветом. Нешуточное это дело — обработать такой сад. Переваливаясь на толстеньких ножках, суетилась до темноты. Попробовал я однажды помочь ей, а главное — поглядеть захотелось на её знаменитые яблоки, но хозяйка посмурнела сразу лицом и нашла какие-то отговорки. Если бы не лето — яблоки висели зелёные, неаппетитные, — подумал бы: ну, и жадина же ты, бабуся.

Весной у бабки Нюры хлопот — невпроворот. Надо землю вскопать, навоз раскидать, грядки сделать, посадить, деревья к лету подготовить. Руки уже не те: до всего не доходят. А тут ещё погреб просел. Доски завезены, творило готово — сосед за бутылку наливки сколотил, и попросила меня бабка Нюра солдатиков ей в помощь дать. На выходной. “А я уж накормлю их досыта, напою... Компотом, компотом”, — быстро спохватилась бабка Нюра, встретив мой недовольный взгляд.

Переговорил я со старшиной роты и после завтрака, а было это 9 Мая, привёл четырёх солдат. Парни истосковались по домашней жизни, да тут ещё хозяйка пообещала накормить их настоящим борщом, на второе — жареной картошкой со свиными шкварками. С погребом уже заканчивали, когда рядовой Виноградов поманил меня в глубину сада. Я пошёл за ним. В самой дальней, заброшенной его части, под большой, с двумя уродливо изогнутыми стволами яблоней он указал на холмик. Поперёк него лежал деревянный крестик, а по бокам торчали из земли три обгоревшие восковые свечи. Земля на холмике была не слежавшейся, как после зимы, а взрыхлённой, чёрной. Виноградов вопросительно посмотрел на меня.

— Не спрашивай её. Я сам... — попросил я солдата, когда шли обратно.

Бабка Нюра принимала работу. С одного бока пришлось ещё подбросить земли, а с другого — подправить, да и сверху насыпано неровно. Нас она встретила настороженно, изучающим, долгим взглядом впилась в мои глаза. Приняв погреб, плотно притворила калитку, ведущую в сад, намотала ещё для пущей надёжности проволоки.

Бабка Нюра немного перестаралась: угостила солдат яблочной настойкой. Когда, отяжелевшие от домашнего обеда, они ушли, я отчитал её за это. “В День Победы можно, лейтенант. Помаленьку ведь”, — оправдывалась бабка Нюра, убирая со стола. А потом возьми да и спроси:

— Чего это вы в сад ходили?

...Бабка Нюра долго сидела, отрешённо глядя в угол кухни. Хитринки в её голубеньких глазках растаяли, как снежинки, и стали они беспомощными и пригорюнившимися, как у вконец уставшей от одиночества и воспоминаний старой женщины. А тут ещё в проёме перегородки появилось хмурое лицо квартирантки. Бабка Нюра в сердцах запустила в неё тряпкой и тоненько, пронзительно закричала: “Уйди, злыдня! Сколько будешь кровушку мою пить? Сгинь! Сгинь с глаз моих! Кикимора сушёная!”

Чего-чего, но такого я от моей хозяйки не ожидал. Когда мы снова остались одни, бабка Нюра спустилась в подпол, достала своей знаменитой наливки на свекольном самогоне.

— Значит, видел ты её... — полуутвердительно заключила она, когда мы вышли по стопке густой, золотистой, как вечерний закат, наливки.

Бабка Нюра слегка порозовела. Морщинки на её круглом, как яблоко, лице разгладились. И, махнув на всё, на всё на свете своей маленькой, с растопыренными пальцами, ладошкой, она неожиданно рассказала мне эту историю — историю своего предательства. Рассказала на одном дыхании, слов-

но скинула разом с плеч тяжёлый груз, непосильной ношей давивший на неё все эти послевоенные, годы.

— Только отстроились, — начала она свой рассказ, — война! Этот дом сложил из сосновых брусьев сам Янек. Работящий был у меня мужик. С тридцать девятого с ним, как встала ихняя часть в нашем райцентре. В сороковом Светочка родилась. Перед тем как прийти немцам, колонна наших отремонтированных танков ночью ушла из города. С ними и мой муж. Толком так и не попрощались. С тех пор — ни слуху, ни духу о нём. А потом... — Она осенила себя крестом и, отпив полстопочки, продолжила: — Потом и случилось это...

Немцы появились утром. А в обед забегает ко мне солдатик. Без гимнастёрки, пилотку где-то потерял, на ногах обмотки, одна рука выше локтя забинтована. “Тётя! — кричит. — Спрячь меня!” А я во дворе со Светочкой была. Только его в сарай, за дрова, отвела — немцы! С ними этот... колбасник, пан Туроль. Как потом я проведала, видел он, как солдатик ко мне заскочил.

Немцы что-то лопочут по-своему и кивают пану Туролью: переведи, мол. Я-то знаю: по-ихнему он ни бельмеса не понимает. А он напыжился, как петух, и говорит мне: “Покажи-ка, Анна, куда ты краснопузого спрятала?” Я похолодела вся, но вида не показываю. Прикинулась дурочкой: мол, не ведаю, о чём ты спрашиваешь. Немцы загалдели: видать, догадались по моим глазам, что я ответила. А один, самый молодой, рыжий, бросил автомат на землю и ко мне подходит. Что-то говорит да руками такое мне показывает, что стыдно стало. И на землю показывает: ложись, давай. А потом в Светочку ткнул пальцем и губами пухкает, а сам на автомат головой кивает. Обомлела я. А когда он мундир стал растёгивать, схватила Светочку, прижала к себе. Думала: не посмеет. Посмел ведь. При всех... Даже Светочки не постеснялся. Остальные гогочут. Под конец Светочку к забору поставил и автоматом в неё целится. Всё у меня внутри оборвалось. Всё стерпела бы, но Светочку, кровинушку нашу с Янеком, не отдам! Показываю глазами на сарай. Поняли они сразу. А пан Туроль: “Эх, Анна, не надо было тебе доводить до этого”. И ухмыляется в усы свои тараканьи.

Когда солдатика нашего из сарая выволокли, по моему виду он всё, наверное, понял, что со мной произошло. О, Господи! Царствие ему небесное. Изрешетили всего беднящего. Прямо на моих глазах умер с поленом в руках. А на прощание один так меня приложил прикладом по голове, что не помнила, сколько пролежала без памяти. — Она наклонила голову и, убрав со лба седенькую прядь, показала мне синеватый шрам. — Когда пришла в себя, оттащила солдатика в сарай. А ночью похоронила его в саду, под яблоней. Видел ты это место. О-о-о, Господи!

— Кто ещё про это знает? — прервал я горестные восклицания бабки Нюры.

— Никто. Кроме пана Туроля и его жены — никто. Пана Туроля в конце войны наши повесили, — добавила бабка Нюра.

— А жена?

— Жена его? У меня живёт. Кикимора проклятая! Как освободилась, сюда приехала. Уж который год терплю её. За комнату не платит. Деньги в долг требует, а не отдаёт. И даю ведь кикиморе этой: боюсь, что выдаст меня. Так и несусь этот крест. А ты расскажешь? — вдруг с запоздалым раскаянием в голосе спросила меня бабка Нюра. — Ох-х! Лейтенант, — уронив на стол голову, заплакала бабка Нюра, — открыться бы мне! Поди, родные у него живы ещё?

— Как теперь узнаешь? — вздохнул я.

— А... и узнаешь! Когда в ту зиму дрова в сарае брала, нашла солдатскую книжку его. Спрятанная в поленице лежала. Сейчас у меня хранится, в укромном месте. Показать? Мне теперь всё равно. А хоть и посадят! И-и-и...

— Не посадят! — стал успокаивать я вконец зарёванную бабку Нюру. — Не посадят! Ясно вам! Родные его ещё спасибо вам скажут, что могилу сохранили.

— Правда, лейтенант?.. — сложив крестом на груди руки, снова заревела бабка Нюра.

В военкомате работал наш бывший офицер. Выслушав меня, оставил у себя солдатскую книжку. Только одного я не сказал тому офицеру... Да и зачем ему об этом знать? Теперь — это наша с бабкой Нюрой тайна.

Долго искали в Красноярском крае родных того солдата. Пролетел месяц, другой. Тот офицер при встрече хмуро отвечал: “Запрос послали. Ждите”. Я уже и в отпуск съездил, в далёкий Новокузнецк. А запрос, отпечатанный на казённом бланке районного военкомата города Несвижа, всё гулял где-то по северному краю. Может, и нет сейчас уже этого посёлка?

В тот день я задержался на службе. Улица пахла поздними яблоками и соленьями: шла заготовка к зиме. А зима в Белоруссии такая же ранняя, как в моей далекой Сибири. “Стоп! Кто это?” У калитки, как мне показалось, чем-то встревоженная, стояла бабка Нюра.

— Ой! Лейтенант, что будет? Что будет-то? — запричитала она. — Объявились его родные: мать и две сестры. Грозятся приехать на той неделе.

— Откуда такие вести?

— Да офицер из военкомата приходил. Вот письмо, — она в полной растерянности показала мне конверт.

— Куда я их посело? А кормить?

Нюра опять стала бабкой Нюрой. Гости-то гостями, а семейный бюджет её не должен от этого страдать.

— Не на месяц же? — успокоил я её.

— Ты думаешь? — неуверенно переспросила меня бабка Нюра.

Пошла вторая неделя, а подтверждения того, что они приезжают, так не поступило. “И не приедут ведь...” — вздыхала бабка Нюра. Она уже и водки прикупила, разных деликатесов, повкусней каких. А остальное у неё всё своё: огурчики солёные и маринованные, помидорчики с капустой, сало домашнее, компоты, а про наливку с настойкой нечего и говорить. А уж рыбка копчённая — пальчики оближешь! — сосед уважил, рыбинспектор на загородных прудах. Всё припасла бабка Нюра, а их всё нет и нет. А может... Не любят русские люди, особенно из провинции, докучать хозяевам. Так оно и вышло...

Тихо и незаметно в прохладный субботний день (бабка Нюра только принялась солить капусту) к калитке ограды её дома подошли три скромно одетые женщины. С деревенским загаром, продубившим простые, грубоватые лица, все, как одна, сероглазые; у самой пожилой из них глаза были только совсем-совсем светлые, будто выцвели на солнце, даже зрачков не видеть. В тот день я на службу не пошёл: ангина припекла.

— Кавецкие тут живут? — вместо приветствия спросила та, что была помоложе.

Увидел я их, когда они ещё только искали калитку. Натягивая на ходу китель, ринулся сломя голову к выходу. А от стола уже, уточкой переваливаясь на полных ножках, в стареньком фартуке, устремилась к ним бабка Нюра. У старшей вывалились из рук сумки. Она, как слепая, сделала два шага вперёд. И вот, задыхаясь от рыданий, они замерли в объятиях, словно слились воедино друг с другом.

— Ой! Да что это я? — спохватилась вдруг бабка Нюра. — Ой, ой! Совсем свихнулась. Проходите в дом. Утомились в дороге-то.

Старшая замотала головой, и я услышал её тихий, испепеляющий душу, шёпот:

— Где?..

Я занёс в дом вещи и поспешил за ними в сад. Когда я догнал их, они уже были там. Старшая, как была в синем плаще и в чёрном платке на голове, так и рухнула на этот холмик. Дочери хотели поднять её, но она словно окаменела, вцепившись скрюченными пальцами в пожухлую землю.

— Оставьте уж её... — прошептала бабка Нюра. — Пусть побудет с ним. А мы пока отойдём, не будем им мешать.

Не мог я в тот день находиться с ними: какой-то жгучий ком подкатывался к горлу, начинали гореть щёки. Когда я выходил из калитки, навстре-

чу мне попался тот офицер, из военкомата, а с ним военком, знаменитый партизанский комбриг, с огромным букетом роз.

— Где они?.. — не отвечая на моё приветствие, спросил полковник.

— Там... — махнул я рукой в сторону сада.

— Лейтенант! Что у тебя с глазами? — донеслось мне вдогонку, но я уже был далеко. Я шёл, как пьяный, почти ничего не видя перед собой.

— Девочки! — услышал я откуда-то сбоку. — Гляньте-ка: офицер плачет!

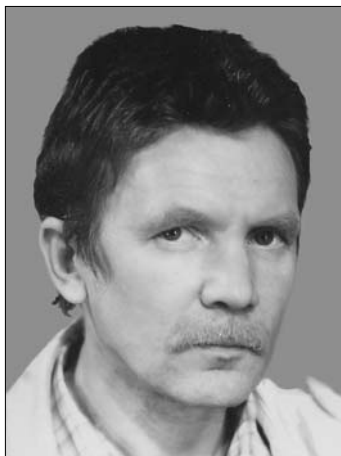
— Ой! Мамочка! И правда...

Я дотронулся до щеки — она была мокрой.

Сколько лет минуло с той поры! Но в День Победы, когда у тестя поднимаем ставший уже ритуальным стакан простой русской водки, перед глазами всегда почему-то встаёт тот холмик в яблоневом саду и три обгоревшие восковые свечи. И ещё... две постаревшие женщины: одна круглолицая, с широко расставленными голубенькими глазками, обнимает другую, с почерневшим от горя лицом.

А звали того солдата Иван. Збруев! Иван!

ВЛАДИМИР УРУСОВ



КОМУ-ТО НАДО ВОЕВАТЬ...

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

Синевой из небесных окраин
расплескался пустынный туман:
— Не убит я, а только лишь ранен, —
разметался во сне капитан.

И поймала ночная радистка
зашифрованный в сердце сигнал,
и осколок от лунного диска
покатился за тот перевал!

Гром растаял, и эхо вернулось,
и ведёт от любви до любви
лабиринты Владимирских улиц
в белый храм Покрова на Нерли.

Боль чужая на карте не стёрта —
просто помнит молитву свою,
и не видит девятая рота
Золотые ворота в раю...

УРУСОВ Владимир Глебович родился в 1947 году в Калининградской области. Окончил Московский горный институт, работал геофизиком на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Автор пяти сборников стихотворений, в том числе "Три любви — три степени свободы", "Всплеск живой воды", "Медленный ветер". Член Союза писателей. Живет в Москве.

БЕЗЫМЯННОЕ КОЛЬЦО

Гаснут звёзды в час заката,
и уходят в облака
оловянные солдаты
неизвестного полка.

Льдом блестят стальные шлемы,
и трёхгранные штыки
мечут молнии и громы
из глубин живой реки.

Тьма сползается по следу
на семи ночных ветрах.
И опять крадёт победу
вороньё в своих тылах!

Лишь молчат за тенью дыма
дом, рябина и крыльцо —
почему неуязвимо
безымянное кольцо...

ОКОПНЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ

Опять окопный лейтенант
встаёт из тьмы времён
искать потерянный отряд
без званий и имён.

Пусть на погонах грозных звёзд
ещё не видит мир,
путь его прям, долг его прост
и снова чист мундир.

Напрасно кухонная рать
на картах давит вшей.
Кому-то надо воевать,
глотаю дым траншей!

Кольцом сжимаются огни,
и шепчет бездна рва:
— Мы в чёрном поле не одни,
и за спиной — Москва...

И если след наш был забыт,
и сон в холмах глубок —
костров сигнальный лабиринт
найдёт окопный Бог!

СТАЯ

Мы идём, как в поле бродят волки,
затаив дыханье, след во след,
и змеятся звёздные осколки
вдоль по бегу тёмных наших лет.

И веками двигаясь навстречу,
вырастают в небе города,
и блистают норы человечьи
золотыми выбросами льда.

И никто не ждёт нас за холмами,
не зовёт никто нас — и одно
мимо сердца катится в тумане
колдовское лунное пятно.

Только Бог не видит дым бродячий,
и огонь любви его угас...
Лишь бы не истлел в душе собачьей
изумрудный ветер волчьих глаз!

ВОСТОЧНАЯ МЕЛОДИЯ

Погоняй коней, возница,
правь на замок из песка,
желтоглазая волчица
нас уводит в облака,
снег по следу серебрится
и летит сквозь сон теней
бег коней моих, коней моих, коней...

В час, когда плывут туманы
и труба играет сбор,
рассыпаются тюльпаны
на хребтах верблюжьих гор.
Гаснут чёрные поляны
там, где вдаль закат унёс
шум берёз твоих, берёз твоих, берёз.

Глубина пробитой фляги
дышит огненной волной,
вьются рыцарские флаги
над пустыней ледяной —
ищут вечные бродяги
золотую соль земли,
боль любви одной, любви одной, любви.

И качается над бездной,
на цепи небесных вёрст,
тянет душу мост железный
за кольцом колючих звёзд.
Не молитвой и не песней
славит ветер и зарю
тьма в раю своём, в раю своём, в раю!

День придёт, и мы вернёмся,
с нами Бог и знак беды,
если есть на дне колодца
три глотка живой воды —
за святую Русь, за солнце...
Только ты вина не пей,
дым полей ночных, полей ночных, полей.

Погоняй коней, возница,
правь на замок из песка,
рвётся из-под лап волчицы,
пепел рвётся в облака...
Дремлет мир в холмах столицы,
и летит сквозь сон теней
бег коней моих, коней моих, коней.

АНАТОЛИЙ АВРУТИН



ЧТО-ТО ВЗДРОГНЕТ В ДУШЕ...

* * *

В Россию можно только верить...
Фёдор Тютчев

Хмур проводник... В одеяле прореха...
Старой любви не зову.
Кто-то в истории, помнится, ехал
Из Петербурга в Москву.

Кучер был хмур... Дребезжала карета.
Лошади хмуро плелись.
Хмуро врывало тягучее лето
В хмурую русскую высь...

Тысячи раз отрыдала валторна, —
Мир без концов и начал.
Помнится, памятник нерукотворный
Кто-то уже воздвигал.

Нету концов... Позабыты начала.
Прежний отвергнут кумир.

АВРУТИН Анатолий Юрьевич родился в 1948 году в Минске, окончил Белгосуниверситет. Автор двадцати поэтических книг, изданных в России, Беларуси и Германии, двухтомника избранных произведений "Времена". Главный редактор журнала "Новая Немига литературная", член-корреспондент Академии поэзии и Петровской академии наук и искусств. Лауреат нескольких международных литературных премий. Живёт в Минске.

Вспомнишь с трудом две строки про мочало,
Что нам твердил “Мойдодыр”...

Вспомнишь... Под визг тормозов на уклоне
Вытащишь хлеб и вино.
Снова умом ты Россию не понял,
Снова лишь верить дано...

* * *

Линия жизни, как черточка мелом —
Белым по черному, истово белым,
Свет разделила и тьму.
Дождь не кончается... Холодно... Слякоть...
Хочется снова забыться, заплакать,
Бога спросить: “Почему?..”

Может быть, просто теперь понимаю
Горе-соседа, прожившего с краю,
Что ни во что не встревал.

Мы бунтовали, дерзали, кипели...
Бунты подавлены... Смолкли свирели.
Стяг на флагштоке не ал...

Прежнее — вымарать?.. Предки — не правы?
Мы — незаконные дети державы,
Что обратилась во тлен?..

Так получилось?.. А что ещё будет?
Наших героев за подвиги судит
Время плевков и измен.

Время бесовское... Сняты портреты...
Где же вы нынче — вожди и поэты?
Недругам льётся елей.

О, воспевание лжи и увечий!
Разве воспетый порок человеческий
Сделает души светлей?

Лампа прикручена... Дело за малым —
Зябкие плечи прикрыть одеялом,
Вспомнить, что чай на столе...

И возмечтать — вдруг такое случится:
Кто-то среди полночи в дверь постучится,
С ним порываем во мгле...

* * *

Что-то вздрогнет в душе...
Подхвачусь... Побегу под навес,
Чтоб в блокнот занести
 отражение редких прозрений.
И откликнется мне
 в своём вечном безмолвии лес,
И откроются мне
 к серым стенам приросшие тени.

Что беседовать с тенью?
Я тоже сегодня, как тень.
Мои близкие люди
 давно уже стали тенями.
Не поддайся печали
 и женщину взглядом раздень
Так, чтоб странная искра
 взахлёб заметалась меж нами...

И от искорки этой
 в ночи запылает костёр...
В стороне от костра
 закричит говорливая птаха.
Сам собой возгордишься —
 мол, всё же не тать и не вор,
Может, и не лихой,
 но испытанный парень-рубаха.

Пусть картавая темень
 разводится белым вином,
Пусть три жалких аккорда
 опять дребезжат о разлуке,
Пусть свеча догорела
 и всё в этом доме вверх дном —
Я могу целовать эти тонкие белые руки.

И останутся нежность и женщина
 в сумраке дней...
Извиваются руки,
 как в небе неслышная стая.
Всё забудется, знаю...
 Лишь тени забытых теней
Шевельнутся порой,
 что-то в стылой душе пробуждая...

* * *

Небо изрытое, небо сквозное,
Что же разверзло тебя надо мною
В чёрной, холодной ночи?
Просто за ворот, черно и отвесно,
Сверху струится сермяжная бездна...
Так что кричи, не кричи...

Просто за старым скрипящим забором
Бездна бесстрашно висит над собором,
Птиц от крестов отогнав...
Просто, как старые чуни скрипучи,
Небо закрыли тягучие тучи...
Просто идёт ледостав.

И поднебесье горбатое злится,
Что не под силу в реке отразиться —
Льдисто-горбата река.
Как бы душа этой ночью хотела
Враз упорхнуть из усталого тела
В чёрную высь... В облака...

Ночью измученной, ночью слепую
Только Отчизна парит над тобою,

Тоже от горя черна.
Даже из собственных помыслов изгнан,
Разве ты вправе грешить на Отчизну
В чёрную полночь без дна?

В полночь, когда ни шагов и ни лая,
Будто бы жизнь наступила иная...
Мраком несёт из квартир.
Только один — вдоль корявых обочин, —
Кто-то бредёт, темнолиц и всклокочен,
Лживый, как внутренний мир...

Страшно... Не вскрикнуть... И что остаётся?
Ждать, когда лучик дыханья коснётся,
Чем-то подобен ножу?..
Если со мною такое случится,
Руки сложу... И, смежая ресницы,
Вам ничего не скажу...

ЭДУАРД ПОЛЯКОВ



ПО ЛЮБВИ

РАССКАЗ

Майка нервничала. Она уже лишних полчаса стояла на краю пригородной железнодорожной платформы, от колючего февральского ветра со снегом кутаясь в полы коротенькой меховой шубки, которую она смастерила недавно на модный молодёжный манер из длиннополой материнской шубы.

Колька опаздывал. А ведь следующая электричка до Смолёнова пойдёт только через два часа. Они познакомились год назад во время студенческих каникул в одном подмосковном доме отдыха, пришлось по сердцу друг другу и теперь жили вместе у Кольки в деревне под Москвой в ветхой бабушкиной послевоенной избушке со шведской печкой и дворянкой Тишкой, большой вислоухой собакой, которая в отсутствие хозяев жила сама по себе, бегала без привязи на вольной деревенской волюшке, никого не трогала и ждала своих неугомонных хозяев.

Майка училась в Авиационном, Колька — в Литературном. Он на два года позже неё поступил на первый курс, зато она на четыре года была моложе Кольки.

Сегодня они решили смотаться с лекций пораньше и рвануть на трёхчасовой электричке, чтобы успеть заготовить дров на завтра и ближайшие пару дней. Когда электричка, как беззубая разбойница-старушка, уже свистела на подходе к платформе, из подземного перехода выскочил букет белых роз, из-за которых выглянула, наконец, растрёпанная голова мерзавца-Кольки.

ПОЛЯКОВ Эдуард Николаевич родился в 1969 году в посёлке Тучково Московской области. Окончил Литературный институт имени Горького. Кандидат филологических наук. Работает в музее-заповеднике "Коломенское". Живёт в Москве. В журнале "Наш современник" печатается впервые.

— Привет, Майчик! Это тебе. Успел... — Они кое-как затолкались в вагон. — Лекция была интересная сегодня. Читали спецкурсе по творчеству Валентина Распутина, заслушался, блин...

Они встали лицом друг к другу. Колька пропихнул руку к своей сумке и попытался было расстегнуть молнию, чтобы достать книгу, но тут на очередной станции ввалилось столько народу, что и его, и сумку приплюснуло так, что рад был и тому, что устоял на ногах. Перед Майкой какой-то высокий мужчина чуть попятился назад, и она тотчас же этим воспользовалась — повернулась к окну, чуть нагнувшись, ловким движением рук выхватила из сумочки тетрадку с ручкой и стала записывать какой-то свой таинственный вязальный узор, считая необходимые петли.

Колька ей по-хорошему завидовал. У него Дмитрий Карамазов едет в Мокрое к Грушеньке. А книгу всё никак не приспособить... Электричка всё дальше и дальше от Москвы.

Вот уже и можно присесть. Ехать ещё час с небольшим. Колька добирается до Достоевского. Через книгу оживает и начинает твориться в душе то неповторимое чувство, которое испытываешь при погружении в мир творчества и мастерство настоящего художника слова. Сердце Кольки отзывается чувству Дмитрия, тонкой грани между безудержной страстью и братской любовью к сестре, которую Колька для себя открыл и обдумывает сейчас. Майка толкает его в бок.

— Коль, обними, я посплю.

Колька обнимает и продолжает читать и раздумывать, листая страницы романа свободной рукой.

В посёлке на станции ветра нет, но идёт снег. На платформе ботинки Кольки и Майкины сапожки торят две ниточки следов, а на автобусной остановке вечерних пассажиров уже ждет урчащий прогревающимся движком рейсовый автобус и стоящая в салоне девушка-кондуктор с не в меру строгим лицом, считающая входящих.

Автобус трогается. Им выходить на четвёртой остановке. Раз. Два. Три. Четвёртая. Автобус с красными огоньками и светящимися жёлтыми окошками вползает куда-то вверх и во тьму за поворот. И всё. Мрак. Только слышно, как идёт снег, и сбоку кто-то бьёт чем-то мягким по ногам. Это Тишка. Дождался. Он рывкает несколько раз от собачьего счастья и исчезает где-то впереди.

Надо идти. Они спускаются с обочины, нащупывая ногами в темноте свою наторённую к дому тропу. Тишке легко: у него собачий нюх и четыре лапы. Там, где не проваливаешься по пояс, и есть тропа. Когда сваливались оба и выкарабкивались ползком, подбегал Тишка, лизал их мокрые лица шершавым языком и опять убегал вперёд, уже по-хозяйски, не растрачивая на пустой лай свои чувства.

Майка несёт букет роз, и аромат цветов смешивается со свежестью падающего снега, который она всё время пытается стряхнуть с них, потому что думает, что те замёрзнут под снегом. Колька отыскивает в темноте полынные и репейные вешки, которые в течение зимы они с Майкой втыкали по дороге.

Шагать надо два километра. Мимо старого кладбища в гору, а потом столько же вниз. А там — Смолёново.

И вот, наконец, перед ними медленно выстраивается силуэт старого двора. Пришли. Колька открывает дверь террасы. Зажигает свет, который после темноты бьёт в глаза жёлтыми брызгами. Они входят в остывшую за день избу и принимаются за дело.

Майка ставит цветы в трёхлитровую банку и на газовую плитку — воду. Наливает чайник. Вода, к счастью, не успела замёрзнуть. Колька кочергой выгребает из подувала печи вчерашнюю золу и закладывает в топку новую порцию дров.

Вскоре по избе тянется мясной дух кипящих в кастрюле и парящих на всю избу пельменей вперемешку с дымом от печки, которая давно уже не дружит с тягой и сдаётся только после нескольких попыток засовывания в отверстие дымохода горящих факелов из старых газет.

Постепенно огонь осваивается в топке и через приоткрытую дверцу отдаёт в избу немного тепла и света. Майка с Колькой садятся у открытой печной дверцы на постеленный на полу полушубок, посередине ставят тарелку пельменей с брошенным сверху кусочком сливочного масла, двумя деревянными ложками по краям, в руках — разломанный надвое батон белого хлеба. Смотрят на потрескивающие в печке поленья и уминают пельмешки с азартом и наперегонки, до последнего. Последний сегодня достаётся Майке. Значит, по жребию ей вставать ночью.

Колька подбрасывает дров ещё и ещё. Сложенная сбоку от печки поленица становится всё меньше и меньше, а тепла в избе всё больше. У печки перед открытой дверцей уже не посидишь. Да и пора идти пилить-колоть.

Остатки пельменей с бульоном и покрошенным хлебом из кастрюли перемещаются в собачью миску, возле которой уже виляет хвостом примчавшийся откуда-то Тишка. Около часа пилят двуручной пилой бревёшки, привезённые из леса в выходные. Колька колет дрова и носит их греться к печке. Потом садятся пить чай с земляничным вареньем. В избе становится совсем тепло. Розы ожили и благоухают на столе рядом с большими чашками.

Майка вспомнила, как летом они с Колькой ползали на карачках в зарослях душистой земляники на дикой лесной поляне. В пластиковых прозрачных ведёрках становилось всё больше и больше крупных спелых ягод, и они, усталые и счастливые, шли вечером домой под нудный писк комарья, чтобы на следующий день заняться приготовлением любимого Майкиного варенья. Майка была счастлива тогда оттого, что делали они это вместе с Колькой. Устали тоже вместе. И варенье у них получилось. И никто не занял во всё время, пока занимались им.

Майка положила ложечку варенья в свой милый всякому взгляду ротик, хитро улыбнулась Кольке, облизывая ложечку, и, поднеся чашку с чаем к губам, вдруг прыснула смехом.

— Ты чего? — спросил Колька, разморённый теплом и ужином, и тоже улыбнулся.

— Коль, а ты представляешь, когда мы поженимся, то через несколько лет у нас родится маленький. Он тоже будет ползать с нами на поляне.

— Ну, и что тут смешного?

Майка продолжала:

— А потом родится ещё кто-нибудь. А потом ещё...

— Ну и что? — Кольку совсем разморило и хотелось спать.

Майка подёрла ладонями щёчки и загляделась на розы. И продолжала:

— Будут они расти, наши сладенькие детки, как ягодки на полянке: подрастут — поспеют, опять подрастут и опять поспеют...

— Да ладно тебе, мечтательница, чего загадывать? К тому времени на поляне уже и ягод-то не будет — всё кустами зарастёт.

— А ты не умничай — юный литератор, лучше посуду помой!

И Майка идёт разбирать постель. Потом они ныряют под холодное ещё одеяло, прижимаются, согревая друг друга. И столько в них в эти минуты достоинства, столько взаимной необходимости и любви, что в целом свете нет людей счастливее Майки и Кольки.

Засыпают они скоро. Майка по последнему пельменю потом встаёт, чтобы закрыть печную заслонку после полностью прогоревших дров и дотлевших углей, делает это во сне, с закрытыми глазами, перелезая через Кольку, шагая по стеночке наощупь туда, а обратно, очнувшись, резвой белкой через Кольку шмыгает под одеяло в своё тёплое гнездышко.

Совсем скоро зазвонят два будильника. Они всегда звонят по очереди и ужасно пугают, но так надо, чтобы не проспять. И опять через поле на автобус, в электричку, в институт.

Через несколько лет они поженятся. Майка родит Кольке дочку и двоих сыновей. И они, точно так, как мечтала Майка, будут собирать землянику на поляне, правда, на другой (прав был Колька — старая заросла). И многое ещё предстоит испытать. На то она и жизнь. И будут жить счастливо. Как в сказке. Правда-правда. Потому как по любви.

КРАСОТА

РАССКАЗ

Однажды летом, помнится, в июне, в самый разгар дачного сезона, вышедшим из автобуса на своей остановке двум мужчинам с сумками и рюкзаками оказалось по пути.

Жили они в одной деревне, ставшей теперь дачным посёлком, правда, не были знакомы до этой встречи, зато потом уже не разлучались и частенько заглядывали друг к другу в гости.

Одного из них звали Пётр Иванович Свирина. Был он невысокого роста, полноват и на коротких ножках быстро семеня по грунтовой дороге, пыля ботинками, поглядывая как-то всё время снизу вверх на своего спутника, который именовался Анатолием Владимировичем Черёмухиным. Этот был худ, длинен, шёл, точно аршином мерил пространство.

Они уже прилично свернули с дороги, когда где-то вдалеке справа свернуло и спустя некоторое время бабахнуло. Приближалась гроза. Черёмухин остановился и, показав рукой в сторону темнеющего свинцом неба, подвёл:

— Я думаю, дорогой землячок, что до своих дач мы с вами сухими так не дотянем. Прямо на поле и застигнет нас дождичек.

— Похоже на то! — отвечал подкрючившийся сбоку Свирина. — Крышу надо искать. Без крыши тяжко будет.

— Да вон рядом заброшенный телятник. Идёмте туда.

Они пробрались сквозь заросли зацветающего борщевика и оказались внутри пахнущего прелью разваливающегося совхозного телятника. Сняли рюкзаки. Сели на них. Черёмухин закурил.

По распластанным жадным до влаги листьям пробежался первый порыв ветра. Пробный. Несильный. Макушки елей в ближайшем перелеске уже кланялись второму порыву стихии, пытаясь выпрямиться при малейшем послаблении крепчающей стихии. Стайка молодых берёзок возле телятника чуть ли не гнулась к земле. Где-то загремело железо. Где-то упало, погромыхивая под ветром. Брызнула молния. И тут же взорвался гром. Кто-то закричал. Стало темно так, что, казалось, наступает ночь с вечерними сумерками и вот-вот совсем уже стемнеет. Дождя всё не было. Его ждали, как разрешения начинающей свой танец стихии. Ветер разметывал всё на своём пути: летало сено, какие-то мусорные пакеты, жестяные банки катились по дороге.

Ударил церковный колокол неподалёку. И вдруг ветер стих. Стало ещё темнее, и было лишь слышно, как, ещё не успокоившись от грозовой атаки, шепчутся растрёпанные деревья и травы.

И вот на листья упала первая капля, за ней другая, и целая стена грозовой влаги ударила в землю. Снова поднялся ветер и закружил всё вокруг, ударяя косыми нахлёстами дождя по всему, что попадалось на пути.

— Ух, силища! — прошептал Свирина, высовываясь на улицу. — Ну, и лупит!

— Хорошо бы ненадолго, а то зарядит до вечера — и не вылезешь, — подошёл Черёмухин и тоже выглянул наружу.

— Гроза. Должна пройти скоро.

Сели опять. Разговорились. И разговор пошёл не о рыбалке, а как это говорится, ну, в общем, ещё об одном интересном предмете — о женщинах, а точнее — о женской красоте.

Свирина рассказал, что женат. Познакомился с женой совсем недавно, два года назад. Ему — сорок, она — моложе на десять лет. Детей нет. И хотел было поинтересоваться у соседа его семейными делами, но тот опередил его вопросом.

— А что для вас красота?

— Это вы сейчас про женщин вообще спросили? — поинтересовался Свирина и заглянул в глаза Черёмухину снизу вверх.

— Ну, да... Женская красота.

— Могу сказать... — Свирин почесал свой влажный затылок. Застенчиво улыбнулся. — Я вот раньше много в электричках ездил по работе. Сядешь в вагон, а напротив тебя сидит какая-нибудь случайная красотка, да такая, что глаз не отвести. Так вот, я даже для себя их сортировать начал — с какой только бы познакомился, с другой посидели бы где-нибудь поболтали, с иной сразу бы пошёл в загс, а некоторые прямо-таки были не в моём вкусе. Я их и по фигурам различал. Какая мне статную породистую лошадь напоминает, другая — как утица на коротких ножках переваливается, ещё одна, словно колобок, и не поймёшь, как это у неё получается...

— А вот я мало подвержен внешнему впечатлению, — включился в разговор Черёмухин. — Я, конечно, не идеалист с платоническим уклоном, но ценю в женщине внутреннюю красоту. Хотя понять её и почувствовать очень сложно.

— А как же тогда? — полюбопытствовал Свирин. — Чем её измерить?

— Лучше всего, конечно, временем... Это я теперь понимаю. А раньше, когда метался в юности в поисках счастья, совсем другие мерки были. И одна мерка-таки мне сгодилась...

— Что за мерочка, интересно? — Свирину становилось любопытно слушать собеседника. Затянутый им разговор возымел продолжение.

— А простенькая мерочка. Сердце. И я благодарен Богу, что дал он мне её. Иначе бы пропал совсем.

— А что, много испытали в жизни?

— Да не особо много... Была у меня одна история... Я в тот год потерял работу. Работал инженером на заводе. Пришёл новый хозяин. Коммерсант. Завод, говорит, теперь мой. Приведу своих. А вы уходите. Осталось только несколько человек. Я в их число не попал. И забухал. Мне было тогда тридцать с небольшим. Пил я не столько от тяги к водке, а было обидно за родной завод, за дело своё, за страну...

Стал всё пропивать подчистую. Мать на меня смотреть не могла. Уехала на дачу жить. Жена с дочкой к теще сбежала. Жить. Развелась со мной тут же, спустя пару месяцев. И остался я в квартире один. Утром встаю. Беру, что есть в доме, — несу продавать. Пью. Не хватает. Несу продавать. Вальсо спать. И утром снова в поход. Так продолжалось почти полгода.

И вот однажды ко мне заходит женщина...

Черёмухин опустил глаза. Видно, вспомнилось что-то такое, что неприятно было вспоминать, но он пересилил себя и продолжал:

— Это она мне потом рассказывала... Мы с ней раньше учились вместе в институте. Дружили. Она у меня была в гостях несколько раз. Помогала с зачетами, курсовыми. Потом как-то разбежались. Но, получается, знала, где я живу. И однажды оказалась поблизости. Решила зайти наобум в гости к студенческому другу. Подошла к дому. Проскочила в подъезд. Поднялась в лифте на мой этаж. Позвонила в дверь. Квартира была не заперта. Я, когда пил, всегда держал её незапертой, боялся чего-то, сам не знаю — чего. Страх замкнутого пространства на меня напал, что ли. Боязнь одиночества. Да и зашёл бы кто ко мне — всё не одному куковать, пообщались бы... Вот она и зашла. И увидела нечто в образе человеческом. Запахи и обстановка в квартире были соответствующие. На кровати валялся грязный и вонючий алкаш, вокруг которого по комнате были разбросаны пустые водочные и из-под всякого прочего "пойла" бутылки. Я лежал на боку лицом к стене и стонал...

Черёмухин передёрнул плечами.

— Ей бы развернуться и уйти. А она, понимаешь, осталась. Она в этом алкаше узнала меня. Повыбрасывала весь мусор из квартиры, полы вымыла. С помощью местных мужиков посадила в свою машину и повезла к себе. Пока тащили меня к машине — мужики ей про меня рассказывали, что, мол, человек я хороший, только не повезло в жизни, вот и сорвался. В общем, очнулся я в бане. Гольй. Она хлестала меня по всем местам жгучим венником, а я только и понимал, что это баня и что меня хлещут. Потом она оттащила меня в постель. И я спал. Сколько — не помню. Но когда проснулся, передо мной на столике стоял графин водки и рюмка.

Я, как тяжелоатлет перед штангой, “попытался взять вес” — поднять рюмку с водкой и опохмелиться, но внутри меня что-то ворочалось, сопротивлялось. Я так и не смог. Вошла она — Надя.

— Проснулся? Ну, милый мой дружок, Васенька, первый день — самый трудный будет у нас. А потом потекут твои денёчки своим чередом, как им и положено, только наберись терпения.

В общем, вытащила меня своими средствами из запоя. И стала женой. Вот и вся история.

— Да-а-а... — протянул Свирин, — “есть женщины в русских селеньях...” Это ж надо, собой пожертвовала... Не понимаю...

— Вот и я сначала тоже не понимал, Пока к сердцу своему не прислушался. А оно как-то по-другому вдруг зажило. Потянулось к Надежде. И не думал я ни о чём, даже когда в загсе расписывались. Она настояла — условие поставила, чтобы не жить мне у неё приживалой, а быть настоящим мужем. Я согласился на это и теперь не жалею. Всё у нас сложилось в семью потом как-то само собой. Нашлась работа. В общем, всё изменилось у меня в жизни. Никогда не попрекнёт лишний раз, не прилипнет с расспросами. Только попросит о чём-нибудь когда, если мужская рука потребуется. Таких, как она, мало на свете, но женщины такие есть. И они прекрасны...

— Ну, да... “А кони всё скажут и скажут. А избы горят и горят”... А в чём же секрет такой красоты? — спросил Свирин, пытаясь понять до конца своего собеседника.

Черёмухин загадочно улыбался.

— А, пожалуй, секрет в капусте. В обычной капусте или в лепестках роз. Как вам больше нравится.

— Растолкуйте. Больно аллегорично рассуждаете...

— А толкую я это так. Вот женщина. Ты живёшь с ней каждый день — она каждый день живёт с тобой. У них, у женщин, свои секреты. Я в них не очень разбираюсь. У вас появляются дети. Потом внуки.

— Ну, и что? Что дальше-то?

— Ну, и всё. Дальше — всё.

— Непонятно. По-вашему — могильный крест после долгой семейной жизни есть вершина существования, апофеоз человеческого счастья?

— Скорее закономерный итог, необходимый итог. Черта, за которой что-то уже другое, непонятное. Но тихое, лёгкое, неизвестное это приходит к вам и селится в уголке вашего сердца ещё в этой жизни. И человек ничего с собой не возьмёт за ту черту, кроме этого неизвестного.

— Душу, что ли, возьмёт?

— Не знаю. Не знаю. Душа — другое немножко. Мне кажется, это какой-то груз, который душа понесёт дальше. У кого-то он есть. А кто-то его ещё в этой жизни порастерял. Важно, чтобы он был у каждого — этот “груз”.

— Ну, теперь я вас понял, — рассмеялся Свирин. — Говорили-говорили, а всё равно пришли к одному. Знаю я про ваш “груз”. Догадался теперь. Вы про любовь сейчас говорили. Это любовь в вас сидит. И вы её чувствуете. А вот мне до этого ещё долго — глух. Глух и каюсь. Ну, и любите на здоровье! Будет у вас чему другим поучиться.

Гроза совсем утихла. Маленький моросящий дождичек ещё сыпал на старый шифер телятника, но за леском уже выглядывало из-за туч жаркое июньское солнце, и с берега на берег через речку замостила волшебной дугой радуга.

— А про капусту с лепестками роз — это вы с какого боку сказали? Для образа какого, что ли? — Свирин высунулся наружу, затоптался, хотел уже выходить.

— Да тут всё просто. Это я по вашему примеру в таких образах представил себе женщину. Для меня она вначале — прекрасная благоухающая роза. Отнимаешь от бутона лепесток — прикладываешь к сердцу. И таешь. И счастлив. А капустой я свою Надежду называл, когда она у меня сыном беременная ходила. Живот на девятом месяце у неё был — как добрый кочан. Шутила всегда: “В капусте нашли нашего Лёшку. Вон какой богатырь!”

И скажу вам по секрету, мой дорогой спутник, в этой капусте ещё столько всего тайного и прекрасного одновременно, что только не ленись — листы отрывай да жуи. На сто человеческих жизней хватит этого запаса женской красоты — только умей любить по-настоящему.

Свирин, кажется, всё понял. Потому что вдруг загрустил. И задумался о чём-то своём с лицом глупенького неудачника.

— Ну, ладно, дождь кончился. Пойдём, что ли? — прокряхтел он, поднимая рюкзак и засовывая руки в ляжки.

— Пойдём, пожалуй. Я вижу, что чем-то вас расстроил... — Черёмухин двинулся за Свириным по сырой, раскисшей от дождя улице.

— Нет-нет. Это я так. О своём...

Они прошли перелесок с осыпанными влагой и капающими елями, поднялись скользкой тропинкой по оврагу на поле. Широко над рекой раскинулась радуга. Черёмухин любовался ей, а Свирин глядел под ноги в задумчивости. На взгорке они остановились. Тропинка вела вниз и рогатиной разбегалась на две стороны, в разные концы деревни.

— Вам по какой? — спросил Свирин.

— Мне направо, — улыбнулся в ответ Черёмухин.

— Я так и знал. Мне налево. Ваш какой дом? — поинтересовался он, глядя направо и вниз, где нагромодились в беспорядке огороженные заборами чьи-то дачи.

— Отсюда не увидишь. Приходите с женой вечером часиков в восемь к зелёной пластиковой лодке на реке. Мы с женой тоже придём. Познакомимся. Чайку попьём.

— Придём обязательно! Ну, до вечера, сосед!

— Всего хорошего!

Они разошлись. Когда попутчики удалились метров на пятьдесят друг от друга, Свирин окликнул Черёмухина.

— А знаете, я сегодня обязательно скажу своей Любе, что нам нужен ребёнок. Обязательно. И буду звать её Пиончиком. Она у меня такая...

— Вы — поэт! Удачи вам!

Они подружились. Всё лето бегали друг к другу. Хвалились садово-огородными успехами. Давали друг другу самые разные советы. Пиончик забеременела. Свирин был на седьмом небе от счастья. Черёмухин с Надеждой радовались за них, да и сами они были счастливы. Старики говорили, что в нынешний год должна уродиться капуста. Дождей-то сколько!

АНДРЕЙ ШАЦКОВ



ВЕРШИ МОЛИТВЫ ПРАВЕДНОЕ СЛОВО

НА ТРОИЦУ

Покуда уныния грех не утих,
И в душу метёт листопадом,
На помощь приходят изограф и мних
И вкупе становятся рядом...

Пусть в Троицин день, со смятенной душой,
Забывшей про Божие слово,
Пребудут в скорбях над тщетой, надо лжой
Три лика Андрея Рублёва.

Три ангела в блеске цветенья поры,
В июньской, безоблачной сини
Раскинут крыла от библейской Горы
До северных храмов России.

И ляжет на мир благодатная сень,
Даруя живому прохладу.
И Символом Веры отмеченный день
Со звонниц шагнёт за ограду.

ШАЦКОВ Андрей Владиславович родился в 1952 году в Москве. Автор одиннадцати поэтических книг. Член Союза писателей России и Международной федерации журналистов. Кавалер ордена преподобного Сергия Радонежского РПЦ, лауреат многих литературных премий. Главный редактор альманахов "День православной поэзии. 2008", "День поэзии 2007, 2009, 2010, 2011". Проживает в Москве и в Рузе.

И будет ниспослан Берёзовый Дух
Развеять уныния иго...
И Сергия слово ложится на слух,
И легче — унынья верига!

В ДЕНЬ УСПЕНЬЯ

В день Успенья: тихо, тихо, тихо
Облетают жёлтые леса.
Вызревает густо облепиха,
Падая в окно на край листа

Писчего исчёрканной бумаги,
На которой, пёрышком скребя,
Купленным в КООП универмаге,
Я пишу — надеясь и любя!

И полны лесной водой колодцы,
И стоят бадейки вдоль скамьи...
Трудно с одиночеством бороться,
Если годы минули твои...

Но строка с тропой пролягут рядом
До заветных тёсаных ворот,
Где нижегородка с кротким взглядом —
Взглядом Богоматери — живёт.

Над Окою — чайкой белоснежной
Промелькнёт изгиб её руки...
Свете тихий, свете безмятежный
Пролился на таинство строки,

Той, что родилась под небесами
Осенин, начавших краткий пост;
Той, что я с утра читаю маме,
Забредя с цветами на погост...

И отступит горькое сомненье.
Всколыхнут ветра тугую тишь...
— Мама, может, на Её Успенье
Сына одинокого простишь?

Может быть, покуда сердце бьётся,
Разрешешь окончить жизнь в любви?..
Трудно с одиночеством бороться,
Даже если годы — не твои.

Не твои! Определили время.
Снегопадом душу замели...
И лежит на всём Успенья бремя
Лествицею — в небо от земли!

КОГДА НАСТАНУТ ПОКРОВА

Тогда, когда настанут Покровá,
Взметнётся к небесам багровый пламень
Листвы,
а невесомые слова
Падут на землю, обратившись в камень

Тяжёлых дум в преддверии зимы,
Уже наславшей лету злые кары:
И бесов легион, и стаи тьмы,
И первоснежья призрачные хмары.

К обедне снег растает, и земля
В постыдной наготе предстанет снова.
И медью зазвенят, не веселя,
Колокола Великого Покрова.

Как Судный день — бестрепетно суров
По Новому и Ветхому Заветам,
Ты наступил, октябрьский Покров,
Предзимье предварив по всем приметам.

За смертный грех уныния — прости
И затвориться дай в безмолвной келье...
Играют свадьбы где-то на Руси,
Но что мне на чужом пиру похмелье?..

Когда в душе сомненья и разлад,
Верши молитвы праведное слово.
И станет звездопадом — снегопад
В урочный день российского Покрова!

* * *

М.

Чудо пальцев твоих потекло по стеклу и пропало,
И окутал дорогу усталого вечера флёр.
На прощанье сказать невозможно ни много, ни мало.
На прощанье вообще невозможен любой разговор.

Царь-девица и пегий волчище — не пара.
Пусть останется в детстве
несбыточный сказочный сор...
Но пока не погасли витрины Страстного бульвара,
И с судьбой не окончен извечный губительный спор.

Ты умеешь молчать, и в провинции станет не больше
На один нерассказанный "верной" подруге секрет,
Что расстаться со мною окажется, может быть, горше,
Чем остаться одной на исходе девических лет.

И стоим неприкаянно, взгляды во тьму упирая,
Как на росстанях было и будет и ныне, и встарь.
И мигнёт огоньком на рокаде до ада из рая
На последнем вагоне последней разлуки фонарь.

Наваждение скроется в плавной дуге поворота,
Возвращаясь назад, на свои запасные пути...
Только с зámершим сердцем творится неладное что-то,
Только ноги не знают, куда в одиночку брести...

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ



МИЛЕЙШИЙ

РАССКАЗ

Командиром на переход с Чёрного моря на Камчатку к нам назначили капитана I ранга Свистунова Геннадия Севастьяновича. Службу он проходил на Тихоокеанском флоте в должности командира бригады кораблей разведки. Офицер требовательный, жёсткий, моряк опытный, грамотный, за плечами не одна боевая служба. Можно сказать, что нашему экипажу, собранному со всей Камчатской флотилии, как с миру по нитке, повезло. Такой начальник и нужен, чтобы в чувство привести, научить, а если потребуется, то и заставить.

Свистунов мужчина был видный: рост выше среднего, спортивная фигура, энергичная походка. Короткая стрижка и тонкая ниточка усов придавали ему аристократический вид. Флотская форма сидела на нём, словно влитая. Видимо, он осознавал это, и, самое главное, ему нравилось производить на окружающих впечатление своим внешним видом. Когда он выходил на ют на подъём флага, здоровался с личным составом, строго, по-уставному и вместе с тем с особым шиком вскидывал правую руку к головному убору и громко, со сталью в голосе, играя твёрдыми согласными, произносил: “Здравствуйте, товарищи!”, стоящие в строю матросы, старшины, мичманы и офицеры вытягивались в струнку, замирали, будто первоклашки перед учительницей.

Одно портило эту благодатную картину — неограниченная власть сформировала у Свистунова веру в собственную непогрешимость, пренебрежительное, высокомерное отношение к подчинённым. Ему доставляло удоволь-

ЛЕБЕДЕВ Александр Владимирович родился в городе Коломна Московской области в 1945 году. Более тридцати лет прослужил на Военно-морском флоте. Капитан 1-го ранга, кандидат исторических наук, доцент Балтийского Военно-морского института. Стихи и рассказы печатались в сборниках: “Антология калининградского рассказа”, “Балтийский флот”, в журналах: “Балтика”, “Параллели”, во флотских газетах и журналах. Живёт в Калининграде.

ствии “оттянуть” провинившегося, показать своё превосходство. Нет, он не ругался матом, не кричал и не топал в гнев ногами. Но от этого унижение было не меньшим. Чего стоила его любимая фраза:

— Милейший, вы ещё раз убедите меня в своей несостоятельности.

Лейтенанты были от него без ума, копировали его походку, манеру разговора, к подчинённым стали обращаться только на “вы”, разговор начинали со слова “уважаемый...” Свистунов всё видел, всё понимал и использовал своё влияние для утверждения личного авторитета и во благо службы.

В экипаже единственным офицером, прошедшим школу дальних походов, был старший лейтенант Лев Яшкин — командир трюмно-котельной группы. Что подвигло его стать морским офицером, тем более корабельным инженером, сказать трудно. Отец — доктор медицинских наук, мать — преподаватель музыки по классу фортепьяно. Они явно не желали своему единственному сыночку такой карьеры. Но всегда послушный Лёва с отличием окончил школу и, вопреки воле родителей, поступил в военно-морское училище. До сих пор Лёва в службе не разочаровался, несмотря на то, что она — эта служба — вовсе его не баловала, больше того, приносила немало огорчений. Скромный, выдержанный Лёва с удовольствием крутил гайки, лично ремонтировал вечно ломающиеся механизмы. Большую часть времени он носил тёмно-синий комбинезон, в руках — ветошь, лицо, как правило, чумазое. Командовать, руководить не любил, делал это по необходимости, искренне считая, что каждый просто обязан добросовестно выполнять свои обязанности без всякого принуждения. “Маслопупы” уважали его за знание техники, готовность помочь, порядочность и слушались с полуслова. Так уж случилось, что именно скромный Лёва Яшкин, в отличие от остальных, не только не заглядывал в рот капитану I ранга Свистунову, но и частенько не соглашался с его методами руководства.

После вечернего чая свободные от вахты офицеры оставались в кают-компании, чтобы обменяться последними новостями, посплетничать. Особый интерес представляли сведения о командире перехода, за которым прочно закрепилось прозвище “Милейший”.

— Сегодня старпом впервые побывал в посту энергетики и живучести, чует моё сердце, не к добру, — с удивлением сообщил командир электротехнической группы лейтенант Громобоев.

— Пора бы некоторым усвоить, что сложные явления, как правило, имеют простую природу, — глубокомысленно изрёк связист, старший лейтенант Глазырин, самый информированный из корабельных офицеров.

— Объясни, не томи! — взмолился Громобоев.

— Утром Милейший вызвал к себе старпома и полчаса втолковывал ему порядок обхода корабля. Хотя известно: всё, что ниже ватерлинии, проходит по ведомству механика, это его вотчина. Теперь понятно, почему старпом визит нанёс? Я вам, уважаемые, скажу больше: сеансы учёбы продолжились. Вестового Милейший дрессировал, как надо стучаться в каюту и представляться начальнику. Матросик, наверно, мозоли на костяшках пальцев набил, бедного штурмана чуть до кондрашки не довёл, требуя назвать части секстана в определённой последовательности.

— Да, Милейший и медведя научит, — с восхищением произнёс химик, лейтенант Сейфулин.

— Мы-то не в цирке и не в зверинце. Учить надо, не унижая человеческого достоинства, — возразил Яшкин.

— А я считаю, что все средства хороши, лишь бы результат был, — не согласился Сейфулин.

— Я посмотрю, как вы заговорите, когда он до вас доберётся. Однако всем спокойной ночи и хороших снов, а мне пора в котельное отделение, — сказал Яшкин и вышел из кают-компании.

На следующий день Яшкина вызвал командир корабля капитан III ранга Мачеев. В каюте у него находился командир электромеханической боевой части, попросу — механик, ещё проще — дед, капитан III ранга Ягудин, непосредственный начальник Яшкина. Командир корабля обратился к старшему лейтенанту по имени-отчеству, что сразу Лёву насторожило:

— Лев Михайлович, мы тут обсуждаем один щекотливый вопрос, который тебя касается напрямую, и хотели бы с тобой посоветоваться. Да ты садись, не стесняйся.

— Слушаю, товарищ командир.

— Командир перехода, капитан I ранга Свистунов обратился ко мне с просьбой организовать ему ежедневный душ. Плескаться он долго не собирается — минут пятнадцать, не больше. Механик считает, что можно пойти навстречу. Твоё мнение.

— Запасы пресной воды ограничены. Личный состав моется забортной, офицеры — раз в неделю пресной. Я думаю, исключений делать не стоит.

Командир недовольно сощурился:

— Порядок и график помывки я помню. Полагаю, один человек погоды не сделает.

— Вы спрашивали моё мнение, я его высказал.

— Верно механик говорит, далёк ты от службы, Яшкин, ох, далёк. Ну, ничего, будем брать ответственность на себя. Приказываю ежедневно с двадцати двух ноль-ноль до двадцати двух пятнадцати подавать пар и пресную воду во флагманскую каюту. Вопросы есть?

— Неужели капитан I ранга не понимает, что нельзя одновременно требовать порядка на корабле и самому же его нарушать?

— Это его личное дело, а вы позаботьтесь, чтобы приказание было выполнено точно и в срок, по уставу. Свободны.

Когда Яшкин ушёл, командир выразил своё недовольство механику:

— Либеральничаете с молодёжью, Василий Васильевич, и меня к этому склоняете, жёстче надо. Вон Свистунов не стесняется, ломает через колено непонятливых и непокорных. И ничего, никакого недовольства, даже наоборот: лейтенанты на него только что не молятся.

— Яшкин офицер неплохой, дело знает, море любит, безотказный и надёжный. Ему дважды повторять и контролировать не надо. Одна беда: чересчур правильный и не в меру принципиальный. Родители, видно, так воспитали, приходится с этим считаться, — защищал подчинённого и одновременно оправдывался Ягудин.

— Ладно, идите, разбирайтесь сами со своими охламонами, — махнул рукой командир, — и о приказе помните, я с вами миндальничать не буду, с живого шкуру спущу.

После разговора с командиром механик отправился напрямиком в отсек вспомогательных механизмов. Он был уверен, что застанет там Яшкина, и не ошибся. Лёва инструктировал командира отделения машинистов-трюмных:

— Васюков, задача простая до безобразия: ровно в двадцать два ноль-ноль ежедневно обеспечивать душ во флагманскую каюту. Время помывки пятнадцать минут.

— Товарищ старший лейтенант, но как же ваше требование об экономии? Вы мне утром выволочку устроили за то, что на минуту дольше положенного подавал воду на камбуз.

— На вопрос о необходимости экономии командир корабля ответил, что приказы не обсуждаются, а выполняются. Поэтому я советую тебе то же самое. Впрочем, можешь обратиться с письменной жалобой на моё имя.

— Вечно вы шутите, товарищ старший лейтенант, какие жалобы, наше дело маленькое. Разрешите идти?

— В двадцать один пятьдесят пять доложишь о готовности, и не забудь о замере топлива во всех цистернах, — вяло отреагировал Яшкин и по привычке полез в карман комбинезона за ветошью.

— Тебе бы, Лев Михайлович, вместо того, чтобы с командиром пререкаться, не мешает у подчинённых поучиться, — пожурил Яшкина механик.

— Да я вроде не скандалю, просто мне такие приказания отдавать стыдно, и Васюкову, уверен, стыдно их выполнять.

— Ты всё в облаках порхаешь! Пора бы на землю опуститься.

— Какие уж тут облака, Василий Васильевич, сами видите, из трюмов не вылезаю. Не могу я уважать человека, который ведёт себя непорядочно.

— Свистунов не человек, а начальник, которого уважать по уставу положено.

— Ну, ежели не человек, тогда другое дело, так бы сразу и сказали.

— Не передергивай, Лев Михайлович, гордыню смири, на рожон не лезь, поверь, не тот это случай, когда надо принципиальность проявлять.

— Я так не считаю, — упрямылся Яшкин.

— Как знаешь, я тебя предупредил, — закончил разговор механик.

Корабль — словно маленький Париж со своими тайнами, слухами, сплетнями. За ужином офицеры оживлённо обсуждали возможные варианты поведения Лёвы Яшкина, если его будет прессовать Свистунов. Старпом одёрнул их:

— Хватит трепаться, балаболки! Не надоело косточки своему товарищу перемывать? Старший лейтенант Яшкин, в отличие от некоторых, обладает чувством собственного достоинства и имеет жизненные принципы, за которые готов постоять.

И тут отворилась дверь и, лёгок на помине, появился Лёва. Разговор в кают-компании смолк. Повисла неловкая тишина, в которой прозвучал спокойный голос Яшкина, который обратился к вестовому:

— Я первое не буду. Пожалуйста, принеси мне второе.

— И две котлеты ему, как имениннику, — пошутил Глазырин.

Однако шутку никто не поддержал.

— Тебе как заведующему кают-компанией неплохо было бы знать дни рождения офицеров. До моего ещё далеко. Только ты ведь имел в виду другое, не так ли? — обратился Яшкин к связисту.

— Ладно, Лёва, извини, не обижайся, считай, что неудачно пошутил. Не хватало ещё, чтобы мы ссорились по пустякам. У тебя и без того полно проблем.

— А у кого их нет? Если товарищей офицеров волнуют мои отношения со Свистуновым, то зря, для этого нет причин, поскольку нет самих отношений. Предполагаю, что он, скорее всего, и не подозревает о моём существовании. И я не расстраиваюсь.

Лёва без аппетита “проглотил” макароны с котлетой, запил соком и поспешил из-за стола: он заступал на вахту в двадцать ноль-ноль. Нагрузка на командиров групп электромеханической боевой части в походе солидная: трёхменная вахта плюс устранение постоянно вылезавших неполадок — техника новая, притирается, поэтому мелкие поломки неизбежны. К тому же матросов учить приходилось самим. Обычно на кораблях старослужащие учат молодых, готовят себе замену, а тут все пришли на корабль одновременно и знания у всех примерно одинаковые, за исключением тех, кого прислали для укомплектования экипажа непосредственно перед выходом.

На развод вахты всегда приходил механик. Он придирчиво опрашивал обязанности, объяснял обстановку в районе плавания, ставил задачи. После чего спускался в пост энергетики и живучести, где принимал доклады сменяющегося и заступающего вахтенных инженер-механиков. Он не стал напоминать Яшкину о предстоящей “операции”, лишь внимательно и строго на него посмотрел.

— Не извольте беспокоиться, товарищ капитан третьего ранга, всё под контролем, — успокоил начальника Лёва.

— Я давно отбеспокоился, теперь твоя очередь, — ответил подчинённому Ягудин.

Яшкин проверил показания приборов — главная энергетическая установка и вспомогательные механизмы работали устойчиво. Он поудобнее устроился в кресле и внимательно прочитал замечания по предыдущей вахте — ничто не вызывало тревоги и опасения. И всё же, по заведённой привычке, Лёва запросил “добро” у вахтенного офицера и отправился по боевым постам. Он давно усвоил, что самая достоверная информация — это результат личного, а не дистанционного общения.

Когда он вернулся в ПЭЖ, там его уже ждал Громобоев, чтобы подменить на вечерний чай. Но чаю попить не удалось — сработала защита вспомогательного дизельгенератора, и Громобоев метнулся в кормовое машинное

отделение выяснять причину. А тут ещё вахтенный на линии вала доложил о том, что на одном из подшипников растёт температура. Обстановка накалялась: Лёва отвечал на запросы с ходовой рубки, вызывал командира машинной группы, получал доклады, связывался с командиром боевой части пять, фиксировал события в журнале. У него несколько раз мелькала мысль: “Надо бы вызвать Васюкова, спросить, настроили ли систему для помывки Свистунова, — но он успокоил себя: — Должен справиться без дополнительных напоминаний, самостоятельно. Тем более есть дела поважнее”.

Когда улеглась суматоха, Яшкин вновь вспомнил о Васюкове и вызвал его в ПЭЖ.

— Прибыл по вашему приказанию, — бодро доложил командир отделения.

— Время вышло, — Яшкин выразительно постучал по циферблату наручных часов.

— Так ещё пять минут, товарищ старший лейтенант. — Васюков кивнул на корабельные часы.

— Ладно, миллиметровщик, — смутился Лёва, — доложи по существу.

— Всё готово, — отрапортовал Васюков.

— Вперёд, и чтобы ни одной лишней минуты, — предупредил Яшкин старшину.

Ровно в двадцать два часа Васюков вышел на связь и доложил, что вода и пар во флагманскую каюту поданы. Яшкин отметил исполнительность и точность старшины, однако настроение его от этого не улучшилось. И оказалось, не без причины. Вскоре по громкоговорящей связи объявили:

— Командиру боевой части пять и доктору прибыть к командиру.

Лёва задумался. Обычно использовать трансляцию для подобных объявлений запрещено. Значит, произошло что-то необычное. Его размышления прервал телефонный звонок.

— Лев Михайлович, меня командир вызывает. У нас всё в порядке? — раздался в трубке голос Ягудина.

— По несению вахты замечаний нет. Вода и пар во флагманскую каюту поданы.

Механик шумно вдохнул, выдохнул, произнёс неопределённо:

— Мда... — и повесил трубку.

Лёва начал смутно подозревать, что приказание механику и доктору прибыть к командиру связано с помывкой Свистунова. “Если это действительно так, то зачем понадобился корабельный эскулап?” — размышлял Яшкин. И чтобы прояснить обстановку, он вновь вызвал Васюкова. Старшина прибыл незамедлительно.

— Скажите, милейший, — неожиданно для себя начал Лёва, остановившись, потряс головой, словно отгоняя наваждение, и закончил с привычной для него иронией, — если тебя не затруднит, расскажи подробнее о том, как было выполнено приказание и было ли оно вообще выполнено.

— Вы, товарищ старший лейтенант, о каком приказании говорите?

— Васюков, не делай задумчивый вид, тебе это не идёт, а меня раздражает, — Яшкин встал с кресла и приблизился к подчинённому.

Старшина отступил на шаг назад и скороговоркой, словно боялся, что ему не дадут договорить, выпалил:

— Непосредственно приказание выполнял машинист трюмный матрос Переверзев. Это его заведование.

— Почему не сам? Ведь Переверзев на корабле без году неделя. Ты уверен, что все сделано правильно? Лично убедился? — ласково спросил Яшкин.

Васюков покраснел и виновато опустил голову.

— Я тебе доверял, да, видно, зря, подвёл ты и меня, и механика. Уйди с глаз моих с позором.

Лёва представил, как отдувается сейчас за него Ягудин, и ему стало неуютно.

Прогудели балясины трапа, и в ПЭЖе появился командир боевой части пять. Лицо его было морковного цвета, веко левого глаза подёргивалось. Он тяжело дышал, будто только что пробежал длинную дистанцию.

— Спасибо, Лев Михайлович, опозорили перед начальством, простейшее дело, и то завалили. Знаете, какой мне диагноз Свистунов поставил? “Вам, милейший, нельзя доверять руководство боевой частью”.

— И доктор этот диагноз подтвердил? — вырвалось у Яшкина, однако он вовремя спохватился:

— Простите, Василий Васильевич, я юморить начинаю, когда плакать хочется. Сейчас поднимусь к Свистунову и всё ему объясню.

— Доктор диагноз подтвердил, но не мне, а Свистунову: ожог левого плеча первой степени. К командиру перехода ты поднимешься через десять минут вместе с трюмными. Он будет лично вас инструктировать.

— Он что, лучше меня знает устройство корабельных систем?

— Он лучше тебя знает службу. И не усугубляй обстановку — не пытайся оправдаться, не груби и не пререкайся.

Лёва согласно кивнул:

— Вечно вам из-за нас достаётся, и как у вас терпенья хватает?

— Послужишь с моё, поймёшь.

— Мне кажется, что это не от срока службы зависит, а от характера.

— Потом разберёмся. Собирай свою команду и — наверх. Я тебя под-
меню.

Вместе с Васюковым и Переверзевым Яшкин остановился перед флагманской каютой, постучал в дверь. Свистунов вышел в тамбур, оглядел прибывших, обошёл стоящую по команде “смирно” троицу и выслушал доклад Яшкина. Затем заложил руки за спину, слегка поморщился, при этом левый аккуратный ус его вместе с верхней губой пополз вверх. Покачался, перекачываясь с носков на пятки, и, обращаясь к Лёве, произнёс:

— Милейший, вы показали сегодня свою полную несостоятельность. Надо же так умело не уметь делать элементарные движения. У меня возникли серьёзные сомнения по поводу вашей способности руководить подразделением.

— Разрешите отпустить старшину и матроса и объяснить причину.

— Объясняться будете у прокурора, а здесь стойте и помалкивайте.

Яшкин не выдержал и его понесло:

— Вы, конечно, товарищ капитан первого ранга, большой начальник и вправде давате любые оценки, только попрошу это делать, не унижая личного достоинства и не в присутствии моих подчинённых, кроме того, формулировать такие глобальные выводы по одной неудаче считаю некорректным.

Очевидно, Свистунов не ожидал такого решительного отпора. Он будто потерял дар речи, силился открыть рот, кривил губы, правая щека несколько раз дёрнулась в нервном тике, пальцы пробежались по пуговицам безупречно пошитой тужурки, затем проверили не менее безупречный узел галстука. Прошло несколько долгих, томительных секунд, прежде чем командир перехода сумел отрешиться присущую ему уверенность.

— А вы, лейтенант, ко всему прочему, ещё и хам. Ну, что же, это лишь усугубляет ваше и без того сложное положение.

— Старший лейтенант, — поправил Яшкин.

— Считайте, что уже лейтенант.

— Если я правильно понял, вы меня только что понизили в воинском звании?

— Именно так.

— Разрешите привести в соответствие форму одежды?

— Успеете. Сейчас под моим руководством проведём тренировку по подаче воды и пара в командирский отсек. Повторять будем до тех пор, пока не уложимся в норматив “на отлично”.

— Полагаю, товарищ капитан первого ранга, что это не ваш уровень. Разрешите мне?

— У вас имелась такая возможность, к сожалению, вы её не реализовали.

— Товарищ капитан первого ранга, вы только что понизили меня в звании, теперь отстраняете от руководства подразделением. Два наказания за один проступок.

— Вы, оказывается, и устав не знаете. Завтра в десять ноль-ноль прибыть ко мне в каюту для сдачи зачёта по дисциплинарному уставу. А пока свободны.

— Есть, — сдерживая возмущение, произнёс Лёва, неуклюже повернулся через левое плечо и побрёл в ПЭЖ.

— Вот так-то лучше, — самодовольно заметил Свистунов.

— Какие впечатления от встречи с руководством? — спросил Яшкина механик.

— Если одним словом, то неизгладимые, а если подробнее, то понижен в воинском звании до лейтенанта, отстранён от должности, оскорблён и унижен.

— Не драматизируй, всё не так безнадежно, — посочувствовал Ягудин.

— Я не драматизирую, Василий Васильевич, я иронизирую.

— Здоровая реакция. Начальники приходят и уходят, но никто из них за нас работу не выполнит, а нам надо корабль на Камчатку привести и матросиков сохранить. Вот о чём голова должна болеть! Давай, на вахту заступай, сменишься — и в люлю.

— Спасибо за заботу, только мне надо ещё дисциплинарный устав почитать, Милейший зачёт принимать будет, придётся меня опять подменять.

— Устав дело хорошее, особенно ежели перед сном. Желаю удачи, — улыбнулся механик.

Остаток вахты прошёл спокойно. Постепенно настроение у Яшкина от мрачного, угнетённого, безвыходного сменилось спокойным, философским. Не отвлекаясь от службы, он мысленно порассуждал о превратностях судьбы, о быстротечности времени и о том, что всё плохое, как и всё хорошее, когда-нибудь кончается. Сменившись с вахты, Лёва заглянул в кают-компанию, попил чайку с сухарями, в каюте взял с полки устав, полистал и со словами “Утро вечера мудренее” положил его под подушку и крепко заснул. Приснилось ему, что он важно расхаживает по мостику, заложив руки за спину. Перед ним, виновато опустив голову, стоит Свистунов, которому Лёва объясняет настоятельную необходимость знания дисциплинарного устава. После каждого произнесённого Лёвой слова Свистунов звонко щёлкает каблуками и громко произносит: “Виноват! Есть! Так точно!” Потом в ходовой рубке звонит телефон. Лёва прерывает воспитательный процесс, берёт трубку. На проводе министр обороны, он просит простить Свистунова, не понижать его в воинском звании. Лёва благородно соглашается и объявляет об этом Свистунову.

Чудесный, прямо-таки пророческий сон не дал досмотреть резкий звонок корабельного телефона. В трубке прозвучал уже голос не министра обороны, а Громобоева:

— Подъём! Корабельное время шесть часов ноль-ноль минут.

Лёва потянулся, не вставая с койки, изобразил зарядку, посмотрел в зеркало:

— Кого-то вы, молодой человек, мне напоминаете? Вспомнил — гладиатора, идущего на смерть. Ну, смерть вам сегодня точно не грозит, а вот предстоящие испытания необходимо встретить достойно.

За пять минут до назначенного времени Яшкин, чисто выбритый, наглаженный, вкусно пахнущий, поднимался по трапу, ведущему в командирский коридор. Из флагманской каюты слышался недовольный голос Свистунова:

— Неужели на вашем корабле нет ни одного офицера, который бы интересовался не только службой и женщинами, но и такой интеллектуальной игрой, как шахматы?

— Обижаете, Геннадий Севастьянович, многие увлекаются, в том числе и ваш покорный слуга.

— Я имею в виду не любителей передвигать фигуры, а шахматистов.

— Поищем, Геннадий Севастьянович.

— Будьте любезны. Сделайте одолжение.

Дверь каюты распахнулась, и командир, не заметив Яшкина, наткнулся на него.

— Ты-то чего под ногами путаешься, я тебя не вызывал?

— Мною, товарищ командир, более высокое начальство обеспокоилось.

— Значит, заслужил, заходи, коли вызывали.

Свистунов сидел в кресле, на столе — шахматная доска. По расположению фигур Яшкин сразу уловил, что командир перехода пытается разыграть турецкий гамбит — несложное, в общем-то, начало в шахматных партиях, а это, в свою очередь, свидетельствовало, что бравый капитан I ранга не крупный специалист, хотя, может быть, таковым себя и считает.

— Разрешите сделать ход за белых.

— Вам не кажется, что вы излишне самонадеянны: с трюмными делами не справились — с шахматными тем более.

— Это мой последний шанс хоть как-то реабилитироваться.

— Напрасный труд, а впрочем, попробуйте, и учтите: я в серьёзных турнирах имел честь участвовать.

— Это меня не пугает, — ответил Лёва и начал партию.

Вскоре он убедился, что может легко обыграть грозного начальника, однако, всегда прямолинейный и откровенный, Яшкин решил схитрить и использовать шахматы как средство достижения только что возникшего у него грандиозного плана. “В конце концов, — оправдывался он, — не зря говорят, что для достижения цели все средства хороши. Я не для себя стараюсь, для общего дела”. Он начал подыгрывать противнику и свёл партию вничью. Свистунов подвоха не заметил.

— Мне кажется, я ненамного ошибся в своём предположении о вашем уровне подготовки, но для более точного диагноза даю вам ещё одну возможность, — самоуверенно заявил он.

— Цыплят по осени считают, — ответил Яшкин.

— Не зарывайтесь, молодой человек, — предупредил Свистунов и добавил уже не так строго:

— Садитесь, в ногах правды нет.

Вторую партию Лёва выиграл легко и быстро, поставив начальнику мат на пятнадцатом ходу. Свистунов сначала долго, оторопело глядел на доску, силясь понять причину столь стремительного поражения, потом на Яшкина. Не может быть, чтобы какой-то чумазый трюмный запросто обыграл его, всевластного и всезнающего капитана I ранга, комбрига. Что-то тут не так.

— Я думаю — это случайность. Предлагаю ещё партию, товарищ старший лейтенант.

— Согласен, — коротко ответил Лёва и подумал: “Если я вновь старший лейтенант, то, наверное, тактика выбрана правильно”.

Следующую партию Яшкин проиграл, предварительно заставив понервничать и попотеть Свистунова. Тот снисходительно похлопал Лёву по плечу:

— Как всегда, я оказался прав. В утешение могу сказать, что вы достойный соперник, и мы продолжим завтра.

— А как же устав?

— Забудьте, ваша главная задача — шахматы, ждите, я вас вызову, до свидания.

Лёва поступал со Свистуновым, как кот с мышью: то выигрывал, и начальник мрачнел, обижался, постукивал костяшками пальцев по столу, то проигрывал, и командир перехода радовался, словно ребёнок, которому подарили игрушку. В перерывах между встречами Свистунов усиленно изучал теорию шахмат, разыгрывал этюды и композиции, решал задачи. Чувствовалось, что самолюбие его сильно задето, и он во что бы то ни стало хочет доказать и себе, и экипажу, что и в шахматах он лучший.

На корабле вздохнули свободно. Тишина и спокойствие. Ни тебе ежедневных проверок, ни разносов. Старпом, пострадавший больше всех, лично поблагодарил Яшкина и крепко пожал ему руку.

За поединком следили все офицеры. Сведения о результатах собирали по крупницам, засыпали Яшкина вопросами, просили, умоляли:

— Расскажи!

Но Лёва молчал и объяснял своё молчание одной фразой:

— Поймите, это в наших общих интересах.

Лёва почувствовал, как постепенно меняется к нему отношение Свистунова. Через неделю командир перехода разрешил обращаться к нему по имени-отчеству и сам стал называть Яшкина Львом Михайловичем, правда, при этом предупредил, что такое обращение допустимо только в каюте. В перерыве между партиями они пили чай, беседовали на различные, не связанные со службой темы. При близком знакомстве Свистунов совсем не походил на “Милейшего”. Он оказался интересным собеседником, в совершенстве владел английским, свободно ориентировался в современной литературе и театре. Лёва проникался к начальнику всё большей симпатией и поэтому медлил с реализацией коварного замысла. Вместе с тем, он понимал, что только сильное потрясение поможет Свистунову пересмотреть его отношение к подчинённым, заставит сомневаться в своей исключительности.

Вскоре произошло событие, которое убедило Яшкина, что медлить нельзя. Командир перехода учинил очередной разнос старпому за то, что тот нарушил методику проведения занятия с вахтенными офицерами. Сделал это уничижительно вежливо в присутствии подчинённых. Старпом в сердцах написал рапорт об увольнении из рядов Вооружённых сил и передал его командиру корабля. В рапорте была указана причина: постоянные конфликты с командиром перехода, капитаном первого ранга Свистуновым Г. В.

Мачеев попытался разрулить ситуацию, да не тут-то было — старпом стоял на своём:

— Поскольку командира перехода заменить нельзя — убирайте меня.

Свистунов угостил Лёву чаем, собственноручно заваренным по особому рецепту, после чего они коротко поговорили о погоде, о предстоящем заходе в порт Аден, где неоднократно бывал Свистунов. Яшкин делал вид, что внимательно слушает: кивал, соглашался, а внутри у него бушевали страсти. Лёва уже и не надеялся повлиять на командира перехода, хотя бы задеть его за живое, сбить спесь, посмотреть, как он понервничает, попереживает. Проиграв в первой партии, Свистунов почесал затылок и задумчиво произнёс:

— Однако, Лев Михайлович, вы сегодня в ударе, но и мы не лыком шиты.

После трёх подряд сокрушительных поражений он внимательно, оценивающе посмотрел на Яшкина, словно видел его впервые, и без обычной иронии и ноток превосходства обронил:

— Предлагаю продолжить.

Лёва молча стал расставлять фигуры на доске. Результат следующих трёх партий оказался столь же разгромным. Свистунов долго разглядывал оставшиеся на доске фигуры, словно искал среди них виновного, затем повертел в руке поверженного короля и, наконец, произнёс:

— До завтра, товарищ старший лейтенант.

Вот так. Уже не Лев Михайлович...

Весь день командир перехода не выходил из каюты, никого не вызывал, ни с кем не общался, а когда к нему попытался попасть командир корабля с докладом за сутки, не принял и его, сославшись на занятость.

Старпом охарактеризовал сложившуюся обстановку, как затишье перед бурей. Офицеры занервничали. С какого направления налетит шквал? По кому ударит? Кто будет жертвой? Неизвестность томила, пугала, выматывала хуже качки.

Только Лёва Яшкин являл образец спокойствия и хладнокровия. Но это было внешнее, показное. Лёва попытался, как в шахматной партии, просчитать возможные варианты поведения Свистунова и не смог — не хватало информации. Одно он знал твёрдо: следующий ход — за Милейшим, поэтому остаётся ждать и надеяться на лучшее.

Утром Лёва доложил Свистунову строго по уставу:

— Товарищ капитан I ранга, старший лейтенант Яшкин по вашему приказанию прибыл.

— Не надо так официально, — поморщился Свистунов, — проходите, присаживайтесь, чаю не желаете?

— Никак нет, не желаю. Какие будут дальнейшие приказания? — вытянулся по стойке смирно Лёва.

— Кончайте ваньку валять, нам необходимо серьёзно поговорить, — устало и грустно произнёс Милейший.

— А как же шахматы? — не сдавался Яшкин.

— Шахматы подождут, я хочу понять, какую игру вы со мной затеяли и для чего?

— Никакой иной, кроме шахматной, — не сдавался Лёва.

— Я полагал, что вы обо мне более высокого мнения. Неужели я похож на круглого идиота? Зачем вы меня обманывали: вначале прикидывались неумехой, а затем тыкали носом, как котёнка? Чтобы показать мою несостоятельность? Унизить? Отомстить? Но это можно было сделать порядочнее. Я прошу вас, Лев Михайлович, расскажите всю правду, поверьте, для меня это имеет принципиальное значение.

“Неужели проняло?” — с облегчением и некоторой радостью подумал Лёва и только сейчас понял, что ему очень хочется ошибиться в своем негативном восприятии Свистунова.

— Я согласен, нам необходимо объясниться, задавайте вопросы, я постараюсь честно ответить. — Яшкин удобно расположился в кресле.

— Собственно, я их уже задал.

— Ну, что же, объяснение будет несколько сумбурным, не перебивайте меня, пожалуйста, дайте выговориться. Хорошо?

Милейший кивнул в знак согласия. Лёва глубоко вдохнул, точно собирался нырнуть под воду, и начал:

— В отличие от многих наших лейтенантов, которые от вас без ума, я не воспринимаю вас как командира, не укладываюсь вы в моё представление о том, каким должен быть руководитель. Офицеров вы за людей не считаете, откровенно унижаете, пользуетесь тем, что они вам ответить не могут. В шахматы я играю с пяти лет. Отец научил. Он же отвёл меня в шахматный клуб. Там я вырос до кандидата в мастера. Тренер считал меня перспективным, прочил блестящую шахматную карьеру, а я выбрал карьеру корабельного инженера. Конечно, я сразу понял, что легко могу вас обыграть, но решил воспользоваться случаем и устроить вам встряску. Не в отместку, просто чтобы вы почувствовали, каково находиться в положении, когда ты не в состоянии повлиять на ситуацию, когда с тобой могут сделать всё, что угодно. Но наши встречи, беседы открыли для меня совсем другого командира перехода. Я попал под ваше обаяние и готов был отказаться от своего коварного замысла — по наивности надеялся, что смогу хоть капельку, хоть чуть-чуть повлиять на вас. Случай со старпомом показал, что в главном вы неизменны. Тогда я и устроил шахматный погром. Вы не выходите из каюты, ни с кем не общаетесь. В чём причина, что вы задумали? Для меня это тайна, как и для остальных офицеров. Вот, собственно, и всё, товарищ капитан I ранга.

— Благодарю. Я подумаю над вашими словами, видно, мне предстоит ещё одна бессонная ночь, только вы нос не задирайте, победителем себя не считайте, матч не окончен, игра продолжается.

Лёва в делах и заботах не заметил, как пролетели ещё одни сутки. Мысли о Свистунове нет-нет да и посещали его умную голову, но не навязчиво, мимоходом. Необычным было то, что сегодня он не общался с командиром перехода. Однако Яшкина это не расстраивало и не огорчало.

Лёва поудобнее пристраивался на койке, чтобы вздремнуть часок перед вахтой, когда его разыскал вестовой и передал приказание прибыть к Милейшему.

Мешки под глазами, набрякшие веки, небритые щёки, вялые, неуверенные движения разительно изменили внешность всегда бравого, уверенного в себе человека. Но Свистунов бодрился, пытался шутить:

— Я полагаю, вы не откажетесь выпить чашку чая с любимым начальником? Тем более, если это его последняя просьба.

— С большим удовольствием, — ответил Яшкин и, пока Милейший хозяйничал у столика, размышлял, что означают его слова: признание поражения, каштуляцию или, наоборот, передышку перед генеральным сражением.

— Превосходный чай, Геннадий Севастьянович. — Лёва рискнул обратиться к Свистунову по имени-отчеству и теперь ждал, какая последует ре-

акция. Капитан I ранга и бровью не повёл, начал подробно расспрашивать о родителях, о семье. Затем попросил рассказать о том, насколько надёжно работает техника, есть ли проблемы, нужна ли помощь. Поговорили и о других несущественных мелочах.

Яшкин ждал, когда же закончится *развёртывание фигур* и Милейший приступит к главному, ради чего, собственно, он и пригласил старшего лейтенанта к себе. Но беседа утасла, оба сидели, молчали и помешивали ложками в стаканах с остывшим чаем. Лёва прервал затянувшуюся паузу:

— Несмотря ни на что, Геннадий Севастьянович, я признателен вам за наши встречи в такой вот неформальной обстановке. Я по молодости и в силу характера пользовался только двумя красками: чёрной и белой, без полутонов, теперь понял: в жизни всё намного ярче и сложнее.

— Спасибо и вам, мой юный друг, за откровенность, она как лекарство: горькое и в ряде случаев необходимое. Признаться, милейший, многие годы я не испытывал сопротивления и критики со стороны подчинённых, а начальников интересовал только результат. Я самолюбив, привык быть первым и всегда добивался поставленных целей. Очевидно, вам удалось поколебать некоторые мои служебные стереотипы, что само по себе удивительно. В чём-то вы, видимо, правы. Однако от понимания до практических шагов расстояние огромное, некоторым личностям жизни не хватает, чтобы эту дистанцию преодолеть. В моём случае, полагаю, не всё так безнадежно. Для начала мне есть над чем поразмышлять. Надеюсь, вы осознаёте, что подобные признания я делаю нечасто и уж тем более не публично. Каяться и извиняться не привык — характер не тот. И это, конечно, не капитуляция. Не исключаю, что когда-нибудь позже мы вернёмся к нашему разговору. А пока предлагаю, по мере возможности, не во вред службе продолжить общение за шахматным столом. Не возражаете?

Яшкин не возражал:

— Ходите, Геннадий Севастьянович, сегодня вы играете белыми.

ВАЛЕРИЙ ХАТЮШИН



ПО ОПАВШИМ ЛИСТЬЯМ...

СОЛНЦЕ РУССКИХ

Время русских ещё не пришло,
наше солнце пока не взошло.
Мы живём в полуночной стране,
день далекий мы видим во сне.

Слишком плотно объяла нас тьма,
нам родная страна — как тюрьма.
Людям наши слова не слышны,
наши слёзы во тьме не важны.

Пусть безумен в жестокости враг,
точим мы безысходность и мрак.
И в глазах, где отчаянья нет,
зреет грозный спасительный свет.

Мало нас, кто упорен и смел,
кто глухое безделье презрел.
Мы готовим великий восход,
наше солнце без нас не взойдёт.

ХАТЮШИН Валерий Васильевич родился 13 ноября 1948 года в г. Ногинске (Богородске) Московской обл. Там же закончил среднюю школу. Служил в ракетных войсках в Сибири. Работал на строительстве газопровода "Север-Центр", строил КамАЗ. Первая книга стихотворений "Быть человеком на Земле" вышла в 1982 году. С 1986 г. член Союза писателей СССР и России. Более двадцати лет Валерий Хатюшин отдал работе в журнале "Молодая гвардия". В настоящее время он — главный редактор этого русского национально-патриотического издания. Лауреат многих литературных премий.

Гражданственность исходит из любви.
Когда я пел о ясном поднебесье,
о море, звёздах и о русском лесе, —
в моей груди звенели соловьи.

Гражданственность исходит из любви.
Сибирь и Север я познал в работе,
душа сливалась со страной на взлёте,
кипели жизнь и страсть в моей крови.

Гражданственность исходит из любви.
И я стоял на русских баррикадах,
когда народ ввергали в бездну ада
и телесвора выла: “Бей, дави!”

Гражданственность исходит из любви.
Нет, мы в борьбе своей не проиграли,
хоть отступали и друзей теряли, —
грядет победа в праведной нови.

Гражданственность исходит из любви.
Да, без любви любое дело — тщетно,
слова — мертвы, молитва — безответна,
каких святых на помощь ни зови.
Гражданственность исходит из любви.

В РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ

Вместо речки — ручеёк,
продан отчий дом.
И в окошке огонёк
скрыт глубоким сном.

Всё чужое: дом не тот,
и не тот забор,
пёс рычащий у ворот
и недобрый взор.

Здесь ли я играл в лапту
и гонял гусей?
Здесь ли высмотрел мечту
жизни всей своей?

Ухожу, и боль тоски
сердце бередит,
словно вслед из-под руки
бабушка глядит...

НА ПЕРЕЛОМЕ

Памяти Николая Кузина

Моё уходит поколение,
друзья уходят навсегда —
надежд познавшие крушеньё
в несносно подлые года.

Ожгло предательское время
огнём коварства их сердца,
оно не совместимо с теми,
кто верен правде до конца.
Друзей высокая дорога
откроет времени печаль
другим годам... Еще немного —
мы все уйдём в глухую даль,
последние, кто в поколение
хранит отцов великий дух
и в ком Победы отраженье
таят глаза, душа и слух,
кто чуда ждал в растленном Доме,
жить не желая без борьбы,
служа любви на переломе
России, мира и судьбы.

* * *

Пасмурный вечер, тяжёлые тучи,
трепет листвы на кустах...
Нет, мне уже никогда не наскучит
серая муть в небесах.
Ветер и дождь в среднерусской природе
грустному сердцу нужней,
в этой холодной ненастной погоде
легче ему и вольней.
Взгляд мой оживший спокоен и светел.
Сладостно дышится мне.
Скоро и сам я, как дождь и как ветер,
буду в родной стороне...

* * *

Покуда мать жива —
ты не один на свете
и есть тебе к кому
приникнуть в горький час.
Пускай верны тебе
друзья, жена и дети,
но в жизни только мать
одна лишь не предаст.

Когда уходит мать,
душевного разлада
и с миром, и с собой
уже не избежать.
Слабеет свет в пути
и рушится преграда
меж смертью и тобой,
когда уходит мать.

* * *

Помню сибирский смертельный мороз,
помню тайги комариновую пытку...
Там возмужал я и духом возрос,
гордость и горечь впитав до избытку.

В сердце осталась большая страна:
Мышкин, Тернополь, Елабуга, Тарту...
Возле костра трепетала струна,
волжская нежно плескалась волна...
Жить безоглядно хватало азарту.

Крым, Коктебель, голубая вода...
Рижский залив, штормовая стихия...
Помню то светлое время, когда
голосом Зыкиной пела Россия...

ЖИЗНЬ

Я жил на белом свете
во времена лихие,
родившийся для смерти,
как многие другие.

Пусть счастливым не был,
но был храним судьбою.
Что я искал под небом?
О чём мечтал с тоскою?

Искал любви высокой,
мечтал о русской силе
и с горечью глубокой
я думал о России.

В стихи, в дела и в мысли
уйдут земные годы,
на звёздном коромысле
души сомкнутся своды.

С бытийной круговерти
сойду без шумной тризны.
Родившийся для смерти,
умру для вечной жизни.

ДМИТРИЙ ИГУМНОВ



ЛИХИЕ ГОДЫ

КАРТИНКИ С НАТУРЫ

Про годы правления Ельцина часто говорят: “Лихие 90-е”. Но что означает слово “лихие”? В нашем языке оно имеет два почти противоположных значения. В словарях русского языка находим: “Лихой — приносящий беду”, а также “лихой — молодецкий, удалой”. Так какими были эти годы, и какими они остались в памяти народной?

Развал великой страны, обнищание большинства населения, упадок производства... Это с одной стороны. Но с другой — свобода слова! И не только слова, но и действия. Свобода поведения людей, которая зачастую превращалась во вседозволенность, в безнаказанность.

...Василий Петрович Внуков впоследствии часто вспоминал тот день. День, который потряс его воображение и изменил взгляды на жизнь до самого основания...

Он, наконец, решил сходить на митинг. В те годы разнообразные митинги проходили ежедневно и повсеместно. Часто показывали их по телевидению. Почти все знакомые Василию Петровичу люди уже не раз побывали на этих демократических собраниях. А он не присутствовал там ни разу! Даже стыдно. Вот он и решил.

Вокруг небольшого деревянного возвышения, имитирующего трибуну, толпился народ: несколько десятков человек разного пола и возраста. На самой трибуне стоял ещё сравнительно молодой человек вполне приличной внешности. Но что он говорил?

ИГУМНОВ Дмитрий Васильевич родился в Москве в 1937 году. Служил на Балтийском флоте. Окончил Всесоюзный заочный энергетический институт. В настоящее время преподаватель Московского института радиотехники, электроники и автоматики. Автор книги прозы “Рыжий”, “Кукуй”. Живёт в Москве.

Сначала Василий Петрович просто не поверил ушам своим. Оказывается, немецкие фашисты были прекрасными добрыми людьми, стремящимися навести цивилизованный порядок в нашей варварской стране. Они всеми силами, даже ценой своей жизни хотели вразумить нас жить по-человечески. А вот мы — дураки и негодяи — подвергли разрушению их душеспасительные замыслы и даже уничтожили справедливейшую европейскую цивилизацию.

Послушав какое-то время этот бред, Василий Петрович попытался выкрикнуть своё возмущение оратору. Но никак не получалось — от крайнего волнения голос пропал. Однако потом, спустя несколько минут, он всё же издал звуки, похожие на вой:

— Ты что несёшь, негодяй!?

Этот возглас возмущения почти утонул в агрессивном ропоте присутствующих на митинге вольных слушателей:

— Не мешайте людям узнавать правду!

— Граждане, ведь это провокатор!

— Вали отсюда, пока цел, “совок” проклятый!

Василий Петрович продолжал открывать и закрывать рот, но уже беззвучно. Получив несколько ударов разной силы в бок от лектей “демократической общественности”, он сумел выбраться из одичавшей толпы. В потрясённом состоянии “совок” поплёлся по направлению к своему дому.

Неясные обрывки мыслей продолжали болтаться в очумевшей голове. Василий Петрович никак не мог остановить вихри своих несвязных заключений и, как заезженная пластинка, всё время повторял: “Бред какой-то...”.

Эту фразу выдохнул он и на пороге своей квартиры.

— Что с тобой стряслось? — участливо спросила жена. — На тебе лица нет!

Сбивчиво и непоследовательно Василий Петрович пересказал ей всё, услышанное на митинге.

— Тебе это в новинку? — с грустью в голосе спросила она. — Вот почти-тай “Московский комсомолец”. С работы принесла. Взяла у девчонок на время.

В одной из статей этой газеты описывалась просто идеалистическая картина жизни нашей страны, да и всей последующей истории в случае, если бы Советский Союз потерпел поражение в Великой Отечественной войне.

Реакция Василия Петровича на эту вакханалию слов оказалась уже много сдержанней — сказались подготовка, полученная от митинговых страстей. Да, он и теперь отказывался понимать, как удавалось кучке негодяев так оболванивать народ? Ведь это народ — герой, народ — освободитель Европы от фашистского ига. И даже тогда, в лихие годы он продолжал непоколебимо верить, что это временное помешательство пройдёт. Причём пройдёт скоро! И как же тогда будет интересно вновь прочитать эту гнусную статью!

— Могу я оставить эту газету у себя? — обратился он к жене.

— Нет, конечно. Я и так упростила дать мне её почитать на выходные дни. Завтра должна вернуть.

Василий Петрович, понимая бесполезность уговоров, не стал пререкаться с женой. Однако сам тихонечко и аккуратно вырезал из газеты маленький кусочек текста, который буквально воспламенил его возмущённое воображение: “Лучше бы фашистская Германия в 1945-м победила СССР. А ещё бы лучше — в 1941-м!” Эту маленькую вырезку он сохранил и до наших дней. А тогда, в *лихие годы*, помимо отстаивания исторической правды, им овладевало и желание посмотреть, с каким стыдом по прошествии времени будут читать эти вражеские строки его сограждане.

Всё увиденное и услышанное в тот воскресный день заставило Василия Петровича собрать свою волю в кулак. Заставило прямо посмотреть и с горечью принять суровую действительность лихолетья.

Поскольку в институте, где он работал, даже маленькую зарплату не выдавали по несколько месяцев, то пришлось устроиться на дополнительную работу — сторожем на автостоянку. Утром следующего дня Василий Петрович должен был заступить на очередное дежурство. Крайне возбуждённое состояние воскресного дня никак не подходило для внимательной и бдительной охраны автомашин на стоянке в течение следующих бессонных суток. Поэтому обязательно требовалось успокоиться и максимально отдохнуть.

— Пойду немного прогуляюсь. Подышу свежим воздухом.

— Иди, иди, успокойся. Ведь завтра с утра тебе заступать на дежурство, — участливо согласилась жена. — Только будь поосторожней. В овраге опять стреляют. Не подходи близко к прудам.

Дом, в котором жила семья Внуковых, располагался рядом с живописным широким оврагом. Особая привлекательность этого оврага состояла в присутствии в нём трёх небольших озёрков-прудов. Туда часто прилетали водоплавающие птицы — дикие утки, а иногда и чайки. В прудах водилась рыба. Так что на берегах почти постоянно сидели любители рыбной ловли с удочками. Раньше удавалось вылавливать карасей даже весьма впечатляющих размеров. Но со временем они почти выродились. Основная причина этого, похоже, состояла не столько в интенсивной ловле, сколько в появлении сорных хищных рыбок ротанов. Они-то и поели всю молодь, тем самым уничтожив былое разнообразие жизни водоёмов.

Василий Петрович не был любителем рыбной ловли, но горестно наблюдал, как вырождается природа в полюбившемся ему овраге. С некоторых пор к нему стали часто приходиться сравнения ненасытных ротанов с хищниками-людьми, захватившими власть в стране.

Прогуливаясь тем вечером возле своего дома, он стремился не нарушать данное жене обещание и не подходил близко к краю оврага. Однако, естественно, обратил внимание на языки пламени горящих возле прудов костров, на крики пьяных людей и на выпыхивающую временами стрельбу.

Одно из зданий, находящихся на противоположной стороне оврага, занимало общежитие какого-то промышленного предприятия. Похоже, что несколько проживающих в нём молодых мужчин решили устроить себе своеобразный праздник. Сначала они застрелили несколько диких уток, прилетевших на пруды. Затем развели костры и стали готовить закуску из своей добычи. При этом буйно веселились и в больших дозах пили палёную водку. Постепенно лихое веселье стало сопровождаться нестройным хоровым пением, криками, драками, купанием в прудах, стрельбой из ружей...

Ранним утром следующего дня Василий Петрович, напив на себя старую поношенную одежку, отправился на суточное дежурство. И на этот раз, как обычно, до станции метро он пошёл пешком. Путь его традиционно проходил через овраг. Было приятно перед любой работой неспешно пройти по тропинке, пролегающей между зарослями деревьев и кустов с одной стороны и берегом пруда — с другой.

Не было ни малейшего ветерка. Утренняя тишина сопровождалась лёгким туманом, стелившимся по воде. На самом берегу пруда сидел дымящий папирсой пожилой рыбак и наблюдал за поплавком своей удочки. Вся его расслабленная поза указывала на особое спокойствие и безмятежность. Совсем рядом, метрах в двух от его поплавка плавало тело утопленника...

Те *лихие* годы прошли. И слава Богу! Но так ли безвозвратно прошли они?

ТОСЯ

Субботний вечер уже клонился к закату, а в комнате Вицинских продолжалось застолье. Голоса детей разных возрастов постепенно стали затихать, уступая место голосу отца — Антона Адамовича. Слегка захмелевший не столько от умеренной дозы спиртного, сколько от обилия съеденной пищи, глава семейства пел. Пел он самозабвенно, высоким тенором народные, а чаще — военные и послевоенные песни. Его жена, Мария Прохоровна, слегка подпевала мужу. Но подпевала она только до тех пор, пока его репертуар не переходил в “разгульную стадию”. Попутно замечу, что Мария Прохоровна с лаской всегда называла своего мужа Тосей, и никак иначе.

Коронной у Тоси была песня, которую он называл “офицерской”:

*Как одна моя каналья
Позволяла брать за талью.
Ну, а ниже — ни, ни, ни,
Даже Боже сохрани.*

В конце каждого куплета он брал очень высокую ноту и продолжитель-но держал её. Песня заканчивалась, и тенор вдруг начинал чихать. Этот процесс тоже протекал не совсем обычно: если уж Тося начинал чихать, то чихал долго, не менее минуты.

Такие празднества в семье Вицинских происходили регулярно — два раза в месяц, когда Тося приносил домой аванс или получку. Но время обильной трапезы заканчивалось, и многодетная семья погружалась в период очень скромного существования. Как правило, денег до следующей получки не хватало. Приходилось жить впроголодь, а то и совсем голодать. Это было ужасно, ведь голодали не только родители, но и дети. Сердобольные соседки, которые сами-то едва “дотягивали” до следующей получки, всё же старались хоть как-то подкормить младших Вицинских. Кто принесёт тарелку супа или каши, а кто и просто ломоть хлеба.

Большинство трудового народа тогда, в послевоенные годы жило очень скромно. Заработной платы едва хватало, чтобы дожить от получки до пол-лучки. Но люди в то время были какими-то другими, не такими, как сейчас. Более человечными, что ли.

Соседи и особенно соседки осуждали сложившийся у Вицинских образ жизни и, наверное, правильно, что осуждали. У многих из них недостаток был ещё более скромным, но они всё же не голодали, а умели равномерно распределять свои расходы.

Дом был построен ещё до революции фабрикантом Михайловым для своей прислуги. Одну из комнат в нём с давних пор занимал любимый кучер барина — отец Марии Прохоровны. Со временем, после смерти отца, осталась там жить его единственная дочь со своим Тосей и детьми. Когда в этом доме пришлось побывать мне, то в нём по большей части проживали люди, уже никак не связанные с когда-то населявшими его слугами фабриканта.

В одной из угловых комнат бывшего владения Михайлова жила моя невеста Валя со своей матерью Александрой Ивановой, которую соседи, в зависимости от своего возраста, звали или тётей Шурой, или просто Шурой. В то время вечерами я учился в институте и поэтому почти постоянно носил с собой папку из кожзамениителя, в которой лежали всякие учебные принадлежности. Так вот, эта папка, а вернее, её обладатель буквально взбудоражили всё население дома. Почему-то Мария Прохоровна решила, что я являюсь следователем прокуратуры. Её просвещённое мнение единогласно поддержали все соседки и даже некоторые мужчины-соседи.

На общей кухне происходили своеобразные совещания: никак не удавалось убедительно ответить на вопрос: “Зачем к Шуре ходит следователь?” Действительно, Александра Ивановна работала на машиностроительном заводе, а её дочь — в “почтовом ящике”. Следовательно, ни одна, ни другая не были связаны с торговлей, то есть со сферой, где, по мнению тогдашнего населения нашей страны, и процветало воровство. Во время приготовления пищи обсуждались разные, порой почти невероятные варианты заинтересованности органов правопорядка в скромных советских труженицах. Но всё разрешилось в один момент, когда активная женская часть увидела в своём доме “следователя” без папки, но с цветами.

Со временем, познакомившись поближе с обитателями дома Михайлова, я узнал о них много нового и интересного. Оказывается, Антон Адамович раньше был кадровым офицером и служил в кавалерии. Вот значит, откуда в его репертуаре появилась “офицерская песня”. Но потом его вчистую комиссовали из-за какой-то странной болезни: он часто засыпал прямо в седле на лошади.

Как-то после очередного праздника у Вицинских я выразил Марии Прохоровне своё восхищение по поводу удивительного голоса её мужа.

— Уже не раз приглашали моего Тосю в Большой театр, — без тени смущения поведала она. — Но я не пустила.

— Почему?

— Пусть лучше будет возле меня.

Однако бывать возле своей жены тенору удавалось далеко не всегда. Большая семья требовала денег, так что приходилось ему подолгу задерживаться на работе, вернее, на работах. Помимо машиностроительного заво-

да — основного места трудоустройства, — Антон Адамович стремился подзаработать везде, где только появлялась возможность. Иногда он даже работал ночами. Приходил домой под утро: передохнёт пару часов и бежит на свой завод к началу утренней смены. Соседи про него так и говорили: “Вкальывает Тося до уюра”. А упором этим, наверно, являлся субботний вечер после полочки со всем полагающимся ритуалом.

У Вицинских росло шестеро детей, дальнейшая жизнь которых сложилась по-разному. Антон Адамович очень гордился своей старшей дочерью Зиной, которая и в школе, и в институте училась отлично. Да и потом всё складывалось у неё неплохо. “Наша Зиночка вышла замуж очень удачно”, — не раз приходилось слышать мне из уст Марии Прохоровны. Другие дети Вицинских, особенно сыновья, были далеко не так обласканы жизнью.

Мне недолго пришлось пребывать в том самобытном доме. Вскоре его сломали, и жильцы получили отдельные квартиры в новостройках на окраине города. Кого-то из бывших соседей поселили кучно, в одном новом доме, а кого-то — совсем в другом районе. Так, семья Вицинских получила квартиру в большом удалении от основного места переселения.

Уже спустя много лет мы с женой совершенно случайно встретили Антона Адамовича на автобусной остановке. Встреча оказалось радостной для всех нас. В разговоре выяснилось, что он до сих пор ещё работает на своём машиностроительном заводе.

— А почему вы, дядя Тося, не уходите на пенсию? — удивилась Валя.

— Да неудобно.

— Как? Почему неудобно?

— Ведь Брежнев постарше меня будет, а всё работает. И не просто работает, а руководит всей страной! Вот мне и неудобно в свои годы лодырничать.

— Ну, вы, дядя Тося, герой!

— Да ладно... Посудите сами: слесарить много проще, чем нести такую огромную ответственность перед всем народом...

Вот так, уже садясь в подъехавший автобус, закончил излагать свою оригинальную мысль этот вечный труженик.

После той памятной встречи ни мне, ни Вале уже было не суждено вновь свидеться с Антоном Адамовичем. Но его голос, его песни забыть было нельзя.

СИН ЧАО¹

Начинался новый учебный год. Начинался он и на созданном уже три года назад международном факультете. Честно говоря, этот факультет называть международным можно было лишь с большой натяжкой. Учились на нём в основном ребята из бывших союзных республик, причём в подавляющем большинстве своём по национальности русские. Привлекательность обучения в нашем университете для них определялась не только тогда ещё вполне приличным уровнем высшего образования, но и упрощённым получением российского гражданства после завершения учёбы.

Однако случались и исключения. Так, на студенческом потоке, в котором предназначалось вести занятия Василию Петровичу Внукову, было несколько представителей далёкого Вьетнама. Когда он узнал об этом, то мгновенно вспомнил очень давнюю ситуацию, в которой оказался по милости партийных руководителей. Он считал случившееся с ним не просто неприятностью, а самым настоящим оскорблением.

...Во Вьетнаме шла война. Мощная группировка американских войск никак не могла одолеть героически защищавшийся народ этой небольшой страны. Способствовала тому и международная помощь, получаемая в основном из Советского Союза и Китая. Наша страна помогала Вьетнаму в борьбе

¹ Здравствуйте (вьетн.).

с захватчиками и поставками вооружения, и гуманитарными грузами, и военными советниками. Работали под бомбежками американских эскадрилий и советские технические специалисты.

В “почтовый ящик”, где тогда работал Василий Петрович, пришёл сверху приказ: срочно подобрать хорошего специалиста для отправки во Вьетнам. Требования к кандидату оказались очень жёсткими: возраст — не старше сорока лет, отличное физическое состояние. Он должен был прекрасно разбираться в электронной элементной базе и быть знакомым с самолётным радиолокационным оборудованием. Кроме того, было желательно, чтобы этот специалист имел за плечами воинскую службу и практику работы на испытательных полигонах. Для успеха в поиске такого кандидата в “ящик” был направлен офицер органов безопасности.

Тщательный отбор кандидатов по заданным параметрам выявил лишь одного подходящего специалиста. Им оказался начальник лаборатории отдела применения Василий Петрович Внуков.

Отметим, что интерес к электронной начинке сбитых американских самолётов был одним из определяющих. Он раскрывал новые возможности для развития отечественной электронной промышленности. Следовательно, требовался высококвалифицированный специалист, способный и оценить уровень трофейной электроники, и дать рекомендации для копирования её лучших образцов. Это главное, а какие-то небольшие слабости его анкеты можно было и не учитывать.

Размышляя о кандидатуре Внукова, кагэбэшник пришёл к выводу, что это лучший вариант, что именно его и следует предложить в качестве основного варианта. Был, правда, один недостаток, причём весьма существенный: Василий Петрович не был членом КПСС. Предполагая реакцию членов комиссии по этому вопросу, офицер долго колебался. Но, будучи государственным человеком, он, прежде всего, болел за интересы страны и поэтому всё же принял решение отстаивать перед членами комиссии кандидатуру Внукова.

Вася стал готовиться к решающему собеседованию. Выучил он даже несколько вьетнамских слов. В доверительном разговоре со своим другом и коллегой Игорем Степановичем основной кандидат на поездку во Вьетнам поделился своими планами:

— Как предстану перед членами комиссии, так и поздороваюсь по-вьетнамски: “Син чао”.

— Ну, ну, — предчувствуя неладное, грустно ответил Игорь. И не ошибся: на первом же заседании просмотровая комиссия отстранила беспартийного специалиста от ответственной командировки во Вьетнам, причём это решение было принято в отсутствие кандидата — для большинства её членов и так всё было предельно ясно.

Игорь Степанович был необычайно активным и вездесущим человеком. Он умел добывать интересующую его информацию самыми разнообразными способами, даже не всегда законными. Вот и на этот раз, спустя какое-то время, он узнал, как развивались события на том заседании комиссии.

— Удивительно и приятно хотя бы то, что звучали разные мнения по твоей кандидатуре, — делился Игорь добытой информацией со своим другом. — Среди членов комиссии оказались и настоящие радетели интересов Родины, а не только старые маразматики. Они пытались доказать остальным, что именно тебя надо отправить во Вьетнам, что именно ты сможешь принести максимум пользы. Но, к сожалению, такие люди у нас почти всегда остаются в меньшинстве. В результате победило другое мнение. — Он немного помолчал, сомневаясь, рассказывать дальше или нет, но потом всё же решился: — Один престарелый придурок даже предположил, что беспартийный специалист может перебежать к американцам.

— Это же бред какой-то, — возмутился Вася. — Что они там, совсем охренели?

— Да, похоже на то...

— Значит, пусть будет дурак, но лишь бы коммунист? Так спокойнее?

— Да, Вася, так спокойнее. Никто тебя ругать не будет, а интересы Родины — по боку.

— Ну и ну...

— Только вот хочу тебя поправить: не коммунист, а член партии. Это разные понятия.

— ?!..

— Давай сейчас не будем об этом. Не хочется. Потом как-нибудь обсудим это в другой обстановке.

— Ладно, — согласился Вася. — Вот не пустили меня на стажировку в Японию. Это ещё можно понять: приоритет следует отдавать членам партии. Затем дважды зарубили поездку в ГДР. Это понять уже сложнее — ведь была острая производственная необходимость. Да, ладно. Но теперь? По-моему, это не просто безответственность, а самое настоящее предательство интересов страны. Ты не согласен?

Игорь молчал. Какое-то время молчал и Вася, но потом заговорил снова:

— Кого вместо меня послали?

— Олега Гудкова. Ты ведь его хорошо знаешь...

— Да, Олег не дурак. Даже очень не дурак. Но специалист-то очень узкого профиля. Кроме своих испытательных стендов он больше ни в чем не петрит.

— Зато член партии!

...До начала занятий оставалось ещё несколько минут. В ожидании звонка Василий Петрович не спеша бродил по коридору возле лекционной аудитории. Он старался, как обычно перед встречей со студентами, сосредоточиться на материале предстоящих занятий. Но не получалось: сознание уведило его на несколько десятилетий назад. Вспоминался разговор с незабвенным Игорем Степановичем об отличии понятий “коммунист” и “член партии”. Теперь-то он прекрасно понимал правоту своего друга. И не только теперь. Пожалуй, все стало абсолютно ясно уже в годы горбачёвской перестройки, когда члены коммунистической партии начали пачками “увольняться” из неё. Членство в партии перестало приносить дивиденды, и даже начались неприятности. При ельцинском режиме слова “коммунист” и “патриот” стали почти ругательствами. “А ведь раньше, в советские времена без членства в партии рассчитывать на продвижение по службе, да и вообще на приличную перспективу в любом деле практически было нельзя, — рассуждал про себя Василий Петрович. — В результате псевдокоммунистами становились люди, бесконечно далёкие от коммунистических идеалов. А какие ультракоммунистические речи произносили пробившиеся “наверх”, и как рушились карьеры беспартийных специалистов! Ну, а что говорить про высших руководителей страны? Разве нынче найдётся хотя бы один человек в здравом уме, считающий Горбачёва и Ельцина коммунистами? Если только пациент дурдома”.

Василий Петрович болезненно переживал развал нашей страны. Мучительно пытался понять истинные причины краха Советского Союза. И после долгих-долгих размышлений пришёл к однозначному выводу: хотя причин тому было несколько, но главная из них состояла в несоответствии формы содержанию. По форме вроде бы было коммунистическое государство, но во главе его стояли люди, не имевшие права называться коммунистами, а то и откровенные проходимцы. Даже антикоммунисты. И большинство, абсолютное большинство рядовых членов правящей коммунистической партии были просто её членами...

Прозвучал звонок, означающий начало занятий. Как по команде, невесёлые мысли быстро покинули сознание Василия Петровича. Он любил свою работу и был ответственным человеком. Но несмотря на огромный педагогический опыт, перед каждой первой встречей с новыми группами студентов всегда испытывал волнение. Хотя внешне и старался сохранить невозмутимость. Обычно это получалось.

Через несколько мгновений после звонка Василий Петрович вошёл в аудиторию. Приветствуя преподавателя, студенты встали со своих мест. Василий Петрович молча, делая привычный жест рукой, приглашающий студентов занять свои места, прошёл к кафедре.

С небольшим сопровождающим шумком большинство молодых людей выполнили это указание. Преподаватель положил свой портфель на стол у

доски и долгим взглядом обвёл всю аудиторию. В первых двух рядах продолжали стоять студенты-вьетнамцы. Они по-азиатски уважительно улыбались.

— Здравствуйте, товарищи! — По старой привычке Василий Петрович именно так продолжал обращаться к студентам. — Син чао! — Взгляд его был проничен и строг одновременно.

ЛУКА

В первые послереволюционные годы на самом пороге гражданской войны произошло событие странное и удивительное, из ряда вон выходящее: в лесу на Макарьевском болоте деревенские мужики нашли странного однорукого человека. Почти вплотную подступающий к околице заболоченный лес простирался за деревню до бесконечности. Никто не знал даже, где он кончается. Местные старики уверяли, что продолжается он аж до Белого моря. Потому было совсем непонятно, как этот человек мог появиться здесь посреди огромного болота. Ведь пройти туда могли только местные жители, да и то не все.

Крайне исхудавший — кожа да кости, — в грязных лохмотьях, найдёныш всё время что-то лопотал не по-русски, плакал и крестился, но не по-нашему, а слева направо.

Мужики привели его в деревню. Накормили, кое-как приодели. Нужно было решать, что с ним делать? По этому поводу на следующий день состоялся деревенский сход. Не только жалостливые русские бабы, но и мужики жалели пришельца. Лишь одна старуха — местная колдунья — пыталась убедить односельчан, что этот инородец и иноверец принесёт им горе. Но её никто не послушал — мало ли что кликушествует старая карга... В общем, поговорили, повздыхали и порешили оставить его в деревне.

Из произносимой одноруким найдёнышем тарабарщины удалось лишь узнать, что зовут его не то Лукасом, не то Лукашом, а может, и несколько иначе, но похоже. Потому в русском варианте ему подошло имя Лука. Так впоследствии и стали его звать. Но узнать про прошлое Луки не получилось ни тогда, ни потом. Даже спустя многие годы он никому не открыл своей тайны. В народе говорили разное, но никто доподлинно ничего не знал. Вопросы: что за человек Лука? Какого он рода-племени? Как оказался в заболоченном лесу? Так и остались безответными вопросами.

На том же деревенском сходе было решено приставить Луку в помощники к пастуху Ёгору “для прохождения практики”. Сам же Ёгор часто запивал, да и вообще требовал большего вознаграждения за свою работу. Грозился уйти в другую деревню. Вот и посчитали, что пусть Лука пока пообживётся, а уж потом и найдёт себе подходящее занятие. Кроме того, установили очередность крестьянских дворов, в которых, меняясь по дню, будет жить Лука в качестве внештатного едока. Так и порешили.

Время шло. Лука прижился в деревне. После ухода Ёгора он стал основным пастухом. А когда наступила зима, ходил по дворам, выполняя самую разную крестьянскую работу. Несмотря на свою однорукость, он оказался на редкость ловким, жилистым и хватким работником. Не раз и не два случалось, что даже местные мужики приходили посмотреть, как здорово и споро управляется Лука одной рукой. Могло показаться, что любая, даже самая тяжёлая работа доставляла ему радость. Одной рукой он дрова колот, и коровник убирал, и стожки сена перекидывал играючи...

Постепенно, без каких-либо знаковых событий Лука становился одним из самых уважаемых жителей деревни. Авторитет его продолжал неуклонно укрепляться. Не знаю, как Луке удалось получить долгожданный документ, подтверждающий законность проживания в приютившей его деревне. В той заверенной печатью справке говорилось, что он — Лука Мастернак — является самым что ни есть местным крестьянином. Вскоре после такого официального признания его статуса Лука женился. Примечательно, что его женой стала первая во всей округе красавица, которую с тех пор односельчане стали звать уважительно Луковной. Попутно замечу, что о своём прошлом Лука ничего не рассказал даже жене.

Уже много лет спустя мне удалось застать в живых эту бывшую красавицу. До сих пор вспоминаю Луковну в образе древней старухи, вечно полупьяной, с шамкающим беззубым ртом. При любой погоде ходила она по деревне в старых резиновых сапогах, надетых на босые кривые ноги.

За совместную жизнь Луки и Луковны родились у них два сына и дочь. Когда дети выросли, то уехали из деревни кто куда. Местные старухи рассказывали мне, что дочь Луковны иногда проведывает мать, хотя и очень редко. А вот про её сыновей никто ничего сказать не мог — куда-то сгинули. И всё.

Когда в стране началась коллективизация, то первым и постоянным председателем местного колхоза практически единогласно избрали Луку. К тому времени его авторитет в деревне стал непререкаемым. Да, найдёныш Лука оказался незаурядной личностью и на своей властной должности буквально расцвел. Его ум, рачительность и организаторский талант вместе с жёстким характером оказались очень кстати. Особенно запомнилось, как проявил себя Лука в годы Великой Отечественной войны.

Колхоз под его диктатом работал на пределе сил. Председатель выжимал из крестьян последние соки. Наказания для нерадивых работников были суровыми, вплоть до применения физической силы. А бить своей единственной рукой Лука умел мастерами. После встречи с его косяклявым кулаком долго сохранялась отметина — “клеймо Луки”. Бил председатель не только действительно лодырей, но и несчастных измотанных баб, и полуголодных подростков. Всех и всегда понуждал работать на износ. Зато план сдачи сельхозпродукции колхозом государству выполнялся всегда.

После окончания войны труд Луки был высоко оценён вручённым ему в Москве орденом. Однако вскоре после этого знаменательного события Лука куда-то подевался, пропал. Несколько дней односельчане находились в полном недоумении, пока мальчишки случайно не обнаружили в реке прибывший к берегу труп Луки. Испугавшись, они опрометью бросились в деревню, где сбивчиво, с ужасом рассказали о случившемся.

Пока эта новость распространилась по деревне, даже слегка обесудилась, пока была определена группа людей, которая пришла к месту ужасной ребячьей находки, тело орденоносца исчезло. Может, утонуло оно, а может, и унесло его течением реки. Так его и не нашли.

Споры о причине гибели Луки продолжались десятилетиями. Даже мне удалось поприусловствовать при вновь вспыхнувшем обсуждении этого давнишнего события. Одни сельчане уверенно считали, что Луку убили смертельно обиженные на него люди. Это выглядело правдоподобным, поскольку беспощадный председатель врагов себе нажил много, даже очень. Но была и другая заслуживающая доверия версия: окончательно обрусевший Лука просто утонул по пьянке.

— Пить он здорово начал опосля войны, — уверяла одна знакомая мне старуха. — Может, грехи стали терзать душу его окаянную?

Как бы то ни было, ясным осталось одно: тело Луки, а стало быть, и он сам навечно “поселились” в реке. Вот так и оставил Лука у односельчан хорошую память о себе не только земную, но и речную.

С тех пор любое мало-мальски заметное происшествие на реке стало приписываться участию Луки. Если, например, уплывёт привязанная у берега лодка или порвётся рыбацья сеть, или даже заглохнет мотор — всё это козни Луки. Часто можно было услышать: “Лука балует” или “Лука озорует”. Ну, а при происшествиях с тяжёлыми последствиями — “Лука совсем залотовал”.

Время моего пребывания в деревне подходило к концу. Я договорился с одним из местных мужиков, чтобы он подвёз меня на своей моторке к ближайшему довольно большому селу. Туда через день приезжал рейсовый автобус.

Дальняя родственница моей жены, у которой я гостил, пошла проводить меня до лодки. Уже прощаясь, она внимательно посмотрела сначала на хмурое небо, а затем на потемневшую волнующуюся воду. Потом долго прислушивалась к плеску рыбы в соседней заводи и, наконец, изрекла:

— Ты малость остерегись. Ноне, в таку погоду, Лука шибко озорует.

ПОЭЗИЯ

ПОЭТИЧЕСКАЯ МОЗАИКА

НИКОЛАЙ КОНОВСКОЙ

ГДЕ МОЯ УКРАИНА?..

Неотступно, повинно
Клонит голову грусть:
Где моя Украина?..
Где моя Беларусь?..

Русь ли во поле чистом,
Я ль — без рук и без ног,
Вместе ль мы — кровавистый,
Обнажённый комок?

Здравствуй, птица-синица:
Тук да тук о стекло.
Что случилось — присниться
В страшном сне не могло.

На беду ль, на погибель,
Отвечай, кто не глух:
В чём наш истинный выбор?
Где наш воинский дух?

Где казацкая лава,
Славы ветреный миг?..
В древней киевской Лавре
Скажет ласковый мних:

Слушай голос небесный,
И Ему лишь внимай.
Над кровавою бездной
Есть неведомый край

Убиенных, невинных,
Край, куда я стремлюсь...
Там — твоя Украина.
Там — твоя Беларусь.

ПОЭТЫ

Олегу Кочеткову

Воздух ласков, почки клейки,
Одиноко в конуре, —
Значит, можно на скамейке
Покалякать во дворе.

Тут устроиться сумей-ка
Без разборок и понтов —
Друг чтоб был, была скамейка,
Чтобы не было ментов.

И склонились, как над светом,
Над есенинской строкой,
Два поэта, да “с приветом”,
Нищ один, и нищ другой.

Клён опавший, дух бродяжий,
Жизнь — была иль не была?
И не грех за это даже,
Ухнув, выпить из горла.

Не иссякли бы истоки
(Живы будем — не помрём!).
Спирт разбавленный, жестокий
Заедают сухарём.

Судьбы чарами содвинем
Не за злато, не за страх.
Слово Божие над ними,
А под ними — мгла и прах...

Песни спеты, спирта нету,
Растворились без следа
Два поэта, две кометы,
Залетевшие сюда.

ЗАПИСКИ

В мире, подверженном тленью,
Каюсь и снова грешу...
Ныне об упокоенье
В церковь записки пишу.

Жаль, что свидания редки,
Члены единой семьи,
Вы — досточтимые предки,
Други и братья мои.

...В этот же миг, как о близком,
Для неразрывную связь,
Тоже на небе в записки
Впишут меня, наклонясь.

г. Москва

ГЕННАДИЙ КОШЕЛЕВ

НА ВОКЗАЛЕ

Мужик обросший, подшофе немножко —
Не в книжке, не в кино, а наяву! —
Под сиплый звон обшарпанной гармошки
Хрипит про ту солдатскую вдову...

И оттого, что горькой песней тронут,
Мне видится, как ночкой иль в лучах
Тень той вдовы всё бродит по перрону
С тем синеньким платочком на плечах...

Всё ждёт бессонно, ждёт ЕГО — законного...
И через горечь номера перронного
Тень вдовушки-вдовы внушает публике,
Чтоб мужичку вовнутрь “ларца” картонного
Бросать она не жадничала рублики...

Чтоб он, сердешный, на сии деньжонки,
С “гастролей” воротившись в свой закут,
Взял да и выпил горькой самогонки —
За тех, кто ЖДЁТ, за тех, которых ЖДУТ!

г. Барнаул

ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВСКАЯ

ПАРАД ПОБЕДЫ

Май. Парад. Не сдерживаю слёзы:
Рада мощи ядерных систем.
Были русским символом берёзы —
Стал вечнозелёный “Тополь-М”.

Он красив небесно, яркий — страшен.
Им хранима Русская земля.
Стати вековой кремлёвских башен
Подражают эти “Тополя”.

Над парадным фронтом пылкой “рощи”
Просветлели даже небеса.
Красная гудит, ликует площадь,
Провожая “Тополи” в леса.

ВЫБОР

Кода входили в бухту крейсера,
когда отец легко сбежал по трапу,
моё взмывало детское “Ура!”,
цепляя коршуна за бронзовую лапу
на обелиске в честь Погибших кораблей...
Под штормовым сердцебиеньем флага
“Вальс Севастопольский” я пела всех слышней,
я подпевала морякам “Варяга”.
От мамы знала, помнящей войну, —
нам никогда не подпоёт Европа...
Царю тому на верность присягну,
кто возвратит России Севастополь!

г. Санкт-Петербург

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

ОСЕНЬ АДАМА

Посмотри-ка на листья: откуда желчь? —
Я в высокой траве видел хвост июля.
Отчего вдруг светило так стало жечь,
И пчела на цветок не летит из улья?

По утрам то развесит бельё туман,
То слегка задрожит и отпрянет хвоя.
Под ногой хрустнет ветка... Берёзы стан
Мне внезапно напомнит совсем другое...

Я впервые не верю своим глазам:
Стала красной листва на том самом древе...
Что за время нас всех ожидает там?
Что сказать мне теперь в утешение Еве?..

Он ведь так любит нас, Он — наш Отец.
Что ж прощения мы у Него не просим?..
И поэтому впредь для таких сердец
Лучше то, что потом назовётся “осень”.

Ангел встанет на страже, взмахнёт мечом,
За спиной догорит и погаснет лето.
Захлестнёт нас с тобой проливным дождём,
Редкий луч предварит в перелеске где-то.

С нами будет всегда этот летний сон.
Будет Сын насыщать нас Вином и Хлебом.
Так бродить нам с тобой до конца времён
По опавшей листве, под сентябрьским небом.

БЕГСТВО ИЗ СОДОМА

Мы сидели на кухне и пили чай,
За окном полыхали огни Содома.
Вдруг два ангела входят: “Давай, вставай
И скорее беги из родного дома!”

Я совсем растерялся: “Что брать с собой?
У меня тут иконы и книги, вещи...”
Не успел я опомниться — дом родной,
Город весь и сравнить уже было не с чем.

А ещё ведь была у меня жена:
Сеял в радость, но жал с маетой и болью.
Хоронить не пришлось: сразу памятник — на! —
Приходи к нему всяк за умом и солью.

Что мне проку теперь в дочерях моих:
Опозорен и наг пред людьми и Богом.
Поминая всех мёртвых, молю живых
Никогда не ходить по моим дорогам.

Пусть теперь я свободен, живу в горах,
Наблюдаю, как солнце над миром всходит,
Но скалистые тени о прежних днях
Между мной и Всевышним лукаво бродят.

г. Москва

ГАЛИНА ШВЕЦОВА

* * *

А по обе стороны дороги
Не раздолье, — сколько хватит глаз —
Полная надежды и тревоги
Память, исцеляющая нас.

Там, налево, речка за полями,
Тёмная, в кувшинках, гладь воды
Да высокий берег с тополями.
Домики под ними и сады.

Да ещё седьмое чудо света —
Разнотравье заливных лугов.
Капельками солнечного света
Лютики желтеют меж стогов.

Словно разноцветные салюты
Замерли над травами цветы.
Да и я совсем, как этот лютик,
От земли вкусивший теплоты.

Здесь моё коротенькое детство
Помнит каждый полевой цветок...
Скудное ли, скажете, наследство —
Памяти живительный глоток?!

г. Вологда

ЕГОР ПЕРЦЕВ

ДИВНЫЙ КРАЙ

Есть дивный край, где воздух пахнет хвоей,
Где шепчется зелёная тайга.
И, омывая берега волною,
Течёт неспешно тихая река.
А к водам безмятежного залива
Склоняют ветви дремлющие ивы.

Там, где осока кроется в тумане,
Качаются от ветра камыши.
На берегу в прохладе утром ранним
Не встретишь ни одной живой души.
Лишь плещется уклеек шустрых стайка,
И камыши тревожит криком чайка.

Где луг широкий весь покрыт росой,
Там, где ещё, как то бывало встарь,
Размашисто блестящую косою
Работает без усталости косарь,
Всё замерло, травинки не трепещут,
И лишь одна коса звенит и блещет.

Там, где держа в руках краюху хлеба,
Ты пьёшь в тени парное молоко,
И над тобою синий купол неба,
А на душе легко, легко, легко...

Карелия, Олонецкий район

ВЕРА БУРДИНА

* * *

Какая страшная размолвка,
Почти холодная война.
Шикарно-наглая Рублёвка,
Раздольно-нищая страна.
Ещё глубинке неизвестно,
Но слух дойдёт во все концы:
Опущен занавес железный
Хранить рублёвские дворцы.
Не ждали мы такого лиха,
Таких мучительных забот,
Когда в стране сгустилось иго
Демократических свобод.
О! Всероссийская воровка!
Её создатели горды,
Что дань с Руси дерёт Рублёвка,
Как восприемница Орды.
Политкорректно, но с опаской,
И на другой, возможно, лад
Признать Рублёвку как хазарский
Нью-иудейский каганат!
И правы древние: мир плоский,
Когда рассеянный народ
Привыкнет гнёт терпеть рублёвский,
Рублёво-долларовый гнёт!
Колеблется наш мир над бездной,
От алчности тускнеет свет...
Конечно, нам в глуши уездной
До дел рублёвских дела нет...

* * *

С дорог навязанных сверну,
Ничком на травы, обессилен...
Как называть теперь страну,
Когда-то бывшую Россией?

Мучительно любивший Русь,
Христопродавцев озлобляя,
Сергей Есенин через грусть
Назвал Страною Негодяев.

Теперь и нам пришёл черёд
Название подбирать всем скопом.
Поскольку русский не-народ —
Народ не числится народом?!

Вот “население страны”
Любимым стало оборотом
У власти и политшпаны,
У новорусских обормотов.

Иду по выжженной траве,
Куда теперь себя отчислить?
В гражданку некого РФ
Без роду-племени в графе
О принадлежности к Отчизне?

г. Санкт-Петербург

АЛЕКСАНДР КУВАНОВ

* * *

Трактора не пашут поле —
Нет им в поле интереса,
Ныне их иная доля —
Брёвна вывозить из леса.

Всё-то будет шито-крыто.
Бизнес модный, нет и речи.
Трактористы деловиты,
А хозяева далече.

И берёз златые нимбы
Ничьего не тронут сердца.
Работяг наёмных? Им бы
Прокормиться да одеться.

А хозяев и не спросим,
Ибо знамо — всё банально:
“Золотая ныне осень!” —
Понимается буквально.

И хохочут нувориши:
“Ну, куда он может деться?” —
Лес, любимый нами с детства,
Нас любовью даривший.

Почему же, отчего же
Рвётся стон со жгучей силой:
“Грешника помилуй, Боже,
Господи, меня помилуй!”.

Ибо всё до жути близко:
Деловито, со сноровкой
Сам любовь менял на миску
С чечевичною похлёбкой.

Ах ты, плотская потреба,
Смерти смех придурковатый...
Я стою пред лесом, небом,
Перед Богом виноватый.

* * *

Даль истории русской
Во дыму, во огне.
И Андрей Боголюбский
На горячем коне.

Величав его облик,
Небывал его груз —
Богородичный образ
Он привозит на Русь.

Тайный заговор зреет,
Тих предательский шаг,
И в палатах Андрея
Весь в крови известняк.

Ой, вы, Божии кары,
Плоть ты гордая — прах.
И летают татары
На лихих скакунах.

Стрелы лёгкие споры,
Остры копья верны,
В белостенных соборах
Лики обожжены.

По Кремлю, по посаду
Вой про горе-беду,
И пора Александру
Отправляться в Орду.

И вернуться бы надо,
Да желанья не в счёт,
Ну, а хворь или яды —
Кто ж теперь разберёт.

Дальней битвы зарницы
На Руси ль не видны?..
Вот уже и в столице
Все победой пьяны.

Белы стены готовы
Да под роспись-убор,
И Андрея Рублёва
Ждёт Успенский собор.

Краски мелко растёрты.
Написать бы суметь
Воскресенье из мёртвых,
Отменившее смерть.

Это здесь. Это рядом.
Это суть. Это соль.
Это мука и радость,
Это счастье и боль.

Как бы нет и просвета —
Только горе и грех.

Но ответственность эта —
За себя и за всех.

Русь, Россия, берёзы,
Неба плат бирюзов,
Богородицы слёзы
Да бессмертия зов...

РОДИНА

Русь — деревня, речка, поле
Да дремучий лес вдали,
Эта ширь и эта воля,
Да высокие кремли.

Этот ветер, это небо,
Выше всадника трава,
Быль, похожая на небыль,
Так что верится едва.

Бурелом, где пни с кустами,
Переплётами ветвей.
Перекличка сёл крестами
Белых — лебеди! — церквей.

Это ночь и это звёзды,
Свет их дивно неземной.
Это сирые погосты,
Освещённые луной.

Ближих там любой отыщет
И расплачется, милок.
Пискарёвское ль кладбище,
Переделкинский ли лог.

Это море в вечной сини,
Это горы в вечном льду
И огонь неугасимый
В Александровском саду.

И, как возвращенье темы, —
Знать, и впрямь кругла Земля! —
Эти сказочные стены
Сердца Родины — Кремля.

Храм Успенья — Божья Мать! —
Эта скорь и торжество,
Это фрязь Фиораванти,
Тот, что выстроил его.

Площадь в пыли были древней,
Плавный спуск к Москве-реке...
И забытые деревни,
Там, в верховьях, вдалеке...

*д. Пантелиха
Владимирской области*

АЛЕКСАНДРА БИРЮКОВА

* * *

Какой горизонт на закате!
Затеяло солнце игру.
Подол от вечернего платья —
Как царственный шлейф на пиру.

Лучи изменяют оттенок,
Искрят позолотой края.
Светилу приходит на смену
Луна, серебра не тая.

Рассыпала горстью над лесом,
В овраг уронила чуток,
Укрыла туманом подлесок,
Лугов у реки завиток.

Планета под звёздами бродит,
В полночное небо смотрю.
Покой благодатный нисходит
На грешную душу мою.

* * *

Листок прохладный на ладони
Держу в начале октября.
Рябина в розовой короне
В подарок бросила, любя.

Замёрзла, видимо, на зорьке,
Стоит, раздета, на ветру.
Не плачет, а вдыхает только
Холодный воздух поутру.

Тревога думы навевает,
Давно мерещится метель.
“Запомни, так всегда бывает”, —
Щебечет мудрый свиристель.

Природа тихо засыпает,
Степенно погружаясь в сны.
С рябиной горькою мечтает:
“Дотянем вместе до весны”.

Подмосковье

НИКОЛАЙ ДЕНИСОВ

ЭЙ, ЗЕМЛЯК!

Я в поколение друга не нашёл...

Юрий Кузнецов

На крылечке золотых откровений
Я лежу, как собака на сене,
Шарю в небе босою ногой.
Эй, земляк, задержишься на минуту,

Хочешь, грянем
по старым маршрутам?
Катер подан, и конь под дугой!

Конь храпит, и рыдают причалы!
Ну, смелее! Пока либералы
Не принудили смелых остыть.
В море Лаптевых льдина блистает,
Антарктида нас загодя славит,
Меж землёю и космосом — нить!

Сонмы гадов и бедственный атом
Обуздал я в столетье двадцатом,
И окно распахнул — на зарю.
Невидимый ельцинской властью,
Я, отравленный ею отчасти,
В одиночестве “Приму” курю.
Эх, земля!..
Что взять с человека,
Коль в железной истории века
Он не видит великих страниц.
Жаль их, бедных, с “поехавшей крышей”,
Перестроенных зомби-людишек,
Доживающих — плинтуса ниже! —
Этих, как их, физических лиц!..

КАРИБСКИЙ КРИЗИС

Кто штык точил, ворча сердито...

М. Ю. Лермонтов

Подлодки шли без всплытия — в каре,
Хрущёв Никита всматривался в волны.
Генштаб надрёмный поднял на заре
И нас, морпехов, с выкладкою полной.

Почуяв кровь, обнюхивали цель
Ракеты атлантической корриды.
Дрожал Нью-Йорк.
И пламенный Фидель
В прищуре зрел агонию Флориды.

Влезал в шинели штатовский Конгресс.
И я был сам настроен боевито:
В ладонях грел свой верный “СКС”*
И до рассвета штык точил сердито...

УВЕЛИ КОНЕЙ

Увели коней, беспредел в миру,
Распоясался злой шайтан.
Тяжко конюху, тяжко фермеру,
Хоть беги назад в Казахстан.
Там родной аул, там зари тюльпан,
Тихоструйный дым кизяка.
На коврах сидит свой кайсацкий хан —

* “СКС” — скорострельный карабин Симонова.

Бывший пламенный член ЦК.
Я пошёл на тракт и прищурил взгляд:
Катерининбург — далеко.
По обочинам жар-мангалы в ряд,
Шашлыки дымят. Эх, Гнедко!
Эх, Игренька-друг, молодой скакун,
Губы сахарны, гладок круп...
Вот кафе “Абрек”, о гранит-валун
Точит-холит нож душегуб.
Ой, шайтанский стан, кровавой шесток!
Не видать, не знать бы вовек.
Вышел главный сам, взор колюч, жесток:
“Не хады сюда, чаловек!”
И побрёл степняк, восставать не стал.
Говорил с женой: то да сё...
Объявленье дал, от руки писал:
“Продаётся дом...” Вот и всё.

г. Тюмень

*Сердечно поздравляем нашего постоянного автора,
поэта Николая Васильевича Денисова с 70-летием!*

Редакция

ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ

ГОГОЛЬ БЕССМЕРТЕН

“Что не проза, то поэзия...”

Однажды поздно вечером в издательство “Молодая гвардия” ко мне заглянул посетитель. Я устал, беседовать не хотелось, и я сказал ему: “У нас прозой занимается главный редактор...” Он не уходил: “Да я о поэзии”. — “Ну, и поэзией он тоже занимается...” Посетитель многозначительно посмотрел на меня и изрёк: “Что не проза, то поэзия. Что не поэзия, то проза. Чем же Вы занимаетесь?” Я захохотал ехидному остроумию, пригласил его садиться. Мы разговорились, это был известный поэт, эпиграмматист и, как оказалось, насмешник Николай Глазков. Многое ему сходило с рук. Фронтовик, воевал, насмехался над немцами, союзниками, да и над нашими порядками. Одну из последних его язвительных шуток в советское время запомнил.

*Если бы кто-нибудь мне сказал:
“Водку не пей — коммунизм начнётся”, —
Я только бы губы свои покусал,
Я б только подумал: “Мне это зачтётся”.*

*И чтобы, как в русское небо,
Французские девушки смотрели ввысь,
Я б не пил, не пил и не пил,
А потом бы не выдержал и выпил за коммунизм!*

Подтрунивание над собой было частью его облика:

*С чудным именем Глазкова
Я родился в пьянваре,
Нету месяца такого
Ни в каком календаре.*

Любил Коля побывать в “Молодой гвардии”, тем более что Николай Старшинов не пил — ему доставалось больше.

В России, опаздывая, успеваешь

В конце 80-х годов делегация Союза писателей была послана в город Кологрив Костромской области для открытия мемориальной доски на доме, где родились и жили два замечательных русских писателя: Владимир Максимов и Сергей Марков. Первый выпустил более десяти книг о русской народной жизни, быте, тюрьме, сельском хозяйстве. Его книга “Русские слова и афоризмы. Крылатые слова” с пословицами, поговорками и выражениями долго была у меня в библиотеке любимой. Сергей Марков – эрудит, знаток истории и географии – писал о громадных российских просторах. Все мы гонялись за его книгой о Севере – “Юконский ворон”, – да и поэт он был знатный.

И вот в этой глуши (а Кологрив расположен в самой дальней части Костромской области и ещё километров за тридцать от железной дороги) в делегации с нами был известный книголюб, писавший о русских народных промыслах, знаток Хохломы и Мстёры Евгений Иванович Осетров. Человек уважаемый, он всё время нас подгонял и беспокоился, чтобы мы никуда не опаздывали.

Доску открыли, сели на специальный автобус, который нас должен был отвезти на станцию. Автобус, конечно, ломался, шофёр, чертыхаясь, чинил его, дорога была разбита, шёл дождь. Евгений Иванович, слегка грассируя, обращался ко мне, выговаривая: “Ну, почему у нас, Вагений Николаевич, такие плохие догоги?” Ну, не объяснять же Евгению Ивановичу, почему... И я, чтобы не вступать в полемику, сказал: “Вот поэтому они (враги) нас и не завоевали!” Евгений Иванович опешил, ему как русскому патриоту это показалось убедительным, но он не сдавался: “Ну, хоть автобус можно починить?” Я соглашался, но чувствовал, что мы безнадежно опаздываем, и, чтобы успокоить Евгения Ивановича, сказал: “Ну, в России всё может случиться”. Но не случилось. Когда мы бросились к железнодорожной кассе, то понимали, что опоздали, а гордая и неприступная кассирша с некоторым торжеством сказала: “А что вы думаете, поезд вас ждать будет? До следующего поезда целые сутки...” Кассирша, переждав шок и видя нашу растерянность, продолжила: “Ладно, поезд задерживается на два часа, давайте деньги”. Восторгу нашему не было конца, а Евгений Иванович сказал мне, бросив грассировать: “Да, в России всё может случиться. Даже опаздывая, ты всё равно можешь успеть!”

“Хлопцы, та куда ж мы идемо?”

Осенью 1955-го мы, 5-й курс Киевского университета, возвращаемся с месячной уборки кукурузы в Николаевской области. Студенческая компания была шумная, весёлая, балагурила, на каждой станции, где останавливались, плясали, пели, вовлекая в свою толпу зрителей. На станции Знаменка к нам присоединился какой-то дед, вместе с нами вытанцовывал и пел, вместе побежали садиться в общий вагон. Он и там продолжал петь. Едем, смотрим в окошко, он вдруг закричал: “Хлопцы, та куда ж мы идемо? Мне ж в другую сторону!”

Так и хочется иногда вскричать: “Хлопцы, та куда ж мы идемо?!”

“Мы так вас долго ждали...”

Летевшие из Ростова в 1967 году в Вёшенскую молодые писатели говорили об одном, наверное, придуманном, но с большим вдохновением рассказанном Феликсом Чуевым случае. Лариса Васильева, Юрий Сбитнев, Олжас Сулейменов и другие писатели первым выпустили из самолёта Василия Белова как молодого и самого авторитетного среди них. Василий Иванович, надо признать, здорово был похож на последнего императора России Николая Второго. На сельском травяном аэродроме гостей встречали. Многие старики стояли в привычной одежде: казачьих пиджаках, в галифе, естественно, без лампасов, в шерстяных домашних носках и в галошах. И они, по словам Феликса, увидев выходящего из самолёта Белова, пали на колени, восклицая: **“Мы так долго ждали Вас, Ваше Величество!”** Ну, а как же им ещё было встречать императора, которому давали присягу?

“Держите карманы и штаны”

И ещё одна весёлая история, о которой рассказывал Юрий Мелентьев (тогда – работник ЦК КПСС, а затем – министр культуры России). Когда они летели в маленьком четырёхместном чешском самолётике впереди нас из Ростова в Вёшенскую, Юра Гагарин в приказном порядке велел лётчику передать ему штурвал. Тот слабо сопротивлялся, но кто же откажет Гагарину! Оглянувшись назад, Гагарин сказал: “Ну, теперь держите карманы и штаны”. А в самолёте сидели Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов, представитель отдела культуры ЦК партии Юрий Мелентьев и главный редактор журнала “Знамя” Вадим Кожевников. Те не очень поняли, что он хотел сказать, но когда он заложил вираж и “мёртвую петлю”, хвататься за карманы было поздно: оттуда посыпалась всякая мелочь, правда, говорят, брюки остались сухими.

Когда из Вёшенской Гагарин улетал вместе с Павловым вручать орден Комсомольску-на-Амуре, мы махали ему руками, а самолётик снова совершил “мёртвую петлю” и качнул нам крыльями, прощаясь. Шолохов покачал головой и сокрушённо, но с любовью сказал: “Ну, Юра, его не удержишь”.

“...Ну, еще двести!”

Особым успехом пользовались армейские истории, чаще всего они касались выпивки или женщин. Наш друг полковник Олег Зинченко, кандидат в члены бюро ЦК ВЛКСМ, рассказывал, как громадный и высоченный маршал Якубовский распекал офицеров за то, что они много пьют.

- Ну, взял свои пятьсот грамм, и хватит!
- Двести, двести, – подсказывает адъютант удобоваримую дозу и норму.
- Ну, ещё двести, – закончил маршал под одобрение зала.

“А кто привык фужерами...”

С представительной группой писателей мы оказались в тогда ещё советском Севастополе. Выступили на кораблях, в Доме офицеров. Командующий эскадрой дал приём на корабле. В кают-компании стояли закуски, были выстроены фужеры, лежали приборы. Адъютанты разливали коньяк по рюмкам. Командующий с некоторой опаской оглядывал поэтов и прозаиков, постигая их сущность, и уже без особого смущения обратился к нам: **“Товарищи писатели, а если кто привык фужерами, то пожалуйста – фужерами!”** Да, удалую славу в глазах моряков завоевали писатели...

“Не будем мешать товарищу работать”

Леонид Ильич Брежнев приехал в Новороссийск, направляясь в Крым на отдых. Его встречали секретарь крайкома, секретарь горкома, председатель горсовета и командующий флотом. Встреча была короткой по времени, проехали на Малую землю, показали памятник малоземельцам и зашли в здание морского вокзала, где у причала стоял правительственный катер, который должен был отвезти высокого гостя в Ялту. В комнате гостей стояли разного рода кубанские угощения и наполненные рюмки ароматного коньяка. Секретарь крайкома гостеприимно приветствовал гостя и предложил тост за Генерального секретаря. Налили по второй и предложили за героев Малой земли. Выпили по третьей, конечно, помянув город и край. Вдруг Леонид Ильич, что-то заметив, обратился к командующему флотом: “А Вы почему не пьёте?” Тот смутился и, запинаясь, сказал: “Да я на работе, Леонид Ильич!”. Брежнев, державший в руке наполненную рюмку, бросил её на пол и сказал: “Всё, поехали, не будем мешать товарищу работать!” И пошёл на катер. Командующий слёг, и только, говорят, вмешательство Устинова спасло его от большого гнева. А мы во многих случаях вспоминали эту полновесную фразу: **“Не будем мешать товарищу работать!”**

Три часа думать о народе

Леонид Максимович Леонов – крупнейший русский писатель второй половины XX века. Чего стоит один только его роман “Русский лес” с самым распространённым типом интеллектуального стяжателя Грацианского, обозначившего целое явление в нашем обществе. Я не говорю уже о его фундаментальной “Пирамиде”, которую он писал больше сорока лет. Он обладал довольно язвительным юмором. Так, он вопрошал: “Ганичев (если Шолохов обращался ко мне “Валера”, то Леонов – по фамилии), скажи, они там думают (он показывал пальцем вверх) о народе?” Я неопределённо хмыкнул: “Наверное, думают”. – “Нет, если бы они хоть раз в месяц собирались и говорили: “Сегодня мы три часа думаем о народе”, – было бы значительно лучше”. Этот вопрос, подняв палец вверх, многие и сегодня задают: **“А они там думают о народе, хотя бы три часа кряду?”**

“Доктор, я до вас!”

Во время осенней уборки кукурузы в Николаевской области, куда вывезли весь университет, мы по вечерам пытались наладить самостоятельность в местном клубе села Сергеевка. Витя Мороз играл на аккордеоне, Мила, Валя и Римма пели песни. Мы с Юрой Скрынником изображали драматических артистов. Во-первых, я прочитал стихи Беранже, которым увлекался тогда. Конечно, это было актуально в далёкой украинской деревне, особенно его стих “Мой старый фрак”. Я выступал в чёрной вельветовой курточке и трагически обращался к залу: “Мой старый фрак, не покидай меня”. Публика вряд ли знала, что такое “фрак”, но с уважением отнеслась к моей куртке, а сидевший на первом ряду человек разрыдался: оказалось, что он учитель, из старых дворян. Мы решили повеселить слушателей и сыграли чеховскую “Хирургию”. Народ развеселился, когда я, играя зубного врача, орудуя громадными плоскогубцами, вырывал у пациента (Юры Скрыника) зуб. После этого роли переменялись. Юра стал сельским врачом в белом халате, а я – посетителем. Занавес раздвинулся – его роль тут играла простыня, – и на стуле сидел погружившийся в изучение медицинских документов доктор Юра. Через некоторое время на сцене появился я, одетый в кожушок и шапку, и робко обратился: “Доктор, я до вас”. Юра, не поднимая глаз, буркнул: “Роздгайтесь”. Посетитель, то есть я, снял кожушок и шапку и снова сказал: “Доктор, я до вас”. Юра снова, но уже с раздражением повторил: “Роздгайтесь”. Посетитель снял пиджачок, рубашку, майку, в зале становилось все горячее. И когда на очередное “Роздгайтесь” я стал снимать брюки, девочки захихикали, парни захохотали, наступал момент стриптиза (правда, этого слова мы тогда не знали), доктор поднял, наконец, глаза, я взялся за трусы. А доктор спросил: “Ну, что у вас болит?” Посетитель, он же я, возвестил: “Доктор, я до вас дрова привиз”. Зал бурно хохотал – стриптиз не состоялся.

“Будете в гробу вместе с... Франко”

Отец Сергей, который иногда служил в нашем Филипповском храме, уехал в далёкую деревню Ярославской губернии. К нему туда нередко приезжал писатель Александр Сегень. Он рассказывал, как приучал к церковным обрядам прихожанок. Те спрашивали: “Батюшка, а можно не поститься?” Батюшка доходчиво объяснял: “Ну, не поститесь, не поститесь, заболете, умрёте и будете лежать вместе с Гитлером, Муссолини и Франко”. Бабушки не знали, конечно, кто такой Франко, но страх испытывали. И продолжал: “А вот если хотите с Александром Васильевичем Суворовым...”

“Всё ж таки Бог е!”

После схождения Благодатного огня в Иерусалимском храме верующие, просветлённые и радостные, выходили из храма. Вышел оттуда и мужик с Полтавщины, постоял, подумал, перекрестился и изрёк: “Всё ж таки Бог е!” Ясно, что он до этого и в церковь ходил, молился, но поистине: “Хохол не поверит, пока не побачить”. И тут, хотя Бога он не побачил, но к Вере склонился.

“Утром не похмеляемся...”

Когда я был в Антарктиде вместе с экспедицией Героя Советского Союза, полярника Артура Чилингарова, прибывшей для эвакуации команды с затёртого льдом корабля, с нами была южноафриканская команда журналистов. Было минус сорок, дул ветер, на котором можно было лежать, — такой он был упругий. Держась за канат от полярных домиков, вместе с ними я пришёл в столовую. Там было светло и радостно. Стены были оклеены обоями с белыми берёзками. Тепло, уютно, хорошо! Журналисты смеялись, шумно говорили, потом увидели у раздаточного окна кухни какой-то шикарно разрисованный текст. “Что это?” — “А это “указы” о том, как надо вести себя в столовой”. — “И как же?” Кто-то стал переводить на английский написанный по-церковнославянски шутливый текст: “А ещё кто соль рассыпал — отрубить ему десницу, а ещё кто перстами залезет в бачок с компотом — отрубить тому персты, а потом отсечь голову”. Журналисты замолчали, притихли, соль поставили на место, а от компота отказались. Вот что значит перевод! А шутка это или нет — не поняли. Кто их знает, этих русских?.. В пять часов утра, когда мы просыпались, инженер-метеоролог, выходя из домика, обернулся к нам: “А вы утром не похмеляетесь?” Отвечаем: “Нет”. Он от дверей закончил утвердительно: “Мы тоже нет”. И уже выходя, обернулся и огорченно закончил: “Потому что нечем”.

“И то...”

Владимир Алексеевич Солоухин — фигура фундаментальная в нашей литературе. Начиная с “Владимирских просёлков”, все его вещи цензоры встречали с подозрением.

В 1967 году в связи с 50-летием советской власти цензура запросила вёрстку номера “Молодой гвардии”, чтобы не напечатали ничего лишнего. Вроде всё было нормально: о войне, о тружениках, пейзажные и даже юбилейные стихи. Но в журнале “Товарищ” был помещён небольшой очерк о грибах, об их собирании, хранении, засолке. Очерк был написан Солоухиным. Цензор не поверил, что в очерке не таится подвох, прочитал два раза, вызвал меня и принялся расспрашивать: “Ну, ясно, что белые — это белогвардейцы, рыжики, допустим, анархисты, свинухи — зелёные, а мухоморы — это что или кто? Это красные?” Я сначала не понял, что он это всерьёз. Но он довольно упорно расспрашивал о творчестве Солоухина, о его последних работах и ушёл, кажется, в сомнении: не придумала ли “Молодая гвардия” вместе с Солоухиным показать очередную фигу? А Владимир Алексеевич добродушно посмеивался и с напором на “о” говорил: “Да, ладно, пусть поищут шиш-то, а мы лисички будем жарить”.

Он был моим соседом в Переделкино, и мы часто прогуливались по улице Серафимовича. На одной из последних встреч он мне рассказал поучительную историю. Он любил приезжать в Дом творчества в Пицунде в октябре, когда большинство писателей покидало санаторий. Он приезжал, его радушно встречали. Звал обслуживающую этаж Марию Егоровну и царственно говорил: “Мария, купи, пожалуйста, две банки “Изабеллы” хорошей”. Та обычно соглашалась, но тут сказала: “Да сейчас всё ведь, Владимир Алексеевич, разбавляешь водой вино-то”. Солоухин подумал и сурово сказал: “Да ты мне своё принеси! Ты же не разбавляешь?” Мария подумала и сказала после паузы: “Нет, я — нет!.. Да и то...” Было в этом “да и то” и желание заработать, и робкая попытка признаться в грехе. Мы посмеялись. *И то...*

ВОЖДИ УЛЫБАЮТСЯ И ШУТЯТ

Фидель: “С таким тиражом я бы революцию во всём мире совершил”

Будучи в 1978 году на Кубинском фестивале, встретился я с Фиделем Кастро. Он организовал приём в большом парке, где стояли бочки с ромом, на вертелех крутились бараны, хотя, если честно говорить, кубинцы жили без излишнего достатка, но принимали нас в своих бедных кварталах радушно и гостеприимно.

На приёме у Фиделя все к нему подходили, подошёл и я. “Комсомольская правда” (я тогда работал главным). — “Знаю. Ну, что, комсомольцы на БАМ так же едут? А на целину? А песни поют так же (он запел немного фальшиво “Подмосковные вечера”)? А какой у тебя (такое обращение было принято) тираж?” — “Одиннадцать с половиной миллионов”. — “Ну, — засмеялся Фидель, — я бы с таким тиражом революцию во всём мире совершил”. Встреча длилась до утра.

Кваме Нкрума. Медведь заурчал

В 1964 году я организовал в Колонном зале Дома Союзов суд над расизмом, суд над Фервурдом (главой ЮАР), это понравилось.

В 1965 году комсомол направил меня в Гану, где проходил молодёжный конгресс на ту же тему. Руководителем страны был друг Советского Союза, один из лидеров мирового Движения неприсоединившихся стран Кваме Нкрума (наряду с Д. Неру из Индии, Сукарно из Индонезии, Г. Насером из Египта, Тито из Югославии, Ф. Кастро с Кубы).

Кваме принимал нас в белораморном президентском дворце на берегу Гвинейского залива. Мы пришли с сувенирами и подарками: механический мишка с внутренним урчанием для президента и янтарное кольцо для его жены. Всё было прекрасно. Но когда стали проходить во дворец, то начальник охраны воспротивился: все подарки оставить! Министр по делам молодёжи стал доказывать, что мы советская делегация, мы друзья Ганы, и нас надо пропустить с подарками. Начальник охраны почти согласился, но в этот момент кто-то из нас наклонил мишку, и он заурчал. Что тут было! Начальник охраны бросился на медведя и, придавив своей мощной грудью, считал, что спас президента. Тут уж никакие уговоры не помогли. Возможно, русские хотели пронести взрывное устройство!.. Мы вошли в зал, величественный Кваме Нкрума обнял меня в ответ на оправдания, что подарки задержаны в холле охраной, махнул рукой. Главное, мы осудили расизм. А на выходе увидели распотрошённого мишку, из чрева которого торчала пружина. Мы махнули рукой: хотели-то как лучше... Тут же произошёл поучительный случай: нам для обслуживания подали длинную машину “Линкольн”. Мы таких и не видели! Водитель, высокий красивый негр в белом мундире, приветствовал нас и открыл дверцу. Я сел и, как положено в нашей “Волге” того времени, с силой хлопнул дверцу автомобиля, чтобы она наверняка закрылась. “Линкольн” заходил ходуном от удара дверцы, а я уместился впереди. Водитель взглянул на меня с удивлением и насторожённой. Когда я вышел, второй раз хлопнув дверью, он уже со страхом поглядел на меня, а в третий раз, опережая мои активные действия, вскричал: “Сэр, сэр”, — и, взяв дверцу за ручку, медленно её опустил, она медленно и тихо закрылась. Чёрт их знает, что за замки придумали американцы...

“Дорогой товарищ Клика Тито”

В 1956 году мы, студенты, в Киеве впервые встречали иностранного руководителя, который проезжал в открытой машине по улицам города.

Это был президент Югославии, маршал Иосиф Броз Тито. Он был в белом маршальском костюме с орденским планками, махал нам, довольный. С ним рядом была красавица-актриса Иованка Броз Тито (говорят, потом он её арестовал). Мы размахивали флажками СССР и Югославии — великое примирении Югославии и Советского Союза состоялось (вернее, руководителей наших стран, народы-то наших стран давно испытывали дружеские и даже братские чувства). После проезда маршала состоялся, конечно, митинг. Он проходил на заводе “Арсенал”. Рабочий-передовик, которому было поручено открыть митинг, имел, безусловно, заранее написанную и проверенную в парткоме речь. Но как человек передовой, он решил в бумажку не глядеть и самостоятельно, надеясь на собственную память и политическое образование, обратился к гостям: “Дорогой товарищ Клика Тито...” С 1949 года в наших газетах имя югославского президента произносилось только в сочетании “клика Тито — Ранковича” (начальник государственной безопасности Югославии) и изображался Тито на карикатурах с кровавыми топором в руках. Не знаю, где после этого был секретарь парткома, но передовика на трибуну, ясно, что больше не выпускали.

Цеденбал: “Верблюд – самое лучшее животное”

В 1979 году в Улан-Баторе беру для “Комсомольской правды” интервью у руководителя Народно-революционной партии Монголии Ю. Цеденбала.

Я у него в кабинете. Он застыл, как древний Будда, слегка прикрыв глаза. Видно, что устал от руководства. Я задаю вопросы для проформы, секретари мне уже отдали ответы (да они, по-видимому, сами всё и написали). Подрёмывая, Юмжагийн как бы и не слушал, но как только я что-то сказал про верблюда, он востепенно оживился и чётко сказал по-русски (его жена русская, говорят, официантка из партшколы, откуда он её привёз): “А ты не иронизируй, верблюд – самое лучшее и умное животное”. Я почти засмеялся – столь мгновенным было его преобразование, стал оправдываться, что я и не сомневаюсь, но он вызвал секретаря и сказал уже по-монгольски, как я позднее понял, чтобы меня повезли в город Далан-Дзаггад на самой границе пустыни Гоби. В город мы прилетели. Действительно, там стоял, как мне сказали, единственный в мире памятник верблюду. Потом мы съездили на стоянку верблюдовода, который нам рассказал так много хорошего про верблюдов, что мы подивились: почему мы этого не знали раньше? Тут и фантастическая польза для организма от верблюжьего молока, и тягловые достоинства, и неприхотливость верблюда, и его ум. “Это первое животное, которое тысячи лет назад приручил человек, от Саудовской Аравии до Монголии, от Африки до Азии”, – с гордостью сказал нам секретарь аймачного комитета партии, как будто он его и приручал. Верблюды же вставали и покорно ложились перед нами, даже позволили посидеть наверху, поплакала верблюдица, когда хозяин проиграл жалобную мелодию на одной струне. Мы поняли, что верблюд – ещё и музыкальное животное. Возвращаясь в Далан-Дзаггад, мы уже с почтением сфотографировались у того единственного в мире памятника верблюду. Да, прав был вождь монгольского народа: верблюд – необыкновенное и ценное животное, которое в древности соединило миры.

Брежнев: “Я больше всего люблю журнал “Охота”

В 1968 году, когда только что стал Первым секретарём ЦК Комсомола Евгений Тяжелников, состоялась встреча членов бюро с Леонидом Ильичом Брежневым, что было явлением неординарным. Проводилась она то ли для того, чтобы укрепить авторитет комсомола, то ли чтобы поддержать нового секретаря. Нас провели (по паспортам) в кабинет, мы уселись за длинным столом, середина которого была покрыта зелёным сукном. Там уже сидели секретари ЦК Демичев и Капитонов. Зашёл Леонид Ильич, дружелюбно поздоровался и спросил: “Ну, как дела, молодёжь?” Евгений Тяжелников стал рассказывать про поход по местам боевой славы, про “ленинский зачёт”, про комсомольцев-бамовцев. Да, о комсомоле немало можно было рассказать. Брежнев послушал, доброжелательно покивал, потом встал, ходил, вспомнил свою молодость и внезапно переключился на прессу, сказал, что очень любит читать наш журнал “Вокруг света” и “Технику–молодёжи”. А это уже была поддержка нашим друзьям Анатолию Никонову, только что снятому с журнала “Молодая гвардия” и назначенному в журнал “Вокруг света”. Значит, не снят был тогда Толя за прорусские настроения, а, судя по реплике Генерального, повышен. А Генсек, успокаивая напрягшихся секретарей, сказал: “А больше всего я люблю журнал “Охота”. Встреча закончилась, кое-кто на журнал “Охота” подписался.

Янаев: “Спускаться с Мавзолея ещё труднее, чем подниматься”

В 1968 году комсомол проводил на Красной площади финальную часть похода по местам боевой и революционной славы нашего народа. Молодые люди хором зачитали клятву, которая торжественно начиналась: “Здесь, у седых стен Кремля, от которых наши солдаты уходили в 1941 году в бой...” и дальше было клятвенное заверение в верности Родине. Наверху, на трибуне Мавзолея, стоял Леонид Ильич Брежнев, председатель СЕПГ Вальтер Ульбрихт и начальник штаба маршал Баграмян, а на нижней трибуне стояли диктор Левитан и группа комсомольских организаторов манифестации. Она закончилась,

и все мы стали спускаться вниз. Почему-то запомнились, хотя вроде это к нам и не относилось, слова Геннадия Янаева, тогдашнего председателя КМО (Комитета молодёжных организаций), будущего неудачника в организации ГКЧП. Он сказал: “А с Мавзолея труднее спускаться, чем подниматься”. Мы не знали: к чему это он? Неужели прозревал сквозь годы?

Чаушеску: “Если бы мы даже выпили с Брежневым рюмку цуйки, это было бы историческим событием”

Был в Румынии. Руководитель страны Николае Чаушеску, позднее расстрелянный во время вхождения Румынии в цивилизованный мир, спустился в тот раз на вертолёт на курортный пляж. Находящиеся рядом чехи ехидно сказали: “Святой Николай спустился с небес”. Он прилетел из Крыма. Журналисты задали ехидный вопрос Чаушеску: “О чём вы договорились с товарищем Брежневым?” Ежегодно все руководители соцстран прилетали в Крым, в Ялту, чтобы встретиться с Брежневым. То ли совещание, то ли смотр, то ли отдых. Чаушеску не дал журналистам повода поехидничать и твёрдо и внушительно сказал им: “Если бы мы даже выпили с товарищем Брежневым рюмку цуйки, то это было бы историческим событием”.

С тех пор мы, поднимая рюмку водки, или сливовицы, или цуйки, провозглашаем это историческим событием.

Бен Али: “Пушкин – араб”

Бывшему президенту Туниса Бен Али мы должны были вручить книгу его речей, выпущенную издательством “Держава”, стихи Игоря Ляпина, посвящённые Тунису, где он бывал, и медаль А. С. Пушкина, выпущенную Союзом писателей. Секретариат президента, ознакомившись с подарками, выразил желание, чтобы вручение было через десять дней на Всетунисском собрании интеллигенции. Нас это не устраивало: в России были срочные дела, да и средств на повторный приезд не было. Секретариат сказал, что всё оплатит, и президент хочет, чтобы медаль Пушкина вручил ему Союз писателей. Это облегчало дело, и мы дали согласие прилететь через десять дней.

Тунис тогда был процветающим туристическим государством, политику которого заложил хитроумный предыдущий президент Бургиба. Он назвал свою партию народно-социалистической, даже бывал на съездах КПСС в Советском Союзе, провозгласил Тунис социалистической державой, одновременно пользовался доверием Франции, установил дипломатические отношения с Израилем, а у себя в стране приютил Центральный штаб Палестинского фронта сопротивления во главе с Ясиром Арафатом. Тунис, несмотря на то, что в стране не было ни грамма полезных ископаемых, процветал. Тучи туристов из Англии, Франции, Германии, а также из Советского Союза, позднее – России, Украины – ехали в эту красивейшую страну. Через десять дней мы прилетели из России через Рим. Книгу, которая очень понравилась президенту, и медаль нас попросили вручить публично. С утра во дворец президента стекались солидные мужи от культуры и науки Туниса. И вот торжественный момент: подарок вручают представители парижского Лувра, затем мы. Свою книгу президент принял с почтением, а медаль Пушкина, для которой арабы сделали более красивую, обитую бархатом коробку, поправил на шею и поцеловал. Затем, отвечая на вопросы, поблагодарил писателей России и торжественно сказал: “Нам дорога эта награда, потому что великий Пушкин – араб, он из нашей Нубийской пустыни, потом его предки оказались в России”. Поправлять президента мы не стали. В конце концов, Пушкин – русский поэт, мировой поэт, многие считают его своим. За два дня до отъезда меня узнавали во всём Тунисе, мне предлагали на базаре бесплатно продукты. С чувством родства с Африкой мы отправились домой.

Хрущёв: “Мы им покажем кузькину мать!”

С Никитой Сергеевичем Хрущёвым встречаться приходилось несколько раз, иногда близко, иногда на расстоянии. Близко – на XIV съезде комсомола. Мы стояли возле Дворца съездов в Кремле, он появился внезапно: то ли из кабинета, то ли из машины. Делегаты бросились к нему, один приколол

значок из Бурятии, другие тоже потянулись, но Никита Сергеевич развёл руками, снял шляпу и сказал: “Валите туда всё!” В шляпу посыпались значки, ленточки, даже мандаты. Он зашёл во Дворец, где начинался съезд, сказал пламенное слово, оттягивая подтяжки и отпуская их с лёгким шлепком. Потом выступали многие. Запомнилось выступление Кузьмы Северинова, шахтёра из Донбасса, Героя Социалистического Труда. Кузьма знал предпочтения Хрущёва: обрушился на американский империализм, а для примирения предложил построить подводный тоннель с Аляски на Чукотку. “Давайте на это деньги, — под аплодисменты зала и хохот Хрущёва восклицал он, — а не то мы вам покажем кузькину мать!” — употреблял он в своей речи непере译имый и часто встречающийся у Никиты Сергеевича образ.

* * *

Здесь же, во Дворце съездов, я был на встрече с Джавахарлалом Неру, легендарным индийским лидером. Зал буквально кипел выкриками: “Хинди, руси — бхай, бхай”. Этот лозунг о братстве и дружбе пронизал наше общество ещё с тех пор, как фильм “Бродяга” с легендарным Раджем Капуром триумфально прошествовал по всем сельским и городским клубам страны. Везде звучала песня: “Никто нигде не ждёт меня... бродяга-а-а я, бродяга я”.

Да, в это время Хрущёв и Булганин съездили с визитом в Индию, где их приняли как лучших друзей. Одним словом, с Индией была дружба, и Никита Сергеевич вёл вечер. Он был бодр, весел, энергичен и обратился к москвичам: “Дорогие друзья! К нам приехал наш большой друг и товарищ Джавахарал, — потом поправился, — Джавахалал, — опять поправился, — Джавахарал, — и, почувствовав, что точно не выговорит имя, махнул рукой и облегчённо закончил, — к нам приехал наш друг Неру!”

Да, имя друга не всегда удаётся выговорить.

Скаба: “Які такі проблеми?”

Секретарь ЦК партии Украины по идеологии Скаба был человек серьёзный, решительный. Он пришёл на пленум комсомола Украины и терпеливо выслушивал выступления молодых энтузиастов. А в то время (70-е годы) было какое-то поветрие, даже мода проводить всякого рода социологические исследования, ставить для изучения различные проблемы, иногда в ущерб делам практическим. Скаба слушал, слушал, а потом решительно пошёл к трибуне. Зал замолчал. Скаба выдержал паузу и сказал много раз повторявшиеся потом слова: “Проблемы! Проблемы! Проблемы! Які такі проблеми? У нас є одна проблема: побудувати комунізм”. *Побудувати комунізм* оказалось неисполнимой задачей. Но и количество социологических исследований, и постановка зыбких проблем значительно уменьшились.

Жуков: “Ваш писатель придумывает!”

На 70-летие великого маршала мы (секретарь ЦК комсомола С. Арутюнян, инструктор военного отдела В. Байбиков и я) пришли поздравить Георгия Константиновича с юбилеем. Большое начальство его ещё боялось, а издатель “Молодой гвардии” вполне сгодился. Маршал сходил переодеться, надел мундир с орденами, с удовлетворением кивал, когда в юбилейном адресе говорилось обо всех битвах, где он участвовал. Выпили по рюмке коньяка, я подарил ему новый “Тихий Дон” в одной книге. Маршал погладил его и сказал: “Любимый писатель”, — поблагодарил за антологию стихов о России “О русская земля” и оценил: “Мы на фронте любили патриотическую поэзию”. Потом был большой разговор о победе, о Сталинграде, о молодом солдате, спросили о “Блокаде” А. Чаковского. Он отозвался о ней плохо. Особенно его возмутило то место, где он прилетает в блокадный Ленинград: “Я у него, как Архангел с неба, непререкаемый авторитет, этакий громина-командир, всем об этом заявляющий. А ведь летел даже без приказа о назначении, не имел его с собой: “Собьют, дак только генерала”. А Клима я чуть ли не пинком выгонял с этого места? Чушь! Командующий-то, Ворошилов для меня — первый маршал, я его уважал”.

Позднее, когда я рассказывал об этом Чаковскому, тот свёл критику к сапогам. “Жуков – скорняк, а я написал, что у него сапоги скрипели, он и обиделся!” Да, тут приходят на ум строки: “Суди, дружок, не выше сапога”.

Дети – Ульяна выбирает счастливую пуговку

На вечере вручения премии Ушакова председатель жюри народный артист Михаил Ножкин, вручая мне диплом лауреата, заявил: “А ещё я хочу поздравить нашего лауреата: только что пришло сообщение, что у него родилась вторая правнучка!” Зал доброжелательно заплодировал, а мне-то было какво! В перерыве подошла женщина и сказала: “Вы знаете, что тому, у кого рождается правнук, отпускается половина грехов”. Я воскликнул: “А у меня же вторая!”. Она серьёзно ответила: “А у кого две, тому все сто процентов”. Да, больше грешить не стоило. Старшая правнучка Ульяна, которой пять лет, уже не раз ставила меня в тупик своими вопросами, размышлениями и планами. Вот, например, она часто просит рассказать историю из моего детства, когда мы (я, брат и мама с отцом) ехали на санях по тайге из Омска в райцентр Большеречье на Иртыше. Мне было столько, сколько ей сейчас (около пяти лет). Мы сидели, запрятанные в тулупы, высовывались, чтобы посмотреть на заснеженные ели. Мама снова затаскивала нас туда, чтобы не замёрзли. В очередной раз мы высунулись и увидели, как из леса выскочил заяц и, петляя, кинулся нам навстречу. За ним выбежала рыжая, почти красная лиса, и заяц, заверещав, прыгнул к нам в сани. Вот оно, спасенье! Куда он девался? Нас снова затолкали в тулупы. Потом мы приехали на постоянный двор (тогда были такие на дороге, ну, вроде нынешних гостиц, только деревянные, из брёвен). Лошадям навязали на морду мешки с овсом, нас загнали на полати, откуда мы с братом Стаськой, который на полтора (ну, на два) года старше меня, и поэтому был задавакой и умником, выглядывали вниз на суетящихся хозяев, которые занесли с улицы два мешка замороженных пельменей и два белых круга. Да это же было молоко – тоже замороженное! В Сибири холодильников не было. На столе пытел двухведёрный самовар. Хозяйка с мамой готовили пельмени, вырезая стаканом из раскатанного тонкого круга теста кружочки и закладывая туда мясо. Потом хозяйка громко сказала: “А сейчас сделаем три “счастливых” пельменя”. “А как?” – спросили мы. “А вот в первый мы закладываем копейку – значит, тот, кто его съест, будет богатым. Во второй – пуговку, кто его съест, будет умным. А в третий – ниточку, у того будет невеста!” Мы успешно ели со всеми пельмени и ожидали: кому же попадутся те, “счастливые”? Вдруг хозяин закричал: “Вот у меня копейка!” “Значит, будешь богатым”, – с удовлетворением сказала хозяйка. Пуговочку, конечно, почти съел старший брат Стаська – он же умный. За него тоже порадовались. А ниточка оказалась в моём пельмене. Все закричали: “Невеста”, – а я заплакал: “Не хочу невесту, хочу к маме”. Мама подошла, обняла: “Ладно, ладно, побудешь со мной!” Ульяна несколько раз просила на ночь рассказать эту историю и потом глубокомысленно заметила: “А вот мне бы хорошо пуговка попалась”. Молодое поколение выбирает не денежку, не невесту, а ум.

Футбол – моя отрада

Послевоенная школа в Камышне Полтавской области. Сельская Камышня – небольшой районный центр, школа в ней сожжена фашистами, учимся в три смены в каком-то бывшем купеческом доме. Наша третья смена начинается вечером в семь часов. Из школы идём с самодельными фонарями со стеклянными стенками и свечкой внутри. Она часто тухнет, и мы идём в потёмках по грязи. Асфальтированных дорог в селе, конечно, нет, лишь в одном месте гранитная “каменка”, то есть утрамбованные камни. Мы, четырехпятиклассные пацаны, были заядлые “книгочеи”. Обошли все дома, собрали все книги. Немного. Всего сто книг было в районной библиотеке. Всё уничтожили и сожгли немцы. Вот как заботились цивилизованные европейцы о внедрении варварства среди населения.

В селёпо вместе с хлебом и селёдкой стали неожиданно поступать книги для продажи. Там мы и приспособились по разрешению продавщицы, матери Пашки Баженова, читать, передавая книги друг другу. Чтение это про-

должалось года три-четыре. Помню, как в 1949-м или 1950-м году прочитал толстенную книгу Джеймса Олдриджа “Дипломат”. Потом уже, через тридцать лет я принимал Олдриджа в издательстве и удивился, как он смог так тщательно описать послевоенную Москву. Оказалось, бывал, и в 1944–1945-м, и в 1952-м... Он был простой парень, а перед этим чтением я представлял себе англичанина толстым, как Черчилль, и с сигарой.

Вторым нашим послевоенным увлечением после блестящих побед московского “Динамо” над англичанами со счётом 19:9 стал футбол. Поля для игры не было, мяча футбольного – тоже, старенькие сапоги разлетались от ударов. И тут нашим спасителем стал сапожник дед Жебет, у которого жил Толя Цыб (будущий академик и медицинское светило). Мы ускользали с занятий и бежали на пустырь гонять зашитый-перезашитый волейбольный мяч. Витька Лыско, щеголявший толстыми американскими ботинками, выданными ему как сыну фронтовика, даже сочинил наш гимн.

*Футбол — моя отрада.
Люблю играть в футбол,
Люблю удрать с урока
И вбить в ворота гол!*

Вот этот “удёр” с урока и привёл в результате к двойке, что вообще-то для меня было редкостью. Мама не знала, что такое ювенальная юстиция, отвесила мне пару “горяченьких” кушаком от вышитой рубашки, в которой я играл в школе сценку в сказке “12 месяцев”, гордо провозглашая стихи: “Я апрель, молодой и гордый, февралю и марту брат”. Она ещё и довольно внятно приговаривала при наказании: “Вот тебе, молодой и гордый”. И в наказание вместо футбола я должен был переписать за две недели всю “Капитанскую дочку”. Пушкинскую книгу я переписал и даже полюбил её с тех пор.

Если исключить первые два удара кушаком, то в ювенальную юстицию вполне можно ввести переписывание классики – не больно, но полезно.

Общее дело...

Военное и послевоенное поколение удивляло своей чёткостью, организованностью, обязательным служением общему делу.

Два случая.

В Николаеве, в здании Центрального райкома партии выделили на 3-м этаже комнатку для ветеранов. Ну, раз в месяц соберутся. Ну, два. А руководитель организации Иван Васильевич, фронтовик, с иконостасом орденов и медалей (правда, носил он орденские колодки) приходил каждый день (!), да ещё к общему рабочему времени, к 9 часам. Помню, он обгоняет по лестнице на втором этаже Светлану, которая говорит ему: “Ну, куда вы так торопитесь и бежите, Иван Васильевич?” Он отмахивается: “Опаздываю, опаздываю...” Время было без пяти девять, встреч он никаких не назначал. Да и работа у него была добровольной.

Второй случай – в Санкт-Петербурге. Замечательная Санкт-Петербургская хоровая капелла под руководством выдающегося хормейстера и дирижёра Владислава Чернушенко пригласила в город Валентина Распутина отметить его 70-летие. Хор, как всегда, чудесно пел, мы поприветствовали Валентина, и вдруг я вижу в зале 102-летнего академика, великого хирурга-пульмонолога Фёдора Григорьевича Углова. Я знал, что он до 95 лет делал операции, но что он делал тут в 102 года? Я спустился в партер, пожал ему руку и спросил: “А вы-то как тут?” Фёдор Григорьевич ответил: “Общее дело”.

Япония. Три раза изменила...

Как понимают шутку в Японии, я не знал. Но вот попал в эту далёкую страну в 1968 году, да ещё и во главе молодёжной делегации. В те времена японские коммунисты (а они были сильной партией) поддерживали маоцзе-дуновскую политику, а нас считали ревизионистами. Но с Японией надо было дружить, и Комитет молодёжных организаций послал мощную делегацию в Саппоро (в этой столице будущих олимпийских игр и проходил наш советско-японский фестиваль). В делегации был народ надёжный, красивый и разный.

Блистала и всех влюбила в себя (правда, на расстоянии) красавица, кинорежиссёр Лариса Шепитько, успокаивая твёрдых патриотов: “Да я Юхимовна, а не Ефимовна”. Вызывала восторг Лариса Голубкина (известная всем по фильму “Гусарская баллада”). Мягко втолковывала истины кино Лариса Величко. А Женя Райков, заслуженный артист Большого театра, никому ничего не втолковывал, а пел и пел, щедро одаривая японцев, да и нас тоже, своим дарованием. Играл вдохновенно на скрипке будущий дирижёр Владимир Спиваков. Да много и других достойных ребят было в делегации.

В Саппоро открывали митинг, потом – шествие по улицам, поиграли в волейбол, потом был приём с хорошим японским пивом. Я сидел за столом с крепкими профсоюзными лидерами, договорились о политике не говорить. Болтали обо всём, но хозяев не расшевелили, рассказали пару анекдотов, японцы вежливо покивали, но не смеялись: наш юмор они не принимают. Я решил под конец беседы рассказать солдатский, казарменный анекдот.

“Маша, – спросил в конце жизни муж, – скажи мне честно: ты мне изменяла? Я тебе три раза”. Маша ответила: “Ну, ничего, я тебе тоже только три раза. Один раз с Мишей, второй раз с футбольной командой, а третий – с симфоническим оркестром”.

Японцы вежливо поулыбались, а я себя покори́л за анекдот такого пошиба и пошёл танцевать вальс (который, в общем, и танцевать-то не умел). В середине танца за столом у профсоюзников раздался громкий хохот, восклицания, зовут: “Валерий, Валерий!” Подхожу. Все поднимают вверх большой палец. “В чём дело?” Японский переводчик объясняет: “В футбольной-то команде одиннадцать человек, а в симфоническом оркестре – тридцать (!)”. До японцев анекдот “дошёл”. В Японии нужно шутить чётче, доходчивее, и паторонов не жалеть.

“Цэ не нам!”

Привожу часто своим коллегам одну историю, о которой говорилось на одном из съездов партии.

Выступающий сказал, что нередко многим нужен серьёзный толчок или встряска перед необходимыми и вполне ясными действиями.

Вот, например, на вокзале сидит группа мужиков и попивает пиво. Стоит отходящий поезд. Раздаётся первый удар колокола. Мужики спокойно говорят: “Цэ не нам!” Затем раздаётся второй удар. Мужики: “Цэ не нам!” Дежурный по вокзалу в красной фуражке с беспокойством смотрит на мужиков. Раздаётся третий звонок. Мужики опять: “Цэ не нам!” Дежурный в красной фуражке закричал: “Вы... вашу так... поезд сейчас тронется!!!” Мужики закричали: “О, цэ нам”, – и побежали садиться.

Да, иногда надо встряхивать мужиков.

“Чилдренята”

В 1967 году я попал в составе группы молодых туристов организации “Спутник” на потрясающую всемирную выставку “Экспо-67”. Ходим, разинув рот, по павильонам Японии, Германии, Англии и другим. Да-а, компьютерная тема становилась в мире центральной. Были и “удивлялки”. Это электронный хоккеист на входе в павильон Канады, или занимающая экспозицию целого этажа выставка десятков кроватей и личных вещей Мэрлин Монро в павильоне США. Там же шляпы разных времён. Ошеломлял многометровый портрет Альберта Эйнштейна с высунутым языком. У израильской экспозиции, у павильона СССР грандиозная очередь. Гордимся, стоим, там же познакомились с земляками с Волыни, родители которых уехали в Америку ещё до Второй мировой войны. Они говорят на смеси английского, русского и украинского. Мы поехали к ним в гости в Виннипег и по дороге наслаждались и потешались этой смесью слов. Раздобревшая канадка (бывшая украинка) в дороге кричала: “Джонку, зачини викно, а то чилдренята залякнут”. Это, по-видимому, должно было означать: “Иванку, закрой окно, а то детки помёрзнут”. С тех пор я звал своих ребят из делегации “чилдренятами”.

“Хлопци, та я тут индийцем працюю...”

В Канаде нас возили в Торонто и к Ниагарскому водопаду. Все пели культурную эмигрантскую песню:

*Над Канадой небо синє,
Меж берѣз дожди косые.
Хоть похоже на Россию,
Только всё же не Россия.*

А потом нам очень захотелось в индейскую резервацию к угнетённым индейцам, первооткрывателям Америки и Канады. С большими предосторожностями нас привезли к резервации, которая была огорожена высоким деревянным частоколом, а у входа встречала гостей разукрашенная и разодетая в перья индейская семья с молчаливым, краснокожим вождём. Мы тихо прошли вдоль пустых вигвамов, зашли в лавку сувениров, где торговала бойкая канадка. Купили сувениры: кто маску, кто перья, а я так даже небольшое копье (хотя меня и отговаривали, что на границе отберут, – отобрали!). На выходе ещё один раз остановились, сфотографировали индейскую семью. Боря Машталярчук, главный редактор из Львовской молодёжной газеты, сделав снимок, громко сказал: “Ну, до побачинья, громодяне индийцы!” Дальше была гоголевская немая сцена из “Ревизора”. Все замерли. “До побачинья хлопци”, – изрёк вождь и добавил: Та я з Волини, тут индийцем працюю”. Даже хохота не было – все восхитились вроде бы подстроеной сценой. Но оказалось, что она не подстроена! Васыль, так звали вождя, здесь действительно работал много лет, подкрашивая себя и семью красным цветом, надевал шитый индейский костюм, брал в руки копье и стоял. Главное было не говорить. А тут душа не выдержала! На “ридной мови” с ним попрощались – как тут не заговорить индейцу!

“Техника–молодёжи”, многие наши молодёжные газеты написали об этом. Ну, как тут не написать, когда индейцы говорят на “украиньской мови”. В общем, наши люди даже индейцами працюют (работают).

Союз спасателей

В МГУ я был членом экзаменационной комиссии, но как-то забыл взять пропуск и показываю свой писательский билет охраннику, который имеет указание никого постороннего не пускать в здание. Охранник вертит билет, передает его начальнику смены и говорит: “Какой-то Союз спасателей”. Тот оказался понятливой, хотя, честно говоря, Союз спасателей мне тоже понравился.

“К топору зовите Русь!”

После того как я закончил историческое повествование “Росс непобедимый”, я принялся за “Флотоваждя” (Ушаков). Старался пошире узнать и охватить XVIII век с его бытом, хозяйствованием, культурой, литературой, русским словом, русским смехом и русской печалью. Тут неоценимым подспорьем явились “Записки Андрея Тимофеевича Болотова, написанные им самим для своих потомков”. Да какое подспорье – это просто клад для тех, кто изучал Россию XVIII века! В ответ на вопрос Екатерины II: “Кто в России лучший экономист?” – Нартов, глава Вольного экономического общества, сказал: “Мелкий тульский помещик Болотов”. Да, действительно, Болотов был фигурой выдающейся: первейший в то время агроном, селекционер, садовод (вывел 300 сортов новых ягод, фруктовых деревьев, овощей), создатель в России науки помологии (яблоневедения), учредитель двух первых экономических газет в России и т. д. Нам он ещё дорог тем, что написал 350(!) томов записных книжек о тех временах, с описанием приёмов и примеров ведения хозяйства в России, да и всей её истории того времени. Недаром Екатерина II немедленно утвердила его управляющим своим имением для графа Бобринского (её внебрачного сына от графа Орлова).

Богородицк (имение графа Бобринского) в Тульской губернии и стал эталонным хозяйственным, экономическим и эстетическим центром русской про-

винции. А Болотов – образцовым хозяином–созидателем. Болотов вдохновил меня на написание книги “Тульский энциклопедист” и издание его двухтомника. Болотовым, как и Ушаковым, я был полон.

И когда в конце 90-х Россия бурлила, искала ответы на многие вопросы, когда, казалось, вот-вот появится русский Дэн Сяопин, я думал, что нет лучшего созидательного примера в нашей истории. И на расширенном пленуме Союза писателей выступил со странным, но для меня закономерным лозунгом, навеянным Болотовым. От микрофона я буквально возопил: “К топору зовите Русь!” Зал замолчал, с левой стороны раздались аплодисменты, большая часть зала раздумывала, осмысливая сказанное. Я продолжил: “Но не к топору разбойника и ушкуйника, а к топору плотника, строителя, созидателя!”

К сожалению, общество и власть были настроены на митинг и быстрое обогащение, а труд, созидание были не главными в жизни. . .

“И умер гол, как гол родился...”

В 2012 году во время ушаковских дней на Ионических островах мы, делегация Всемирного Русского Народного Собора, были на островах Кефалония и Закинф, которые Ушаков первыми освободил в 1798 году. На этих островах решили в будущем так же, как и на Корфу, поставить памятник Ушакову. На Кефалонии же провели конференцию, посвящённую творчеству братьев Лихудов, которые в восемнадцатом веке приехали в Россию и приняли участие в создании знаменитой Славяно–греко–латинской академии. Памятник братьям Лихудам как давним друзьям России, просветителям стоит на почётном месте возле Красной площади.

На конференции в Кефалонии выступил ректор Московской духовной академии в Троице–Сергиевой лавре архиепископ Евгений. Это стало событием. Но не менее важными были и доклады греческих ученых о русско–греческих связях, о русских консулах в Греции и на греческих землях в Турции, о том, как они защищали православных греков. Странно было слышать сообщение о русском консуле Хемницере из Смирны. Пришлось лезть в учебники, хрестоматии, где Хемницер упоминается больше как писатель. Особенно известны его басни о взяточничестве, преклонении перед немцами и французами, перед вельможным бахвальством и заносчивостью. Особенно на слуху была его басня “Метафизика”, в которой сынок–оболтус учился за границей, “но сын глупее возвратился”, хотя рассуждал обо всех предметах пространно, и даже попав в яму, продолжал, несмотря на попытки отца выволочь его оттуда, рассуждать и “пустомолоть” о времени и болтать об отвлечённых понятиях. “Сиди, – сказал отец, – пока приду опять”.

Время пустомель, болтунов, напыщенных учёных, шарлатанов не прошло, и можно было бы воспользоваться советом баснописца: “Что если бы вралей и остальных собрать и в яму к этому товарищу послать”. На басню ссылался А. С. Пушкин и даже через столетие её цитировал Ленин.

Да, может быть, на этих греческих островах и сохраняется русский дух, и почитается наша литература.

А Хемницер привёз из Смирны себе эпитафию: “Жил честно, целый век трудился и умер гол, как гол родился”.

Вперёд, славяне!

После XX съезда партии чуть ли не главным грехом сталинской пропаганды стали считать лозунг времён Отечественной войны: “За Родину! За Сталина!” Одни говорили, что лозунг “За Родину, за Сталина!” кричали, когда шли в атаку, другие считали, что это выдумка. Несколько раз я обращался к фронтовикам, чтобы они высказались по этому поводу. Ответы были разные. Приведу три из них.

Один подполковник, преподаватель военной кафедры в университете, израненный в военные годы, сказал: “Знаешь, я ведь Ванька–взводный был, выскакивал в атаку из окопа, пистолет вверх, потом автомат, и кричал: “Вперёд, славяне!” А у меня во взводе русские, мордвин, хохол, два узбека, грузин, а сам я татарин!”

Известный писатель Михаил Годенко, чудом выживший при переходе нашего флота из Таллина в Кронштадт, воевал под Ленинградом, серьёзно мне

ответил: “Знаешь, мы, моряки, когда в атаку шли, не кричали “За Родину, за Сталина!”, все больше крепко ругались. Но скажи нам тогда кто-нибудь плохое слово про Сталина либо что мы терпим поражение из-за Сталина, мы бы того застрелили на месте, как геббельсовского агента”.

Генерал армии Махмут Гареев, доктор исторических наук, директор Института военной истории, на парламентской встрече в Костроме в 2011 году сказал: “Вот поднимается вопрос, чтобы не было в Москве нескольких портретов Сталина в день 9 Мая и что мы выиграли войну вопреки Сталину. Тако-го ещё в истории не было, – продолжал видный историк, боевой генерал, – чтобы войну выиграли армия и страна вопреки своему главнокомандующему. Если такое возможно и страна может обходиться без руководства, тогда зачем сегодня у нас два руководителя?”

Зал засмеялся и поаплодировал генеральской иронии...

Пространства и чистые души

В 1995 году мы проводили пленум Союза писателей в Якутии. Это было важное событие. Обсуждали впервые после распада Советского Союза вопрос о национальных литературах. Время было сложное, только что был совершён страшный захват больницы в Буденновске, горела Чечня, происходили схватки между осетинами и ингушами, да и вообще казалось, что уже новая Россия находится на грани распада. “Берите суверенитета столько, сколько возьмёте!..” Но были люди, которые думали по-другому. Так, президент Якутии Михаил Ефимович Николаев видел, что надо снова соединять народы, их культуры, литературы, если мы хотим сохранить великое государство. После разговора со мной он прислал в Москву громадный самолёт для 150 писателей страны, чтобы они прилетели и познакомились с Якутией, обсудили вопросы нашей литературы и дружбы между нашими народами. Встреча состоялась острая, но живительная. После Орла и Якутска стало ясно, что литература наша, Союз писателей восстанавливаются, что страна, великая страна живёт.

Провели пленум, познакомились с работой Академии наук, университета, школы, побывали в храмах, во многих районах (улусах).

Потом проплыли на пароходе по Лене. Зрелище было незабываемым и осталось в памяти на всю жизнь. Пароход шёл три дня. На третий день утром рано я вышел на палубу, все спят, а там стоял Борис Леонов, известный критик, писатель, преподаватель Литинститута. Была у него одна шуточная страсть: он чрезвычайно точно копировал голос Леонида Ильича Брежнева. В застолье рассказывал о нём незлобивые смешные истории, возможно, сам и придумывал многие из них. Говорил, что об этом “органы” доложили Брежневу. Тот якобы спросил: “Но он не кощунствует?” – “Нет, не кощунствует”. – “Ну, и ладно, пусть себе продолжает, только аккуратно”. Тут в Якутии народ над добрыми шутками и пародиями Бори посмеялся, все ещё хорошо помнили Брежнева.

Утром Боря молчал, с восторгом смотрел по сторонам. А слева и справа берегов до горизонта почти не видно. Как говорится, ширь необъятная. Боря засунул руки в карманы и, слегка покачиваясь, сказал язвительно:

– Вот за это они нас и ненавидят!

Было почти ясно, кто именно нас ненавидит.

В конце пленума небольшой группой участников мы полетели в южный для Якутии, молодой, недавно возведённый шахтёрский город Нерюнгри.

Город был красивый, ухоженный, современный – ещё недавно, во время строительства он был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Зашли в новый храм. Думали, конечно, что народу там нет, – ведь молодёжная стройка! А в храме полно народу. Удивляемся, спрашиваем у батюшки: “Откуда народ-то?” Батюшка улыбнулся: “Народ-то чистый приезжал, по путёвкам, лучшие, с верой в лучшее будущее, с чистой душой. С ней и в храм пришёл. Молимся. Многие из них сегодня очень усердные верующие христиане”.

Народные артисты на два часа

В Софии во время заседания советско-болгарского клуба творческой молодёжи нас принимали на горе Витоша, господствующей над столицей. В гости пришёл руководитель Болгарии Тодор Живков, который пел с нами совет-

ские песни, особенно песни времен Великой Отечественной войны. Через пару лет мы с Володей Токманём проходили вечером мимо резиденции глав государств соцстран, приехавших в Кремль на совещание, и то ли от бесшабашности, то ли от хороших взаимоотношений с болгарами решили зайти к болгарам и поблагодарить Тодора Живкова за хорошее отношение к советско-болгарскому клубу. Естественно, охранник нас туда не пустил, но находившийся во дворе в тот момент помощник Живкова Д. Методиев, закончивший наш Литературный институт, закричал: “Валерий, Володя, заходите!” – а охраннику для убедительности сказал: “Это народные артисты”.

Хотя и с недоверием, но нас пропустили. Нас приветствовал сам Живков: “Слава народным артистам!” Пришлось подтверждать звание, тем более что Живков узнал нас и снова стал петь песни военных лет. И хотя голоса наши на артистические не походили, но слова песен мы знали и пели громко. Из резиденции нас отвезли на представительской машине, благо, мы жили рядом, возле Дворца пионеров.

Не знаю, проверяла ли охрана потом списки народных артистов СССР, но мы с Володей два часа в этом звании пробыли.

Хинкальная спасёт

Заседания советско-болгарского клуба в 1971 году проходили широко и раздольно в Тбилиси, Боржоми, Батуми, Ростове.

В Тбилиси первый секретарь ЦК партии, типичный форсистый кавказец Мжаванадзе тепло встретил представителей болгарской и советской стороны, принимал с размахом, рассказал о безграничном гостеприимстве грузин, отправил всех в Боржоми и Батуми, от красного вина, казалось, никто из нашей делегации и не очухается. Но богатый опыт болгар, а в первую очередь – грузин, показал нам верный путь. В шесть часов утра в комнату решительно постучал Резо Амашукели – грузинский писатель, но главное – князь, что для нас в ту пору было не только необычно, но и служило устрашающим фактором или, в лучшем случае, юмористическим символом. Он сказал: “Срочно поднимайся, а то все места займут!” – “Что, куда, какие места?” – “Эх ты, – с превосходством цивилизованного грузина возвестил Резо, – в хинкальную”.

Мы куда-то спускались, потом свернули в переулок и зашли в большое помещение, где было, по крайней мере, столов тридцать. И почти все они были заняты. Но князя ждали, нас провели за центральный стол, и через три минуты появилось дымящееся варево. Это было знаменитое блюдо из потрохов! С недоверием мы взяли за ложки. И через две-три минуты гудение в голове прекратилось, муть отступила, появилась ясность сознания и трезвость мысли. Это начал работать суп из потрохов, который обладал непознанным для нас тогда свойством – отрезвлял, облагораживал, даже возвышал организм. Слава супу из потрохов! Все сто сидящих за столом участников клуба стали благодаря хинкальной свежими огурчиками... Действительно, грузины гостеприимные люди!

В библиотеке

Князь продолжал шефствовать над нами. Он рассказал залиvistую грузинскую историю, которая, если честно говорить, могла произойти и в любом другом месте:

“Мишо и Георгий поспорили. Мишо твёрдо сказал Георгию: “Ты меня в родном селе не найдёшь!” Георгий засмеялся: это он-то, который знает все дома и закоулки! И предложил поспорить на ящик коньяка. Мишо таинственно улыбнулся и сказал: “Через десять минут ищи меня”. Прошло десять минут, и Георгий стал прочёсывать всё село. Минут пятнадцать прошло, тридцать, сорок, час. Мишо не был обнаружен. Георгий ещё немного поискал и закричал: “Мишо, выходи! Я проиграл”. Когда Мишо появился, Георгий ещё раз подтвердил, что ящик коньяка за ним. “Но скажи, где ты прятался?” Мишо победоносно ответил: “В библиотеке!!!” Да уж, тут Георгий никак не ожидал увидеть Мишо”. Да и мы кое-кого не ожидаем увидеть в библиотеке.

Сознание “От глыбыны кишени”

Союз писателей России и Шолоховский комитет в 2012 году решили поддержать перевод “Тихого Дона” на украинский язык, ибо он давно не издавался на “мове”. Способствовало этому и то, что мать Шолохова была из семьи выходцев с Черниговщины. Естественно, украинцы этим гордились. В 2013 году перевод Владимира Середина был закончен, а Шолоховский комитет (Андрей Черномырдин) за свой счёт издал в Киеве выдающееся произведение. На презентации перевода собралось в парламентской библиотеке множество людей, выступали известные писатели Борис Олейник, Иван Драч и другие, доктора наук, директора институтов Кононенко, Солдатенко, бывший президент Кучма и многие другие. Выступления были и на книжной выставке, где мне запомнилось выражение драматурга и писателя, что у некоторых украинских богатеев такие проявления сознания идут “не от глыбыны души, а от глыбыны кишени” (кошелька).

Ждём освобождения с неба

Бывший первый секретарь Полтавского обкома партии Фёдор Трофимович Моргун приглашал меня в область не раз, чтобы показать “битву за урожай”. Делал он это с размахом, собрав буквально отряды комбайнёров и бросив их на уборку. За несколько дней весь урожай зерновых был убран, а Моргун знал всех комбайнёров по имени-отчеству и награждал их.

Времена наступили новые, Моргун стал министром экологии Советского Союза, строил обширные планы, приглашал часто писателей для беседований и советов. Но внезапно все изменилось: СССР распался, и Моргун остался не у дел. Но была у него неистребимая страсть: он на всех уровнях пропагандировал безотвальный метод вспашки, “безотвалку”. И тут его пригласил консультантом в область самый мобильный и пылливый губернатор в России Евгений Степанович Савченко из Белгорода. Фёдор Трофимович там и консультировал, наезжая на Полтавщину оттуда. Он настойчиво приглашал и меня в Полтавскую область на знаменитую, воспетую Гоголем Сорочинскую ярмарку.

Вот в 2009 году мы и выбрались с академиком Анатолием Цыбом, директором Обнинского международного радиологического медицинского центра, моим одноклассником по Комышнянской сельской школе на Полтавщине (вот каких людей давала советская сельская школа!).

Мы приехали и вместе с Моргунем обошли всю Сорочинскую ярмарку. Отовсюду неслись ему приглашения заходить. То один, то второй – да многие вспоминали: “А помните, Фёдор Трофимович, как вы прилетали к нам на вертолёт и сняли у нас голову (председателя) колхозу (колхоза)”.

Фёдор Трофимович таинственно улыбался и ничего не говорил. Лишь после сказал мне: “Валерий, я ни разу не летал над областью на вертолёт. А голову колхозу только одного снял, и то на бюро...”

Всё-таки как сильна в народе вера, что высшая справедливость и власть нисходит сверху, почти с небес, и карает нерадивых. Хорошо бы...

Голосуем: “Кто народный поэт России?”

Артист, поэт, “певец во стане русских воинов”, как мы его называем, всеобщий народный любимец Михаил Ножкин начинал по внешним признакам как диссидент или в таковые его хотели зачислить.

Кончается 1964 год. Московскую молодёжь впервые пригласили в Кремль, в недавно открытый КДС (Кремлёвский дворец съездов) на новогодний бал. Событие это было невиданное. В вихре вальса закружились молодые люди по залам.

Звонок, заходим в зал на концерт, выступают заслуженные и народные. Публика щедро аплодирует. Объявляют: “Артист Московской эстрады Михаил Ножкин!” Кто такой? Спрашиваю у соседей справа и слева. Один ответ: да это какой-то бард (слово это только входило в моду). Он запел, зал замер: невиданный мотив, слова и голос для откалиброванного Дворца Кремля: “А на кладбище все спокойненко, удивительная благодать!” Публика задвигалась, начали подпевать, хотя слов не знали. Но это было необычно, с вызовом и

какими-то намеками на наши порядки, которые омертвляли жизнь. И-и-и, что тут началось! Зал вскочил, зааплодировал, зашумел, выкрикивал: “Ещё, ещё...” Минута, две, три, пять... Объявить следующий номер не дают... Наконец, как рассказывал позднее Михаил, его выпустили: “Спой ещё одну, ну, и хватит!” Михаил вышел и для успокоения аудитории спел песню “Нам нового начальника назначили”. А это было как раз после недавнего освобождения Хрущева и отправки его на пенсию. Тут уж был хохот, снова аплодисменты и даже свист. Махмуд Эсамбаев, чеченские пляски которого встречали неизменные восторги публики, только после долгих уговоров, в том числе и Ножкина, вышел на сцену. Но зал ещё бурно переживал Мишино выступление.

Михаила Ножкина, конечно, с тех пор в КДС не пускали, да и вообще пытались отлучить от эстрады. Но он, как неунывающий человек, стал знаменитым киноартистом, вместе с Соловьёвым-Седым написал музыкальную комедию, стал писать сценарии. Да вот и в тяжёлые ельцинские времена стал необходим на концертах десантников, соборовцев, грушников, моряков и уже к своему юбилею был допущен во Дворец съездов.

А я в 2012 году написал предисловие к его двухтомнику и приветствовал его в Колонном зале Дома Союзов, бывшего ранее Дворянским собранием.

В переполненном зале я выступал первым, высоко оценил его творчество и обратился к аудитории с одной просьбой. Дело в том, что на все просьбы Союза писателей России, на его обращение по поводу введения звания Народный поэт (или писатель) России власть отвечала резким и быстрым ответом: “Нет!” Внятных аргументов против, конечно, не было. Народный артист есть, народный художник есть, а писателя, да ещё русского, признать народным властью боится. А между тем, народные поэты и писатели есть в Дагестане, Чеченской республике, Татарии, Башкирии, Бурятии, Якутии и в других бывших автономиях, только в России народных писателей и поэтов нет.

Поэтому я и обратился к публике, объяснив всё это залу, с предложением объявлять звание “Народный поэт России” голосованием, и начать это с Колонного зала, где демократически решали свои вопросы до революции дворяне, а после неё — профсоюзы. Здесь же проходил I съезд писателей СССР. Зал, аудитория, на наш взгляд, как сегодня любят говорить, репрезентативна, а потому: “Кто за то, чтобы объявить Михаила Ножкина народным поэтом России?” Зал бурно зааплодировал, но я продолжил: “Давайте, друзья, демократическим путём будем голосовать: кто за присуждение звания “Народного поэта России” Михаилу Ножкину, прошу голосовать!” Лес рук. Но я не завершил процедуру: “Кто против?” Громкий смех, кто-то предложил: “Вывести из зала!” Таковых не оказалось, так же никто не воздержался. Я подвёл черту: “Прошу следующие номера вечера объявлять так: “Выступают народный поэт России Михаил Ножкин!” Снова буря аплодисментов. А если честно говорить, Михаил давно народный поэт России.

А не лучше ли начать с Нарыма?

Народный артист Сергей Столяров, принимавший с нами участие в работе Советско-болгарского клуба творческой молодёжи, красавец, довоенный и послевоенный любимец зрителей, да и самого Сталина, любил рассказывать нам артистические истории. Так, артист Геловани, который играл роль самого Сталина, попросился через Кагановича побывать у Сталина дома, в семье. “Для чего?” — спросил Иосиф Виссарионович. Каганович отвечает: “Ну, наверное, чтобы лучше вжиться в образ, лучше сыграть вас...” Сталин попытался трубочкой и сказал: “А не лучше ли ему начать с Туруханского края?” (место ссылки Сталина).

Больше Геловани уже не стремился “вжиться в образ”...

В электричке. Одна законная, другая легитимная

В 1986 году мне дали общественную, временную писательскую дачу в Перedelкино, в домике, где в своё время жил поэт Степан Щипачёв, известный по культовому тогда стихотворению “Любовь — не вздохи на скамейке...”, которое он недурно заканчивал: “Любовь с хорошей песней схожа, // а песню нелегко сложить”. Все это стихотворение знали.

Из Переделкино мы ездили на работу на электричке, машин, конечно, у нас не было. Но электричка была вполне удобным транспортом, в котором можно было и почитать, и услышать массу интересных разговоров.

Однажды, когда я зашёл в вагон, два мужика переспросили: “Это что? Какая станция?” – “Переделкино”. Второй спрашивает у первого: “Ты бывал в Переделкино?” Тот говорит: “Нет!” – “Какой посёлок! Какой посёлок! А люди, какие люди!” Казалось, после таких слов он скажет что-то замечательное об этих людях, а он закончил: “Подлец на подлече!” Да, крепко надо было насолить мужику, чтобы он так отозвался о людях.

В начале перестройки пришли новые нравы, новые слова в общество. Захожу в вагон, сидит парень, с двух сторон от него сидят молодые женщины, а его руки уверенно покоятся на их округлых плечах. Расположившаяся напротив бабка говорит ему: “Что ты двух-то обнимаешь сразу? Они что, твои?” Парень, не смущаясь, похлопывая по-хозяйски обеих, говорит: “Бабка, у меня одна – законная, а другая – легитимная”.

Бабка этих новых терминов не понимала, плюнула и пересела на другую скамейку.

А кукушка всё кукует

Напоследок одна встреча в Калуге. Проводим пленум Союза писателей. Выступаем в Филармонии. Приветственное слово говорит губернатор Артамонов, выступает владыка Климент. Вышел и я – поблагодарить. Пленум был содержательный, говорили о делах литературных, называли новые имена, не забывали и старые. Говорили о фантастически богатой истории Калужской земли. Тут и Оптина пустынь, и Полотняный Завод, где бывал Пушкин, и родина маршала Жукова, и город Циолковского, тут литературная Таруса и легендарный Малоярославец, где фактически был разгромлен Наполеон. Я почти всё это упомянул, но сказал, что тут ещё особый чистый воздух, успокаивающая атмосфера.

“Вот вы поселили нас в коттеджах за городом, где пели птицы. Когда я зашёл в дом, то услышал, как кукует кукушка. И хоть при моих годах рискованно задавать детский вопрос, я не удержался и спросил: “Кукушка, кукушка, сколько мне лет осталось жить?” Особенно в приметы я не верю, но всё-таки... Кукушка кукует, считаю: раз, два, три, четыре, пять... Ну, хорошо, думаю, а она кукует дальше: шесть, семь, восемь, девять, десять... Отлично! Она продолжает: одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать... Что может быть лучше! Застылаю кровать, ложусь, она кукует: шестнадцать, семнадцать... двадцать, двадцать один... двадцать пять. Спокойно засыпаю”. Зал захохотал, улыбнулся губернатор, похлопал владыка. А я продолжаю: “Проснулся, а она всё кукует...” Все заплодировали.

Так и я желаю всем читающим эту книгу, чтобы кукушка куковала вам долго, не уставая.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ДНЕВНИКА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

* * *

Глубокая осень 1967 года. Я сижу на втором этаже старенькой переделанной дачи в гостях у Ярослава Смелякова. Мы недавно закончили работу над юбилейным (пятьдесят лет Октябрьской революции!) “Днём поэзии”. И он, главный редактор альманаха, пригласил меня, составителя, скромно отметить это событие... Мы поздравили друг друга. Выпили. Ярослав Васильевич закурил и надолго замолчал, глядя из окна на осеннее золото лиственниц и берёз. Бледное лицо со впалыми щеками, жидкие светлые волосы, хриплый голос, застуженный на всю жизнь то ли на финских, то ли на интинских ветрах. В эти же дни мы с ним записывали на фирме “Мелодия” пластинку стихотворений Заболоцкого в нашем исполнении, Смеляков читал свои любимые стихи Николая Алексеевича, я – свои... И вдруг, глядя из окна дачи на траву, покрытую инеем, отсидевший три лагерных срока Смеляков своим глухим надтреснутым голосом начал читать стихотворенье Заболоцкого, тоже растерявшего здоровье на берегах Амура и в степях Казахстана:

*Где-то в поле возле Магадана
посреди опасностей и бед
в испареньях мёрзлого тумана
шли они за розвальнями вслед <...>*

*Вот они и шли в своих бушлатах,
два несчастных русских старика,
вспоминая о родимых хатах
и томясь о них издалека...*

Смеляков читал стихотворенье так, как будто бы один из стариков был Заболоцкий, а другой он сам.

*Стали кони, кончилась работа,
смертные доделались дела,
объяла их сладкая дремота,
в дальний край, рыдая, повела.*

*Не догонит больше их охрана,
не достигнет лагерный конвой.
Лишь одни созвездья Магадана
засверкают, встав над головой.*

Закончив чтение, Ярослав Васильевич наполнил наши рюмки и глухо произнёс:

— Вечная ему память!

Чтобы отвлечь старика от невесёлых мыслей, я ответил ему на трагическую ноту Заболоцкого его собственным знаменитым в советскую эпоху стихотворением:

*Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветёт.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живёт <...>*

*В оконном стекле отражаясь,
по миру идёт не спеша
хорошая девочка Лида.
Да чем же она хороша?*

*Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живёт.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.*

*Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
“Хорошая девочка Лида”, —
в отчаяньи он написал.*

Смячков как-то застенчиво и неумело улыбнулся беззубым ртом, словно бы благодаря меня за то, что я вмешался в его невесёлые воспоминания, прочитав ему светлые, сентиментальные, чистые строчки, написанные им в грозном 1941 году...

... С того осеннего дня прошло почти полвека. Я сижу в своей калужской квартире, оставшейся мне в наследство от покойной матушки, и перелистываю смячковский однотомник из “Большой серии поэта”, чтобы составить своё “избранное” из этого однотомника, включив туда всё самое живое, самое глубокое и высокое из его поэтического наследия, отбросив всё временное и поверхностное, что, к сожалению, есть и у него, да, наверное, и у каждого из нас...

Название я придумал давно — “Терновый венец”, и предисловие к избранному написал... Дошёл до трогательного и сентиментального стихотворения “Хорошая девочка Лида”. Задумался: включать или нет, — и, почувствовав, что устал от работы, решил прогуляться по осеннему Загородному саду. День был солнечным, но ветреным и холодным. Листва шумно осыпалась с жёлтых лип и багровых клёнов. С высокого берега в промежутках среди стареньких тёмных домов поблёскивала стальная лента Оки. Постояв на ветру, я развернулся и пошёл обратно, но, проходя мимо своего дома, увидел на цоколе три слова, прочитав которые вздрогнул: чёрной краской, видимо из баллончика, на фасаде дома были выведены слова: **“Дашка правит миром”**. Меня словно громом ударило: как изменились воздух времени и души люди, живущий на заборах, на фасадах домов, на тротуарах! Сколько в ту же эпоху, когда “два несчастных русских старика” замерзали “в поле возле Магадана”, было разлито в воздухе любви, добросердечия, обожания и веры в добро, сколько было девочек, похожих на “хорошую девочку Лиду”, и сколько гордыни, агрессии, диктата излучает нынешний слоган “Дашка правит миром” — не “восхищается”, не любит этот мир, но именно “правит”. Не “Даша” или “Дашенька”, а именно “Дашка”. Представляю, как её поклонник гордится этим признанием, сделанным в Дашкину честь.

Поистине два этих эпитафия о “Лиде” и “Дашке” выражают сущность двух эпох – той незабвенной, человеческой, советской и нынешней звериной, сверхчеловеческой.

А тут мой взгляд упал ещё на два слова на том же цоколе: **“Убей мента!”** Боже мой! И это в стране, где был снят фильм о добродушном, но справедливом милиционере Анискине, где были написаны строки Владимира Маяковского “розовые лица, револьвер жёлт – моя милиция меня бережёт”, где в 30-е годы образ “дяди Стёпы” был для подростков не менее привлекателен, нежели образ Юрия Гагарина для мальчишек шестидесятых годов.

А тут – **“Убей мента!”** До чего же мы докатились... Но как аукнется, так и откликнется, вот о чём надо помнить.

* * *

“Завтра мы отмечаем, – торжественно сообщила какая-то телевизионная дикторша, – День памяти жертв СПИДа”... Ну, прямо как день памяти жертв политических репрессий или жертв холокоста... Мир скатывается в стихию абсурда. СПИД, за редким исключением (переливание крови), – наказание за грех: за наркоманию, за педерастию, за растленную жизнь. Почему бы тогда не отмечать день памяти жертв алкоголизма или жертв сифилиса? Целевые комиссии по СПИДу созданы, лотереи разыгрываются в пользу спидоносцев, концерты мировых звёзд эстрады устраиваются в их честь.

Заболеть СПИДом – всё равно что принести какую-то жертву во имя человечества, подвиг совершить, собою пожертвовать.

А всё потому, что происхождение постыдной болезни – американское, и многие поп-звёзды померли от неё, а иные переболели, и на них молятся, они фигуры культовые, и, значит, СПИД – болезнь почитаемая, сакральная... Как падучая у Магомета. Как писал в своё время Пушкин о другой “священной болезни” в “Сцене из “Фауста””: “И модная болезнь – она // недавно к нам завезена”, – говорит Мефистофель о сифилисе, но Фауст знает, что делать с кораблём, загруженным сифилитиками, и коротко приказывает: “Всё утопить”.

* * *

В 2010 году, когда страна отмечала 65-летие Победы, “Новая газета” посвятила ветерану войны А. С. Черняеву аж три полосы текста, которые начались поздравлением главного редактора газеты:

“Анатолий Сергеевич Черняев – выдающийся мыслитель, политик, тот самый знаменитый “помощник” Горбачёва, который спасал от партийных деспотов и КГБ опальные театры, опальных режиссёров, актёров, художников, писателей. Черняев – один из “архитекторов демократии” в нашей стране. Любимец женщин, любитель нелицемерных застолий, один из первых, кто дал отпор экзачепистам на форосской даче, где был интернирован вместе с Горбачёвым. Черняев – бесстрашный интеллеktуал. Анатолий Сергеевич, спасибо большое за боевые и гражданские победы.

Дмитрий Муратов”.

А заканчивались эти три полосы словами переводчицы Лилианы Лунгиной, известной по книге “Подстрочник”, с которой Черняев учился в ИФЛИ в предвоенные годы:

“Толя Черняев был похож на Горького – очень русский тип лица, коротко стриженные волосы, ясный, прямой взгляд. На фото на нём белая рубашка, чёрный галстук и зелёный пиджак <...>. Жил Толя в Марьиной Роще, тогда очень бедном районе, у них было две комнаты в ветхом деревянном доме. Он учился с большим рвением, хотел быть первым в классе, умел и любил играть на фортепиано. Застенчивый, с менявшимся в те годы голосом, совершенно не способный ко лжи и очень принципиальный. Намного позже, когда Толя оканчивал исторический факультет, он женился на студентке-еврейке – по любви и из протеста. Ему дали понять, что если он хочет сделать карьеру, то должен прервать отношения с этой девушкой. И через несколько дней они поженились. Сегодня Толя – один из ближайших советников Горбачёва, мы до сих пор дружим”.

Мысль Лунгиной о том, что женитьба на еврейке может помешать карьере мужа, напомнила мне другие размышления на ту же тему из книги «Поэтический пантеон победной войны» (М., 2005) недавно умершего члена-корреспондента Российской Академии наук Петра Алексеевича Николаева.

Я помню его скучнейшие лекции по истории литературы, с которых в 1952–1953 годах мы, студенты 1-го и 2-го курса филфака МГУ, сбегали из Коммунистической аудитории целыми группами, и оставалось нас от всего курса слушать лекции «Петруши», как мы его звали, не больше, чем остаётся депутатов в нынешней Госдуме во время самых никчёмных и пустых её заседаний.

Однако карьеру при полном отсутствии способностей выходец из мордовской провинции Николаев сделал удивительную, и рассказал в вышеупомянутой книге о секретах этой карьеры с редким, мягко говоря, простодушием, а вернее, с той простотой, которая, по русской пословице, «хуже воровства»:

«Известно, что в 1920–1930-е годы люди, желавшие идти во власть, стремились жениться на еврейках и даже пытались изменить имена своих жён с русских на еврейские. С такой женщиной (женой министра путей сообщения Ковалёва) мне пришлось однажды откровенно разговаривать о том, почему она своё девичье имя Дарья сменила на Дору. Муж сказал, что он не сделает карьеру, если она оставит своё русское имя».

Женой мордовского паренька Петра Николаева стала женщина по имени Ирина Иосифовна, дочь медика сталинской эпохи в генеральском звании. Ей не нужно было, как русской жене министра путей сообщения, притворяться еврейкой, с этим у неё всё было в порядке. Недаром её Петруша ещё до необыкновенных карьерных успехов в профессорских, академических и прочих сферах, уже в 29 лет, как пишет сам «великий российский учёный» (из предисловия к книге), «участвовал в заседании Центрального Комитета партии в январе 1953 года, где обсуждался вопрос с ошеломляющим названием «О трагическом состоянии Советского кино». Мне было 29 лет, я уже работал председателем сценарной коллегии министерства кинематографии и потому был приглашён на это высокое собрание». Ирина Иосифовна занимала крупные посты в Государственном Комитете по печати СССР, так что с карьерой у Николаева всё было в ажуре. Он стал заслуженным профессором МГУ, вице-президентом Российской Академии словесности, секретарём Союза писателей СССР, автором 18 книг, читал лекции в 48 университетах мира и т. д. Ныне, через несколько лет после смерти его имя навсегда и заслуженно забыто. Так что Лиλιана Лунгина лукавила, когда сокрушалась о том, что, женившись на еврейке, несчастный и честный Толя Черняев поставил крест на своей карьере. Всё вышло совсем наоборот. Сведения, взятые из Википедии, гласят, что Черняев после войны окончил исторический факультет МГУ, преподавал в 1950–1958 годах новейшую историю в том же МГУ, дослужился до заведующего кафедрой, а в 1958–1961 годах переехал в Прагу и поступил на работу в журнал «Проблемы мира и социализма», в «инкубатор» по воспитанию либеральной кадровой партийной элиты... Тут-то и начинается триумфальный путь Черняева к высотам партийной власти. В 1961–1986 годах он служит в Международном отделе ЦК КПСС: сначала – референтом, потом – помощником заведующего отделом, потом – руководителем группы консультантов. В 1970–1986 годах он был заместителем заведующего отделом и одновременно членом Центральной ревизионной комиссии КПСС. В 1981–1990-м годах – член ЦК КПСС, в 1989–1991-м – народный депутат СССР от КПСС. И самый головокружительный взлёт карьеры – в 1986–1991 годы: Черняев – помощник Генсека ЦК КПСС, а затем – президента СССР М. С. Горбачёва по международным делам. С 1992 года он сотрудник Горбачёв-фонда и руководитель проекта «Документальная история перестройки. Внешняя политика перестройки».

Бывший посол Великобритании в СССР, а затем и в России Родрик Брейтвейт писал о Черняеве, что тот во время своего пребывания в аппарате ЦК КПСС «поддерживал связи с учёными в области политических наук, экономистами, специалистами по международным делам, жившими в престижных «мозговых центрах», а также с художниками, театральными режиссёрами и музыкантами либерального толка. Он, как и они, не был диссидентом. Но и он, и они были частью интеллектуального мира, выработавшего «новое мышление», которое принесло практические плоды, когда Горбачёв возглавил коммунистическую партию».

(Брейтвейт Р. «За Москвой-рекой». Перевернувшийся мир. М., 2004. С. 101.)

Черняев – автор нескольких книг, восхваляющих и оправдывающих идеологию и практику горбачёвщины: “Шесть лет с Горбачёвым” (М., 1993), “Моя жизнь и моё время” (М., 1995), “1991 год: Дневник помощника Президента СССР” (М., 1997), “Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991 годы” (М., 2008).

Одним словом, мы имеем дело с жизнью и карьерой одного из крупнейших функционеров советской эпохи, сделавшего всё, что было в его силах, чтобы разрушить Советский Союз под руководством своего шефа. В мае 2013 года Черняеву, одному из последних долгожителей и ренегатов нашего времени, исполнилось 92 года. “Вечный жид”, – может быть, подумает кто-то. Нет, к сожалению, Анатолий Сергеевич – русский шабесгой, вовремя жевившийся на еврейке.

В “Новой газете” от 12 апреля 2010 года публикуются “свидетельские показания капитана Анатолия Черняева о Великой Отечественной войне”. Воспоминания первые месяцы войны, Черняев негодует, что их, студентов, заставляли рыть противотанковые рвы: “Это была совершенно бессмысленная затея. Немцы нас обстреливали, бомбили, потом просто обходили эти наши рубежи”... Может быть, оно и так. Но осенью 1941 года, когда немцам приходилось терять время, чтобы “обстрелять”, “отбомбить”, “обойти” эти злополучные рвы, для нас был дорог каждый день, каждый километр расстояния, каждая задержка мощного врага, рвавшегося к Москве. Может быть, эти “лишние” дни, потерянные немцами, в итоге и помогли нашим отступающим с боями частям сорвать немецкий “блицкриг”.

Потом бывший ифлиец выставляет счёт незабываемых личных обид сталинскому режиму: “Первое унижение: обрили наголо. Он считал единственной красотой физиономии свою причёску”. Большое унижение. Можно сказать, трагедия. Второе унижение: когда он попал в число новобранцев, из которых под Горьким формировались регулярные части, то увидел, что “на огромном пространстве – землянки... В них копошились без дела тысячи мобилизованных. Спали вповалку. Кормили чем-то непонятно отвратительным. “Туалет” запомнил на всю жизнь. Соседний редкий лес, просека метров пятьдесят шириной, загажено настолько, что ступить некуда”.

Вот какие страшные испытания переживал наш ифлиец из простонародья, когда немцы уже рассматривали в бинокли Кремль и Красную площадь. А тут страдания от того, что сортиров не было построено. Прямо-таки сцена из поэмы Есенина “Страна негодяев” в исполнении Чекистова-Лейбмана:

*Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет.
Потому что...
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет!*

После первых декабрьских боёв под Москвой Черняев впервые увидел медсанбат, и это поразило его:

“Раненых снимали с саней. В палатках не хватало мест. Раненые лежали прямо в снегу. Мороз градусов под тридцать. Стоны, ругань”.

Ну, что сказать? Тяжкая картина, но вспоминается стихотворение ровесника Черняева Бориса Слуцкого “Госпиталь”, в котором поэт описывает фронтovou госпиталь в разбитой церкви, где раненые кричат, впадают в забытё, умирают, где наш молоденький комбат просит санитаров оттащить от него подалеже умирающего немецкого унтера, “чтобы он своею смертью чёрной // нашей светлой смерти не смущал”. Стихотворение заканчивается так:

*И снова ниспадает тишина.
И новобранцу свидетельствуют воины:
— Так вот она какая здесь война!
Тебе, видать, не нравится она —
Попробуй перевоевать по-своему!*

“Я участвовал в двух атаках. За всю войну – всего в двух! Как правило, после уже первой атаки человек либо бесповоротно искалечен, либо сошёл с ума, либо мёртв”, – пишет Черняев.

Я помню, как в 70-е годы прошлого века несколько охотничьих сезонов прожил на Нижней Тунгуске в зимовье, куда меня пригласил Роман Иванович Фарков, прошедший солдатом всю войну. Он рассказывал мне о многих атаках, в которых ему приходилось бежать, кричать, стрелять, падать. Он остался жив и не сошёл с ума. Думаю, что таких ветеранов с медалями “За отвагу”, с орденами Славы вернулось с войны много и много тысяч. Они жили среди нас и были нормальными русскими людьми.

Вспоминая об атаках, Черняев говорит корреспондентке Зое Ерошок: *“Никогда русский мужик в атаке не произносил эти слова: “За Родину! За Сталина!” Не до товарища Сталина ему. Он матушку свою не вспоминает. Впрочем, нет, мать вспоминает (смеётся), но другую... Е...Т...М!!! Если человек в атаке чего и орал, так это был сплошной мат”*.

Конечно, тем, кто воевал, видней, но трудно верится в это. Хотя бы потому, что крик во время атаки имеет одну цель: сплачивать солдат в одно монолитное многоголосье. Голоса людей, встающих в атаку, должны сливаться в один воодушевляющий рёв, а этот рёв может сложиться лишь из гласных звуков, вылетающих изо рта... Для солдат всех времён и народов каким может быть самый объединяющий и воодушевляющий звук? Это не “и”, не “у”, не “е”, не “о” и, конечно, не “ё” – все эти звуки приходится произносить (особенно если кричать), с усилием напрягая губы и мышцы лица. Единственный естественно и легко вылетающий из распахнутых губ звук – это “а”! Откроешь пасть – и сразу орёшь: “а-а-а!!!” Отсюда и “Ура-а-а!”, и “Б-а-нза-ай!”, и “Алл-а-ах а-кба-ар!” “А! – А! – А!” Могучий и естественный звук войны, вылетающий из глотки бегущего, задыхающегося человека. И потому кричать “За Ст-АлинА-А” гораздо естественнее, нежели хором выговаривать длинное похабное ругательство, состоящее почти из одних неудобопроизносимых согласных: “б, т, в, м, т”... Природа человеческой речи опрокидывает лживые измышления Черняева, что русские люди бежали в атаку, скандируя изошрённые матерные ругательства. Не получается из этого нагромождения натякающихся друг на друга согласных одного мощного звука, объединяющего всех...

Я уж не говорю о том, что в годы войны имя Сталина воспринималось простонародьем совсем по-другому, нежели после XX съезда и лживого хрущёвского доклада на нём. Вспомним ещё одно стихотворение Бориса Слуцкого о Зое Космодемьянской:

*Под виселицу белую поставленная,
В смертельной, окончательной тоске
Кого она воспомянула? — Сталина.
Что он — придёт! Что он — невдалеке.*

*О Сталине я думал всяко-разное,
Ещё не скоро подобью итог.
Но это слово, от страданья красное, —
За ним. Я утаить его не мог.*

С таким отношением к Сталину люди той эпохи, конечно же, могли идти в атаку с его рАскАтИстыМ именем.

Но это ещё цветочки. Я просто не понимаю, как может человек, сам прошедший войну, профессиональный историк – опускаться до такой лжи, до которой не опустились никакие сванидзы:

“Кадровый командный состав был выбит Сталиным до войны весь – до уровня взвода, роты, батальона”. Такую ложь даже опровергать нет никакой необходимости.

Черняев хочет уверить читателей, что Сталин боялся и ненавидел офицеров, вернувшихся с войны, потому что они *“были потенциальными декабристами, они повидали Запад, они нажили новое человеческое достоинство”*... Это где же они *“нажили человеческое достоинство”* – на немецко-венгерско-румынско-итальянско-австрийско-хорватском фашистском Западе?

А уж когда Черняев начинает рассуждать о “еврейском вопросе” в сталинское время, то становится совсем смешон:

“Мы до войны совсем не отличали никаких национальностей... Я в школе учился, например, с Лилькой Маркович, это Лунгина, там на две трети были евреи, но мне в голову не приходило, что вот я – русский, а они – евреи...”

Но если ты не мог отличить русских от евреев, то как ты мог понять, что в школе *“на две трети были евреи”*, и почему Лунгина пишет о том, что Черняев *“женится на студентке-еврейке – по любви и из протеста”*? Значит, всё-таки он кое-как, с трудом, но догадался, что его будущая жена еврейка и что две трети его класса – её соплеменники? Ну, тогда, конечно, трудно было в таком классе найти русскую жену! Видимо, связав свою судьбу и карьеру с лжецом Горбачёвым, наш *“выдающийся мыслитель”*, профессиональный историк и верный член ЦК КПСС перестал отличать не только русских от евреев, но и правду от лжи. Как говорится, *“с кем поведёшься, от того и наберёшься”*.

* * *

На днях я написал письмо своему давнему старшему товарищу, награждённому боевыми орденами и медалями, приславшему мне на прочтение свою новую повесть.

“Дорогой мой друг! Мы начинаем составлять наш майский победный номер, и я ещё раз перечитал твою повесть. Прекрасный язык, мастерское изображение характеров, трогательные чувства дружбы по отношению к своим однокласскам-однопольчанам, последнему призыву Великой Войны, – всё это восхищает меня.

Но есть места в рукописи, которые я обязан обсудить с тобой откровенно и спокойно...

Ты пишешь: *“более четырёх миллионов пленных и более миллиона “советского народа” воевало на стороне противника”*. Итого, по-твоему, пять миллионов бывших советских солдат и офицеров надели форму вермахта. Не много ли? Да, пленных наших в немецких лагерях было около четырёх миллионов. (Кстати, к концу войны в наших лагерях было более чем 2,5 миллиона пленных вермахта, так что мы почти поквитались с ними). Но почему ты утверждаешь, что все наши, кто был в плену, *“воевали на стороне противника”*? Откуда ты взял эту фантастическую цифру? Вся армия вермахта, по имеющимся у меня справочникам, к началу войны состояла из 3 млн 300 тысяч человек, к ноябрю 1942 года их стало 3 млн 400 тысяч, к лету 1943-го – 3 млн 500 тысяч, к январю 1944-го – 2 млн 800 тысяч, к весне 1945-го – 2 млн человек... А где же тогда воевали и служили на стороне Германии ещё 5 млн бывших советских военнослужащих? По-твоему получается, что советских людей в войсках вермахта было больше, нежели немцев и их сателлитов. Цифры о количестве немецких войск на нашем фронте я взял из солидного двухтомника *“Банкротство стратегии германского фашизма”* (М., “Наука”, 1975 год). Цифры эти с небольшими расхождениями совпадают с цифрами из других справочников, изданных, в том числе, и в наше время.

Ну, скажи мне, как я могу дезориентировать твоими *“пятью миллионами”* читателей лучшего в России журнала, которые верят ему?

Помнится мне, что во власовских войсках было лишь две дивизии, сформированные из бывших военнопленных, но воевали в них всего около пятидесяти тысяч человек, которых Гитлер всё равно не доверял сражаться против советских частей. Одна из дивизий проводила карательные операции в Югославии, а другая освободила от немцев часть Праги и только потом вошла в лёгкое столкновение с советскими частями. Многие власовцы, не воевавшие с нами, ушли в американско-английскую зону и сдались там нашим союзникам... Никаких серьёзных сражений власовцев с советскими частями не было.

Подумай только, что по твоим цифрам получается, что большая часть вермахта состояла из наших бывших военнослужащих, – 5 миллионов! Но из этих пяти миллионов пленных половина погибла в немецких концлагерях, сотни тысяч были угнаны на работы в гитлеровскую часть Европы, множество пленных было освобождено нашими войсками из концлагерей в последние месяцы войны, какая-то часть была освобождена из лагерей, находившихся в зоне американско-английской оккупации, и они остались на Западе, испугавшись возвращения на Родину, стали невозвращенцами, жили в лагерях *“Ди-Пи”*. Вот так и *“рассосались”* эти 5 миллионов, якобы *“воевавшие”* против своей Родины на стороне гитлеровской орды.

А теперь другое моё недоумение. Ты пишешь, что тех советских граждан, кто оставался в оккупации, после освобождения *“не принимали в институты, не говоря уже о партии, не доверяли руководящих постов, даже низовых”*.

Да, во всех анкетах тех лет была графа: “находился ли в оккупации”. Я сам заполнял такие анкеты. Но я свидетельствую, что многие из моих калужских друзей, **бывших в оккупации**, после окончания школы поступили в лучшие вузы страны, многие мои товарищи по МГУ, куда я поступил в 1952 году, были из Западной Украины, из Белоруссии, из русских областей, бывших под немцами, и ничто не помешало им в сталинское время стать студентами великого МГУ. Сдал экзамены на “отлично” – и всё. Ты студент. Со стипендией и общежитием. Более того, мои знакомые писатели Виталий Сёмин из Ростова, Микола Петренко из Львова, Александр Говоров из Курска тоже были в оккупации, но без проблем поступили в Литературный институт. Более того, писатели старшего поколения Юрий Пиляр, Борис Бедный, Степан Злобин, Александр Власенко, Константин Воробьёв, Ярослав Смеляков, Виктор Кочетков побывали в немецком плену, и это не помешало им стать членами Союза писателей СССР, издавать книги, получать квартиры, работать на преподавательской работе, учиться на Высших литературных курсах и даже вступить в партию. Известный поэт Виктор Кочетков вообще стал крупным партийным начальником – был освобождённым секретарём парткома московской писательской организации. Проверялось лишь одно: чтобы живший на оккупированной территории или сидевший в плену не сотрудничал с оккупантами, не высказывался перед лагерными или оккупационными властями.

А Ярославу Смелякову его лагерное прошлое в гитлеровском плену не помешало стать лауреатом Государственной премии СССР. С одним из таких лагерников – писателем и журналистом Николаем Непомнящим – я в 1960 году работал в журнале ЦК ВЛКСМ “Смена”, где он заведовал отделом очерка и публицистики, и я был у него в подчинении.

Ты пишешь, что не давали тем, кто жил в оккупации, ни “ответственных постов”, ни “партийных билетов”. А как же ты забыл о судьбе Михаила Горбачёва, бывшего со всей семьёй в оккупации, что не помешало ему в 20 лет стать членом КПСС, потом окончить философский факультет МГУ, стать комсомольским вождём своего Ставрополя, потом – партийным секретарём обкома, а потом и Генеральным секретарём ЦК КПСС! Объясни мне эту загадку! Неужели КГБ не знал об этом?

Да, анкета была, вопрос в ней о жизни в оккупации был, но лишь для того, чтобы просеять и выявить, кто по своей воле охотно сотрудничал с оккупантами. К таким – да, власть была беспощадна. В моей родной Калуге после её освобождения были повешены бургомистр со своим заместителем (оба местные). А сколько у них было помощников! Немцы же везде пытались создать органы самоуправления под своим контролем, создавали систему полицаев из местных. И конечно, всех таких после освобождения советская власть наказывала жестоко. А что было делать, если война шла не на жизнь, а на смерть!

Оуновцы, бандеровцы, “лесные братья”, чеченские батальоны, крымские татары и т. д. Ну, как тут без анкеты обойдётся, особенно в первые послевоенные годы, когда время от времени вспыхивали судебные процессы над разоблачёнными полицаями и коллаборационистами... Ну, посуди сам, как я могу оставить без комментариев такую неприемлемую для меня точку зрения? Особенно сейчас, когда столько клеветы и грязи льётся на нашу многострадальную Победу. У меня у самого был родственник – брат мужа моей родной тётки. Пошёл добровольно служить сразу, как только немцы вошли в Калугу, в управу. После освобождения Калуги его поймали в Калужском бору и расстреляли. И правильно сделали. Не успел убежать, немцы сами его, иуду, бросили, как собаку. Но ни его братьев, ни его жену, ни его сына власть не тронула, не лишила ни жилья, ни продуктовых карточек, ни работы. Сын его окончил в Калуге десятилетку и поступил в институт, но конечно мы, уличные ребята, в свою компанию его не принимали. Частенько ты вообще пишешь размашисто: о том, что “кремлёвские мудраки” “преступно бросили” население под власть немцев... Да пойми же, что мы были слабее объединённой фашистской Европы, потому и отступали до Москвы, пока не собрались с силами. Так можно назвать “кремлёвскими мудраками” и Кутузова с Александром I, которые тоже “бросили” в 1812 году свой народ, своё население под власть Бонапарта с его мародёрами, а в придачу ко всей европейской части России ещё и Москву отдали... А причина всё та же: они тоже на первом этапе войны были слабее объединённой Европы. Ты размашисто пишешь: “Ярко

алели в лучах солнца, будто налитые кровью, складки знамени. На ум пришла мысль: “Почему большевики возлюбили цвет крови, возведя его в символ?”

Посылаю тебе флаги европейских стран, чтобы ты узнал: лишь в восьми из 54-х флагов стран Европы нет красного цвета, в нескольких странах флаги целиком красные, а в остальных – на красном фоне лишь символы (герб, полумесяц и т. д.) обозначены другим цветом.

Если хочешь, мой друг, утвердить что-то рискованное, надо всё подробно изучить. Я хозяин своего слова. Могу напечатать твою повесть так, как ты написал. Но обязательно со своими комментариями вроде этого письма. Но стоит ли это делать? Подумай. Это будет расколом в патриотическом стане на радость врагам СССР и всяческим либералам. Поэтому – подумай, поработай ещё над текстом, если, конечно, согласен со мной.

Твой Ст. Куняев”.

* * *

“Родину свою надо любить с открытыми глазами” – изрѣк Чаадаев. А любить человечество – тоже? А если оно готово поработить, сожрать, схарчить и переварить в своём чреве твою Родину?

Если ты не будешь трезво понимать, что такое “человечество”, – так оно и может случиться.

Францию во времена Александра Первого русские люди, даже самые умные – Чаадаев, Карамзин, Пушкин, – “любили с открытыми глазами”. После наполеоновского похода на Россию любви поубавилось, открытость в их глазах сменилась задумчивостью, а то и прямой неприязнью.

После маркиза де Кюстина любить просвещённых европейцев русские уже стеснялись. А после Крымской войны любить Францию и вообще Запад стало уже неприлично.

Оказалось, что за освобождение Европы от Наполеона европейцы нас больше любить не стали: более того, стали ненавидеть, что пронизательно увидел Пушкин, когда написал в 1830 году в своей знаменитой отповеди европейским парламентариям:

*Так присылайте к нам, витии,
своих озлобленных сынов,
им место есть в снегах России
среди нечуждых им гробов.*

Кстати, синдром ненависти к России за освобождение Европы от Гитлера проявился у европейцев тоже, но, правда, с некоторым опозданием, через поколение... Надо было пройти нескольким десятилетиям, чтобы человечество подзабыло расистские зверства эпохи национал-социализма.

* * *

В Красноярске на совещании генералов бизнеса президент Медведев опять озвучил, как молитву “Отче наш”, свою любимую мысль о том, что “частный бизнес эффективнее государственного”, и добавил, отвечая на вопрос о том, не будет ли во время кризиса возврата к плановой экономике: “Мы наелись плановой экономикой за 70 лет”. А в это время происходило крушение отечественных “приватизированных” авиакомпаний, пассажиры сидели в аэропортах от Сахалина до Кёнигсберга сутками или даже неделями, поскольку поставщики авиационного керосина перестали его поставлять авиаперевозчикам, которые все поголовно задолжали им за топливо громадные суммы. Это было банкротство рыночной экономики, которой страна наелась за 15 лет до рвоты. А потом утонула “Булгария”, и несколько лайнеров, изношенных до предела, купленных по дешёвке у западных фирм, грохнулись на нашу грешную землю, сгорела набитая людьми пермская “Хромая лошадь”, а наш тинейджер всё потирал руки и твердил, как слабоумный: “частный бизнес эф-

фективнее государственного"... Да, если иметь в виду уничтожение людских ресурсов России, конечно, он эффективнее, нежели неповоротливый государственный.

* * *

Знаменитый поэт и лауреат Нобелевской премии в своё время писал о великой русской революции, которая "естественно вытекала из всего русского многотрудного и святого духовного прошлого" и "наполнила смыслом и поддержанием текущее столетие". Написано Пастернаком в 1957 году (после XX съезда и лживого хрущёвского доклада) к юбилею Октября.

Другой известный персонаж советской истории, архитектор перестройки А. Яковлев оценивал революцию как вечно присущую русской истории "парадигму насилия": "Большевизму не уйти от ответственности перед народом за насильственный и незаконный переворот 1917 года".

По мнению подобных ренегатов, любое движение народных масс, сотрясающее кору земной истории, "незаконно". Они не понимают того, что революции совершаются не по законам, что революция ломает все законы, какая бы она ни была: социалистическая, религиозная, национал-социалистическая, "демократическая", чтобы на обломках прежнего законодательства установить свои законы.

*У государства есть закон,
который гражданам знаком,
у антигосударства
не знает правил паства, —*

писал Борис Слуцкий. И добавлял:

*Но нет чернил у мятежа,
у бунта нет тетрадки.*

"Архитектор перестройки", как и Борис Пастернак, тоже кумир либеральной интеллигенции. Как она поклоняется одновременно обоим — не понимаю. Тот же Яковлев проклинал Сталина, сталинщину и сталинизм. А Пастернак (поэт, а не политик и не историк!) писал о нашей победе 1945 года:

"Победил весь народ сверху донизу, от маршала Сталина до рядовых тружеников и простых бойцов, и горестями и мечтами, мыслями"...

Господа либералы! Обоих персонажей истории — Пастернака и Яковлева — почитать одновременно невозможно! Шизофренией заболаете...

* * *

Мир и Россия переживают страшную эпоху разрушения национальных государств, растления и распада национальной сущности. Деньги разрушают национальное естество жизни.

Ярчайший пример — физическая культура. Во всех странах за деньги играют наёмники — в футболе, баскетболе, волейболе... Вполне возможно, что ради олимпийских и прочих побед мы скоро начнём покупать пловцов, шахматистов, боксёров, теннисистов и т. д. Я уж и не говорю о спортивных тренерах.

В кино и в театре у нас появляются иностранные режиссёры, постановщики, танцовщицы, балеруны. Большой театр уже тронут этой порчей. Наука не отстаёт — в Сколково едут работать иностранные учёные. Не удивлюсь, если в правительстве скоро появятся иностранные высокооплачиваемые чиновники...

На наших самолётах скоро будут летать иностранные пилоты, на наших землях появляются иностранцы-фермеры. А что уж говорить о гастарбайтерах, о целых армиях дворников, парикмахеров, шоферов и прочих профессионалов, обслуживающих нашу бытовую жизнь.

Но, слава Богу, есть одна заповедная территория, в которую немислимо вторжение чужеземцев. Невозможно за деньги пригласить работать в Россию американского поэта, китайского прозаика, французского драматурга, польского историка. Невозможно на место главного редактора “Нашего современника” посадить “легионера” из другой страны.

Хотел я ещё добавить, что кроме литературы такой же высочайшей привилегией обладает Русская Православная Церковь, но рука с пером остановилась и задумалась, ибо для Церкви “несть иудей, ни эллин”, а значит, вера — выше национальной сущности, защита которой — дело нас, грешных, не забывающих о том, что “народы суть мысли Божии”, как сказал некогда отец Сергей Булгаков.

* * *

В больнице, куда меня положили на операцию, я обнаружил в тумбочке возле своей кровати книгу воспоминаний знаменитого в своё время выпускника Кембриджского университета, ставшего потом британским разведчиком, — Кима Филби. Когда он, по идейным соображениям долгие годы сотрудничавший с советским КГБ, получил в нашей стране политическое убежище, то просто-напросто влюбился в советскую жизнь с её общественным строем, её порядками, с её природой и её людьми.

Вот несколько отрывков из его книги “В разведке и в жизни”.

“Мой дом здесь, и хотя здешняя жизнь имеет свои трудности, я не променяю этого дома ни на какой другой. Мне доставляет удовольствие резкая смена времён года и даже поиск дефицитных товаров”...

Одновременно английский интеллектуал предпочтает нас от увлечения западной культурой, которая сегодня заполнила нашу жизнь:

“Я тоскую по тем дням, когда в машинах не было приёмников. Я в ужасе от того, что эта варварская музыка докатилась до Советского Союза”...

А как глубоко и точны были его пророчества, которые, к сожалению, сегодня осуществились в мире и у нас во всей своей красе:

“Одним из достоинств советской социальной системы является жизнь за наличные. Здесь нет кредита, но нет и постоянного залезания в долги. Одному Богу известно, что произойдёт с западной экономикой, если вдруг потребуется уплатить все личные долги”... Как в воду глядел Ким Филби.

Англичанин до мозга костей, он понимал то, чего не могли, а скорее, не хотели понять все наши младореформаторы и что заставляет нас барахтаться в хаосе мирового кризиса, накрывшего страны и континенты.

* * *

Все три великих мировых войны начинались с провокаций, корни которых до сих пор остаются загадочными и глубоко скрытыми от непосвящённых умов.

О начале Первой мировой возвестил сараевский выстрел сербского студента Гаврилы Принципа.

О начале Второй мировой — нападение на немецкую радиостанцию в Глейвице немецких солдат, одетых в польскую форму.

Югославская часть Третьей мировой началась с кровавого уничтожения мусульман неизвестно чьими артиллерийскими залпами на рынке того же злополучного Сараево. Мировое сообщество преступницей этого злодеяния объявило Югославию. Когда же Югославское пламя III мировой начало затухать, то, чтобы оно разгорелось, была совершена самая крупная провокация в истории человечества — сокрушение “Боингами” двух американских небоскрёбов Всемирного торгового центра. Дорога человеческой истории в бездну была проложена.

Все эти события — дело рук не народов, а мировых элит. Народы, как трава, которая всходит, цветёт, увядает, перегнивает, давая пищу другим растениям. А элиты — это косари с косами.

Сергей Есенин знал эту тайну жизни:

*Видел ли ты,
Как коса в лугу скачет,
Ртом железным перекусывая ноги трав?
Оттого, что стоит трава на корячках,
Под себя коренья подобрал.
И никуда ей, траве, не скрыться
От горячих зубов косы.
Потому что не может она, как птица,
Оторваться от земли в синь.*

*Так и мы! Вросли ногами крови в избы,
Что нам первый ряд подкошенной травы?
Только лишь до нас не добрались бы,
Только нам бы,
Только б нашей
Не скосили, как ромашке, головы...*

* * *

В фильме “Полторы комнаты”, посвящённом жизни и творчеству Иосифа Бродского, есть сцена, в которой маленький мальчик Ося с жадностью рассматривает знаменитую кулинарную книгу сталинской эпохи “О вкусной и здоровой пище” и, глядя на соблазнительные картинки всяческих яств, роняет слюнки.

К Иосифу-мальчику подходит дядя с усами, похожий на Иосифа Сталина, и глумливо издеваясь над отроком, предлагает ему выбрать любое кушанье, а потом смеётся над обманутым ребёнком, говоря, что это всё лишь нарисовано... Словом, авторы сценария саркастически издеваются над советской эпохой, которая, создавая такие вот книги, якобы глумилась над своим голодающим народом.

Однако моя ребяческая память запомнила, как улучшалась год от года материальная жизнь в конце 30-х годов, постепенно уходя от голодных послеколлективизационных лет к более сытым 37-му, 38-му, 39-му годам... Я помню, как в 1940–1941 годах, перед самой войной, врачи маленькой больницы посёлка Губаницы Кингисеппского района, где работала моя мать, собирались на разные праздники в деревянных казённых домах, стоявших на территории больницы. Не раз собирались и в маленькой двухкомнатной квартирке с отдельным входом, где жили мы с матерью и отцом. И стол был накрыт немудрёной, но вкусной едой. Мне было тогда уже 7–8 лет, и я всё помню хорошо. Именно в один из этих предвоенных годов я попробовал и белый хлеб, и кефир, и какое-то шипучее сидро. Память детская сохранила эти ощущения. Несомненно, что после всех ужасов коллективизации жизнь налаживалась. А именно тогда, в 1939 году и вышло первое издание книги “О вкусной и здоровой пище”...

Создатели фильма о Бродском умолчали и о том, что отец Бродского был военным корреспондентом, бывшим вместе с нашими войсками на Востоке во время событий на озере Хасан и на Халхин-Голе... Он надолго задерживался на территории Северного Китая и, несомненно, выполнял какие-то важные задания, помимо своей журналистской работы, и привозил в Ленинград немало дорогих трофеев с этого театра военных действий... Что ни говори, не бедствовала эта семья в то время... А если уж говорить о кулинарных мифах сталинской эпохи, то не лучше ли вспомнить о том, как нынешнее ТВ с утра до вечера рекламирует всяческую изысканную пищу – морепродукты, роскошное мраморное мясо, дорогие сыры, пикантные соусы, заморские фрукты-овощи... Над всем этим царством изысканной еды на телеэкранах с утра и вечера колдуют повара в белых колпаках и халатах, профессионалы-диетологи, рядом с ними улыбаются и демонстрируют свои кулинарные способности всяческие известные актёры и актрисы, макаревичи и галкины, даже Хворостовский при помощи своего всемирно знаменитого баритона “впаривает” с экрана телезрителям какие-то чудесные конфеты...

И на всё это разноцветное, шипящее, сверкающее, соблазняющее царство экранного чревоугодия глядят десятки миллионов пенсионеров, которым

хватает только на картошку, хлеб и молоко, глядят многодетные семьи, ютящиеся в тухлявых домах, глядят спившиеся безработные со всех окраин великой страны... И все они роняют слюни, глядя на сказочные картины кулинарного рая *рублёвской эпохи*... И проклинаят нынешнюю жизнь, нынешнюю власть, нынешнее её глумление над живущим впроголодь народом такими проклятьями, которых не слышал мальчик Ося Бродский со своими фальшивыми слюнями над сосисками сталинской эпохи. Да Сталин и сам никогда не ел таких яств, которыми сегодня соблазняют нас с TV глумливые повара демократической кухни.

* * *

Сколько крика стояло в соловьёвской передаче “Поединок”, когда грудь на грудь сошлись Владимир Жириновский и кинорежиссёр Александр Бортко. Жириновский постоянно впадал в картинную истерику, визжал, ругался, оскорблял соперника, брызгая слюной. Всем своим поведением он напоминал мне персонажей с калужского базара послевоенных лет, на котором напёрсточники, картёжные шулера, изготовители денежных кукол, игроки в верёвочку и прочие мошенники, будучи пойманными за руку, впадали в раж, разыгрывали из себя контуженных душевнобольных, проливавших на фронте кровь мешками, не отвечающих от пережитых страданий за свои поступки. Базарных актёров такого рода здравомыслящие граждане называли “псих со справкой”...

— *Где вы были, коммунисты, в августе 1991 года!* — кричал Жириновский в лицо Бортко. — *За три дня ваша хваленая власть развалилась! Никто из миллионов коммунистов не вышел на улицу защищать её!* — И каждый раз, выкрикнув очередное обвинение, победно взмахивал руками, сверкал глазами и чуть ли не рвал дорожную рубашку на груди.

Бортко взывал к Соловьёву, чтобы тот унял юродствующего политика, но Соловьёв хохотал, картинно *вздымая очи горе*, мол, “не могу!” — нету сил унять Владимира Вольфовича. Присутствовавшая на поединке публика, у которой, видимо, от крика поехала крыша, совершенно обалдев, аплодировала и тому, и другому...

А, между прочим, несмотря на истерическое шутовство Жириновского, Бортко мог бы достойно и убедительно дать ответ на этот непростой вопрос, хотя бы тогда, когда либерально-демократический актёр противопоставил устойчивость и крепость монархического российского общества слабости общества советского, и вспомнить одну закономерность российской жизни, существовавшую во все времена русской истории...

В. В. Розанов в книге “Апокалипсис нашего времени” писал о Февральской революции:

“Русь слиняла в два дня. Самое большое — в три. Даже “Новое время” нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. <...> не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска...”

Владимир Вольфович, Вы злорадствуете, что “70-летняя советская власть” разрушилась и никто не встал на её защиту”, но объясните тогда, почему с 300-летней крепкой, якобы процветающей, не пережившей никаких “сталинских репрессий”, никакого “рассказачивания”, никакого “раскулачивания” монархической Русью произошло то же самое? Никакие миллионы не вышли на улицы и площади, не защитили великую династию, не сбросили в Неву и Москва-реку презренных масонов, образовавших сразу же после отречения императора Временное правительство? Почему никакой народ через девять месяцев, сразу же после взятия Зимнего дворца большевиками, на другой день не заполнил, как Нева, Дворцовую площадь и не выкинул из Зимнего большевиков, “кучку заговорщиков”, и не отстоял своё Временное правительство, которое, судя по визгу Жириновского, почему-то было легитимным?

Почему в 1927 году, когда Иосиф Сталин, в сущности, совершил государственно-партийный переворот, отстранив не менее популярного, нежели он сам, “вождя революции” Льва Троцкого от всех рычагов власти, никто из громадного числа поклонников легендарного палача и трибуна не вышел на площади и улицы столицы? Лишь в Ленинграде троцкисты организовали какую-то жалкую демонстрацию, которая тут же была разогнана рабочими и энкавэ-

дэшниками. После этого судьба Льва Революции была решена: его вместе с ближайшими родственниками и обслугой насильно усадили в поезд и отправили в Алма-Ату. И никто из фанатиков мировой революции, а их в 1927 году было в партии ещё предостаточно, не лёг на рельсы!

А когда после XX съезда КПСС и освобождения из ГУЛага множества политических заключённых Никита Хрущёв приобрёл в слоях интеллигенции (да и в народе) недолгую, но естественную популярность, и партийная верхушка осенью 1964 года в течение одного дня лишила его власти, превратив из хозяина страны в бессильного пенсионера, почему миллионы его сторонников не вышли на улицы и не вернули на Старую площадь своего кумира?

Да потому, что политическая суть российской истории, все государственные перевороты, все революции, все катаклизмы завязаны на то, что убирается одна-единственная харизматическая личность — Николай II, Лев Троцкий, Иосиф Сталин, Никита Хрущёв, — и столичная *пассионарная* часть общества, потеряв лидера, не знает, за кем и по чьему приказу, и с какими лозунгами выходить на улицу, а вся остальная масса населения, размазанная тонким слоем по великому пространству от Балтики до Владивостока, остаётся недееспособной. А если ещё вождь оказывается предателем, как это случилось с Горбачёвым, то растерянность и непонимание происходящего становятся фатальными и приводят общество к полному параличу...

Правда, в 1991 году исторической особенностью эпохи стал мартовский референдум, на котором более 70 процентов голосовавших высказались за сохранение Советского Союза.

Это и было своеобразным “выходом” масс, поверивших в демократию, на улицу! Именно в этой единственно-возможной форме была в те дни явлена воля народа... Так что Жириновский лжёт, говоря, что коммунисты и народ не вышли на улицу. Вышли. Но, к сожалению, без оружия, а всего лишь с бумажными бюллетенчиками в руках.

* * *

В последнее время всё чаще и чаще мы читаем в газетах и слышим с телеэкранов назойливое повторение одной и той же мысли: “у преступника нет национальности”. Формулировка изобретена якобы для того, чтобы не обижать племена, народы и этносы, к которым принадлежит преступник, и является венцом толерантного отношения ко всем опасным вопросам современно-го бытия. Каковы последствия этой якобы уже истины?

Преступник — это человек, которого надо допросить. Значит, надо выяснить, на каком языке он говорит, то есть узнать, кто он по национальности. Уже юридический тупик. Но если он не говорит по-русски, нужно найти переводчика, при помощи которого провести допрос и следствие. Аксиома трещит по швам, поскольку национальность — важнейшая особенность человека. Не меньшая, чем пол. Но подчиняясь диктату толерантности, мы не должны разделять людей по половому признаку. Разузнавать, какого пола преступник, означает лезть в его личную жизнь, унижать его допросами, процедурами осмотра и т. д. А если он гермафродит, неизвестно, какой половой ориентации — мужской или женской, — или педераст, или — ещё хуже того — трансвестит? Нельзя бестактными действиями во время следствия покушаться на собственное достоинство человеческой личности. Опасно также выяснять и его имя... Если он, допустим, Махмуд или Керим, то уже можно предположить, из какого он этноса... Однако если у него нет национальности, то у него, тем более, не может быть и расы... Выяснять, к какой расе принадлежит преступник, — это расизм высшей пробы! За это в цивилизованных государствах, где слова “еврей”, “негр” или “чёрный” вне закона, можно получить срок. Более того, следствию придётся закрывать глаза на все особенности преступника, которые связывают его не только с расой, но и с верой! Ежели, допустим, выколотят следователи из подозреваемого признание, что он мусульманин, отсюда рукой подать до того, какой он национальности. И фотографировать преступника нельзя ни анфас, ни в профиль, иначе по разрезу глаз, по цвету волос и т. д. можно многое предположить: кто он — китаец, индус или еврей. И цветных фотографий нельзя делать, потому что белый, желтый или чёрный цвет кожи красноречиво укажет на расовую принад-

лежность несчастного... Уничтожить десять миллионов краснокожих в Северной и Центральной Америке было можно, но назвать сейчас какого-нибудь “последнего могоканина” “краснокожим” — это преступление. Нельзя говорить об “испанских” экстремистах или “исламских” фундаменталистах — отсюда один лишь шаг до выяснения национальности. Некорректно употреблять словосочетание “чисто английское убийство” или “немецко-фашистские” захватчики. Преступники в современном мире не должны иметь ничего — ни расы, ни веры, ни национальности, ни имени, ни рожи, ни кожи, — потому что все эти особенности делают их людьми. А люди современному молоху глобализации не нужны. С них достаточно лишь инзэнэшного номера. Чудовище глобализма сначала разрушает традиционные человеческие сообщества — национальные государства и народы, — атомизирует общества, лишая человека способности защищаться при помощи всех особенностей, которые выработали за всю свою историю его племя, его народ, его этнос, его раса. А когда он остаётся без этой помощи один, то его, беззащитного, обдирают, как липку, и от плоти и души остаётся лишь номер... С точки зрения мирового правительства глобализаторов, человек традиционного общества, имеющий все средства защиты, — преступник, в будущем глобальном концлагере у него останется лишь одна “личная” примета — его номер... Это и есть “расчеловечивание”...

* * *

27 ноября 2012 года газета “Московский комсомолец” отметила на последней своей полосе в правом нижнем углу в рубрике “Дни рождения” нескольких юбиляров: футболиста Александра Кержакова, детского писателя Григория Остера и некоего, как они пишут, “рок-классика” Джими Хендрикса. Попала в этот изысканный список и моя скромная фамилия в следующем контексте:

“Станислав Куняев, 1932 г., поэт, публицист, экс-главный редактор журнала “Наш современник”.

Я прочитал и расхохотался: до сих пор после своего восьмидесятилетия сижу в кресле главного редактора, уходить на пенсию не собираюсь, поскольку нахожусь ещё в здравом уме и в твёрдой памяти. С чего бы “Московскому комсомольцу” отправлять меня в отставку? Однако вскоре я сообразил, что это мелкая месть мне за то, что я в числе многих писателей России поставил свою фамилию под письмом на имя Путина, опубликованным в ноябрьском номере журнала “Наш современник” за 2012 год. Письмо было о судьбе писательского городка Переделкино, и в нём стоял абзац, касающийся газеты “Московский комсомолец” и её главного редактора, печатавших чуть ли не в каждом номере телефоны всяческих “негритянок”, “мулаток”, “татарочек”, “студенток” и прочих специалистов по сексуальным услугам. Абзац этот, в котором “Московский комсомолец” был назван “московским сутенёром”, выглядел так: *“Интересно, а не на средства ли от публикации такого рода объявлений главный редактор “МК” Павел Гусев живёт в самой дорогой стране Европы — в Швейцарии? И платит ли он налоги с этих доходов? И не перевернулся ли в гробу или в урне, замурованной в Кремлёвской стене, ленинский соратник Яков Давидович Гусев-Драбкин, узнав, что его якобы потомок занимается столь сверхприбыльным бизнесом, близким к сфере сексуальных услуг? “О времена! О нравы!” — как сказали бы древние римляне”.*

Как низко пала жёлтая газетёнка, борзописцы которой не нашли ничего лучшего, как поставить перед моей должностью крошечную приставочку “экс”! В прежние времена, споря со мной по всяким судьбоносным вопросам — о деле Бейлиса, о Холокосте, об истреблении русской национальной школы историков в 20–30-е годы, о “расказначивании” России, — Павел Гусев “спускал” на меня породистых овчарок жёлтой прессы: Игоря Золотусского, Василия Аксёнова, Марка Дейча, Семёна Резника, Геннадия Хазанова и т. д. А какие, помнится, роскошные заголовки были у этих материалов: “Кровавый навет”, “Пятый пункт”, “От них бы пощады ждать не пришлось” и т. д. А сейчас газетка скатилась до убогого дешёвого остроумия: *“экс-главный редактор!”* Одно слово — *вырожденцы*...

Шестого апреля 2013 года юрист Борщевский в передаче Владимира Соловьёва весьма своеобразно заступился за думцев, которые держат деньги в офшорах: “При таких наездах на них в Думе не останется интеллигентов, – задумчиво произнёс Борщевский и добавил: – А на их место придут кухаркины дети”.

Одна весьма интеллигентная вдова писателя, живущая в одном доме со мной, желая угодить мне, сказала при встрече о моём старшем внуке: “Хороший мальчик, сразу видно, что не слесарев сын”.

Профессор и преподаватель МГИМО Юрий Пивоваров в телевизионном поединке “Битва за историю”, будучи членом команды телевизионщика Млечина, заявил: “Советский человек – это антропологическая катастрофа”...

Я исхожу из того, что “кухаркины дети” – это выходцы из простонародья, и вот что думаю по поводу всего сказанного. Конечно, этот советский “антропологический” недоносок “совершил” непростительное преступление, не позволив “антропологически совершенным” арийским особям одержать победу над “унтерменшами”. Конечно, в этом виноваты дети сапожников Сталин и Жуков, дети крестьян Твардовский и Конёнков, дети рабочих Косыгин и Кожедуб. Не менее страстно, чем Борщевский и Пивоваров, их презирал знаменитый поэт советской эпохи, вышедший из среды антропологически совершенных профессиональных революционеров-аристократов, который даже сочинил стишок о советских “недочеловеках”:

*Кухарку приставили как-то к рулю,
она ухватилась, паскуда.
И толпы забегали по кораблю,
надеясь на скорое чудо.*

*Кухарка, конечно, не знала о том,
что с ними в грядущем случится.
Она и читать-то умела с трудом,
ей некогда было учиться.*

*Кухарка схоронена возле Кремля,
в отставке кухаркины дети.
Кухаркины внуки снуют у руля,
и мы не случайно в ответе.*

Конечно, отпрыск революционеров-аристократов Булат Шалвович Окуджава имел полное право смотреть свысока на эту простонародную чернь, вроде Шолохова, Есенина, Георгия Свиридова, Ивана Конева, Юрия Гагарина, Валерия Чкалова, Николая Рубцова...

Такой вот аристократический социальный расизм образовался в нашем обществе за последние четверть века! Люди забыли о том, что до революции почти половина населения России не умела читать и писать. Что ликбез, на занятиях которого моя крестьянская бабушка Дарья Захарьевна по слогам повторяла: “Мы не рабы – рабы не мы”, – не выдумка большевистского агитпропа, а реальная действительность. Что избы-читальни, лампочки Ильича, чёрные тарелки радио на свежих телеграфных столбах в деревнях России были не мифом вроде нынешнего Сколково, а настоящим “национальным проектом”, после осуществления которого появилась надежда на то, что страна создаст из “кухаркиных детей” многомиллионные армии учителей, врачей, агрономов, строителей городов, лётчиков, геологов, железнодорожников, писателей, актёров...

Эти простые, но великие истины хорошо понимал один из талантливейших “кухаркиных детей” – поэт Ярослав Смеляков, написавший после войны стихотворение о советской женщине двадцатых годов:

*Сносились мужские ботинки,
армейское вышло бельё,
но красное пламя косынки
всегда освещало её.*

*Любила она, как отвагу,
как средство от всех неудач,
кусочек октябрьского флага —
осеннего вихря кумач.*

*В нём было бессмертное что-то:
останется угол платка,
как красный колпак санкюлота
и чёрный венок моряка.*

*Когда в тишину кабинетов
её увлекали дела —
сама революция это
по каменным лестницам шла.*

*Такие на резких плакатах
печатались в наши года:
прямые черты делегатов,
молчащие лица труда.*

(1945)

Такое лицо было у моей матери и у её старших сестёр: тёти Поли и тёти Дуси, то есть у трёх дочерей моей бабушки Дарьи Захарьевны, калужской крестьянки, которая, споря с моей матушкой, острой на язык и часто ругавшей советскую власть, говорила ей:

— Ты, Шурка, советскую власть не ругай, я вот неграмотная, а ты при этой власти два института кончила...

* * *

Посмотрел по телящику фильм “Белый тигр”, поставленный Кареном Шахназаровым, о поединке советского танкиста Петрова, почти сгоревшего в танке, но каким-то мистическим чудом выжившего для того, чтобы объявить охоту на таинственный немецкий танк “Белый тигр”, которая может закончиться лишь окончательной гибелью одной из сторон.

“Белый тигр” неуловим. На него организуются облавы из целых танковых частей, но он появляется на поле боя всегда неожиданно и всегда с самой неуязвимой для себя стороны, расстреливает советские “тридцатьчетвёрки” и уходит, как невидимка, чтобы появиться там, где его не ждут.

В последней дуэли один на один Петров выследил—таки врага, выстрелил первым и подбил башню “Белого тигра”. Казалось бы, конец, башня закинута, но тут орудие “тридцатьчетвёрки” разрывается от последнего залпа, и подбитый зверь войны уползает в туман. Фильм заканчивается клятвой нашего танкиста в том, что окончательная победа над мировым злом будет одержана после того, как будет сожжён этот бессмертный символ зла.

Однако в нескольких последних кадрах из тьмы выплывает фигура человека с чёлкой на лбу, в профиль похожего на Адольфа Гитлера, с печалью произносящего в пространство монолог о том, что он должен был выиграть эту войну: “Мы нашли мужество осуществить то, о чём мечтала Европа... Разве мы не осуществили мечту каждого европейского обывателя... Они всегда не любили евреев...”

Всю свою жизнь они боялись этой страны на востоке... этого кентавра... России. Разве мы придумали что-то новое?... Мы просто внесли ясность в то, где все хотели ясности...

Теперь же немецкий народ сделают виновником всего...”

Так почему же он проиграл эту схватку с “азиатско-русскими варварами”, на которую получил благословение всей цивилизованной и объединённой его волей Европы?... Вскоре после просмотра этого фильма я раскрыл книгу Василия Белова “Час шестый”, вручённую мне к моему семидесятилетию с дарственной надписью: “Дорогие Галя и Стасик! Я вроде бы дарил вам этот “кир-

пич". История его (такого издания) — почти детективная история. Если будете читать, это заметите. Ах, не зря говорится, что кого Господь решит наказать, того Он лишит памяти... Только читать надо внимательно. Может, у вас уже имеется эта книга? Пусть будет и эта в честь твоего, Стасик, юбилея! До свидания. Белов 15 июля 2003 г."

Я взял толстенный том (950 страниц!) в руки, и он вдруг раскрылся на титульной странице второй части, озаглавленной "Год великого перелома. Хроника начала 30-х годов". На обороте титульной страницы в её центре стояла колонка текста, прочитав который я понял, почему Белов попросил меня "читать внимательно" и почему он написал уже для всех нас о том, что "кого Господь решит наказать, того Он лишает памяти"...

В центре страницы была цитата из Энгельса, чей профиль навсегда впечатался в мою память с детских лет, когда на первомайских послевоенных демонстрациях он был впяан на знамёнах в один ряд с Марксом, Лениным и Сталиным. Немец, еврей, грузин и Ленин, — "четверо евангелистов", написавших, по убеждению Белова, теорию революции и практику коллективизации. Текст Энгельса, выделенный Беловым в центр страницы, гласил:

"Всеобщая война, которая разразится, раздробит славянский союз и уничтожит эти мелкие тупоголовые национальности вплоть до их имени включительно."

Да, ближайшая всемирная война сотрёт с лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы, и это также будет прогрессом".

"...Мы знаем теперь, где сосредоточены враги революции: в России и в славянских землях Австрии... Мы знаем, что нам делать: истребительная война и безудержный террор".

Фр. Энгельс".

Страшные слова и мысли, которые почти буквально и не раз повторил Адольф Гитлер на страницах зловещей книги "Майн кампф"...

Борьба белой цивилизованной Европы со славянством, с азиатством, с восточным варварством, с "реакционными народами" и "мелкими тупоголовыми национальностями"... Вот какова была программа Европы и при Наполеоне, и при Меттернихе, и при Бисмарке, и при Энгельсе, и при Гитлере... Недаром Вадим Кожин писал о том, что Восточная Европа, в сущности, является "кладбищем" многих славянских этносов, перемолотых немецко-тевтонской силой.

Так чем же взгляды марксиста Энгельса отличаются от взглядов национал-социалиста Адольфа Шикельгрубера или Иозефа Геббельса, называвших всех без исключения славян "варварами", "татарами", "азиатами"? Означает ли это, что германский менталитет сильнее мировоззренческих, идеологических, политических, партийных и даже религиозных разногласий? Неужели знаменитые слова Сталина о том, что "Гитлеры приходят и уходят, а германский народ остаётся" мы поняли неправильно, решив, что сущность "Дранг нах Остен" заключается в гитлерах, а на самом деле она заключается и в энгельсах и, может быть, в самой генетике, страшно сказать, немецкого народа?

Как бы там ни было, но Белов создавал свою последнюю книгу о трагедии русского крестьянства, думая об этом. И перекличка его мыслей с монологом Гитлера из фильма "Белый тигр" — не случайное совпадение...

То, что пронизательный историк Иосиф Сталин догадывался об этой извечной европейско-германской мечте, изложено в воспоминаниях югославского политика Милована Джиласа, который встречался со Сталиным незадолго до окончания Второй мировой войны: "Он без подробных обоснований изложил суть своей панславистской политики:

— Если славяне будут объединены и солидарны — никто в будущем пальцем не шевельнёт. Пальцем не шевельнёт! — повторил он, резко рассекая воздух указательным пальцем.

Кто-то высказал мысль, что немцы не оправятся в течение последующих пятидесяти лет, но Сталин придерживался другого мнения:

— Нет, оправятся они, и очень скоро. Это высокоразвитая промышленная страна с очень квалифицированным и многочисленным рабочим классом и технической интеллигенцией, лет через двенадцать-пятнадцать они снова бу-

дут на ногах. И поэтому нужно единство славян. И вообще, если славяне будут едины – никто пальцем не шевельнёт”.

Пророческие слова, но нет пророка в своём Отечестве... И памятник Фридриху Энгельсу гордо высится напротив храма Христа Спасителя.

* * *

27 ноября 2002 года, в день, когда мне исполнилось 70 лет, я затемно проснулся, быстро оделся и открыл входную дверь. Но за спиной раздался голос жены:

– Ты куда?

– Я за газетами. Надо посмотреть, что они пишут о моём юбилее. Прочитаешь и, наконец, поймёшь, с кем живёшь всю жизнь, – пошутил я и побегал вниз по лестнице.

На улице сеял мелкий снег. Было холодно и сыро. Но дышалось легко. В рассветной полутьме возле газетного киоска толпилась очередь. Подойдя к окошку, я спросил газету “Завтра”, в которой должна была выйти беседа со мной. В ярко освещённом кубе киоска, как рыбы в аквариуме, плавали две киоскёрши. Одна из них деловито и холодно ответила мне:

– Этой националистической газетой мы не торгуем.

– Тогда дайте “Советскую Россию”!

Но ответ был неутешительный:

– Коммунистической прессы у нас нет!

Я схватился, как за соломинку, за “Комсомолку”, вспомнив, что в ней должны быть опубликованы мои стихи:

– Было четыре экземпляра – все продали!

Спиной я почувствовал, что очередь людей, жаждущих схватить в киоске какое-нибудь чтиво и нырнуть в метро, начинает ненавидеть меня, и в отчаянье прокричал киоскёршам:

– Ну, дайте хоть “Литературку” или “Труд”! – в них, как мне помнилось, что-то должно было появиться о моём юбилее.

– Нет ни того, ни другого! – последовал ответ не на шутку разгневанной киоскёрши. Я взбеленился:

– А что же у вас есть?!

– Только “Московский комсомолец”!

– Ах, вы только жёлтой прессой торгуете? Да взорвать бы ваш киоск!

И эта была роковой ошибкой с моей стороны, поскольку на днях в Москве прогремел взрыв в одном из подземных переходов. Обе киоскёрши – крепкие, розовощёкие, наглые – в ярости высунули свои мордочки в окошко:

– Отойти от киоска, старый козёл!

... Униженный и оскорблённый, я повернулся спиной к этим ведьмам и побрёл домой без единой газетки. Ноги мои вдруг потеряли упругость и стали шаркать по мокрому асфальту.

– Ну, где твоя хваленая пресса? – спросила меня жена. Я развёл руками и рассказал ей про своё унижение.

– Не огорчайся! – утешила меня Галя. – Сейчас приедешь на работу, тебя сотрудники поздравят, цветы преподнесут, ты сразу и помолодеешь!

Позавтракав, я вновь пошёл к метро, спустился в его чрево, пройдя мимо мерзкого киоска, дошёл до турникета и стал искать в карманах “Карточку москвича”, дающую право на бесплатный проезд, но быстро понял, что забыл её дома. Женщина в форме, стоявшая возле турникета, естественно, преградила мне дорогу:

– Дорогая! Пропусти, ради Бога! Карточку я забыл, а подниматься по лестнице за билетом неохота! – но женщина в форме была сурова не менее, чем киоскёрши:

– Не теряйте времени на разговоры, подымитесь и купите билет!

Я взмолился:

– У меня сегодня день рожденья, мне семьдесят лет исполнилось, вот, поглядите мой паспорт!

Я протянул блюстительнице порядка свою “краснокожую паспортину”, но она оскорблённо отстранила мою дрожащую руку и холодным казённым голосом отчеканила:

– Не издевайтесь надо мною, молодой человек!
Вот так вот в течение получаса мне удалось побывать и “старым козлом”, и “молодым человеком”.

* * *

В августе 2013 года во многих телевизионных передачах появились сюжеты, посвящённые 80-летию со дня завершения в 1933 году строительства Беломоро-Балтийского канала, сделавшего Москву портом пяти морей: Балтийского, Белого, Чёрного, Каспийского и Азовского.

Конечно, это была одна из самых великих строек первой пятилетки, конечно, канал, который работает и до сего времени, помог стране осуществить индустриализацию, победить в Великой Отечественной войне, связать воедино хозяйственную жизнь европейской части Советского Союза. Но об этом ни в одной из телевизионных передач не было сказано ни слова. А говорилось об одном: что Беломорканал был плодом подневольного концлагерного труда, что погибло во время этой стройки социализма неимоверное число заключённых, что воды его затопили такое-то количество городов, деревень и посёлков. Всё это действительно имело место быть. Но когда дикторы TV и картинки с телеэкранов стали доказывать, что в преступном строительстве канала силами зэка главными историческими фигурами являлись Сталин и Горький, я подумал, что в который раз история человечества разыгрывает сцену из древне-еврейской жизни, когда все преступления истинных грешников возлагаются на двух козлов отпущения, из коих один приносится в жертву грозному богу Яхве, а другой, обременённый всем грузом грехов, изгоняется в пустыню, дабы настоящие преступники могли облегчённо вздохнуть и сказать всему миру, что их совесть чиста и они ни в чём не виноваты. В своём эпохальном труде “Двести лет вместе” Александр Солженицын, вспоминая о том, что 5 августа 1933 года в газете “Известия” был опубликован указ о награждении в связи с завершением строительства Беломорканала высших руководителей стройки – Г. Ягоды, М. Бермана, С. Фирина, Л. Когана, Я. Рапопорта и Н. Френкеля – орденами Ленина, пишет: *“Все их портреты крупно повторены были в торжественно-позорной книге “Беломорканал”, формата, как церковное Евангелие <...> И вот 40 лет спустя я повторил эти шесть портретов негодяев в “Архипелаге” – с их же выставки взял, и не выборочно, а всех управителей, кто был помещён. Боже – какой всемирный гнев поднялся: как я смел?! Это антисемитизм! Я – клеймённый и пропащий антисемит. В лучшем случае, приводить эти портреты был “национальный эгоизм” – то есть русский эгоизм! И поворачивается язык, когда на соседних страницах “Архипелага”: как позорно замерзали “кулацкие” пареньки под тачками. А где же были их глаза в 1933-м, когда это впервые печаталось?”*

Если бы Солженицын дожил до августа 2013 года, увидел и услышал бы, что во всей истории Беломорканала виноваты лишь два “козла отпущения” – Сталин и Горький, – то не знаю, как со Сталиным, именем которого канал был назван, но за Алексея Максимовича Горького он бы точно заступился, поскольку знал, что “торжественно-позорную” книгу о строительстве Беломорканала, в которой были представлены шестеро “негодяев” высших руководителей ОГПУ и ГУЛага с еврейскими фамилиями, писали 34 советских писателя, из которых лишь 12 были русскими, а остальные 22 выродками из того же племени, что и Генрих Ягода со своими подручными. Так что не получилось у сегодняшних мошенников из разных СМИ все грехи великой стройки списать на двух “козлов отпущения” – на Сталина и Горького. “Козлов” этих было куда больше. И фамилии их навсегда запечатлены и в истории, и в памяти народной.

Между тем, память человеческая коротка. Некто Александр Мельман, обозреватель газеты “Московский сутенёр” (главный редактор Павел Гусев), опубликовал на её страницах свои размышления под заголовком “Тучи ненависти” в номере от 21 сентября 2013 года.

Начинается материал с торжественного утверждения: “Я еврей”. Дальше Мельман вспоминает о том, что когда-то он стеснялся своей национальности и даже отрёкся от своего отчества (был Иосифович, а стал Юрьевич), хотя от фамилии, гораздо более “еврейской”, нежели отчество, не отрёкся и пластическую операцию своего более чем еврейского лица не сделал. Однако муд-

рый папа, узнав, что сынок представляется Юрьевичем, резко поговорил с ним, и в результате Мельман-младший, как он пишет сам, “на каждом шагу стал всем сообщать о своём происхождении, стал очень-очень громко петь “Хава нагила” и “Гевейну Шолом Алейхем”... Одновременно он сообщает, что “антисемитизма в своей жизни я лично не чувствовал. Никогда. И от этого не очень понимал тех своих соплеменников, кто говорил об этом”... Словом, в душе “Юрьевича” возникли все эти комплексы, видимо, после разговора с папой Иосифом. Но этого мало. Масла в этот огонь, оказывается, подлил Жириновский, накричавший на коллегу Мельмана Матвея Ганапольского:

“Подлец, Ганапольский! Когда я сказал всем, что ты еврей, сразу исправился. Вы всегда всё врёте. Отсюда антисемитизм, Ганапольский. Это не только я говорю, я сам полукровка. Вся страна ненавидит вас за это”...

И тут от криков Жириновского у Мельмана от негодования возник прилив таинственных сил: “И тогда сразу просыпается некое генетическое чувство, зов предков. Незримо как-то вспоминается другое время. До боли, до кончиков пальцев, до кислого неприятного вкуса на губах. Когда били не по паспорту, а по морде”. Мельман, который “антисемитизма в своей жизни лично не чувствовал”, вспомнил подробности разговора с папой: “Моему папе было 10 лет, он учился в третьем классе. Его тогда избивали каждый день за то, что его звали Иосиф Шмулевич Мельман. И таких избитых, униженных и оскорблённых было очень много. Но Сталин вовремя умер”...

Я учился в калужской школе № 9 в 1949–1951 годах, в период борьбы с космополитизмом. У нас в классе из 20 человек было трое евреев — Наум Гольдин, Борис Горелов, Юра Левин. Никто их не бил и не унижал, они были такие же, как все мы. Так же занимались спортом, так же ходили на калужские танцплощадки, так же списывали контрольные по математике и по русскому — то мы у них, евреев, то они у нас, русских... А потому не верится мне, что Мельмана-старшего ежедневно избивали “по национальному признаку”.

Но если уж копать глубоко, то “тучи ненависти” (антисемитской) в нашей стране действительно могли сгущаться, но не тогда, когда Мельман-старший учился в третьем классе, а гораздо раньше...

Может быть, тогда, когда Яков Свердлов написал, а Ленин подмахнул в 1918 году “Декрет об антисемитизме”, после которого офицеров, дворян, священников, русских интеллигентов да и выходцев из простонародья безо всякого суда за антисемитское слово просто ставили к стенке... Не случайно “Декрет” был подписан и обнародован буквально через 10 дней после расстрела царской семьи, которым руководили Янкель Юровский с Пинхусом Войковым. Свердлов с Лениным были людьми неглупыми и понимали, что после такого дела уровень антисемитизма в России не может не подняться, и заранее заготовили текст декрета. Как говорится, чует кошка, чьё мясо съела. Простительно Мельману-младшему не знать этого, но Мельман-старший должен был рассказать сыну об этих обстоятельствах. Мельман-младший пишет, что “в нормальной стране” на Жириновского “тут же завели бы уголовное дело, отдали бы под суд”, однако по “Декрету об антисемитизме” никакого судебного разбирательства не требовалось. Ты сказал, кому-то что он еврей, — и “к стенке”. Об этом писал Валентин Катаев в повести “Уже написан Вертер”, вспоминая страшную трагедию русских офицеров, сдавшихся в плен в Крыму в 20-м году и расстрелянных или утопленных в Чёрном море по приказу Бела Куна и Розалии Землячки-Залкинд; об этом писал Юрий Домбровский в романе “Факультет ненужных вещей”... Об этом времени мне рассказывал Олег Васильевич Волков, проведший в 20–30-х годах четверть века в ссылках и лагерях, которые с лёгкой руки политического мошенника Хрущёва называются “сталинскими”. Это лукавая формулировка. Александру Юрьевичу Мельману надо бы знать, что 30-е годы были годами Ягоды, который руководил ОГПУ — НКВД, что в это время ГУЛАгом командовал Матвей Берман (сменивший Л. Когана) со своими тремя заместителями Я. Раппопортом, З. Кацнельсоном и Н. Плиннером; что в конце ноября 1936 года к юбилею ВЧК — ОГПУ — НКВД в газете “Известия” был опубликован список комиссаров госбезопасности I, II и III рангов, представленных к правительственным наградам. Всего в списке 42 человека, из них ровно половина — выходцы из местечкового еврейства. Остальные 20 человек — русские, украинцы, белорусы, грузины, поляки, — словом, представители десятков национальностей Советского Союза. Точно так же более чем половиной тюрем на территории СССР командовали

соплеменники Ягоды и высшего руководства ГУЛага. Эти данные взяты не из эмигрантских “черносотенных сочинений”, а из вполне демократических исторических исследований, сделанных при участии “Мемориала” и Солженицынского фонда: “Система исправительно-трудовых лагерей в СССР 1923–1960 годах”. М., “Звенья”, 1998; “Россия. XX век. Документы. ГУЛаг. 1918–1960 годы”. М., 2002; Международный фонд “Демократия”; “Материк”; Солженицын А. П. “Двести лет вместе”. М., Вагриус, 2006 и т. д. Вспомним ещё книгу Г. В. Костырченко “Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм” (М., “Международные отношения”, 2002), которая была издана при финансовой поддержке Российского еврейского конгресса и которая утверждает, что “с 1 января 1935 г. по 1 января 1938 г. представители этой национальности (какой – лучше не уточнять. – **Ст. К.**) возглавляли более 50% основных структурных подразделений центрального аппарата внутренних дел” (с. 110).

Можно себе представить, сколько крови было пролито в учреждениях, руководимых такими кадрами, сколько невинных людей прошли через их руки, сколько подписей под приговорами они поставили за время своего господства...

Так что, вполне возможно, что мальчика Мельмана-старшего били в школе, и это было вполне понятно, поскольку после таких 20–30-х годов в стране были созданы все условия для ненависти, окрашенной антисемитизмом. Мельман-младший плохо знает историю. А если допустить, что обидчиками Мельмана-старшего были дети, семьи которых пострадали от отцов ГУЛага... Так что не надо бы Мельману-младшему впадать в истерику: как говорит русская пословица: “Не буди лиха, пока оно тихо”...

АЛЕКСАНДР ЗНАТНОВ

ПОГОДОЙ ЛУННОЮ

**Драматичная история песни “Дорогой длинною”
и трагическая судьба автора ее бессмертных слов**

Самой знаменитой и самой исполняемой до сих пор русской песней, созданной в советское время, остаётся романс “Дорогой длинною” (“Ехали на тройке с бубенцами...”). Рождённый в далёком 1924 году, он с большим отрывом опережает по популярности прославленные “Подмосковные вечера” и “Катюшу” и продолжает триумфальное шествие по всему миру. Невозможно назвать ещё какую-либо песню на русском языке, которая, став всемирным хитом, пелась бы на многих языках, на всех континентах, включая Антарктиду, и даже в космосе. При этом “Дорогой длинною” является чемпионом по числу недоразумений, метаморфоз, казусов, домыслов и легенд.

Самым вопиющим из них является тот факт, что автором популярнейшего русского романса (и слов, и музыки) в “цивилизованных странах” уже полвека считается некто Юджин Раскин (1909–2004), в молодости – американский музыкант и драматург, в зрелости – архитектор и адъюнкт-профессор Колумбийского университета (1936–1976). Правда, заокеанскому правообладателю не исполнилось и 15 лет, когда “Дорогой длинною” уже пели в советской России и странах русского рассеяния. Отец дельца, известный иллюстратор произведений на еврейскую тему Саул Раскин (1878–1966), эмигрировал из России в США ещё в 1904 году. К русской музыке “Дорогой длинною” Евгений Саулович Раскин в 1960-х годах написал новый текст на английском языке, а саму песню назвал *Those were the days* – “То были дни” или “Дни былые”. Английский эквивалент “Дорогой длинною” звучал бы как *By the long road*. Тогда же Раскин-младший оформил авторские права на её ноты и слова на своё имя. Так русский романс стал... американской песней.

“Дорогой длинною” оказался чрезвычайно популярен в своё время в среде русской эмиграции не только из-за искренней душевности мелодии и слов, но и, как казалось изгнанникам, из-за его явного антисоветского подтекста, недвусмысленно выраженного в словах песни. В русском Париже во второй половине 1920-х годов песня постоянно звучала в ресторане Насти Поляковой, где её, вероятно, впервые услышал артист Александр Вертинский и тотчас включил в свой репертуар. Романс с большим успехом пели в Европе на родном языке звёзды русской эмиграции Пётр Лещенко, Юрий Морфесси и Людмила Лопато. Людмила Ильинична исполнила “Дорогой длинною” в фильме “Невиновные в Париже” (1953). Суперзвезда киноэкрана Мария Шелл, швейцарская актриса австрийского происхождения, первой запела романс по-английски в американском фильме “Братья Карамазовы” (1958), где она испол-

нила роль Грушеньки. Но в титрах ленты композитором был указан Бронислав Капер (1902–1983), а отнюдь не Юджин Раскин. Позже “Дорогой длинною” исполнили серб Джордже Марьянович, поляк Мечислав Свенцицкий, венгр Янош Шаркози и другие восточноевропейские певцы, выражая тем самым не столько симпатию к Советскому Союзу, сколько любовь к русской культуре.

Слава рождала мифы. Так, один ностальгирующий русский эмигрант, вспоминая в Париже в 1933 году события 1915 года, говорит о романсе, как о новинке Первой мировой войны. Подчеркиванием мною выделены неточности мемуариста в словах песни.

“...Появилась гитара, и Дарья Михайловна запела.

– Новенькую привезла вам, Николай Васильевич, может быть, и не слышали ещё:

*Дорогой длинною и ночью лунною,
Да с песней той, что вдаль летит, звеня,
Да с той старинною и семиструнною,
Что по ночам так мучает меня...*

И под Дашину песню всё забылось. Раздвинулись стены, заглохли отдалённые орудийные удары, радостными огнями рождественской ёлки горели глаза офицеров, с разинутыми ртами стояли в дверях писаря и денщики. Цыганская песня... Откуда она пришла и где родилась, кто её нашептал и чьё сердце подсказало. Человек ли принёс песню, или песня вдохновила человека...

“Дорогой длинною” звучал в русских эмигрантских ресторанах Парижа, Берлина, Белграда, Праги, Харбина, Шанхая, Нью-Йорка и других городов мира на русском языке и в голливудском фильме “Братья Карамазовы” по-английски, в 1920–1950-е годы, задолго до того, как Юджин Раскин присвоил себе авторские права на него. Песня вышла за пределы узких кругов эмиграции и оказалась столь популярной в послевоенных США, что одна нью-йоркская компания использовала её мелодию с собственными словами для рекламы фаршированной рыбы, заявив, что за давностью лет русская песня стала общественным достоянием, что являлось подлинной истиной. Однако Раскин незамедлительно подал на неё в суд и... выиграл процесс. Дело получило широкую огласку в прессе, а истец – юридический прецедент, “навсегда” закрепивший его криминальные права на бессмертный русский романс.

Легенда, созданная предприимчивым правообладателем песни “Дорогой длинною”, гласит, что он вместе со своей женой якобы как-то исполнял *Those were the days* в одном из лондонских клубов, где её будто бы и услышал в 1965 году Пол Маккартни, которому очень понравилась мелодия. В те годы поп-музыкант в связи с разногласиями в группе *The Beatles* решил заняться продюсированием, для чего и выкупил исключительные права на “Дорогой длинною” у её “автора” Юджина Раскина. Расчётливый американец, чья музыкальная слава не перешагнула порогов нью-йоркских кабаков, трезво отдавал себе отчёт, что никто лучше не станет над этой песней чахнуть (читай: быть её эффективным менеджером), чем тщеславный англичанин, ставший мировой знаменитостью и самым богатым поп-музыкантом планеты.

Одна из сделок века совершилась, и русский романс стал уже британской песней. “Дорогой длинною” тут же был переведён и исполнен в 1968 году на французском, немецком, итальянском и испанском языках. На всех пяти языках её спела несостоявшаяся звезда международного масштаба Мэри Хопкин. Современный битломан и биограф Пола Маккартни А. О. Максимов в книге “*McCartney. День за днем*” (СПб, 2002) утверждал: “В течение 6 недель [1968 г<ода>] песня занимает в Англии первое место, и её мировой тираж составляет 4 миллиона экземпляров”.

На многолетний разрыв между “впервые услышанным” Полом Маккартни в 1965 году русским романсом эпохи советского нэпа и дебютом его молодой протеже с этой песней в 1968 году давно обращали внимание, но не придавали этому особого значения. А зря. Полагаю, что причина столь длительной “задержки” заключается в том, что когда англичанину стало известно, что “Дорогой длинною” вновь зазвучал на русском языке во всеоюзном масштабе у себя на родине как минимум за год до первого исполнения Мэри Хопкин, ему чрезвычайно захотелось *состарить* английскую историю песни. Благода-

ря этому он и стяжал лавры “первооткрывателя” мирового хита и самого лучшего в мире его импресарио.

После столь ошеломительного дебютного успеха *Those were the days* (читай: “Дорогой длинною”) запел весь мир. Лучшие голоса планеты включили её в свой репертуар: Энгельберт Хампердинк, Далида, Бонни Тайлер, Долли Партон, Сэнди Шоу и многие другие. Первейшие тенора планеты Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти исполнили “Дорогой длинною” трио, причём первый куплет синьор Доминго пел по-русски. Кроме английского, испанского, итальянского, немецкого и французского языков, русский романс исполняется на бенгальском, болгарском, венгерском, вьетнамском, голландском, греческом, дари, иврите, идиш, китайском, латышском, литовском, польском, португальском, румынском, сербском, словенском, турецком, украинском, урду, финском, хорватском, чешском, шведском, эстонском, японском и других языках. На некоторых из них существует несколько текстовых версий песни.

Однако мало кто знает, что подлинными авторами романса “Дорогой длинною” являются два замечательных русских самородка: композитор Борис Иванович Фомин (1900–1948) и поэт Константин Николаевич Подревский (1888–1930). Их плодотворный и талантливый дуэт просуществовал всего семь лет, но эти годы стали для них “золотыми” в творческом смысле. Вместе ими были написаны почти три десятка песен. Практически все они стали шлягерами своего времени, а некоторые из них продолжают звучать и в наши дни: “Брось тревогу”, “Вечера забытые”, “Моя золотая”, “Твои глаза зелёные”. И хотя Фомин и Подревский создавали песни и с другими соавторами, плоды их созидательного союза оказались самыми долговечными и прославленными. А популярность их романса “Дорогой длинною”, без преувеличения, обессмертила имена его авторов.

Одно из отечественных преданий сообщает, что якобы некий первоначальный вариант и музыки, и слов был написан одним Борисом Фоминным. Именно его, утверждают некоторые меломаны, будто бы впервые исполнил на своём бенефисе в Москве 7 ноября 1917 года киевлянин Александр Николаевич Вертинский (1889–1957), выдающийся русский эстрадный артист. На самом деле романс “Дорогой длинною” в его исполнении никому не был известен ранее заграничной пластинки 1926 года. К тому же авторы и исполнитель просто не были знакомы. Семья Фоминых переехала из Петрограда в Москву лишь в конце марта 1918 года, а уже в начале следующего Борис Иванович ушёл красноармейцем на гражданскую войну, с которой вернулся через два с половиной года. Вертинский же в конце 1917-го выехал на гастроли по южным городам России вслед за отступающей белой армией, а в ноябре 1920 года уже был в Константинополе.

В интервью и особенно в поздних мемуарах Александра Николаевича, озаглавленных гениальной строчкой Подревского “Дорогой длинною”, а также в текстах многочисленных поклонников Вертинского содержится немало фактических неточностей, ошибок и даже мистификаций. Одной из них является миф об исполнении певцом знаменитого романса в день, до недавнего времени официально именовавшийся “днём Великой Октябрьской социалистической революции”. Александр Вертинский, для которого эта песня даже не была одной из любимых, действительно с большим успехом в течение многих лет в эмиграции и в СССР исполнял “Дорогой длинною” с инципитом и припевом Подревского, но с сильно искажённым авторским текстом песни.

Правда, упомянутый первоначальный вариант романса существовал в действительности. И написан он был вовсе не для солистки и поэтессы Елизаветы Борисовны Белогорской (1890–е–1941), о чем гласит ещё одно предание. Мне пришлось специально просмотреть архивное дело о репертуаре певицы в фонде Главреперткома, которое хранится в Государственном архиве литературы и искусства, чтобы выяснить, что романс “Дорогой длинною” она никогда не пела. Зато она исполняла другие песни Подревского: “Часики”, “Ничего”, “Маска смеха” и “Айзик”.

“Дорогой длинною” писался не для неё, а для её лучшей подруги, замечательной певицы-контральто Тамары Семёновны Церетели (1900–1968). Певец Вадим Алексеевич Козин (1905–1994), тоже один из исполнителей “Дорогой длинною”, вспоминал: “... Когда немцы стали подходить к Москве, Тамара Семёновна и предложила Елизавете Борисовне: “Лиза, едем ко мне,

в Тбилиси!” Доехали они только до Кисловодска. Церетели удалось улететь самолётом. Белогорская поселилась в гостинице, где ожидала телеграммы от подруги. А вместо телеграммы пришла весть, что немцы заняли Минеральные Воды. Елизавета Борисовна решила, что ей, еврейке, при фашистах не жить, наломала спичечных головок, как-то их там настояла и отравилась...

К сожалению, ни у наследников Бориса Фомина, ни у наследников Константина Подревского не сохранилось автографов великой песни. Правда, в архиве Подревского есть несколько машинописных копий романса, датировать которые не представляется возможным, поэтому мы их здесь не рассматриваем. Имеется также четыре прижизненных издания нот и текста песни 1925, 1927 (дважды) и 1929 годов, выпущенных в провинции, а также записи на грампластинки, о чём пойдёт речь дальше. Но авторский манускрипт отсутствует и, по всей вероятности, никогда не будет обнаружен.

После многолетних исследований и поисков мне все-таки удалось отыскать первоначальный текст романса “Дорогой длинною”, написанный Константином Подревским специально для исполнения Тамарой Церетели. Он-то и разрешил все недоумения, вопросы и предположения. В Российском государственном архиве литературы и искусства, в фонде Главного управления по контролю за репертуаром при Комитете по делам искусств при Совнаркомех СССР (Главрепертком) есть дело о репертуаре певицы Тамары Церетели в 1920–1930-е годы, и в нём находится искомый всеми первоначальный текст романса “Дорогой длинною”, который был безжалостно зачёркнут красным карандашом цензора по фамилии Блюм и запрещён к исполнению 9 марта 1927 года. Власть боится слова больше звука, поэтому песни всегда запрещали не за их мелодию, а за их тексты.

Как удар саблей, наотмашь, сверху вниз кровоточит на ветхом машинописном листочке из архива этот кровавый рубец. А под ним – дивные строки:

*Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки.
Эх, когда бы мне теперь за вами,
Душу бы развеять от тоски!
Дорогой длинною, погодой лунною,
Да с песней той, что вдали летит, звеня,
Да со старинною, да семиструнною,
Что по ночам так мучает меня.
Да выходит, пели мы задаром,
Понапрасну ночь за ночью жгли.
Если мы покончили со старым,
Так и ночи эти отошли!
Дорогой длинною...
В даль иную — новыми путями —
Ехать нам судьбою суждено!
Ехали на тройке с бубенцами,
Да теперь проехали давно.
Дорогой длинною...
Никому теперь уж не нужна я,
И любви былой не воротить.
Коль порвётся жизнь моя больная,
Вы меня везите хоронить.
Дорогой длинною...*

В 1925 году Тамара Церетели записала на пластинку в культуробъединении Музтрест романс “Дорогой длинною”. Но спела она его без второго четверостишия (“Да выходит, пели мы задаром...”), только первый, третий и четвёртый куплеты. Полагаю, что поэт осознал не только явный и весьма опасный пессимизм концовки романса (тут и человеческая ненужность, и больная жизнь, и смерть, и даже похороны), но и – самое главное – выставление напоказ личных переживаний индивидуального “я” на фоне трагедии коллективного “мы”, чем пронизано всё стихотворение. При публикации в том же году нот и текста песни “Дорогой длинною” Подревский внёс важное изменение: он совсем отказался от последнего куплета романса. Текст песни сра-

зу стал строен, совершенен, убедителен и безупречен. На “Дорогой длиною” легла печать гениальности.

Все четыре издания романа при жизни поэта Константина Подревского содержали тот же текст. Таким образом, и от Тамары Церетели, и от Екатерины Юровской, и от Сэды Гурджиевой, и от Даниила Оленина, с неизменным успехом исполнявших романс, и от себя самого Подревский попытался отвести упреки в “упадочности” и “безыдейности” песни. В тексте, исполняемом Юровской, есть любопытный штрих; концовка второго куплета у неё звучит так: “Если мы покончили со старым, Так и песни эти отошли”. Как вариант (вместо “ночи” – “песни”), она звучит вполне по-подревски и имеет право на существование, поскольку прежние песни и впрямь остались в прошлом.

К сожалению, Вадим Козин, который в особой, присущей только ему манере много лет бисировал с песней “Дорогой длиною”, тоже внёс свою лепту в мифологизацию романа-шедевра. Почитатель “опального Орфея” Б. А. Савченко в монографии “Вадим Козин” (Смоленск, 2001) привёл прямую речь своего кумира: “Между прочим, сейчас почему-то считают, что слова романа “Дорогой длиною” написал Подревский, а на самом деле эти стихи принадлежат Оскару Осенину. Перед отъездом за границу он передал их Борису Фомину, и тот сочинил прекрасную вещь, популярную во всём мире”.

Отдавая себе отчёт, что столь неожиданное “открытие” Вадима Козина требует достоверного обоснования, добросовестный и доверчивый исследователь русских советских песен Савченко добавляет от себя: “Думаю, сейчас уже не установишь, кто истинный автор текста “Дорогой длиною” (к примеру, на пластинке А. Вертинского значится все тот же Подревский), но во всём, что мне удавалось как-то проверить и уточнить из рассказов Козина о старой эстраде, артист всегда оказывался прав”.

Только не в этот раз – утверждаю ответственно. Говорят, что соловья баснями не кормят (как известно, Черчилль назвал Козина “русским соловьём”). Но *русский соловей* сам вдосталь сумел накормить баснями своего наивного биографа.

Чтобы проверить эту баснословную сенсацию, мне пришлось внимательно ознакомиться с личным делом Оскара Осенина в Российском государственном архиве литературы и искусства, в фонде Всероссийского общества драматических писателей и композиторов (Драмсоюз), секретарём Бюро секции эстрады которого, кстати, служил Константин Николаевич Подревский. В результате исследования выяснилось, что Оскар Львович Осенин, настоящая фамилия которого Лурье (1889–1978), состоял в Драмсоюзе с 1920 года. Кроме основного, он использовал и другие псевдонимы – Лур, Евин, Дыбин. В его анкете есть любопытная черта: в знаменитом пятом пункте он собственноручно написал: “национальности нет”. Из дела явствует, что Оскар Львович ревниво следил за соблюдением своих авторских прав, частенько бранился за них с коллегами и даже судился. Он скрупулёзно перечислял все свои песни, романсы, оперетты, пьесы, либретто опер, куплеты и даже анекдоты, но при этом ни разу не упомянул о том, что именно он является автором слов романа “Дорогой длиною”. В его личном деле хранится немало документов, из коих явствует, что Осенин слыл среди товарищей по эстраднему цеху расчётливым дельцом, склочником, интриганом и гешефтмахером. Не раз ставился вопрос об исключении его из членов Драмсоюза.

Но все эти данные погребены в архиве, до которого, видимо, журналист Савченко не добрался. Тем не менее, общедоступным остаётся тот факт, что Осенин “отъехал за границу”, а именно в Ригу, сразу после “года великого перелома” – в 1930 году. К тому времени, когда он якобы передал текст “Дорогой длиною” Борису Фомину, романс не только пять лет являлся шлягером в СССР, но уже был запрещён советской цензурой к исполнению с эстрады.

Между прочим, в семейном архиве наследников К. Н. Подревского хранится автограф шуточного стихотворения Оскара Осенина “В моей душе назрела драма...”, посвящённого автором жене Константина Николаевича Анне Ивановне. Не исключаю, что один из автографов “Дорогой длиною” мог находиться у Осенина, и его видел Козин, из чего и сделал свой странный вывод.

Справедливости ради следует подчеркнуть, что Вадим Алексеевич проникновенно пел “Дорогой длиною”, точно воспроизводя авторские слова романа. В его магаданском далеке припев с “погодой лунною” звучал столь же двусмысленно, сколь и жутковато.

А вот “Дорогой длинной” со словами Вертинского, который до сих пор поют некоторые невнимательные исполнители и который мы здесь приводить не будем, чрезмерно салонен. Все его манерные “соколики”, “серебряные руки”, банальное “мне так трудно прошлое забыть” песню опростили, лишив её аромата душевности, гениальной простоты и чувства обострённой тревоги. Обобщенное восприятие Подревским и Фоминым эпохи и человека в ней переведено Вертинским в сугубо личные интимные переживания. Таким же образом певцом была упрощена и авторская мелодия. Когда в 1943 году в ресторане ЦДРИ состоялась встреча композитора Бориса Фомина с артистом Александром Вертинским, организованная режиссёром Давидом Гутманом, последний сказал: “Кстати, Александр Николаевич, а ведь перед вами сидит подлинный автор “Дорогой длинной”, – пишут исследователи и исполнители русского романса Елена и Валерий Уколовы и продолжают:

– Вертинский был крайне смущён и извинился”.

Эта путаница преследовала знаменитый романс постоянно. Недавно ушедший от нас поэт Илья Фоянков уверенно писал: “... Не где-нибудь, а в исполняемой Александром Вертинским песне “Дорогой длинной” на слова мало кому ведомого К. Подревского звучит один из самых красивых эпитетов, которые я знаю:

*Так, живя без радости, без муки,
Помню я ушедшие года
И твои серебряные руки
В тройке, улетевшей навсегда...*

Серебряные руки! Руки в цыганских серебряных перстнях!” – восхищался Илья Олегович Фоянков (1935–2011). Не разделяю его восторга.

Мне никогда бы не додуматься до такого: серебряные руки – это руки в серебряных перстнях. Если это так, то Вертинский ещё более противоречил сам себе, когда писал “Ваши пальцы пахнут ладаном...”, ведь тот, кто соприкасался с ладаном, особенно во время каждения, знает, что запах ладана пропитывает буквально всё: и пальцы, и руки, и плечи, и волосы, и одежду. Да и фоянковское выражение “руки в перстнях”, мягко выражаясь, неверно; скорее уж пальцы в перстнях – *серебряные пальцы*. Только Константин Подревский к *серебряным рукам* Александра Вертинского не имеет никакого отношения.

Современный российский и израильский литературовед Роман Давидович Тименчик в статье “Споёмте, друзья?”, где он сравнивал варианты текстов популярных и давно уже ставших народными песен, тоже не смог пройти мимо знаменитого романса “Дорогой длинной”. Однако он стал жертвой собственной образованности, доходя в своих литературоведческих изысканиях до курьёзов. Тименчик утверждает:

“В исполнявшемся им (Вертинским. – **А. З.**) романсе “Дорогой длинной” на слова (киевского по происхождению) поэта Константина Подревского (неточное утверждение, о чём будет сказано далее. – **А. З.**) одна строка –

*Дни бегут, печали умножая,
Мне так трудно прошлое забыть, –*

(почему одна строчка? Ведь их, как мы видим, на самом деле две. – **А. З.**) – повторяет ахматовский стих из стихотворения “А ты теперь тяжёлый и унылый”:

*Так дни идут, печали умножая.
Как за тебя мне Господа молить?”*

На этот казус Тименчика (этим словосочетанием мною характеризуются, мягко говоря, рассеянные исследователи) впервые обратил внимание бывший главный редактор саратовского журнала “Волга” Сергей Григорьевич Боровиков, который там же опубликовал статью “Постоянный пеленг”, где писал: “Наблюдение точное, только позаимствовал строку у Ахматовой не Подревский, а сам Вертинский, который основательно изменил первоначальный текст, дописав:

*Дни идут (а не “бегут”! — С. Б.), печали умножая,
Мне так трудно прошлое забыть.
Как-нибудь однажды, дорогая,
Вы меня свезёте хоронить.*

“Правильный” текст Подревского пел Юрий Морфесси. Там, например, есть строфа, которую исключил Вертинский:

*Да, выходит, пели мы задаром,
Понапрасну ночь за ночью жгли.
Если мы покончили со старым,
Так и эти ночи отошли!*

<...> Добавлю от себя, — продолжает С. Боровиков, — о нелепых искажениях текстов современными исполнителями. В “Дорогой длиною” в исполнении поляка Мечислава Свенцицкого, певшего репертуар Вертинского в 60–70-е годы, строка “Вы меня свезёте хоронить” предстала как “Вы меня свезёте на гранит...” Вероятно, имелось в виду надгробие. Свенцицкий эту, как и некоторые другие вещи Вертинского, пел со слуха, потому слова и коверкал”.

Ну, что тут сказать?.. Только одно: казус Тименчика заразен. “Дописанный” по Боровикову Вертинским последний куплет “Дорогой длиною” заканчивается слегка изменённой строчкой Подревского. вспомните, мои хорошие, первоначальный вариант песни: “Вы меня везите хоронить”. Кроме того, утверждение Боровикова о том, что “правильный” текст Подревского пел Юрий Морфесси”, тоже не соответствует действительности. В исполнении Юрия Спиридоновича есть и “соколики”, и “ночка” Вертинского. Есть и отсбятина: вместо последней строки второго куплета “Да теперь проехали давно!” — у него появляется ухарское: “Не видать просвета всё равно!” И заканчивает певец романс после строки: “Если мы покончили со старым” — не горестным выводом: “Так и ночи эти отошли!” (в мир иной, естественно), — а странным и двусмысленным сопоставлением: “Так хотя бы ночи те пришли”.

Так что у наших литераторов получается, как в анекдоте: Герасим Муму утопил, а памятник Чижикову-пыжику установили.

Но если серьёзно, а иначе нельзя, то можно целую книгу написать об искажениях исполнителями и интерпретаторами романса “Дорогой длиною”. Уж как его исковеркал, опошлил, оресторанил (и мелодию, и слова) прекрасный немецкий певец с гениальным, с диапазоном в четыре с половиной октавы голосом Иван Павлович Ребров (Ханс-Рольф Риппер; 1931–2008), и сказать-то неловко. Между прочим, текст песни, который он исполнял, представляет собой дословный перевод на русский *Those were the days* Юджина Раскина. Только какое всё это имеет отношение к композитору Борису Фомину и поэту Константину Подревскому и их бессмертному романсу? Чем больше мы будем углубляться в чужие “серебряные руки”, “печали умножая”, “соколиков”, “ночку” и всякие там “граниты-надгробия”, тем дальше будем отдаляться от авторского замысла и подлинного текста великого произведения.

Оказавшуюся истинно народной русской песней, “Дорогой длиною” всяк запел и продолжает петь на свой лад. Романс исполняется и как старинный усадебный, и как разухабистый плясовой, и как надрывный ресторанный, и как пронзительный городской, и как классический консерваторский, и в стиле джаза, и в стиле рока и даже в стиле хип-хопа. Поётся он и как цыганская народная, и как ирландская застольная, и как баварский марш любителей пива. Аранжировок и перепевов не счесть.

Но на самом деле “Дорогой длиною” — это романс трагичный. Романс-прощание с молодостью, надеждами, привычными и надёжными “старорезжими” временами. Романс-тревога перед непонятым настоящим и неизвестным будущим с его страшными “новыми путями”, в котором уже не будет ни троек, ни бубенцов, ни старых задушевных песен. Это прекрасно понимала и чувствовала первая исполнительница романса Тамара Церетели, которая спела “Дорогой длиною” просто, горестно, чуть-чуть отчаянно, но без надрыва, однако с ощущением сильной воли и скрытого внутреннего протеста. Церетели спела так, что у слушателей комок стоял в горле от услышанных звуков и слов.

Кстати говоря, Константин Подревский в этом романсе первым употребил глагол “жечь” в качестве новаторского эрратива в современном его значении “ярко самовыражаться”; у него читаем: “Понапрасну ночь за ночью жгли...”. В молодёжном интернет-сленге весьма распространены такие штампы, как “афftar жжот”, “жжш”, “каменты жгут”, “жжш как агнимьот”. И хотя лингвисты заверяют, что этот эрратив восходит к пушкинской строке из стихотворения “Пророк” (1826): “Глаголом жги сердца людей!”, — я настаиваю на собственном выводе. У Пушкина глагол “жечь” имеет явный положительный и созидательный смысл, у Подревского же, напротив, в этом слове звучит разочарование, раскаяние и даже осуждение, столь отчётливо проявляющееся и в лексиконе современной молодёжи.

Между тем, в сталинскую эпоху песня “Дорогой длинною” продолжала жить своей потаённой жизнью. Она в прямом смысле ушла в подполье. Её перестали исполнять с эстрады, но продолжали петь дома, в семейном и дружеском кругу. Есть семьи, для которых романс являлся и продолжает оставаться как бы фамильным гимном. Несмотря на запреты и эмигрантские тени, падавшие на него, “Дорогой длинною” пели, вновь и вновь переделывая слова в угоду времени. Иногда такие попытки прорывались на страницы советской печати. Мне известен редчайший сборник “Штык”, изданный в Сухуми в феврале 1942 года к 24-й годовщине РККА, где помещены сатирические куплеты, среди которых — стенования разбитых под Москвой фашистов: “Дорогой длинною, зимой морозною, / Мы от Москвы несёмся вдаль, вопя, / И не сдержать уж нам лавину грозную, / И не забыть всю жизнь нам декабрю!”. Такое наполнение “старых мехов” “новым вином” производят только с той песней, которая у всех на слуху, что вновь доказывает нам популярность “Дорогой длинною” в 1930-1940-е годы, несмотря на то, что она была запрещена цензурой.

В конце 1950-х годов, с возвращением на советскую эстраду романса как жанра, “Дорогой длинною” вновь зазвучал со сцены в Советском Союзе. Новый виток популярности песни связан с творчеством замечательной певицы Нани Георгиевны Бреговдзе, блистательно исполнившей романс в 1967 году, на год ранее и много душевнее её удачливых американо-английских коллег (сообщено мне ею лично 21 февраля 2013 года). Кроме того, романс входил и доныне продолжает входить в репертуар многих исполнителей русской песни: Ансамбля песни и пляски имени Александрова, Аллы Баяновой, Николая Баскова, Витаса, Олега Газманова, Бориса Гребенщикова, ансамбля “Золотое кольцо”, Рената Ибрагимова, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Александра Малинина, Сергея Пенкина, “Песняров”, Олега Погудина, Эдиты Пьехи, Ивана Реброва, ансамбля “Ромэн”, Бориса Рубашкина, Демиса Русоса, Аркадия Северного, Владимира Трошина, Эдуарда Хила, Бориса Штоколова, Клавдии Шульженко, Михаила Шуфутинского, Николая Эрденко и многих других знаменитостей.

Секрет популярности и столь продолжительной жизни неустаревающего романса заключается не только в великолепной музыке Бориса Фомина, но и в простых, на первый взгляд, а на самом деле глубоко зашифрованных стихах Константина Подревского. Послание поэта, некогда ездившего на тройке с бубенцами, этом исключительно русском транспортном средстве и безусловном символе самой Руси, предназначено для тех, кто между живым и мёртвым, между истинным и ложным всегда выбирает первое. Вспомните и гоголевскую “птицу-тройку”, и васнецовских трёх богатырей, и учение о Святой Троице. И хотя “пророчество” Остапа Бендера: “Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке!” — давно сбылось, ностальгические строки поэта оказались созвучны и нашему силиконовому веку. По указанию свыше, вот уже несколько лет подряд современные мудрецы и мудречихи понапрасну пытаются сформулировать “национальную идею”, а она, оказывается, рядом, в незамысловатых словах песни “Дорогой длинною”, которую без натяжки можно назвать оппозиционным гимном матушки-Руси.

Создатели мирового шедевра композитор Фомин и поэт Подревский познакомились в Москве в 1923 году, когда вступали в члены Союза драматических и музыкальных писателей. Несмотря на разницу в возрасте (Константин Николаевич был на двенадцать лет старше Бориса Ивановича), они не только нашли общий язык, но и сдружились, и стали творить вместе. И на исходе 1924 года ими был создан романс “Дорогой длинною”.

Но если имя Бориса Ивановича Фомина давно реабилитировано, статья о нём включена в музыкальную энциклопедию “Эстрада в России. XX век” (М., 2004), вот уже вторым изданием вышла упомянутая мною книга о нём “Счастливый неудачник” (М., 2010) исследователей и исполнителей русского романса Елены и Валерия Уколовых, к которой и отсылаю любопытных, то имя Константина Николаевича Подревского не секрет только для специалистов. Судьба же поэта неизвестна вообще никому, даже его наследникам, сохранившим часть его архива. В той же энциклопедии “Эстрада в России. XX век” о нём нет отдельной статьи (да и кто её мог бы написать, кроме меня?), зато есть важное упоминание: “Сотрудничал [Борис Фомин] с лучшими поэтами песенниками... Подревским, <...> тексты которого отличались простотой и доходчивостью”. Даже в застойные подцензурные годы музыковеды в книге “Русская советская эстрада 1917–1929. Очерки истории” (М., 1976) упоминали о поэте Константине Подревском с симпатией: “С подмостков пивной, да и не только пивной, эстрады активно исполнялись произведения “алкогольного” <...> репертуара: цыганщина, новые фокстроты и целая серия танго. <...> Однако авторы популярных романсов типа “Джон Грей”, “Фудзияма” (музыка М. Блантера, слова К. Подревского), “Там на острове Ямайка” (музыка Б. Прозоровского, слова К. Подревского) <...> и подобных этим делали попытки всё же перейти на более близкую к жизни, “актуальную” и “революционную” тематику”.

Вот так: “автор популярных романсов” и даже “лучший поэт-песенник”, а кто он такой – неизвестно. Просто какой-то *господин Инкогнито российского романса*. Мне – единственному – понадобилось почти пятнадцать лет, чтобы по крупицам в библиотеках, государственных и частных архивах, а также при беседах со многими “информаторами” собрать те драматичные, а порой даже и трагичные биографические сведения о нём, которыми хочу поделиться с читателями.

Константин Николаевич Подревский родился 1 (14) января 1888 года в городе Туринске Тобольской губернии Российской империи. Родители будущего поэта находились “в местах не столь отдалённых” в ссылке за участие в подпольном революционном движении. Его отец – Николай Николаевич Подревский (1855–1916) – родился в городе Новозыбкове Черниговской губернии в украинской разночинской семье, но был воспитан в русском духе. Мать, урождённая Винцентина Вильгельмина Зоя Игнатъевна Лисовская (1862(?) – не ранее 1925), была потомственной польской революционеркой. В Туринске молодые познакомились, невеста перешла в Православие, и они обвенчались. Впоследствии, представляясь при знакомстве, Константин Подревский неизменно добавлял: “Только я не поляк”, – ибо считал себя подлинно русским человеком.

После многочисленных просьб и обращений власти позволили родителям Константина Николаевича в 1891 году переехать в Тобольск. Только в 1894 году остепенившиеся революционеры получили право на возвращение и проживание в пределах Европейской России, хотя и под надзором полиции. Для дальнейшей жизни семья выбрала Астрахань, потому что в городе у них имелись добрые знакомые. Здесь Константин поступил в первую Астраханскую мужскую гимназию, которую окончил в 1906 году. Прекрасно подготовленный отцом-репетитором, он в том же году поступил на юридический факультет Киевского императорского университета имени святого Владимира, который окончил в 1910 году.

Константин Подревский начал упражняться в поэзии ещё в Астрахани, но первая обнаруженная мною его публикация относится к киевскому периоду его жизни: подборка его стихов появилась в местном “Студенческом альманахе” в 1910 году. В этом же году он женился на Вере Александровне Микулиной (1885–1956), родной племяннице отца русской авиации, профессора Николая Егоровича Жуковского (1847–1921). Супруга поэта тоже не была чужда литературе, писала прозу и публиковалась под псевдонимом Вера Жуковская, который после революции станет её официальной фамилией.

Константин Николаевич, работая секретарём в киевской конторе Всероссийского общества сахарозаводчиков, продолжал регулярно печататься в киевских газетах, журналах и альманахах. Большую часть его публикаций ещё предстоит собрать воедино, но и то, что выявлено, впечатляет. Кроме собственно стихов, он пробует себя в переводах с французского и немецкого язы-

ков, которыми владел с детства свободно, пишет песенки, инсценировки, скетчи, предлагает их в киевские театры, кабаре и рестораны. С началом Первой мировой войны, благодаря протекции своего нового родственника профессора Жуковского, Подревскому удаётся получить место помощника делопроизводителя Московского военно-промышленного комитета. Молодые переезжают из Киева в Москву и снимают квартиру с телефоном на Арбате. Однако в самом конце 1916 года Константина Николаевича как ратника первого разряда призывают на действительную военную службу простым “нижним чином”. Только революция сняла с него солдатскую шинель.

Он нанимает приличную квартиру близ Кудринской площади в Большом Конюшковском переулке, которая окажется для него настоящей творческой мастерской, литературным салоном, семейным очагом, лечебницей и последней обителью поэта. Здесь он едва не умер от тифа голодной зимой 1919–1920 года. Здесь почти полгода супруги Подревские жили под одной крышей с Андреем Белым до его переезда в феврале 1920 года в Петроград. Сюда захаживал их старый знакомый Сергей Городецкий и другие литераторы, художники и артисты.

Юношеское увлечение музыкой и пением стало для Константина Подревского в условиях потери стабильной работы единственным источником заработка. Он аккомпанировал исполнителям в московских ресторанах и кафе-шантанах. Постоянно сталкиваясь с репертуарным дефицитом, он начал сам сочинять музыку к своим стихам. Так родились первые песни, баллады и романсы с его собственными мелодиями и словами, сразу ставшие шлягерами: “Фелибер”, “Кашерленго-капитан”, “Шах в гареме”, “Весёлые апаши” и другие. В свой репертуар их включили ведущие эстрадные коллективы: содружество “Павлиний хвост”, мастерская Николая Михайловича Фореггера (1892–1939), с которым Подревский был знаком ещё в Киеве, “Эрмитаж-Оливье”, театр “Балаганчик” в Петрограде, кабаре “Кривой Джимми” в Москве, Содружество артистов театра Корша, театр имени Мейерхольда. Его песни зазвучали во время демонстрации пока ещё немых первых советских кинокартин.

Популярность песен на слова Константина Подревского была столь велика, что припев из его песенки “Филибер” (1925) на музыку Бориса Алексеевича Прозоровского (1891–1937), расстрелянного русского композитора, невпопад и не в ритм бормочет Остап Бендер в 23-й главе романа-фельетона “Золотой телёнок” (1931). Потом авторство “Филибера” присвоит себе советский композитор Вениамин Ефимович Баснер (1925–1996). Песня с исправленными кем-то словами звучит в обеих сериях двухсерийного художественного фильма “Красная площадь” (1970). Звучит как марш, который поют идущие строем красноармейцы в 1918 (!) году: “В путь, в путь, кончен день забав, в поход пора. / Целься в грудь, маленький зуав, кричи “ура”! / Много дней веря в чудеса – Сюзанна ждёт. / У ней синие глаза и алый рот”. Только последнюю строку они по-простецки горланят “у ей” вместо “у ней”. В титрах имя поэта, естественно, указано не было. Кто получил и продолжает получать гононар за эту песню, остаётся только догадываться.

Первый сборник стихов молодого поэта Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958) “Столбцы” (1929) открывается стихотворением “Красная Бавария”, переименованным позже в “Вечерний бар” (1926). В нём есть упоминание о пении в питейном заведении популярнейшего в тот год жутковатого романа Константина Подревского “Шёлковый шнурок” (1926). Вообще влияние песен Подревского как первого поэта “второго ряда” на “высокую литературу” его современников и последующих поколений литераторов – отдельная и весьма интересная тема.

Объявленная большевиками в 1921 году “новая экономическая политика” стала для Константина Подревского одновременно и “золотым веком”, и могильщиком самого поэта. Сказался массовый спрос на неревOLUTIONную музыку и песню. И не только среди нэпманов, но в самой толще народной. Позже в анкетах он будет указывать, что является профессиональным литератором с 1922 года, то есть его творчество с этого времени стало для него единственным источником существования. Необходимость защиты своего наследия от жуликов, которых во все времена имелось и остаётся до сих пор вдоволь, побудила его вступить в члены Драмсоюза, призванного отстаивать авторские права “эстрадников”. А защищать у него было что, ведь его песни с постоянным успехом исполнялись по всей стране. Среди его соавторов-композито-

ров — Матвей Блантер и Юлий Хайт, Борис Фомин и Борис Прозоровский, Валентин Кручинин и Рудольф Бразбург, Сергей Орланский и Григорий Березовский, Яков Фельдман и Владимир Бектабеков и другие. Его песни исполняли такие звёзды эстрады 1920-х годов, как Тамара Церетели и Елизавета Белогорская, Екатерина Юровская и Лидия Колумбова, Ольга Вадина и Елизавета Алезин-Вольская, Сэда Гурджиева и Елена Винницкая, Изабелла Юрьева и Ольга Каменская.

Вначале власти хотя и поругивали, но терпели его крамольные произведения. Бдительный Главрепертком относил его песни к “произведениям, идеологически не вполне выдержанным, но не настолько, чтобы их следовало запрещать”. На исходе нэпа в 1927 году Подревский ещё имел возможность оправдывать своё “цыганское творчество”, как оно именовалось в центральном журнале работников искусств “Рабис”: “Исторические условия быта цыган в дореволюционную эпоху привели к смешению подлинной народной цыганской песни с “кабацким творчеством”, обусловленным вкусами дворянско-купеческой Руси. Старинная цыганская песня, отражавшая своеобразную кочевую жизнь цыган, с течением времени была подменена “цыганщиной”, отражавшей “идеалы” великосветской молодёжи и воспевавшей “роковую любовь”, “восторги сладострастия”, “бокал вина” и т. п. “Цыганщина” сохранила громадную популярность и до сего времени. Задача современных композиторов, авторов текста и исполнителей — очищение этого жанра от псевдоцыганских наслоений и постепенное вливание нового содержания в подлинную форму цыганского романса”.

Вся жизнь поэта перевернулась в “год великого перелома”. Первый удар Константин Подревский, как и его соавторы, получил летом 1929 года, когда в Ленинграде с 14-го по 20 июня прошла Всероссийская музыкальная конференция, запретившая исполнение и издание любых романсов. Практически все песни Константина Подревского попали в разряд “контрреволюционных”, в том числе и гениальный романс “Дорогой длиною”. Даже его популярная песня “Стена коммунаров” получила клеймо “псевдореволюционной”, а самого поэта называли “нэпмановским”, “упадочным” и “кабацким” подпевалой. Казалось, что вместо “погоды лунной” в России наступил настоящий *лунный климат* (читай: новый ледниковый период, вернее — новая вечная мерзлота). Мечту консерватора Константина Леонтьева: “Надо подморозить хоть немного Россию, чтоб она не “гнила”, — воплотили в жизнь революционеры-большевики.

Вдобавок к этому советская власть организовала финансовое давление на неугодных. Людям старшего поколения хорошо знакомы со школьной скамьи хрестоматийные строки Владимира Маяковского: “Поэзия — та же добыча радия. / В грамм — добыча, в год — труды. / Изводишь единого слова ради / тысячи тонн словесной руды”, — из стихотворения “Разговор с фининспектором о поэзии” (1926). Однако не все знают, что прежний фининспектор был столь же страшен, циничен и беспощаден, как сегодняшний судебный исполнитель, отбирающий у нищих последнее барахло и выгоняющий на улицу немущих. Только тогда лица “свободных профессий” обязаны были ежегодно подавать заявления (декларации) о своих предполагаемых доходах на предстоящий год; уклонившихся от подачи деклараций штрафовали. Главный советский поэт находил общий язык с властями. А вот Константин Подревский летом 1929 года несвоевременно подал фининспектору декларацию, за что правление Драмсоюза описало всё его скудное имущество и присудило огромный штраф. Из-за этого поэт заболел и впал почти в невменяемое состояние, и от этого потрясения так никогда уже и не оправился.

Во время тяжёлой полугодовой болезни, когда он находился в крайней нужде, его не оставляла преданная муза и заботливая супруга Анна Ивановна Лямина-Подревская (урождённая Степанова; 1898–1974), помощник делопроизводителя Драмсоюза. С первой женой Константин Подревский развёлся в конце 1920 года. Анна Ивановна закрыла ему очи 4 февраля 1930 года и проводила в последний путь сорокадвухлетнего поэта, прах которого покоится в старом колумбарии Донского кладбища в Москве. Лямина-Подревская, несмотря на предложения поклонников, навсегда сохранила верность мужу. Именно вдове поэта мы обязаны тем, что творческое наследие Константина Николаевича дошло до нас и продолжает храниться в семейном архиве потомков Подревских, несмотря на полное забвенье недюжинного поэта, которое он сам предсказал незадолго до своей кончины.

Его коллега по эстраде Борис Николаевич Тимофеев-Еропкин (1899–1963), поэт-песенник и сатирик-куплетист, в 1962 году вспоминал: “В середине двадцатых годов стали чрезвычайно популярными многочисленные эстрадные шуточные песенки на слова Константина Подревского. Как-то на моё замечание о популярности его произведений он ответил: “Работа поэта только для эстрады – настоящий мыльный пузырь! Несмотря на то, что моё имя напечатано на десятках тысяч нотных обложек, никто его не запомнит. Я абсолютно забыт ещё при жизни, никто никогда обо мне не вспомнит и даже не узнает!” Спустя три поколения, прошедшие со дня смерти поэта Подревского, наконец-то можно ему возразить: “Ваше творчество, Константин Николаевич – не мыльный пузырь! Ваши песни любимы миллионами. Мы теперь Вас знаем, помним и не забудем”.

Из семейного архива наследников поэта, а также из личного собрания историка и литератора Александра Знатнова мы впервые помещаем избранную подборку стихов Константина Николаевича Подревского.

КОНСТАНТИН ПОДРЕВСКИЙ

СТАНСЫ

Мозг мой от ночного бденья
И от мыслей воспалён.
Я в себя уединён,
И в моём воображенье —
То ли явь, а то ли сон.

От жаровни — ленты струй,
Запах жареных каштанов,
Как последний поцелуй.
Не сердись, а растолкуй,
Кем я был и чем я стану.

Подводить итоги рано —
Расстоянье в двадцать лет.
Только вот в ином секрет:
На моих грядущих планах
Не сойдётся клином свет.

А трамвай на поворотах
С тщетностью земных потуг
За собою тащит звук, Не записанный на нотах
У знакомых и подруг.

Как в угаре, как в тумане
Подбираюсь к рубежу,
Но дыханье задержу,
Ведь подвергнусь высшей каре,
Если перейду между

Между будущим и прошлым.
Как ни думай, ни крути,
От себя мне не уйти,
И ступаю с личной ношей
По тернистому пути.

А в наследственной берлоге,
Словно след от багажа,
Память обо мне свежа,
Ведь пошёл я по дороге,
Как по лезвию ножа.

*Астрахань, 26 мая 1908
109 лет со дня рождения А. С. Пушкина*

(Автограф из собрания А. В. Знатнова)

ДАЛЁКОЕ

У ветхих стен монастыря
Благочестивых фельятинцев,
При жёлтом свете фонаря
Мы ждали маленького принца...
 Качалась ночь, как мутный плащ
 Над чёрным ящиком Пандоры,
 И напрягались удила,
 И в тишине звенели шпоры...
Там, у решётки Тюльери,
Он, белокурый, полусонный,
Пароль чуть слышно повторил
Под красной маской капюшона...
 В карете кто-то распахнул
 Задрапированную дверцу...
 Он улыбнулся и вздохнул,
 Но билось трепетное сердце...
Склонились. Тяжкий след колёс,
Куда рассеял искры факел,
Огонь покрыл венком из роз,
И, отвернувшись, кто-то плакал...
 О, тени женщин у перил,
 За ним следившие украдкой...
 Огонь, сверкнув, посеребрил
 Их слёзы, фижмы и перчатки...

.....
У ветхих стен монастыря
Благочестивых фельятинцев,
При жёлтом свете фонаря
Мы ждали маленького принца...
 И таял утомлённый взгляд,
 И слух ловил в размахе ветра
 Шаги вампиров и менад —
 Зловещих узников Бисетра.

Пока бегут шакалы прочь,
Мир спит в наряде лицемера,
Но лишь они — в засаде, ночь
Поёт, как барабан Сантерра.
 Когда вломились на крыльцо,
 В лохмотьях, пёстрые, как маки,
 Фонарь я бросил им в лицо,
 И в темноте скрестились шпаги...

Журнал "Рыцарь", 1913, № 3 (март). С. 6. Киев

АНДРЕЮ БЕЛОМУ

Смеркалось. Соснами высокими
Прошло дороги острие.
Смыкалось линиями строгими
За мною прошлое моё.

Уж много в крест гвоздей вколочено
Неукротимую рукой.
Распятие моё источено
Неотвратимую тоской.

Я долго шёл стезёй убийственной,
Не понимая... Ты прости,
Представший мне во мгле таинственной,
Венчая острие пути.

И пусть конец пути заостренный
На землю к сердцу обращён,
И я венец твой ратоборственный
Приемлю, тьмою поражён:

Следы твои в пустыне найдены,
Иду я ошупью по ним;
Очей моих пустые впадины
Ты светом просветил своим.

Так в тесном склепе вдруг стремительный
Засова раздаётся лязг.
Вот он сияет — ослепительный
На звёздном небе мой Дамаск.

10/VI <1920> Усово

*(Автограф из семейного архива
наследников К. Н. Подревского)*

АВИАТОРУ

Нелегко тебе в небе кружиться,
Где лазурь, пустота и покой...
Неживая, последняя птица
Ожила под твоею рукой.

О, безумный, тебе я открою
В бесконечной надземной дали...
Но зачем тебе слава героя,
Если ты улетел от земли?
И поверь: в этой жизни свободной
Ни страданий, ни радостей нет...
Ведь ты знаешь, какой он холодный —
Ослепительный солнца свет.
Посмотри же хоть раз ты в глаза мне,
В глубину пережитых скорбей,
И об острые старые камни
Закалённое сердце разбей!

7/XII 1920

*(Автограф из семейного архива
наследников К. Н. Подревского)*

<АКРОСТИХ>

Ажурной пеной водопада
Несётся жизнь из года в год,
И всё чего-то сердцу надо,
Чего-то всё недостаёт.
Кто знает, скажем, это тайна,
А может быть, — моя мечта.
Мелькнул твой образ и случайно
Остался в сердце навсегда.
Я знаю: минуло, что было,
Дни мук изжиты до конца,
О, как я жду улыбки милой
Родного близкого лица.
Отныне прошлое — ошибка.
Гроза прошла на небесах,
А вместо радуги — улыбка
Яснее утра на губах.

А. И. Ляминой от К. Подревского

18/XI 1927

*(Авторизованная машинопись
из семейного архива
наследников К. Н. Подревского)*

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

ПОЧЕМУ Я НЕ ЛИБЕРАЛ

1

КЛУНИ СЫГРАЕТ НАС ВСЕХ

история мира как комикс

Попалась на глаза любопытная колонка в одном глянцево-м журнале.

Главный редактор красочного мужского издания рассуждает о запрете гомосексуальной пропаганды в России, и легко приходит к замечательным выводам, которые нас очень взволновали:

“... На что точно никто не рассчитывал — это что Россия примет свой первый федеральный закон, ограничивающий геев в правах, в ту же неделю, когда Верховный суд США отменит последний такой закон”, — пишет редактор.

Он сам, как мы понимаем, живёт в США и, находясь там, делает для нас журнал.

“... Меня занимает уже не первый год, — говорит он, — как часто и насколько всерьёз консерваторы-запретители по всему миру задумываются о своей роли в истории — вернее, не в истории, а в той повествовательной канве, что с историей неминуемо смешивается и подчас её заменяет? Понимают ли они, что в интуитивно-популистской версии событий, которая со временем всегда становится главной, им уготовано только одно амплуа: злодеи?”

“Всё, что требуется признать, — продолжает он, — это то, что тенденция к либерализации есть и никуда не денется: то, что произошло в начале XX века с женщинами, а в середине — с темнокожими, в начале XXI века произойдёт с ЛГБТ”.

“Любые попытки дать гражданским свободам обратный ход при должном масштабировании оказываются статистическими погрешностями”, — уверен автор.

Консерваторы-запретители в США, рассказывает он, больше всего боятся, что их впоследствии изобразят в кино в негативном виде, в то время как их просвещённых противников, к примеру, какого-нибудь очередного героического адвоката, “сыграет грёбанный Джордж Клуни”.

Про Клуни смешно, мне понравилось.

“Жажда свободы — один из главных сюжетов мирового масскульта, — подмечает автор колонки, — кирпич в его фундаменте. Даже самое верноподданническое российское кино не решается с ним расстаться, несмотря на изменившуюся, казалось бы, повестку: например, у ультрагосударственников из “ТРИТЭ” и ВГТРК в фильме “Легенда № 17” главный отрицательный персонаж всё равно гэбист и в “Высоцком” — гэбист”.

Наглядная иллюстрация уверенной поступи мирового прогресса.

Гэбист в “Высоцком”, в огороде бузина, все на местах.

... Меня воистину волнует не столько тема, заявленная в колонке глянцевого редактора, сколько существующая в его воображении картина мира. Картинка, я бы сказал.

Этот редактор, кажется мне, прожил свои тридцать или сорок лет в Америке, и в этот же срок втиснул все свои представления об истории человечества.

В понимании редактора только собственная его жизнь и несколько событий прошлого века не являются статистической погрешностью. А всё, что противоречит его картинке мира и представлениям об идеальном порядке вещей, отражаемом Голливудом, — является. “Грёбанный Клуни” рулит. Это вам не старомодный Джизус Крайст, которым можно только ругаться при виде космической тарелки.

Жаль, что редактор, помимо неизбежности демократии, мало что заметил в крайне разнообразной истории мира. Но раз он так любит ссылаться на американское кино, что ж он тогда не обратит внимание, что там с недавнего времени в каждой второй картине наступает апокалипсис: люди убивают, пытаются и пожирают друг друга, им вдруг оказывается вообще не до гражданских свобод?

Это “статистические погрешности” подгоняют нас к такому финалу или, может быть, некоторые издержки демократии?

Примат демократических ценностей над охранительными и консервативными — всего лишь допущение, ничем не доказанное. Ну, вот есть США, ну, вот они существуют двести с лишним лет — им самим-то не смешно соизмерять историю человечества со своим поступательным путём?

Римская империя существовала куда больше и след в мировой культуре оставила, как минимум, не менее весомый: по крайней мере, оглядываться на Грецию у Римской империи получалось куда изящней, чем нынешним янки ассоциировать себя с Римом.

Наглядное разнообразие половых взаимоотношений имело место уже в те крылатые времена. Да и демократия была явлена нам как раз в Греции. Но, всматриваясь в историю человечества, любой разумный человек согласится, что с тех пор никакого линейного пути эта история не продемонстрировала. Половина гражданских свобод была уже тогда: просматривалась “тенденция к либерализации” — и что в итоге?

Демократии топчут варваров, варвары топчут просвещённые деспотии, просвещённые деспотии гибнут от рук непросвещённых деспотий, непросвещённые деспотии становятся демократиями, следом они из демократий без посторонней помощи превращаются в фашистские государства (см. историю Европы первой половины XX века), ну, и так далее — даже не по кругу, а удивительными зигзагами. Фашистские государства становятся демократиями, потом их снова сжирают варвары... Какое уж тут линейное движение!

Однако нынешние либералы, в том числе и наш *глянцевый редактор*, видят всё это, словно какие-то марксисты нового образца. У марксистов вся история человечества, начиная с первобытно-общинных времён, вела к победе теории Маркса и диктатуре пролетариата, а у этих ребят Тутанхамон, Платон, Александр Македонский, Чингисхан, Леонардо де Винчи, Шекспир и Фрейд жили только затем, чтоб их правильно сыграл Клуни.

Те, кто с таким подходом не согласен, — люди умственно-отсталые, пещерные, не понимающие элементарных доводов.

Редактор же пишет: белые американцы освободили негров. Ясно? Всё сходится! Так они продемонстрировали всему миру то, что существует свобода, и её не остановить.

Нет, какая всё-таки, прелесть! Негры жили чёрт знает сколько лет сами по себе и вообще не нуждались в том, чтоб их освобождали, потому что их и там никто не сажал на цепь, по крайней мере, по расовым причинам.

Тут вдруг выясняется, что милейшие белые люди освободили их совсем недавно, в прошлом веке, и теперь ещё рассказывают об этом в качестве сверхубедительной самопрезентации.

Всё это кошмарное самодовольство казалось бы смешным, но от него всего один шаг до военных походов на, скажем, Сирию. Потому что почему бы и нет? Эти мрачные сирийцы не нравятся героям, которых играет Клуни, разве вам не ясно?

В мире больше не осталось истории, один масскульт, ладно бы, свой у каждого, так нет, общий на всех, и глянцевого редактор – пророк его. Старого Бога тоже нет, его придумал какой-то невротик вроде Достоевского. Нет китайцев, нет японцев, нет индийцев, индейцев тоже нет, и то, что им совсем недавно разрешили быть в вестернах “хорошими”, вовсе не отменяет того факта, что в фильмах про американскую и мексиканскую мафию они по-прежнему такое же кровожадное зверьё, как их предки, мешавшие ковбоям скакать на их лошадах.

Россия есть только в той степени, в которой она способна собезьянничать Штаты. А в общем и целом, в мире не только есть – но и была! – одна американская демократия: она летит к свету, освобождая всё и всех на своём пути.

После Второй мировой войны нам постепенно нарисовали комикс про мировую историю: “Краткое содержание предыдущих серий; сейчас, наконец, будет Клуни в роли адвоката”. Главное, теперь никому не рассказывать, что, в сущности, на фоне толщи столетий за спиной этот десятистраничный комикс более всего напоминает ту самую пресловутую “статистическую погрешность”.

Попавшие внутрь этой погрешности стремятся залить бетоном и мрамором шаткую поверхность под собой – “Кто против нас с Клуни?” – и объявить имеющиеся у них в наличии промежуточные итоги окончательными.

Увидели плохого гэбиста в двух фильмах – и уже докладывают нам, что это прогресс. А если вдруг появится хороший гэбист – это, значит, движение вспять.

Гражданин редактор предпочёл не заметить, что сейчас положительных гэбистов в русском кино едва ли не больше, чем плохих, вот и Штирлиц вернулся: даже на этом маленьком фронте ни о каком поступательном движении говорить не приходится.

Скажете, у нас идёт реставрация? Наверное. Но вы не задумывались над тем, что Реставрация и Возрождение означают, по сути, одно и то же?

Мы вовсе не ведём к тому, что гэбисты – это хорошо, а всякие сообщества – плохо. Речь всего лишь о том, что мировая история видоизменяется и раскачивается неустанно, она – живой организм, и чем она себя лечит, и чем она себя губит – решить крайне сложно.

Может демократия морочить целую страну, как банальная простуда. Может всё той же стране тоталитаризм сломать позвоночник. А бывает, что демократия надламывает позвоночник так, что деспотия на этом фоне кажется простудой.

Империя инков существовала половину тысячелетия и думала, что она навсегда. Австро-Венгрия была самой крупной страной Европы и считала себя центром мира – сейчас большинство населения земли даже не помнит про такую страну. В СССР никто и предположить не мог, что Колчак станет красивым, как Хабенский. Теперь вот прибежали злые дети из “Макдональдса”, рассказывают нам, как на прошлой неделе они освободили женщин. Но на месте Байконура растёт трава, и на месте Голливуда вырастет трава. “Весь мир – трава”, – как мог бы сказать Боб Марли.

Масскульт, в любом его виде, сегодня фиксирует одно, завтра – другое. Клуни – умный парень и, в конечном итоге, сыграет всё, что нужно, была бы Рифеншталь!

Мало ли на свете существовало разнообразных парадоксов! Можно придумать много новых. Просвещённый кардинал Ришелье по сей день выглядит мракобесом, малахольный Николай Второй – напротив.

Александр Македонский иногда, в минуту душевных сомнений, был геем, хотя, говорят, завёл около семисот детей, Чингисхан, кажется, не был геем, а Иван Грозный – точно нет.

На сегодня в масскульте Македонский – милый, красивый, одарённый юноша, он пришёл в Азию и всех победил; Чингисхан тоже ничего, потому что он друг степей и дик, и никогда не воевал против американцев; а Грозный, безусловно, плохой, он, к тому же, русский, с длинной бородой, глаза вытаращил – этого точно в ад; даром, что людей убил в сотни раз меньше, чем его коллеги по созданию империй.

Всё сложилось, как пазл. Но эта ваша детская картинка мира – кому вы её предлагаете? Что с ней делать-то? Приколоться? Ну, прикольно, спасибо.

В комиксе легко жить, там всё понятно; проблема лишь в том, что его кто-то придумал для нас.

Безусловно, гражданину *глянцевому редактору* никто не звонил и не просил написать такую колонку, но для него заранее создали *тренд*, и вот он уже в *тренде*.

Далее следуют несколько незаметных движений рук – и в *тренд* попадает аудитория его журнала, *facebook*, “Бон Темпи”, все просвещённые пацаны и девчонки. Бьюсь об заклад, пять лет назад они даже не думали о том, что им сообщил гражданин редактор, а если бы им кто-нибудь сказал, что есть вот такая тема, они бы только криво усмехнулись: “Что за чушь!”

Теперь они криво усмеваются, когда кто-то не воспринимает эту тему всерьёз.

И уверены, что эта их кривая усмешка – собственная. А она не собственная, им её приклеили, и они с ней ходят, свободные люди с зачарованным рассудком.

Вы можете собрать героев русской классики в компанию и дать им ту тему, которую мы обсуждаем для того, чтоб и они поддержали беседу? Могут ли, скажем, двое мужчин, живущих в любви, усыновить маленького мальчика? Сидят Алёша Карамазов, Болконский, Наташа Ростова, Митя Карамазов и даже, к примеру, Базаров, и всерьёз говорят об этом...

Нет, такое невозможно представить! Бред!..

Может быть, вы тогда представляете, как Чехов обсуждает это со Львом Толстым? Опять нет!

Может быть, это потому, что они вместе с их героями были людьми отсталыми, а мы с тех пор очень поумнели? Ха-ха-ха!

Эти старообразные персонажи переживут всех *грёбанных адвокатов*.

Однако один герой, который мог бы составить компанию *глянцевому редактору*, у нас всё-таки имеется: его фамилия Смердяков.

Он вполне мог бы сочинять нужные колонки в его глянцевый журнал.

Безусловно, Смердяков – это одна из фамилий вашего прогресса; носите её на здоровье.

Мы думали, что прогресс – это мир, описанный в романах ранних Стругацких: космос, мужество, преодоление личного и низменного во имя идеалистических ценностей; оказалось, что нет. Прогресс – это охлос, ни в чём не повинное мужеложство, зачем-то возведённое в идеологию, примат личного и субъективистского над любым идеализмом.

И не стоит искать вопиющих различий между режимом товарища полковника и заокеанской родиной прогресса. Там жандармы планеты, консерваторы и охранители своего всемирного интереса ходят, ряженные в демократов, даже лицо президента покрасили ваксой. Здесь – космополитическое жульё, продукт морального распада, извращенцы и подонки удивительных мастей рядятся в славянофильские наряды, косят под дворянское собрание с царём-батюшкой во главе. Одни разрешают ЛГБТ, другие делают вид, что запрещают. Но суть одна и та же: они имеют наши мозги, преследуя свои интересы. Недаром *гражданин глянцевый редактор* живёт там, а пишет сюда, и зарабатывает тоже здесь. Всё на местах, не волнуйтесь.

Никогда в жизни гражданин редактор не напишет колонки про такие скучные и банальные вещи, как спасение русской деревни, быт шахтёров или военная реформа. Это же параллельный мир – современные люди там не живут. Они живут в прогрессивном мире, неуклонно продолжающем поступательное движение.

Демократия приятна, отзывчива, всеядна. Клуни может сыграть даже мракобеса Достоевского. Представьте себе Клуни с бородой... Удивительное сходство, да?

И только Достоевский никогда не будет играть Клуни.

2

ВНУК ЗА БАБКУ, БАБКА ЗА ДЕДКУ, ДЕДКА ЗА РЕПКУ –

“... а репка проросла в русскую преисподнюю”...

Прочитал тут в “Живом Журнале” одного очень хорошего, умного и одарённого литератора заметку, хочу с вами поделиться.

Он пишет:

“Всё-таки самая страшная судьба оказалась в итоге у коротко живших в России, а потом в Советском Союзе женщин и мужчин из поколения моих бабушки и дедушки.

Родившиеся на переломе 1900-х – 1910-х годов, они толком не почувствовали обыкновенной, нормальной жизни (Первая мировая) и с детства погрузились в коммунистический ад – циничные 20-е, отвратительные 30-е, война (на которой многие из них погибли), гадкие 40-е, смерть усатого таракана, шумливые 60-е и мёртвые 70-е – первая половина 80-х. Потом перестройка, когда наши родители жадно читали, смотрели, ездили, а дедушкам и бабушкам было уже не до того, им и в это время им приходилось трудно – из-за возраста и общего перелома в судьбе страны; а до короткого ельцинского глотка свободы почти никто из них уже и не дожил. Была, конечно, у каждого из них личная судьба, у кого получше, у кого похуже, но как поколение все они всю жизнь говорили, шептали на разные лады, перекачивали во рту одно и то же заклинание: “Лишь бы не было войны...”

Бедные, прекрасные, погубленные люди...”

Признаться, я был тронут, прочитав.

Вместе с тем, мне было бы предпочтительнее услышать всё это из уст самой бабушки, а не судить о судьбе целого поколения, следуя интерпретации её внука. Есть некоторые основания допустить, что интерпретация эта несколько вольная и даже слегка ангажированная.

Потому что, для начала, никакой сложности нет в том, чтоб созданную им картину расширить и продолжить.

К примеру, так.

Берём на этот раз век XIX.

И, обмакнув перо, щедро рисуем:

“Всё-таки самая страшная судьба оказалась в итоге у живших в России женщин и мужчин из поколения моих бабушки и дедушки.

Появление их на свет ознаменовалось убийством Павла, что дало сумрачный и подлый ответ всему веку.

Детство их пришлось на те годы, когда полуголодная и рабская Россия вела одновременно русско-персидскую, русско-шведскую и русско-турецкую войны, где без счета гибли их отцы в качестве “пушечного мяса”.

А следом случилось нашествие Наполеона.

Надежды на послабление власти после чудесного избавления от супостата оказались ложными.

В 20-е они вышли в люди и в жизнь – именно тогда было положено начало глупой и бесконечной кавказской войне, на которой погибли тысячи и тысячи из них.

Но мы помним ещё и позор российской монархии – избиение “декабристов”. И реакцию. И смерть великих поэтов. И подавление венгерского восстания в 1849-м.

И ужасные 50-е, обернувшиеся очередным позором российской монархии, – поражением в Крымской войне, показавшей нашу многовековую и подлую отсталость.

И бессовестные 60-е с их лживым освобождением крестьян и вешателем Муравьёвым в Польше, и очередную русско-турецкую в 70-е – потому что эти сатрапы никак не могли навоеваться, – а поколение всё гибло и гибло, и лишь единицы доживали до седин.

Потом кризисные 80-е, усугубившиеся тем, что у нас, в нашей огромной и дремучей деревне так настроили железных дорог, и всё это переползло в голые 90-е и закончилось Ходынкой: апофеозом великосветского скотства.

Была, конечно, у каждого из них личная судьба, у кого получше, у кого похуже, но как поколение все они всю жизнь говорили, шептали на разные лады, перекачивали во рту одно и то же заклинание: “Лишь бы не было войны...”

Бедные, прекрасные, погубленные люди...”

Не нравится? А чем хуже-то? Столь же убедительная и эпохальная картина.

Или давайте ещё один век разменяем на пару пронзительных абзацев.

Век XVIII.

Зачин прежний:

“Всё-таки самая страшная судьба оказалась в итоге у живших в России женщин и мужчин из поколения моих бабушки и дедушки.

Век начался вместе с Северной войной, которая продлилась 21 год!

Но куда страшнее войны пожирал своих собственных холопов антихрист с кошачьей головой, уполовинивший народ, на чьих невинных костях он возводил свои глупые прожекты, лопнувшие, едва этот сумасшедший маньяк окочурился.

Следом бироновщина, засилье чужеземцев, кошмарное воровство, никем не слышимый вой народный, дворцовые перевороты, увенчавшиеся непросвещённым абсолютизмом развратной немки, усевшейся на русский трон.

В бесстыдные 60-е началась русско-турецкая, в позорные 70-е пошли разделы Польши, а бесконечная русско-турецкая перешла в пугачёвщину, на которую, полюбуйте, приехал посмотреть Суворов – всякому русскому генералу никогда не было разницы, что турки, что свои же, православные.

И едва окончилась пугачёвщина – затеялась ещё одна русско-турецкая война, на пять лет, и в те же годы бедная Россия по мановению жадной и развратной немки начала спиваться от бессилия и ужаса.

Была, конечно, у каждого из наших стариков личная судьба, у кого получше, у кого похуже, но как поколение все они всю жизнь говорили, шептали на разные лады, перекачивали во рту одно и то же заклинание: “Лишь бы не было войны...”

Бедные, прекрасные, погубленные люди...”

Как вам? Тоже, как нам кажется, выглядит достаточно мрачно.

Давайте уж и XVII век возьмем – в охотку пошло!

Итак:

“Всё-таки самая страшная судьба оказалась в итоге у живших на Руси женщин и мужчин из поколения моих бабушки и дедушки.

Век начался с того, что Русь – обессилевшая и обесчещенная – едва не умерла.

Пустопорожний Годунов. Лжедмитрий Первый, лживый Шуйский, тать и предатель Болотников, Лжедмитрий Второй, Семибоярщина – и всё это плясало свои танцы на голове да на плечах русского человека! Ад! То был ад!

Муторные 10-е, когда Русь ещё не вылезла из вчерашнего своего разора, а полякам уже проиграли Смоленскую, Черниговскую и Северские земли, погорелье 20-е, очередная польская война – а то им было мало этих войн! – в 30-е.

Ужасное Соборное уложение 1649-го – то самое, что подтвердило русское рабство, и пошло-поехало: в 50-м крестьянам запретили торговую и ремесленную деятельность, и то вам Медный бунт, то Соляной, то восстание в Пскове, то в Новгороде, то русско-шведская, то раскол, то Разин, то Разина на кол, и всё вешали и жгли русских людей, вешали и жгли – своих же, православных, наших бабушек и дедушек.

Мёртвые 70-е, суетливые 80-е, и в завершение всего этого – позорные Азовские походы, показавшие всему миру, кто мы такие и какая нам цена...

Но за что всё это нужно было терпеть старикам?

Была, конечно, у каждого из них личная судьба, у кого получше, у кого похуже, но как поколение все они всю жизнь говорили, шептали на разные лады, перекачивали во рту одно и то же заклинание: “Лишь бы не было войны...”

Бедные, прекрасные, погубленные люди...”

Можно подобным образом продолжать и далее, уходя всё надёжнее в глубь веков.

Но ходить так далеко не обязательно, вывод-то все равно один: а не пошла бы эта Россия к чертям со всем своим многовековым безобразием?..

Лучше б все наши бабушки и дедушки были, к примеру, жителями Швейцарии.

Да?

Или нет?

Потому что я не понимаю, что это за жалость такая, когда надо во имя своей жалости целое столетие спустить в выгребную яму!

Вы думаете, мне не жалко? Мне жалко всех своих стариков, я сам могу про каждого тут написать по сто сорок страниц своего ужаса и своей боли.

Но так-то – зачем?

Это ж не ребёнка с водой выплеснуть, а весь русский мир, карабкавшийся из столетия в столетие!

... Хотя мы утрируем, конечно.

Всё чуть проще, и не стоит подозревать того, о ком мы говорим, и всех, ему подобных, в неприятии российской истории вообще.

Ненависть нашей либеральной общественности фокусируется исключительно на советском периоде. Всё остальное воспринимается куда более спокойно. Ну, что-то там было и при Екатерине, и при Петре, и при Гришке Отрепьеве... Было и было, и быльём поросло.

А тут – нет, тут – иное.

Ненависть к Советскому проекту – биологическая, невыносимая, цепляющаяся, как репейник, за каждое слово, за любой жест, за всякий юбилей, за самую невинную дату. О, только бы ещё раз выкрикнуть: “Позорная! гадкая! циничная! отвратительная!”

А потом тихо добавить про “глоток свободы”...

Вы заметили, да? Это ж самое удивительное в этом тексте!

В начале XX века, пишет автор, наши предки не успели отведать “обыкновенной, нормальной жизни”...

Прямо пастораль какая-то сразу рисуется, даром, что страну тогда очень больно потряхивало, крестьяне традиционнo недоедали, а то и голодали, и дети мёрли сотнями тысяч, о чём написаны тонны мемуарной и исследовательской литературы, а ещё интеллигенция дружно ненавидела царщину, а ещё в “обыкновенном и нормальном” 1905-м началась революция: с чего бы это?...

Но это всё ничего, всё это простительно – да вот настал большевистский ад (автор, напомним, так и пишет: “Ад!”).

На фоне всего этого бесконечного адского кошмара даже советские, радостью осиянные 60-е оказались, в авторской интерпретации, “шумливыми”, а тишайшие 70-е, позволившие старикам пожить в своё удовольствие и вздохнуть – “мёртвыми”! Это когда, заметим к слову, каждый год писалось по литературному шедевру и было снято лучшее советское кино!

Но вот сквозь эту адскую мерзость проступили, – ох! – 80-е. Это когда, как нам сообщили, люди “жадно читали, смотрели и ездили”. А следом 90-е – “глоток свободы”.

Ну, да, помним-помним, недалеко ушли. То самое время, когда впервые за несколько десятилетий появились сотни тысяч бездомных стариков и старух, собирающих милостыню в переходах, когда другие сотни тысяч пенсионеров по всем городам ходили и проклинали “демократов”, колота в пустые кастрюли. Вот это самое время характеризуется бережно, почти с нежностью, естественно, по причине исключительно добрых чувств к этим самым дедушкам и бабушкам.

Потому что их внуки “ездили”, что ли? Потому что их внуки “жадно читали”? Страна, правда, развалилась на части, но это ничего.

Куда ездили-то, можно спросить? И так ли уж жадно? В Абхазию, Приднестровье, Таджикистан, в Чечню? Или в какие-то другие места – раз не заметили некоторых деталей за “глотком свободы”?

Написанное нашим автором – это какой-то ошеломительный *гон*, когда реальность выворачивается наизнанку, а ни в чём неповинные бабушки с дедушками идут в ход как самый неоспоримый аргумент, должный поддержать давно сложившуюся правоту внука, расписавшего нам, где “ад”, а где “нормальная жизнь”.

Мы вынуждены внести несколько поправок.

Век XX был чудовищным. Ужасным и чудовищным во многих своих проявлениях. Все знают это и помнят, никому пересказывать не надо.

Но странным образом очевидное большинство стариков – а, скорее, даже подавляющее большинство! – восприняло свершившееся в 80-е и пришедшее в 90-е с неприязнью, плавно перешедшей в отторжение.

Несложно догадаться, что тысячи и даже сотни тысяч стариков ощутили себя и обманутыми, и оболганными.

И у них были для этого самые веские основания.

Лукавить незачем, мы взрослые люди и знаем, кто стал основной электрической базой коммунистов и за что другая часть пенсионеров любит нашего велеречивого президента. За то, что он почти что *генсек*.

Так что, если вы хотите пожалеть свою конкретную бабушку, – пожалейте.

Но не стоит жалеть всех сразу, заодно обозначив результаты их огромной жизни то ли как “отвратительные”, то ли как “мёртвые”, но в любом случае – ужасающие и бессмысленные.

Что-то подсказывает мне, что от такой жалости они бы взвыли в ужасе и негодовании.

ЛИМИТ НА ЭВОЛЮЦИЮ ИСЧЕРПАН

о необходимости амбициозной власти

Наши буржуазные охранители любят говорить, что склонность к революции — это нереализованные комплексы некоторых отдельно взятых граждан. Но революция — это, в первую очередь, огромные амбиции.

И далеко не всегда личные.

Скажем, у меня никаких особенных амбиций нет, а те, что были, давно удовлетворены. Но я, как и большинство граждан в России, желаю жить в амбициозной стране.

Только не надо путать амбиции с *понтами*. У нынешней России амбиций нет вовсе — а вот *понтов* много.

Государственные амбиции от *понтов* отличаются очень просто — за *понтами* ничего нет. Мы можем бряцать военной мощью, которую разворовываем, гордиться научным потенциалом, который разбазариваем, говорить о единении народа — совершенно эфемерном — и славить сильного национального лидера, в силе которого тайно сомневаются даже искренне любящие его — всё это и есть *понт*, а не амбиции.

Порой кажется, что у любого человека с чувством достоинства смотреть на происходящее давно уж нет никакого желания.

Но это ошибочная уверенность.

Тут публицист Григорий Ревзин осчастливил нас остроумной статьёй “Большие маленькие дела”. Подзаголовок статьи: “О кризисе революционной логики”.

Подход, конечно же, не поражающий новизной. О кризисе революционной логики начали говорить ещё в начале 90-х. Тогда новая буржуазия только-только совершила в своих целях самую настоящую революцию и по её завершении немедленно объявила: “Баста! Больше революций не надо. Теперь будем развиваться эволюционно”.

С тех пор новые буржуазные охранители, едва почувствуют запах палёного, сразу самозабвенно рассказывают про эволюцию и про *малые дела*.

Никто из них не хочет объяснить, хотя бы кратко, почему, к примеру, в 1991 году все они поголовно были против эволюции, а сейчас вдруг стали “за”.

Мы-то знаем, почему, но пусть они сами про это хоть раз скажут.

Впрочем, можем попытаться ответить за них.

Со времён буржуазной революции в России у многих представителей новых российских элит в связи с неожиданным и даже несколько парадоксальным повышением материального благосостояния (всё заработано адским трудом, работали годами с 6 до 24 — знаем-знаем, даже не повторяйте!) очень развился инстинкт самосохранения.

Ввиду того, что инстинкт — это не рог и не хвост, его при внешнем рассмотрении и не увидишь. Даже сами носители этого инстинкта могут о нём вроде бы и не догадываться.

Проблема в том, что их инстинкт личного самосохранения многократно преувеличивает инстинкт самосохранения, прощу прощения, нации.

И вот два этих инстинкта — у отдельных личностей и у нации в целом — вступают в некоторое противоречие.

Что бы ни происходило в стране, наша новая и вполне самозваная аристократия теперь всегда будет твердить, что ломать ничего нельзя, двигаться можно только э-во-лю-ци-он-но!

Ну, то есть очень медленно и аккуратно. Так, чтоб когда всё начнёт обваливаться (а всё начнет обваливаться *непременно*, это втайне понимает и сама аристократия), они могли бы аккуратно собрать вещи и выехать на новое место проживания — уже, впрочем, неплохо обжитое в период так называемого эволюционного развития.

По любым статистическим показателям нынешняя Россия кошмарным образом проигрывает Советскому Союзу образца 1985 года. Да, продуктовые полки забыты более или менее съестными товарами, и личного автотранспорта у населения стало больше. Ещё телеканалов прибавилось. Но умирает лю-

дей больше, а рождается меньше. Преступлений больше, а раскрываемость меньше. Больных самыми необычайными заразами больше, а лечат их – в целом по стране – всё хуже. У нас первое место в мире по подростковому самоубийствам! Это на фоне стабильности-то! Коррупция выросла вообще несопоставимо со временами исторического материализма. Аварийность в связи с общей деградацией технической базы по стране тоже в разы выше. Урожаи в сельском хозяйстве, что бы нам тут периодически ни ввали, упали. Про остальное народное хозяйство вообще говорить не хочется. Кто-то может сказать, что армия стала сильнее? Космические программы какие-то новые появились? Или хотя бы старые остались? А теракты? А наркомания? Про беспризорных и бомжей вообще говорить неприлично – это дурной тон, в ответ на это у нас уже лет десять брезгливо пожимают плечами: типа, тоже мне довод, пошлость какая!..

И вот, несмотря на всё это, в 1989 году нас убеждали, что так больше жить нельзя, а сейчас те же самые люди уверяют, что только так, как сегодня, и можно.

Знаете, почему? Потому что, по их мнению, Советский Союз был объективным злом. А всё зло, которое имеет место в настоящее время, – это, не поверите, объективные процессы. Разница!

Поэтому объективное зло надо уничтожать (и потом ещё 25 лет рассказывать, как хорошо, что оно уничтожено), а объективные процессы – в целом! – надо принимать. А частности ретушировать...

Тех же, кто их не принимает, желательно изолировать.

“...совершивших революцию в 1917-м году было немного, – пишет Ревзин в своей статье, – рассматривая историю этого несчастного года, трудно ведь не прийти к выводу, что тогда недоглядели. Нет, ну, конечно, можно сказать, что не Ленин с Троцким, так Зиновьев с Каменевым, не Дзержинский главным палачом, так Свердлов бы поработал, вообще, нашлись бы люди. Но в принципе, если так поискать, то их всех вместе набирается едва 100 человек, которые могли возглавить всю эту заваруху. Ведь её же нельзя просто так возглавить, надо как-то засветиться. Невозможно стать вождём совсем уж из подполья. Так что все известны поименно. Ну, что, 100-миллионное государство не в состоянии решить проблему 100 человек?

Причём у меня такое ощущение, что это знают не только все вообще, но и те, кто у власти, – в особенности. И думают, что в этот раз уж точно доглядим. У государства большое дело – сбережение народа от революции, но при этом оно сводится к чему-то довольно-таки локальному, опять же, не больше 100 человек, и все они уже есть, и известны поименно”.

Послушайте, это только мне кажется или и вам тоже? Автор статьи прямо предлагает выловить и как-то незатейливо, от беды подальше, прикрыть сто человек? То есть выходит в свет с публичной инициативой провести избирательные репрессии?

И это всё публикует “Огонёк”?

Помните, какой был “Огонёк” в 1989 году? Можете себе представить, как бы отреагировал этот “Огонёк” тогда, если б какой-нибудь Егор Лигачёв призвал бы выловить и посадить сто самых рьяных демократов?

Как всё меняется, Боже мой!

Надо, конечно, напомнить Григорию Ревзину, что репрессии имели место и в прежние времена.

И Радищева ссылали, и Достоевского, и Чернышевского.

Хотя, быть может, стоило их всех перестрелять без суда и следствия, а не стучать в барабаны попусту.

И большевики, и прочие эсеры из тюрем и ссылок не вылезали, и, как бы по-скотски сейчас на эти темы ни иронизировали (“сидели, как на курортах!”), умирали смутяны в этих ссылках в очень даже приличных количествах.

Собственно, и революционные преобразования памятного 1917 года начались, когда большинство этих самых большевиков либо находилось за границей, либо сидело за решёткой.

То есть нельзя сказать, что не доглядывали. Головы вот, повторимся, не рубили прямо на площадях, и это, кажется, Григория Ревзина огорчает – а так, конечно, старались, работали.

И сейчас работают. И хотели бы добиться окончательного результата, но не всё так просто.

У Ревзина, судя по всему, несколько идеалистические представления об этих процессах, поэтому я могу объяснить суть проблемы на одном простом примере.

В 2001 году на границе Казахстана был задержан Эдуард Лимонов и ряд его ближайших соратников. Сажать их собирались надолго, это всем тогда было понятно.

Я находился в те дни внутри ситуации, и могу с Ревзиным поделиться своими ощущениями.

Удивительным образом после ареста Лимонова в партию начался приток новых людей – сотен и даже тысяч человек.

Партийные организации стремительно возникли почти в семидесяти городах, хотя органы были уверены (почти как Ревзин сейчас), что без Лимонова и его ближайших соратников партия немедленно развалится.

Если б тогда власти решили провести массовую зачистку – пришлось бы запустить, как минимум, сотни уголовных дел по всей стране. Причём, конечно же, дел надуманных, ложных и лживых.

Власть это прекрасно осознала чуть позже, когда Лимонова посадила (правда, на меньший срок, чем ожидалось), а партия, пока он сидел, так и продолжала расти день ото дня.

Можно было бы посадить ещё десять, или двадцать, или сорок человек, – собственно, так и делали, – а результат получался противоположный.

Тогда в кремлёвских покоях кто-то додумался объявить всю партию целиком экстремистской, чтоб не утруждать себя поиском вины у нескольких тысяч активистов или фальсификацией полутора тонн уголовных дел.

Объявили! – но желаемого результата всё равно не достигли.

Сейчас Ревзину кажется, что если упрятать куда-нибудь с глаз долой Навального вместе с его, будь он неладен, Координационным советом, – всё исправится. И тут я, пожалуй, с подлой ухмылкой, Ревзина поддерживаю.

– Да! – скажу я. – Да! Давайте посадим под домашний арест весь КС поголовно!

Потому что именно в этом случае, и только благодаря этому, на авансцену выйдут люди, реально готовые к оппозиционной, простите за патетику, борьбе.

Григорий Ревзин, быть может, думает, что власть глупая, а он умный. Мы не готовы сказать, что все ровно наоборот. Но власть точно не глупая. Власть прекрасно отдаёт себе отчёт в реальном оппозиционном потенциале, скажем, Собчак, или, скажем, Пархоменко.

Власть их не то что не изолирует, – она их будет хранить и беречь.

Поддерживать, конечно, под уздцы иногда, но в меру, в меру.

Потому что они тоже за эволюцию! Это ж самое важное, самое ключевое, самое волшебное слово! Это – пароль.

Жаль, многие понимают процесс эволюции превратно. Они искренне думают, что эволюция – это плавное и величественное течение природы, а революция – это результат рукоблудия каких-то вздорных негодяев.

На самом деле революция уж точно имеет не меньшее отношение к природе, чем эволюция.

Мне здесь не хотелось бы пересказывать советские учебники моему совершенно случайному оппоненту Григорию Ревзину (просто под руку попала эта статья, но ее тезисы много кто повторяет, большого ума для этого не надо). Однако одну вещь из этих учебников мы всё-таки напомним: про то, что “верхи не могут, а низы не хотят”.

Дело вовсе не в ста весьма относительно буйных, а в том, что миллионы людей в России не испытывают уважения и доверия ни к одному государственному институту. Ни к судам, ни к прокуратурам, ни к полиции, ни к правительству, ни к Парламенту...

Сложно представить вменяемого человека, который после памятного ответа господина президента прекрасной женщине из Владивостока по поводу Сердюкова: “Спасибо, Маша, садись!” – “Спасибо, Вова!” – в очередной раз продолжает всерьёз доверять нашему гаранту Конституции. Таких доверчивых вовсе не так много, как нам рассказывают.

Да, есть люди, которые хотят, чтоб их оставили в покое, потому что у них всё хорошо. Есть люди, которые всегда всего боятся. Есть люди, которым вообще нет дела до России: существует ли она или нет её. Но с чего они взяли,

что именно их жизнь и деятельность находятся в полном согласии с процессом эволюции? Кто об этом нашептал конкретно Ревзину? *Голос* ему был?

В своей статье Ревзин совершает традиционный подлог. Он уверяет, что, в отличие от прекраснодушных людей, которые занимаются малыми полезными делами, есть люди объективно дурные, которые хотят заниматься только большими вредными делами, вроде революций. Нет, чтоб дерево посадить или старушку перевести через дорогу!

“Дедуктивная логика — сначала общий принцип, потом частные вопросы — начисто разбила индуктивную — от частных случаев к обобщениям”, — сердится Ревзин.

Хоть убейте, но я всё равно не пойму, какими *малыми делами* Григорий Ревзин предлагает исправлять ситуацию в сферах, частному человеку не подвластных?

С образованием, да, ясно: мы должны сами выучить своих детей, нам никто ничего не обязан. А вот с армией как? Научить сыновей стрелять из лука? Дать им уроки верховой езды? А с оборонным заказом как быть? Скинемся по червонцу?

Про космос молчим, там нам всё равно делать нечего. Но есть другие, не менее, чем космос, масштабные проблемы, вроде экологии.

Летишь над Сибирью — и видишь огромные проплешины. Темпы, какими в нынешней России истребляют лес, не снились даже большевикам в эпоху индустриализации.

И как вы представляете себе *малые дела* в области лесопользования?

Вы посадили деревце, а они — раз! — и спилили сто гектаров в другом месте. Вы ещё одно посадили, а они — раз! — и отдали “в аренду” китайцам небольшой (с маленькую европейскую страну) кусочек тайги.

И так по всем направлениям.

Мало того! Два года назад на Болотную площадь вышло сто тысяч человек, большинство из которых, как мне видится, последние двадцать лет занимались именно *малыми делами*, пребывая в искренней убеждённости, что если они нормально возрастят свой сад, то и вся страна расцветёт.

Но нужно быть или совсем слепым, или не очень хорошим человеком, чтоб не увидеть, наконец, одну очевидную вещь: тысячи и даже миллионы *малых дел* не способны хоть как-то уравновесить большие дела, творимые властью.

Тут надо ещё раз повторить, а то никак не доходит: мы не против *малых дел*, мы за них, и сами, в меру сил, совершаем их. Просто есть проблемы, которые требуют иных подходов. Масштабных! Государственных! И этих проблем — до черта! Куда взгляд ни кинь — сразу образовывается подобная проблема.

Та эволюция, что нам предлагает власть, — это наша деградация по всем направлениям.

Власть неспособна решить проблему коррупции и воровства, потому что она сама, в первую голову, всем этим занимается, и не имеет ни сил, ни желания бороться с собою и себя побеждать. Они вывозили из страны по 10 млрд долларов ежемесячно, вывозят и будут вывозить.

Армейская реформа, задача которой — сделать армию компактной (то есть закрыть почти все оставшиеся военные училища и уволить ещё тысяч сто офицеров) и модернизированной (ага!) — точно сделает армию не только компактной (слово-то какое убудочное!), но и окончательно отсталой (а с кем нам воевать-то?).

Реформа образования, задача которой — вывести образование на общемировой уровень, на самом деле имеет тайную цель (как и реформирование большинства остальных систем и отраслей): провести деконструкцию советской системы образования, — безусловно, действенной, но очень дорогой для нынешней, крайне экономной власти.

Власть экономит на нас и будет продолжать экономить, пока, как говорится, *смерть не разлучит нас*.

Я это вижу на примере той деревни, где живу (и десятка деревень в округе) — и спокойно отдаю себе отчёт, что касается это вовсе не только провинции. Содержание большей части населения России — для власти нерентабельно.

Американцы делали масштабное исследование и пришли к выводам, от которых мы старательно бежим: Россия — с нашими кошмарными темпами вымирания — не сможет контролировать свою территорию уже через тридцать лет.

Думаете, стоит подождать, чтоб убедиться в этом самим?

А я вот думаю, что не стоит.

... На посошок традиционно остаётся финальный вопрос: а с чего вы взяли, что после смены власти будет лучше?

Спорить тут бессмысленно, потому что спор касается того, чего на свете ещё нет. То есть целиком лежит в области веры.

Тем более, если ваш оппонент, как, к примеру, Григорий Ревзин, на полном серьёзе рассказывает про то, как Ленин терпеть не мог “малые дела” и именно поэтому совершил большую революцию. “Что было потом со здравоохранением, образованием и даже общественным питанием, мы хорошо знаем по истории – они прекратили своё существование”, – констатирует Ревзин.

Ясно вам?

Ни много ни мало: “...прекратили своё существование!”.

Не было у нас ни здравоохранения, ни образования вовсе. Сам Ревзин, видимо, учился по записям деда на бересте, питался кореньями и ими же лечился.

И вот с этим человеком мы тут спорили.

Ерундой какой-то иногда приходится заниматься, честное слово.

4

ВАЖНЕЕ ВАШИХ СВОБОД

несколько тривиальных вещей о либерализме власти

Есть вещи, которые важнее вашей свободы. Например, наша жизнь.

Либерализм, не устают повторять мне мои оппоненты, это свобода. Как, спрашивают они, я смею называть либералом Путина, когда его деятельность порочит саму либеральную идею?

Вы заметили, как либералы разборчивы, когда говорят о реализации либерализма?

Когда они составляют свою “Черную книгу коммунизма” – в ход идет всё: коммунизм – это и Куба, и Пол Пот, и Сталин, и Вьетнам, и Брежнев, и Китай времён Мао, и Никарагуа, и все перегибы восточного блока...

Всё в одну топку, никаких различий между разнородными эпохами и диаметрально отличающимися режимами. Коммунизм – это ГУЛАг и мотыгой по затылку.

Но едва речь заходит про либерально-буржуазные порядки, тут сразу начинаются сложные градации. На Кубе, ясное дело, коммунизм: там тюрьмы, голод и сумасшедший старик Фидель. Чёрт с вами, хорошо. Правда, там продолжительность жизни выше, чем в большинстве совсем не социалистических стран, в тюрьмах – амнистия за амнистией, да и Фидель – один из немногих мировых лидеров, который сам пишет свою – очень, кстати, неглупую – публицистику, то есть реально осмысляет действительность, чего о многих западных лидерах, выступающих всё чаще в качестве старших менеджеров, не скажешь.

Но спорить не будем, всё равно у них коммунизм!

Но что тогда в половине стран Латинской Америки или, скажем, Африки, где нищета удивительная, а никаких “леваков” у власти и в помине нет?

Само имя Лукашенко вызывает очевидную неприязнь – этот усатый дядька явственно реанимирует советскую матрицу, как в экономическом смысле, так и в смысле работы репрессивного аппарата.

Но кто бы мне объяснил, отчего ж внимание, которое ему уделяется, вообще не сопоставимо с тем вниманием, что уделяется, скажем, бывшим азиатским республикам СССР?

Что там, кстати, строят?

Не социализм же?

Либералы недоуменно пожмут плечами и ответят: феодализм.

Но как же так? Если речь про Пол Пота – так тут сразу же вспомнят Ленина, Маркса и красные знамена пририсуют, а как про азиатскую, или африканскую, или латиноамериканскую модель либерализма – сразу открещиваются!

Почему “левые” отвечают за всё, а вы только за то, что у вас хорошо получилось?

Путин — не либерал, потому что при нём свободы нет: вот так, несколько вульгаризируя, можно сформулировать позицию моих оппонентов.

Свобода — это где-нибудь в США. Вот там либерализм.

Слушайте, а мне может кто-нибудь шёпотом на ухо объяснить, почему в США вечный бой идёт между республиканцами и демократами? Почему самый “левый” там — это Обама? Там что, нет никого полевее? Местных Троцких американская земля не рождает?

Не поверю ни за что. Их там, наверняка, завались!

Нет, ну, правда: “левая” идея — одна из наиважнейших в нынешнем мире, как же так получилось, что страна, символизирующая свободу, выстроила такой порядок вещей, что коммунисты там никогда и ни при каких условиях не выйдут в мир большой политики, не вступят в бой с белыми консерваторами и чёрными демократами?

Какая ж это свобода? Это пародия какая-то. Ничем не лучше нашего Парламента.

Помню, когда я был в США, в Нью-Йорке рассказывал местной прессе про акции российских нацболов — в том числе вспоминал о том, как в Нижнем мои сотоварищи оцепляли дома в старом городе, чтоб не дать их разрушить нуворишам из местной администрации, сносящим памятники архитектуры ради своих стеклянных уродов.

Меня слушали, кивали, но как-то без особого сочувствия.

Потом подошёл один — из числа советских эмигрантов тридцатилетней давности — журналист и сказал негромко и печально: “В Нью-Йорке вас бы всех немедленно посадили”.

“У нас тут, — рассказал он, — целая община создалась лет десять назад, пытающаяся спасти Нью-Йорк от варварской застройки, вскоре приехала полиция, и этих людей больше никто не видел: кого-то упрятали далеко и очень надолго, кто-то сам догадался и ушёл на дно”.

Не знаю, правда это или нет, — за что купил, за то и продаю.

Только не надо думать, что я тут хочу сказать, что при Путине всё хорошо, и он почти Махатма Ганди.

Я не про то. Я про то, что Путин — такой же либерал, как и все остальные Обамы на свете.

Давайте по сути: частная собственность есть у нас? Есть. Средний класс, как ни крути, тоже есть? Есть. Рынок есть? Ну, есть же: зайдите в любой магазин, где торгуют продовольствием, одеждой и личным транспортом — это что, не рынок, что ли? Ещё какой рынок!

Но самое главное: Путин реально дал полную свободу деньгам. Да, не людям, но люди её нигде не имеют в должной мере: ни в США, ни в Японии, ни в Украине, ни в ЮАР, — а деньгам.

Он построил систему, при которой, в числе прочего, из страны ежемесячно уходит 10 млрд долларов.

Частная собственность — это что? Это частное право пользоваться своим частным хозяйством в частных целях, не особенно взирая на государство.

У нас такое количество людей и денег свободно от государства, какое не снилось ни одной самой либеральной стране.

Деньги вывозят все кому не лень.

Это и есть главное достижение либерализма, разве нет? Свободно распоряжаться своей свободой, в том числе финансовой.

Свободная пресса тоже, конечно, нужна, — чтоб, если у тебя государство начнёт отнимать деньги, можно было бы об этом покричать, но, положив руку на сердце, скажите: а вы правда уверены, что в России такая уж вопиющая цензура?

Мы что, чего-то не знаем о процессе Ходорковского, деле *Pussy Riot* или очередных разоблачениях Навального? Да я сам задавал товарищу президенту вопрос про его друга Тимченко, торговавшего, как говорят, третью российской нефти, но налоги выплачивавшего, согласно некоторым данным, почему-то за пределами России. Спросил — и все желающие об этом узнали и имели возможность сравнить ответ Путина с реальным положением дел. Да, не на Первом канале, конечно, но давайте будем реалистами.

“А вашего Лимонова не пускают в телевидение!” — скажут мне мои оппоненты.

А моего Лимонова отлучали от телевидения не только в ужасной антидемократической России, но и в прекрасной демократической Франции, где, после того как Лимонов повоевал за сербов, даже книги его перестали издавать, и не издавали 15 лет. Отменили такого писателя, и когда я приезжал во Францию ещё в 2005-м или 2007-м году и спрашивал про Лимонова на светских пати, все чуть озадаченно оглядывались по сторонам и говорили негромко: “Лимонов, да, да, был... Ну, давайте не будем об этом... У нас тут не очень принято...”

Тут придётся ещё раз повторить, а то меня наверняка отдельные личности поймут неправильно: я не защищаю Путина – Путин построил в России экономическую систему, которая губительна для России, – я веду к одному тривиальному выводу: то, что в России имеет место быть – это все-таки либерализм.

С некоторыми российскими чертами, конечно, равно как есть либерализм с австралийской спецификой, с бразильской, с канадской, с итальянской, с польской, с украинской, а также с японскими приправами.

Да, у нас коррупция, да, питерские, да, всевластие спецслужб, да, суды работают плохо, но это всё равно либерализм: ВТО – это либерализм, банкротство наших нерентабельных промышленных предприятий – это ещё какой либерализм, и банкротство русской деревни – тоже натуральный либерализм, и наличие в телевизоре Познера и Сванидзе – это тотальный либерализм, а то, что там нет Шустера с Киселёвым, – ну, извините, не всё сразу, надо и братской Украине помочь – кадрами поделиться; и Радзиховский выступает за действующий порядок вещей, потому что он настоящий либерал, а не потому, что он коммунист.

Претензии либералов к Путину просты: он для них недостаточный либерал. А вот Медведев – который, на самом деле, ничем особенным от Путина не отличался, – почти уже достаточный, но жаль, несколько безвольный, надо было бы покрепче ему за руль держаться, назначить кого-нибудь пояблочней на место “ЕР”, и либералы были бы вполне довольны.

Вывод простой: Путин даже в состоянии недостаточного либерала для России в конечном итоге несёт очевидный вред.

А если он вдруг станет либералом полным и законченным – это вообще будет катастрофа.

Потому что, говорю я, есть вещи, которые важнее ваших свобод.

Наша, вступающая в противоречие с реализацией этих свобод, жизнь.

Героическая победа в развязанной американскими агрессорами “грязной войне” в 1970-х стала звёздным часом Вьетнама в международной жизни. Затем страна ушла в политическую тень. Теперь она вновь выходит на мировую авансцену, но уже в иной ипостаси: заговорили об “экономическом чуде Малого дракона”. Правда, объясняют его по-разному. Своими размышлениями на эту тему делится недавно вернувшийся из Индокитая учёный и публицист Георгий Цаголов.

ГЕОРГИЙ ЦАГОЛОВ

ТАЙНЫ МАЛОГО ДРАКОНА

Куда идёт Вьетнам? Чему у него поучиться?

Поучительный опыт

Весьма поучителен опыт успешных скандинавских государств, Китая, Индии, Бразилии. В их ряду теперь стоит и Вьетнам, чьё динамичное и гармоничное развитие особенно заметно на фоне былой нищеты его народа, а также долго бушевавшей на территории страны кровопролитной и разрушительной войны. За последние 25 лет ВВП на душу населения во Вьетнаме увеличился в 6 раз, а темпы экономического роста составляли около 8%, являясь вторыми в мире после Китая. Глобальный кризис не сильно притормозил их. Из числа наиболее отсталых и бедных государств на Земле Вьетнам переместился в группу среднеразвитых и, наряду с Китаем и Индией, получил признание как один из наиболее перспективных азиатских рынков. Он уже стоит на пороге вхождения в клуб “новых индустриальных стран”. Не случайно его величают не иначе, как Малым драконом.

После 1991 года лишь четыре государства продолжают называть себя социалистическими. Северная Корея и Куба имеют на то все основания. По поводу Вьетнама и Китая мнения расходятся.

Лидеры Вьетнама по-прежнему декларируют приверженность марксизму-ленинизму и “идеям Хо Ши Мина”, подчёркивая социалистический характер настоящего и будущего страны, на алых знаменах которой, как и раньше, золотятся пятиконечная звезда, серп и молот. Но спрашивается, как это увязывается с разрастающимся архипелагом частной собственности на средства производства и неизбежно вытекающими отсюда капиталистическими отношениями в экономике?

Распространено и противоположное утверждение: Вьетнам переходит от социализма к капитализму. При этом одни критически замечают, что процесс

ЦАГОЛОВ Георгий Николаевич — доктор экономических наук, профессор Международного университета в Москве, член Союза писателей России, обладатель ряда литературных премий, в том числе за книгу “Почему всё не так” с присвоением звания лауреата конкурса “Лучшая книга 2011–2013”.

мог бы идти последовательнее и быстрее, другие же считают, что в государстве давно уже существует капиталистическая “начинка”, а от социализма осталась лишь “обёртка”.

Что же происходит на самом деле? Куда идёт Вьетнам?

Своими глазами

В поисках ответа на этот вопрос появилось желание увидеть страну своими глазами. Встречи с учёными из Института Дальнего Востока РАН, особенно с руководителем Центра изучения Вьетнама и АСЕАН, ведущим исследователем современной вьетнамской экономики в России В. М. Мазыриным, оказались полезными: была рекомендована неизвестная ранее литература и получены контакты со знающими людьми, к которым можно обратиться по прибытии.

Перелёт из Москвы в Сайгон продолжался 10 часов и казался несколько утомительным. Рядом сидел молодой человек крепкого спортивного сложения, который, как выяснилось, не в первый раз направлялся туда на отдых. Запомнился фрагмент из разговора:

– Чем, по-вашему, прельстителен столь отдалённый уголок?

– Прежде всего, людьми, удивительно приветливыми, трудолюбивыми и воспитанными. Они аккуратны, дисциплинированы, неприхотливы, оптимистичны, мало пьют. Обычно в аэропорту беру мотобайк – наиболее популярное средство передвижения – и затем уже еду на нём, куда хочу. Цены на товары и услуги довольно низкие. Иностранцу во Вьетнаме комфортно и безопасно.

Последовавшее турне подтвердило справедливость этих слов.

Живописное местечко Муйне возле города Фантхиет – один из многочисленных курортов, возникших в последнее время вдоль раскинувшегося на тысячи вёрст побережья Южно-Китайского моря, называемого во Вьетнаме Восточным. Бесконечно тянутся широкие, с чистым, как будто просеянным через мельчайшее сито, молочно-золотистым песком пляжи. Пятизвёздочная гостиница “Анантра” соответствует европейским стандартам. Вышколенный персонал услужлив и предупредителен, но не подобострастен. Россияне составляют большинство съезжающих сюда со всего света туристов. Многих привлекает популярный нынче спорт на воде – кайтсёрфинг.

Повсюду реклама на русском языке, на котором пусть кое-как, но всё же изъясняются служащие в отелях, магазинах и кафе. А где-то работают и нанятые для лучшей коммуникации наши соотечественники либо представители стран СНГ. Гурманам здесь раздолье: разнообразие свежих тропических фруктов и овощей, знаменитые супы “фо”, королевские креветки, разные диковинные морепродукты, прочие лакомства. При желании можно отведать лапки лягушек, пельмени из кенгуру, мясо страуса или крокодила. И каждое блюдо стоит от одного до двух долларов (20–40 тыс. вьетнамских донгов).

С хозяином расположенного неподалёку от отеля магазинчика я познакомился при покупке местной сим-карты. Когда-то Дан учился в Советском Союзе и не забыл русский. Совершая вечерний променад, заглядывал к нему и посвящался в тайны местной жизни. Узнал, например, что иностранец может лишь взять в аренду недвижимость, а не приобрести её в собственность. Земля же вообще не является частной собственностью.

Желая поближе ознакомиться с бытом вьетнамцев, я как-то намекнул, что был бы рад побывать у него дома. Дан загадочно улыбнулся и дал понять, что это несколько проблематично: тогда, возможно, его соседи доложат кое-кому, что у него были контакты с иностранцами, и придётся давать объяснения, чего ему не очень-то хотелось. За тихой гладью, наблюдаемой на поверхности вьетнамского общества, показали глубинные течения, о которых не прочтёшь в книгах или газетах.

Да и впоследствии во время встреч с рядом титулованных учёных и крупных предпринимателей замечалось их стремление обходить острые социально-политические темы. Как отчеканил хозяин одной инвестиционной фирмы: “Мы интересуемся бизнесом, а в политику не лезем”.

Между тем, большинство простых людей не чурались таких разговоров. Из бесед с теми, кто средних лет и постарше, сложилась следующая картина: ограничение свобод во Вьетнаме по сравнению с прежним, дореформен-

ным или, как его некоторые называли, “тоталитарным” временем резко сократилось. Но всё же власти довольно суровы к инакомыслящим.

Стоит ли удивляться их жёсткости и стремлению не выпускать из-под контроля судьбу нации, если не забывать, чего только она не натерпелась от чужеземцев?

Дракон и Феникс

Посещение пагод, храмов, монастырей, замков и дворцов окунало в историю и культуру Вьетнама, напоминало основные вехи и перипетии жизни древней восточной нации. Находящееся между Индией и Китаем полуостровное государство впитало в себя не только буддизм и конфуцианство, но и многие другие религии, философии и традиции, занесённые издалека.

В ухоженных интерьерах пагод и обширных домов чаще всего встречались изображения дракона и феникса – символов страны.

Согласно легенде, дракон Лак Лонг Куан встретился в горах с волшебной птицей Ау Ко. Они полюбили друг друга и поженились. Ау Ко снесла 100 яиц, из которых вылупились дети. Дракон был хозяином моря и проводил там время. За это жена стала корить мужа, на что он ответил: “Я из рода драконов, а ты – птиц. Нам, видимо, не суждено быть вместе. Давай разделим детей поровну: я с 50-ю уйду к морю, а ты с остальными поднимешься в горы или останешься на равнине. Будем помогать друг другу и управлять нашими королевствами”. Так они и сделали.

Подобно фениксу, Вьетнам не раз восставал из пепла. Летописцы свидетельствуют, что вьетнамцам в общей сложности пришлось около двух тысячелетий бороться с внешними завоевателями. Не только Китай и другие соседи нападали на них с разных сторон. Старшее поколение прочно держит в памяти жестокости колониальной эры.

Вторгшийся в середине XIX века в Индокитай французский империализм сокрушил слабеющий феодальный режим Вьетнама, аннексировал и расчленил его территории. Около сотни лет французами нещадно эксплуатировались природные и людские ресурсы. Сюда направлялась готовая продукция метрополии, а по дешёвке вывозились натуральный каучук, цветные металлы, рис, чай, кофе. Временами Францию оттесняла Япония и другие хищники.

В XX веке за освобождение вьетнамского народа от империалистов и их внутренних пособников взялись коммунисты. После окончания Второй мировой войны они его добились. Возникла Демократическая Республика Вьетнам. Направленная против колонизаторов и феодалов Августовская революция 1945 года обрела и антикапиталистический характер. Но радоваться пришлось недолго. Второе пришествие французов сопровождалось кровопролитными баталиями. Оно вызвало мощное движение Сопротивления. Патриотические силы и Хо Ши Мин ушли в подполье. Французский колониальный режим просуществовал до 1954 года.

Да и затем “покой лишь снился”. Страна оказалась расколота на две части по 17-й параллели. Предусматривалось её воссоединение путём проведения демократических выборов. Но в южную часть Вьетнама высадились вознамерившиеся “сдерживать коммунизм в Азии” американцы. Установив там марионеточный режим, они спровоцировали войну против северян. Она продолжалась почти двадцать лет и стала самым масштабным и кровавым конфликтом второй половины XX века.

Музей в Сайгоне

Несколько дней, проведённых в Сайгоне (или Хошимине, как его теперь официально называют), оказались особо впечатляющими. Здесь живёт и работает около 10 миллионов человек – в два раза больше, чем в расположенной на Севере столице – Ханое.

Недавно вознесённые стеклянные небоскрёбы поблёскивают отражёнными солнечными лучами. В них свили гнёзда офисы крупных местных и транснациональных корпораций, привлечённых разрастающимся экономическим и туристическим центром. Здания пониже несут печать прежних колониальных времён: когда-то Сайгон являлся столицей Французского Индокитая. Насаж-

дая свою культуру, потомки Наполеона желали превратить его в “Восточный Париж”.

В ряде районов активно строятся современные жилые комплексы. На каждом шагу — рестораны, бары, гостиницы, массажные салоны. Улицы запружены мотобайкерами, которых в городе 4 миллиона. Автомобилей в 10 раз меньше. Встречаются и велорикши.

Экскурсию начали с посещения находящегося неподалёку от центра города Музея военных реликвий, или американских военных преступлений, как его именовали раньше.

Перед входом в огороженном дворе под открытым небом представлены трофейные образцы тех самых вертолётов, штурмовиков и истребителей, посредством которых джи-ай вели химическую войну, осуществляя ковровые бомбардировки с применением напалма. В общей сложности ими было сброшено 14 миллионов тонн взрывчатых веществ, что в несколько раз больше, чем во время Второй мировой войны на всех театрах боевых действий. На вьетнамские леса, рисовые поля, реки и мирное население смертоносным градом сыпались токсичные дефолианты, в том числе зловещий “оранжевый порошок” (диоксин).

Здесь же — громадные танки, зенитные установки, коллекция снарядов, бомб и мин, которыми солдаты морской пехоты насаждали “демократию” за многие тысячи миль от своего дома, превращая в руины целые города, деревни и населённые пункты.

А в другой части — экспонаты советского оружия, которое вьетнамцы использовали для отражения агрессии. СССР многие годы оказывал всестороннюю помощь, как тогда говорили, “братским народам Индокитая”.

По стенам многоэтажного музея развешаны фотографии, рассказывающие об ужасах тех роковых событий. Перед глазами проходит целая галерея карательных экспедиций, в частности, сожжённая дотла вместе с её обитателями деревня Сонгми, пытки и истребление сотен тысяч других ни в чём не повинных граждан. Среди экспонатов представлены и французская гильотина и “тигровые клетки”, которые использовались для вьетнамских пленников.

Неопровержимые документы свидетельствуют и о последствиях тех страшных времён: химические яды вызывали рак и мутации нескольких поколений. Посетителей охватывает дрожь при виде образцов человеческих зародышей с чудовищными уродствами. До сих пор рождаются дети со страшными аномалиями. Итог войны: колоссальный экономический урон, огромные площади заражённой земли и три миллиона убитых. Из 300 музеев Вьетнама лишь этот взят под защиту ЮНЕСКО.

Перестройка минус гласность

Первое десятилетие после победного окончания войны над заокеанскими агрессорами и объединения страны в 1975 году под флагом социализма Вьетнам развивался в русле ортодоксального марксизма-ленинизма. Отвергающая частную собственность и инициативу централизованная командно-административная система оправдывала себя в военные годы. Но в мирное время она всё отчетливее обнаруживала черты упадка и застоя. Поддержка Советского Союза, возросшая после приёма Социалистической Республики Вьетнам в СЭВ в 1978 году, позволяла всё же как-то удерживать экономику на плаву. Однако плачевное состояние вьетнамского народа не улучшалось.

В середине 1980-х годов социально-экономические язвы обострились до предела. Огромный бюджетный дефицит и эмиссия породили бурную инфляцию. Проведённая денежная реформа не помогла. В низах прежде смиренного и терпеливого вьетнамского общества нарастал ропот. Верхи уже не могли управлять по-старому. Страну охватил системный кризис. Явно напрашивались перемены. Опасаясь взрыва народного гнева, Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) решило выступить их инициатором.

Кое-какие эксперименты, в частности, внедрение рыночных отношений в аграрную сферу, опробовались и раньше. Они давали неплохие результаты. Их одобрил и состоявшийся в 1979 году Пленум ЦК КПВ. Но власти Ханоя всё же не рисковали идти дальше, избегая вызвать недовольство “старшего брата”. ЦК КПСС в те времена активно боролся со всякого рода “национальными моделями социализма”.

Благоприятный момент назрел после прихода к власти в СССР Горбачёва и объявленной им “перестройки” и “гласности”. Руководство КПВ на своём VI съезде в конце 1986 года также провозгласило политику обновления – по-вьетнамски “дой мой”. Усилению реформаторских настроений в партии содействовала кончина давнего главы КПВ, героя освободительной войны Ле Зуана.

Новые лидеры решили начинать не с расшатывания устоев политической власти, а с конкретных преобразований в хозяйственной сфере. Кто-то даже обозначил формулу: “дой мой = перестройка минус гласность”. Патриотические настроенные вожди партии и государства как будто заранее предвидели, что произойдёт с Россией, где под шумок деклараций о “демократических реформах” развалили всё, что было связано с социализмом, экономикой и государством.

В поисках нужного варианта взоры вьетнамских теоретиков устремились к экономическому учению Кейнса, в котором виделись близкие к марксизму положения, перенятые Западом у Советского Союза. Во вьетнамской литературе того времени в качестве образца для подражания часто упоминался и имевшийся в 20-е годы прошлого столетия опыт российского нэпа. Присматривались и к более поздним успешным экономическим моделям, в частности, “шведскому социализму”, где высокий уровень капиталистического развития сочетается с социальным равенством и одновременно практикуется активное участие государства в экономике.

Вьетнамские руководители советовались и с творцом экономического чуда в Сингапуре Ли Куан Ю. Сингапур вызывал у вьетнамских политиков неподдельное восхищение “сочетанием авторитаризма с экономикой свободного рынка”. Изучались причины взлёта других “азиатских тигров”: Южной Кореи, Тайваня и Гонконга. Но там активную помощь оказали стремившиеся укрепить устои капитализма на азиатском континенте США. Поэтому наиболее подходящим примером послужил Китай и первые успехи его реформ, начатых с конца 1970-х годов Дэн Сяопином.

Китайский ориентир

Во Вьетнаме, как и в Поднебесной, провозгласили: “Практика – критерий истины”. Как и там, начали с сельского хозяйства, где была занята большая часть населения и производилась основная часть продукции. Как и там, вместо колхозов и госхозов стали вводить семейный подряд, означающий передачу земли государством в аренду непосредственно тем, кто её обрабатывает. Как и там, в стране заработали рыночные принципы хозрасчёта и самоокупаемости.

Крестьянам был предоставлен равный доступ к земле (по едокам). Они по-прежнему были обязаны продавать государству часть продукции по закупочным ценам. Но их повысили, а остальным урожаем теперь уже можно было распоряжаться по своему усмотрению. Номенклатуру перестали навязывать сверху. В южной части Вьетнама обобществлённые и перераспределённые ранее наделы возвращались прежним собственникам. Коллективные и общественные формы производства и обмена на селе уступали место частным: из 50 тысяч сельскохозяйственных кооперативов к началу 1990-х годов сохранилось не более четверти.

Хотя землю не передавали в частную собственность, она предоставлялась по договору долговременной аренды на 15–20, а затем и на 30–50 лет с последующей пролонгацией. При этом было разрешено переуступать полученные участки третьим лицам за плату. По сути, возник земельный рынок с легализованным процессом обмена, передачи в наследство и залог земельных прав.

В аграрной сфере прежде жившего по канонам “военного коммунизма” социалистического Вьетнама заработал рыночный механизм, устраняющий уравниловку, стимулирующий труд и увеличивающий его плоды. Миллионы влчивших прежде жалкое существование крестьян вышли из нищеты. Рыночная механика демонстрировала свои неоспоримые преимущества. Вьетнамские руководители незамедлительно подвели под это теоретическую базу: дескать, открытый Марксом закон соответствия действует – найдены адекват-

ные уровню развития производительных сил производственные отношения. Их окрестили “рыночной экономикой с социалистической ориентацией”.

Но жизнь не вполне укладывалась в схему. Одновременно с этим не ставили себя долго ждать и другие функции основного регулятора товарного производства. Из-за колебания цен и прочих факторов значительная часть крестьян попадала в долговую зависимость и, лишившись земли, разорялась. Одни были вынуждены переходить на положение наёмных работников в хозяйства зажиточных односельчан, другие пополняли ряды пауперов. Многие эмигрировали в города и становились строительными рабочими, велорикшами, няньками, уборщицами и служанками. Вместе с тем, происходила концентрация земли в руках крупных фермеров, владеющих по 50–100 га и более.

Власти принимали меры для поддержки тех, кто “проиграл соревнование”, пытались помочь им “подняться”. Но таковых оказывалось слишком много, чтобы государство было в состоянии сделать это.

Поэтому руководство СРВ стало действовать весьма осмотрительно, не бросаясь из крайности в крайность. Поддержка коллективному сектору со стороны государства не прекращалась, а курс на его дальнейшее свёртывание не форсировался.

После VIII съезда КПВ в 1996 году было признано целесообразным и желательным любое добровольное объединение средств и орудий труда, проведение совместных хозяйственных операций. Власти Вьетнама призвали население формировать коллективные структуры нового типа на основе долевого участия, одобрили развитие современной кооперации, похожей на аналогичный сектор в передовых странах мира.

В нулевые годы XXI века общее количество кооперативов даже несколько выросло, хотя среднее число участников каждого из них сократилось. Как пишет ведущий научный сотрудник Центра изучения Вьетнама ИДВ РАН историк Г. М. Локшин: “Верное своему врождённому прагматизму и сильнейшему политическому чутью, руководство КПВ продолжает строить новый тип производственных отношений в деревне через ненасильственную, выгодную крестьянам кооперацию”. А газета “Вьетнам ньюс” недавно подмечала, что использование пулов и “крупно-полевой модели” – *large-field model* – во многих случаях увеличивает прибыли предприятий на 50%.

Введение свободы предпринимательства повсюду возродило хозяйственную инициативу. Оживились мелкая промышленность и строительство, а особо – сфера торговли и слуг. Частный сектор превращался в основной источник занятости. Не раз приходилось наблюдать, что частный дом во Вьетнаме является и местом для малого бизнеса. Как правило, его первый этаж занят магазинчиками, парикмахерскими, ремонтными мастерскими, а на втором проживает семья. Препон для старта бизнеса немного. Чтобы собрать справки для открытия кафе, к примеру, хватает трёх дней.

Темпы роста вьетнамской экономики с началом перемены резко возросли, достигая временами почти 10% в год, а фактические капиталовложения увеличились на 25%. Бедность стала отступать. Санкционированные властями прямые иностранные инвестиции, которые в 1991 году равнялись 2,3 млрд долларов, к 1997 году поднялись до 31,2 млрд долларов. Внутренний спрос усиливался: люди покупали всё больше продуктов питания и предметов домашнего обихода. Мир заговорил о “вьетнамском феномене”.

В реформаторском лексиконе Малого дракона отсутствовало слово “приватизация”. Государственные фабрики, заводы и учреждения не распродавались, как у нас, за бесценок. Убыточные сектора либо закрывались, либо акционировались, постепенно переходя путём реально организованных конкурсов в руки набирающего силу частного сектора. Учитывалось согласие администрации и трудового коллектива предприятий, соблюдалось их преимущественное право на получение долей.

Как и в Китае, руководствовались девизом: “Держать большое, отпускать малое”. Госсектору продолжали принадлежать командные высоты в экономике – энергетика, горнодобывающая промышленность, нефтяные предприятия, транспорт. В его руках оставались и финансы, хотя со временем и там начали появляться частные и смешанные банки. Иностранные учреждения получили допуск сюда лишь в последнюю очередь.

Как и в Китае, централизованное планирование не разрушалось, а становилось более гибким. План и рынок совмещались друг с другом, а оптималь-

ный баланс между ними поддерживался руководством страны. Сохранялось планирование выпуска важнейших видов продукции, хотя сужался круг устанавливаемых показателей и уменьшался контроль над ценами на базовые виды товаров и услуг.

В то же время власти увеличивали поддержку частного сектора, усматривая в нём силу, способствующую здоровой конкурентной борьбе, а в итоге – росту эффективности всей экономики.

Ориентация на китайскую модель не означала слепого её копирования. Заимствовался и опыт других успешных стран, преимущественно азиатских. Национальные особенности Вьетнама также учитывались. В сравнении с Китаем действовали осторожнее. В результате социализма в стране сохранилось больше, чем в Поднебесной. Тем не менее, аналога Тяньаньмэнь удалось избежать.

Как открывали двери

Внешнеэкономическая стратегия прежде отгороженной от капитализма “железным занавесом” страны менялась так же продуманно и без спешки. Позволявший сохранить устои прежнего общественного строя и уязвимую вьетнамскую экономику протекционизм сворачивался поэтапно, а политика открытости внешнему рынку и интеграции в мировое хозяйство вводилась дозированно. Обосновывая более либеральный курс, власти исходили из того, что в условиях свёртывания помощи от СССР преодолеть отсталость никак не удастся, не задействовав внешние источники роста. Но это была контролируемая, а не полная открытость, навязываемая “Вашингтонским консенсусом”.

Ввод в действие в 1988 году Закона об иностранных инвестициях гарантировал иностранный капитал от национализации. Это содействовало быстрому увеличению притока зарубежного капитала. Западные страны во главе с США пытались воспользоваться ситуацией и затянуть Вьетнам в свою орбиту. Но руководство страны регулировало процесс так, что первые капиталы шли из Азии: Тайваня, Южной Кореи, Сингапура, Гонконга, Японии и Китая.

Кроме того, оно активно опиралось на вьетнамских эмигрантов (вьетки-еу). После 1975 года с юга Вьетнама, опасаясь репрессий, сотни тысяч людей выехали за рубеж. Часть из них со временем преуспела в Америке, Западной Европе и Азии и была не прочь вернуться на родину или помочь своим родственникам и друзьям. Власти действовали разборчиво, с отсевом, понимая, что среди них окажутся и подрывные элементы, связанные с иностранными спецслужбами, например, с ЦРУ. Привлечение лояльных зарубежных “соотечественников” к участию в инвестициях приносило передовые знания, технологии, опыт и связи с надёжными западными партнёрами.

Подобно другим азиатским странам, во Вьетнаме стали предоставлять льготные условия иностранным инвесторам, выпускающим продукцию на экспорт или участвующим в улучшении инфраструктуры страны. Для этого вблизи крупных портов и торгово-экономических центров были созданы Специальные экономические зоны (СЭЗ). Теперь таковых насчитывается 135. Компании в них не платят никаких пошлин, импортируя оборудование, сырьё, комплектующие, при условии, что произведённая продукция затем будет вывозиться из страны. Для зарубежных фирм, осуществляющих капитальные вложения во Вьетнаме, открывающих собственные или совместные предприятия с современной или передовой техникой, предоставляется и ряд других налоговых льгот и послаблений.

В 1992 году СРВ наладила отношения с Европейским Союзом, несколько позже – с США, отменившими торговое эмбарго. В 1995 году страна вступила в Зону свободной торговли – в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – пространство, относительно не зависимое от старых мирохозяйственных центров. Страна получила ёмкий рынок сбыта, повысила эффективность производства за счёт расширения его масштаба. В 1998 году она стала членом АТЭС, а в конце 2006 года после длительных переговоров, в ходе которых были получены более или менее приемлемые условия, вошла в ВТО.

Присоединение к региональным и международным торгово-экономическим группировкам сделало возможным получение большой экономической

помощи, льготных кредитов от МВФ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и стран – членов Парижского клуба.

Ожидается, что к 2015 году Вьетнам может стать региональным центром АСЕАН по торговле и инвестициям, что привлечёт в страну дополнительные капиталы. В 2008 году прямые иностранные вложения во вьетнамскую экономику достигли пика, составив более 70 млрд долларов.

Курс на “суверенную интеграцию” кардинально изменил прежние позиции Вьетнама в мировой экономике. Теперь он третий по величине поставщик нефти в Юго-Восточной Азии. Лидирует по экспорту риса, орехов кешью, чёрного перца и занимает второе место в мире по производству кофе, причём вкус местного продукта считается самым насыщенным, а запах – наиболее ароматным. Вьетнам поставляет не только фрукты, морепродукты, древесину, уголь, качественную и недорогую одежду, но и станки, электронику и бытовую технику. Например, в последние три года главным предметом его товарного экспорта в Россию стали мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, собираемые на заводах, принадлежащих иностранным инвесторам.

Между прочим, крупнейшим импортёром вьетнамских товаров являются США.

Обузданный джинн

Путешествуя по величайшей во Вьетнаме, да и в Индокитае реке Меконг, мы останавливались в тянущихся вдоль её берегов деревеньках и населённых пунктах, знакомились с продукцией кустарных художественных промыслов, посещали шёлковые мини-фабрики и производство кокосовых конфет. В дельте Меконга множество островков с узкими протоками между ними. Мы плыли на катере, а потом – уже по джунглям – пересаживались на маленькие лодки с гребцами в традиционных конусно-остроконечных соломенных шляпах. В ряде мест видели целые плавучие дома на понтонах. Под каждым подвешены сети, в них хозяева выращивают рыбу. Она живёт в естественной среде, получая объедки со стола. Обитатели хижин ожидают, когда рыба нагуляет вес.

В ходе круиза мы посещали и дома простых вьетнамцев, видели содержимое их скромного, но далеко не нищенского быта. В каждом доме – алтарь, фотографии предков на стенах, телевизоры, а нередко и компьютеры.

Рынок оживил и разогнал вьетнамскую экономику, но вместе с этим *выпустил из бутылки джинна* неравенства и прочих социальных пороков капитализма. Общество расслоилось. Рост богатства и благополучия одних по сравнению с незавидным имущественным положением других очевиден. Имеется также существенный разрыв уровня жизни в городах и деревнях, между населением равнинных и горных районов, между разными этническими группами. Но он имеет относительный, а не абсолютный характер, так как уровень жизни в стране в целом поднимается.

Власти стараются, прежде всего, уменьшить число граждан, находящихся за чертой бедности. С этой целью были развёрнуты специальные правительственные программы, малоимущие освобождены от налогов, увеличены пенсии. По стратегическому плану к 2020 году 80% населения должно получить медицинское страхование. Государство стало активнее отправлять молодёжь учиться за границу. В итоге бедность тает. Если в 1993 году она, по оценке Всемирного банка, охватывала 58% населения, то 10 лет спустя – 29%, а сейчас – 10%. Её уровень во Вьетнаме, как и показатели имущественного неравенства, теперь ниже, чем в Китае, Индии или на Филиппинах. Словом, *выпущенный джинн* хоть и не упрятан в бутылку, но всё же обуздан.

Вьетнамский народ продолжает быть собственником недр и прочих национальных богатств, что делает его более защищённым, чем, скажем, российский. Высокие темпы экономического роста рассматриваются руководством СРВ не как самоцель, а как способ улучшить жизнь населения, помочь беднейшим слоям снизить рыночные риски, получить защиту и стабильность. На основе активной социально-ориентированной политики оно добилось стабильности в обществе, что признают и международные экспертные организации. Показатели имущественной дифференциации во Вьетнаме ниже, чем в Китае и России.

Вместе с тем, вьетнамские власти не препятствуют справедливому обогащению способных и предприимчивых людей. Сейчас во Вьетнаме насчитывается множество долларовых миллионеров, треть из которых – женщины, и это необычно высокая для других стран доля.

Вьетнамские миллионеры, в отличие от их российских, не могли пожить за счёт общенародного имущества: здесь не было приватизации по Чубайсу и залоговых аукционов по Потанину. Поэтому путь к вершинам богатства во Вьетнаме не столь стремителен. Первоначальное накопление капитала происходило так, что тем, кто преуспел, приходилось не крышевать, воровать или присваивать себе государственное имущество, а основательно трудиться и рисковать. В стране, где проживает 88 млн человек, – лишь в полтора раза меньше чем в России, – сегодня имеется всего один миллиардер. У нас их в 100 с лишним раз больше.

Миллиардер из СРВ

Судьба богатейшего из вьетнамцев – Фам Нят Вьонга – весьма характерна для предпринимателей деловой элиты страны.

Фам означает “процветание”, но людей с такой фамилией здесь многие тысячи. Журнал *Forbes* оценивает его состояние в 1,5 млрд долларов. Основу составляет компания *Vingroup*, входящая в пятёрку самых дорогих из котирующихся на вьетнамской фондовой бирже.

Он родился в Ханое в 1968 году в бедной семье. Отец служил в войсках ПВО Северного Вьетнама, а мать торговала чаем на улице. Её скудные заработки порой и составляли основной бюджет семьи. “Мои мечты в то время были очень простыми, – вспоминает Фам. – Я просто хотел помочь своей семье”.

Он отлично учился в школе, выделяясь математическими способностями, и получил стипендию на обучение в Московском геологоразведочном институте, который окончил в 1993 году. Женившись на землячке-однокурснице, Фам решил не возвращаться на родину и отправился в одну из бывших советских республик – на Украину. Здесь семейная пара, собравшая 10 тысяч долларов у друзей и родственников, открыла вьетнамский ресторан. Но “большой прыжок” Фама связан с другим проектом. Молодой бизнесмен наладил выпуск лапши быстрого приготовления “Мивина”. Спрос на неё оказался столь велик, что временами Фам не боялся брать на расширение производства кредит под 8% в месяц!

Рискуя, ему удалось завоевать украинский рынок. “Мивина”, как “Ролтон” у нас, стала нарицательным именем для вермишели быстрого приготовления. В 2010 году он продал свою компанию “Техноком” концерну *Nestle* за 150 млн долларов.

Часть прибыли от продажи лапши Фам инвестировал во Вьетнам, ведя операции с недвижимостью, строя курорты, торговые центры, жилые дома. Сейчас в портфель его головной компании входит 31 проект, из которых 12 уже завершены, 3 находятся в стадии строительства, а остальные – планируются.

Одно из них – торгово-гостиничный комплекс *Vincom Center A* – мне довелось созерцать воочию, проходя по улице Донг Кхой, главной коммерческой артерии Сайгона. Впечатляющее здание поражает своим масштабом и включает торговые площади на 40 тыс. квадратных метров, пятизвёздочный отель на 300 номеров и несколько этажей подземной стоянки. Арендаторы первого этажа – *Versace*, “Гермес”, *Dior*. Стоимость объекта – полмиллиарда долларов. Говорят, что его открытие в прошлом октябре привлекло всеобщее внимание, так как большинство строительных объектов были заморожены после обвала рынка недвижимости в 2011 году – 13,5% кредитов из суммы в 10 млрд долларов, выданной во Вьетнаме на инвестиции в недвижимость, оказались “плохими”.

Сейчас Фам пытается привлечь средства от крупных иностранных инвесторов и выставить акции фирмы на зарубежных фондовых биржах. Фам вынашивает планы отстроить Вьетнам наподобие Гонконга или Сингапура. “Если мне удастся сделать это, то буду счастлив, – говорит Фам. – Хочу оставить что-то после себя, ведь после смерти деньги тебе не нужны”.

Стабильность в верхах

Некоторые эксперты выделяют во вьетнамском руководстве группы радикалов-реформаторов и консерваторов, другие — “западников” и сторонников прокитайской линии. Одни якобы считают, что рыночная экономика нуждается в более демократическом климате, вторые предпочитают китайскую модель открытой экономики под жёстким политическим контролем. Как бы то ни было, судя по всему, побеждает умеренная линия, закреплённая в программе КПВ, принятой на VII съезде КПВ в 1991 году, и в тексте действующей до сих пор Конституции 1992 года.

Внутри КПВ, насчитывающей около 4 млн членов, конечно, ведутся дискуссии и высказываются разные мнения. Какое-то время, например, широко обсуждалось, подобает ли члену компартии быть предпринимателем, эксплуатируя чужой труд, и одновременно проповедовать населению идеи социального равенства. Дискуссия была вызвана тем, что занятия бизнесом стали распространёнными среди партийных и административных чиновников. В результате на Пленуме ЦК КПВ, проходившем в июне 2005 года, было принято разрешительное решение, подтверждённое на X съезде КПВ в 2006 году. Теперь треть предпринимателей являются членами партии. У многих из них на лацканах красуются партийные значки, а кабинеты украшены портретами Хо Ши Мина.

Существуют разные позиции и в ЦК, и в Политбюро. Но не следует преувеличивать эти расхождения. Ведь на протяжении всего пореформенного времени, насчитывающего уже более четверти века, в правящей элите Вьетнама не наблюдалось расколов по главным вопросам внутренней и внешней политики. Все лидеры страны заинтересованы в стабильности государства и монополии компартии на власть. В 1988 году были распущены Социалистическая и Демократическая партии, сохранявшие формальную самостоятельность со времени участия в Августовской революции 1945 года. После этого во Вьетнаме полностью утвердилась однопартийная система.

Хотя степень расхождения мнений в правящей элите Вьетнама остаётся тайной за семью печатями, похоже, что она невелика. Важнейшие решения не принимаются без одобрения Политбюро ЦК КПВ и предварительного согласия когорты руководителей партии и государства. В состав Политбюро входят все первые лица государства: генеральный секретарь ЦК КПВ, президент и премьер-министр, председатель Национального собрания СРВ. Иногда такой консенсус объясняется верностью конфуцианским традициям. Но они свойственны и многим другим странам. А вьетнамский режим — самый стабильный в Юго-Восточной Азии и является предметом зависти правителей других стран региона.

Вьетнамских руководителей не прельщает ни нынешняя российская, ни западная модель развития. Они исходят из того, что строят альтернативное капитализму общество. Правда, признают, что принятая ими концепция “рыночной экономики с ориентацией на социализм”, подобно “социалистической рыночной экономике” в КНР, нуждается в теоретической доработке. Почему же это так долго не происходит? Для этого, думается, есть свои причины.

Новое интегральное общество

Термин “рыночная экономика” является эвфемизмом понятия “капитализм”, который, по словам одного немодного ныне мыслителя, “порождается рынком ежедневно и ежечасно”. Случайно ли используется смягчённая формулировка? Вряд ли. Сказать прямо: “капитализм с ориентацией на социализм” или “социалистический капитализм” — вроде бы несуразно. Считается, что они не совместимы. А собственно, почему?

Теория конвергенции получила широкое распространение в 1960-е годы. Одним из её разработчиков был великий русский социолог Питирим Сорокин. Вынужденный покинуть нашу страну на “философском пароходе” в 1922 году, он осел в Гарварде. Признанный мировым научным сообществом авторитет позже — в 1960 году — пророчески предрёк, что в будущем господствующим станет не коммунистический и не капиталистический, а интегральный тип общества, впитывающий в себя достоинства обеих формаций и отсеивающий их недостатки.

Витриной такого общества на Западе являются скандинавские страны. Рассуждая о “шведском социализме”, никто не имеет в виду, что там уже покончено с капитализмом или что шведы намерены сделать это в ближайшем или отдалённом будущем. Речь идёт о гибриде капитализма и социализма в рамках одного государства.

Из прежних социалистических стран к такому комбинированному типу общества в наибольшей мере в наши дни продвинулись Китай и Вьетнам. Строго говоря, называть их сегодня социалистическими странами так же некорректно, как именовать скандинавские государства чисто капиталистическими либо чисто социалистическими. Они смешанные, конвергентные.

Признание этого факта возглавляющими КНР и СРВ силами, безусловно, лило бы воду на мельницу общественной теории. Но тактически и политически это не совсем удобно. Ведь идеологической опорой этих компартий остаётся марксизм-ленинизм, отрицающий капитализм и такие свойственные ему атрибуты, как частная собственность на средства производства и эксплуатация человека человеком. А отречься от прежней веры напрямую нежелательно — можно разрушить важные скрепы общества.

Вот и получается довольно-таки забавная картина. В отличие от ленинского нэпа, введение капитализма в экономику не считается “временным отступлением” от социализма, а самим **строительством социализма** с “вьетнамской” или “китайской спецификой”, рассчитанным на “сотни лет”. В работах вьетнамских учёных и политических деятелей проскальзывает, что “в небольшой эксплуатации человека человеком нет ничего страшного”, а вопросы классовой борьбы, как правило, замалчиваются или отодвигаются в сторону.

Такой, с позволения сказать, камуфляж может быть оправдан в силу указанных обстоятельств, но чреват непониманием действительных противоречий и особенностей формирующегося на наших глазах **нового интегрального общества**, затушевыванием присущих ему проблем и законов движения.

Вьетнам и Китай, в отличие от России, стали государствами, в которых ленинский нэп **действительно утвердился всерьёз и надолго**. Командные высоты в экономике и политическая власть принадлежат силам, осуществляющим прогрессивные преобразования. Эти изменения происходят в эпоху, когда и капитализм, и социализм, взятые каждый по отдельности, продемонстрировали не только свои очевидные преимущества, но и серьёзнейшие пороки. Жизнь показала и то, что раньше считалось невозможным, — соединение достоинств обеих систем под одной государственной крышей. “Очевидно, — подмечает видный исследователь развивающихся стран, профессор А. И. Бельчук, — что СРВ, как и КНР, пошла по пути совмещения элементов плановой и рыночной экономики, то есть фактически конвергенции двух социально-экономических систем”.

Конвергентный набат раздаётся из наиболее успешных стран в современном мире. Но его не хотят слышать ни те, кто придерживается прежних “либеральных ценностей”, ни те, кто остаётся в плену марксистской ортодоксии. Между тем, строительство социализма с помощью капитализма или укрепление капитализма внедрением в него социалистических начал ведут к одному и тому же — комбинированному обществу.

Во Вьетнаме конвергентный синтез выступают так же отчетливо, как и в Китае. Социализм остаётся не только в сфере надстройки, как считают некоторые, но и в экономике. Его носителем здесь, прежде всего, выступает плановое хозяйство, видоизменённое, но не утратившее своей силы. Макроэкономическое планирование во Вьетнаме ведут скоординированные между собой министерства планирования и инвестиций, финансов, Государственный банк. Правительство Вьетнама реализует не только среднесрочные 5-летние планы, но и рассчитанные на 10 лет долгосрочные программы социально-экономического развития страны. Государство инициирует текущие проекты, обеспечивает их финансирование, формирует и выполняет бюджет. Такое планирование имеет направляющую и прогнозную значимость. Оно отчасти директивно, а отчасти — индикативно. Именно сохранение планового механизма помогло осуществить ускоренную трансформацию экономики во Вьетнаме и её модернизацию.

Капитализм во Вьетнаме, как и в Китае, раздувает паруса экономики, а планово-регулирующие макроэкономические рычаги сдерживают негативные стороны рынка, сохраняют, развивают и поддерживают пропорциональ-

ность, препятствуют поляризации общества. “В обеих странах (имеются в виду Китай и Вьетнам. – Г. Ц.) одновременно существуют элементы двух систем – капиталистической и социалистической, иначе говоря, в них возникла новая система конвергентного типа”, – приходит к заключительному выводу известный ученый-вьетнамовед, д. э. н. В. М. Мазырин (Сравнительный анализ общих черт и особенностей переходного периода в России, Китае и Вьетнаме. – М., ИД “ФОРУМ”, 2012. С. 382).

Когда-то вьетнамцы брали уроки у нас. Теперь настало время и нам у них кое-чему поучиться. Но их интегральная модель не менее интересна для Кубы и Северной Кореи. Она показывает, как, не поступаясь принципами прогресса, демократии, стремления к справедливости, да и социализма, можно находить требуемые решения для выхода из, казалось бы, тупиковых ситуаций.

Меняющееся лицо

К 2020 году Вьетнам поставил себе задачу превратиться в индустриальную державу, подобно Китаю стать “мировой фабрикой”. Уже сегодня его промышленность даёт свыше 40% ВВП страны. Между тем, в конце антиколониальной войны Сопrotивления этот показатель равнялся 1,5%. В стране энергично строятся металлургические, машиностроительные, нефтеперерабатывающие заводы, создаются компьютерные производства, горнодобывающие фабрики, развивается судостроение. По тоннажу выпускаемых судов Вьетнам уже обошёл Россию и занимает 5-е место в мире.

На совместных предприятиях выпускается 90 тысяч автомобилей известных брендов в год. Особый упор делается на самые современные отрасли: электронику, приборостроение, биотехнологии. Стремительно развиваются ИТ. В одном из попавшихся под руку номеров газеты “Сайгон таймс” отмечалось, что городская администрация планирует истратить в текущем году 14,3 млн долларов на дальнейшее развитие электронного управления (E-governance) – в три раза больше, чем в 2012 году.

Правительство Вьетнама прокламировало морскую стратегию в период до 2020 года, направленную на ускоренное развитие экономики прибрежных территориальных вод и континентального шельфа. Морские берега Вьетнама тянутся на 3 с лишним тысячи километров. Неподалёку от них находится множество островов, ждущих освоения. В ближайшие годы планируется существенно увеличить долю этой экономики.

В рейтинге уровня жизни стран за прошлый год, составленном независимым институтом *Legatum Institute*, Вьетнам находился на 61-м месте (поднялся за год на 16 позиций). Россия в списке занимала 63-е место, а Украина – 69-е.

Общая грамотность в СРВ превышает 90% населения. Осуществлено всеобщее начальное школьное обучение, начался переход к неполному среднему образованию: оно введено уже в половине провинций и городов. Продолжительность жизни растёт: теперь она увеличилась до 75 лет.

В итоге политики “дой мой” удалось не только существенно поднять жизненный уровень населения, но и укрепить вооружённые силы, осуществить немало масштабных экономических программ, таких как полная электрификация, развитие сотовой связи и интернета, нарастить экспортный потенциал, реконструировать автомобильные дороги, развернуть массовое жилищное строительство, создать современную инфраструктуру для иностранного туризма, развить внутренние и международные авиалинии.

После возвращения из Индокитая мне приходилось не раз обмениваться впечатлениями с теми, кто бывал там ранее. С давно не посещавшими Вьетнам людьми мнения не совпадали. Некогда проведший на дипломатической работе в Таиланде долгие годы Ю. П. Михайлов, например, утверждал, что когда в середине 1980-х годов приезжал в Ханой, местные коллеги не советовали ему гулять по вечерам одному. “Вьетнамцы, – вспоминал он, – жили тогда намного хуже тайцев, может, поэтому злоба и неприязнь читалась на их лицах”.

Реформы “дой мой” изменили облик нации. После долгих лет войны разрушенный до основания, обескровленный Вьетнам вышел в мировые лидеры по темпам хозяйственного роста, стал страной со средним уровнем дохода на душу населения по международным стандартам. Триумф, таким образом, был одержан и на экономическом фронте.

Страна показала и силу духа своего народа, и способность прощать коллаборационистам и агрессорам их “старые грехи”. Бывшие солдаты марионеточной армии и служащие старого административного аппарата южной части Вьетнама стали равноправными гражданами воссоединившейся страны. Франции простили жестокость колониальной эпохи, Японии – оккупацию во время Второй мировой войны, Китаю – вторжение в 1979 году и поддержку режима Пол Пота в Камбодже, Соединённым Штатам – ужасы “грязной войны”. Простили, но не забыли. . .

Верный алгоритм

Страной был найден верный алгоритм развития. Казалось бы, ничто не мешало ей отказаться от своих идеалов и просто интегрироваться в капиталистический мир, как это сделали страны Восточной Европы. Но этого не случилось. Выбор оказался совершенно иной.

Не изменив духу марксизма, Вьетнам дал достойный ответ на вызовы времени. Впитавший мудрость древней восточной философии и культуры, он добавил к ним достижения западной цивилизации.

Сегодня Вьетнам успешно общается и работает со всем миром. Особенно хорошие отношения из бывших соцстран он поддерживает с Белоруссией, Казахстаном, Кубой. В последнее время быстро развиваются связи с Индией, особенно экономические. Политическая стабильность Малого дракона ценится правящими кругами Запада во главе с США. Регулярная критика с их стороны ведётся по поводу так называемого преследования диссидентов. Однако безопасность инвестиций оказывается гораздо важнее демократических характеристик существующего строя. Не случайно многие эксперты называют теперь Вьетнам не иначе, как “любимым дитятей Запада в Юго-Восточной Азии”.

Вьетнамский народ доволен итогами политики обновления. Экономика не утратила социальной ориентации. Здесь не применялись методы “шоковой терапии”. Никто не фетишизировал “невидимую руку” рынка, якобы способного поддерживать пропорциональность и гармонию в обществе. Позитивный эффект “дой мой” чувствует на себе каждый: и горожане, и жители деревни, и те, кто трудится в отдалённых и сложных районах.

Поэтому вьетнамцы поддерживают своё политическое руководство. Оно имеет возрастные ограничения пребывания во власти – людей старше 70 в высшем партийно-государственном эшелоне не найти. А сменяются лидеры не реже, чем через десять лет. Их кандидатуры длительно и тщательно отбираются с пониманием того, что от этих людей во многом зависит судьба нации. Все, занимающие эти должности, как правило, обладают богатым опытом организационной работы в военное и мирное время на различных партийных и государственных постах. Это дети революционной борьбы в подполье, бывшие бойцы-освободители и командиры партизанских отрядов, а не перерожденцы-бюрократы.

Так, президент страны Чыонг Тан Шанг (1949 года рождения) воевал против американцев в отряде спецназа на Юге в провинции Лонган неподалёку от Сайгона. В 1971 году был арестован и несколько лет провёл в американской тюрьме на острове Фукуок. В числе других его освободили после заключения Парижского соглашения по Вьетнаму. По окончании войны работал на хозяйственном и политическом поприщах. В конце 1990-х – секретарь парткома Сайгона, позже – член Политбюро ЦК КПВ.

Нынешний Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг (1944 года рождения) хорошо помнит времена вооружённого сопротивления вьетнамского народа против французских и американских экспансионистов. В партию он вступил в 23 года в период эскалации агрессии США во Вьетнаме. Окончив факультет иностранных языков в Ханойском университете, начинал журналистскую карьеру в теоретическом и политическом журнале ЦК КПВ *Tạp chí Cộng Sản* “Коммунист”. Затем был направлен в Советский Союз в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1983 году защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук. Вернувшись на родину, был назначен главным редактором упомянутого журнала, одновременно стал профессором Ханойского университета, затем был избран членом ЦК КПВ, вошёл в Политбюро. Несколько лет он курировал вопросы идеологии, культуры

и образования и отвечал за теоретическую работу партии. Его послужной список продолжает пополняться и в последующие годы: депутат Национальной ассамблеи, секретарь Ханойского городского комитета КПВ. В 2006 году его избрали председателем Национального собрания – высшего законодательного органа страны. На состоявшемся в январе 2011 года XI съезде КПВ он стал Генеральным секретарем партии, сменив находившегося до этого 10 лет на этой должности Нонг Дык Маня.

Премьер-министр Нгуен Тан Зунг (1961 года рождения) 12-летним мальчиком добровольно присоединился к армии Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. На первых порах выполнял задачи в области связи, присматривал за больными и работал медиком. За годы Вьетнамской войны Зунг был четырежды ранен. В конце прошлого века занимал пост первого заместителя премьер-министра и возглавлял Государственный банк Вьетнама, позже его избрали членом Политбюро ЦК КПВ. Правительство страны возглавляет с июня 2006 года.

Председатель считающегося высшим органом государственной власти Национального собрания Вьетнама Нгуен Синь Хунг до этого был вице-премьером правительства СРВ. В соответствии со ставкой на строительство “правового государства”, значимость Парламента возрастает. Открытые заседания депутатов часто транслируются по радио и ТВ в режиме *on-line*.

Рука на пульсе

Руководство страны старается держать руку на пульсе общества. В дни моего пребывания во Вьетнаме местные газеты информировали о том, что только за последние три месяца по всей стране состоялось 30 тысяч встреч, посвящённых обсуждению проекта поправок к Конституции 1992 года. На них было собрано 8 миллионов мнений и предложений от представителей всех социальных групп общества. Рассказывалось и о дискуссиях по поводу необходимости снижения налогов на бизнес: по данным министерства планирования и инвестиций, в первом квартале этого года закрылось 16 тыс. предприятий, а за два последних года – 116 тыс. Кроме того, некоторое число из 450 тыс. активно действующих в стране фирм сократили производство на 30%.

В прессе муссировался вопрос о расширении возможностей получения низких (6-процентных) займов для строительства жилья малообеспеченным слоям населения. Немало материалов было посвящено мерам по защите окружающей среды, поиску путей улучшения инфраструктуры и решению проблем занятости. Беспокойство вызывают и рост государственного долга, достигшего 55% ВВП (в 2005 году – 37%), некоторое снижение темпов экономического роста, проблемы рентабельности ряда предприятий, принадлежащих государству, наркотрафик.

Из так называемого “золотого треугольника”, находящегося на территории Лаоса, Бирмы и Таиланда, через Вьетнам проходит *героиновый путь*, а из Камбоджи поступает марихуана. Только за текущий год в стране были осуждены тысячи наркокурьеров, из них несколько десятков приговорены к смертной казни. Больше всего организованных преступных группировок находится в Сайгоне, где промышленляют продажей людей в притоны Китая и Камбоджи.

СМИ Вьетнама не скрывают растущую коррупцию на всех уровнях. Монополия и привилегии партийно-государственной номенклатуры порождают клановый капитализм. Функционеры сращиваются с бизнесом, а своих детей направляют учиться в западные университеты. Некоторые кадровые работники КПВ имеют свою сеть во всех эшелонах госаппарата. Скандалы, в которых замешаны высокопоставленные чиновники, идут один за другим. Применение высшей меры наказания, как в Китае, практикуется и здесь, но в меньшей мере. Печать освещает и многие другие проблемы и трудности. Но они не отменяют общий стремительный прогресс вьетнамского государства.

Счастливая нация?

Героическая победа Вьетнама в развязанной американскими агрессорами “грязной войне” стала его звёздным часом в международной жизни. Затем имя страны на время ушло в политическую тень. Теперь Вьетнам вновь выходит на

мировую авансцену, но уже в иной ипостаси – заговорили об “экономическом чуде Малого дракона”. Мы попытались дать этому своё объяснение.

Вектор, избранный страной, привёл её к формированию интегрального, конвергентного общества. В его ядре – жизнеспособный сплав плановых и рыночных отношений. Смешанная система сочетает в себе противоречивые компоненты из разных социальных формаций. Но она **не** является переходной ни к одной из них. Интегральное общество превосходит своих исторических предшественников (и капитализм, и социализм), старается вобрать в себя как можно больше их достоинств и освободиться от присущих им недостатков. Современный Вьетнам – это продукт синтеза, историческое детище общественного развития, **форма настоящего и будущего гармоничного устройства общества**, обеспечивающего оптимальные результаты.

Комбинированное общество требует понимания его природы. Руководство СРВ движется по острию ножа, пытаясь балансировать и поддерживать как социальную справедливость, так и эффективность экономического развития. Этот путь, конечно, далёк от благостной идиллии, что понимает и руководство страны, и большинство её народа. Временами неизбежны отклонения в ту или иную сторону. При этом злопыхатели каждый раз издадут много шума. А караван уверенно идёт вперёд.

Сохранится ли этот симбиоз через пятьдесят или сто лет – сказать трудно. Будущее непредсказуемо. Но непреложен факт, что сегодняшний Вьетнам – одно из наиболее быстрорастущих и гармоничных государств не только в Азии, но и во всём мире.

Чем не счастливая нация?

ДМИТРИЙ ВОЛОДИХИН

“ТРЕТИЙ РИМ” ИЛИ “ДОМ ПРЕЧИСТОЙ”?

Киевская Русь и Московская Русь – две разных страны. Разная территория. Совершенно непохожий государственный строй. Несопоставимые погодные условия. В первом случае – близость к Византийской высокой культуре, полные сундуки серебра, приходящего от великолепных урожаев, торговли, транзитных пошлин, да ещё плодородные равнины, которые не прокормят только ленивого. Во втором – бедный лесной угол, очень слабая торговля, скудные почвы, постоянный недород, бедность хлебом, деньгами, дружинами. Киевская Русь умела мыслить масштабно, вести великие войны с соседями, распутничать и швыряться золотом. Русь Московская, зажата между Ордой и Литвой, сэкономила на всём, высокий полёт древнекиевского образованного класса долгое время был ей недоступен. О великом ли думать, когда следует готовить дань татарам, организовывать отпор Литве, и из того, что осталось, выгадывать микроскопическую трапезу?

Между Киевом и Москвой – провал умственного ничтожества. Ранняя Москва – умственная пустыня. И лишь собрав силы, сосредоточив Русь вокруг себя, Москва зрелая, могучая, позволила себе умственную изощённость. Очень поздно.

Очень, очень поздно.

Зато с каким великолепием...

1.

В ту давнюю пору, когда митрополит Иларион создавал “Слово о Законе и Благодати”, Русь умела мыслить себя как значимую часть безбрежной христианской цивилизации.

С раздроблением Древнекиевского государства генерализующая сила русской исторической мысли ослабела. Самая чёрная эра в судьбах Руси – от Батыевой рати до поля Куликова – была не только годами разорения, унижения, распада, но ещё и веком великой немоты. Дар возвышать мысль над обыденностью отнялся, как живое слово отбирается страхом у насмерть испуганного человека. Мышцы ума чудовищно атрофировались... Способность осознать общерусское единство и встраивать его интеллектуально в симфонию мирового христианства как будто погрузилась в дрему и не покидала царства снов ни при Михаиле Тверском, ни при Иване Калите, ни при Иване Красном.

Время от времени, вспышками, она пробуждалась. Так, память о великой победе на поле Куликовом родила эпическую поэму “Задонщина”.

По словам академика Д. С. Лихачёва, "... во второй половине XIV и в начале XV в. Москва неустанно занята возрождением всего политического и церковного наследия древнего Владимира. В Москву перевозятся владимирские святыни, становящиеся отныне главными святынями Москвы. В Москву же переходят и те политические идеи, которыми в своё время руководствовалась великокняжеская власть во Владимире. И эта преемственность политической мысли оказалась и действенной, и значительной, подчинив политику московских князей единой идее и поставив ей дальновидные цели, осуществить которые в полной мере удалось Москве только во второй половине XVII в. Идеей этой была идея "киевского наследства". После Тохтамышева разгрома и особенно в годы осторожного правления Василия I величественная концепция "киевского наследства", вероятно, имела над умами московских книжников и московских политиков лишь призрачную власть мечты, оживляющей руинированный ландшафт. Но поэт мог согреть ею измученные сердца русских людей. И вот автор "Задонщины" вещает: "Князь великий Дмитрий Иванович с своим братом, с князем Владимиром Андреевичем и своими воеводами были на пиру у Микулы Васильевича. Ведомо нам, брате, что у быстрого Дону царь Мамай пришёл на Русскую землю, а идёт к нам в Залесскую землю. Пойдём, брате, в полунощную страну жребия Афетова, сына Ноева, от него же родися Русь Православная. Взыдем на горы Киевския и посмотрим славного Днепра, и посмотрим по всей земли Русской. И оттоля на восточную страну жребии Симова, сына Ноева, от него же родися хиновя – поганые татаровя, бусормановя. Те бо на реке на Каяле* одолеша род Афетов. И оттоля Руская земля сидит невесела, а от Калкския** рати до Мамаева побоища тугою и печалию покрывшася, плачущися, чады своя поминаючи: князи и бояря, и удалые люди, иже оставиша вся дома своя и богатства, жены и дети, и скот, честь и славу мира сего получивши, главы своя положиша за землю за Русскую и за веру христианскую..."

Снидемся, братия и друзи, и сынове рускии, составим слово к слову, возвеселим Русскую землю и возверзем печаль на восточную страну в Симов жребий..."

Автор "Задонщины" протягивает нить исторической памяти между Москвой и Киевом, между исходом XIV века и домонгольскими временами, между Северо-Восточной Русью и ветхозаветным делением земли на "жребии" сынов Ноевых. Иными словами, из его повествования видно: заканчивается эпоха, когда книжные люди Руси не могли оторвать взгляда от земли, от непосредственного окружения, от своего клочка лесистой равнины и воспарить мыслью высоко над странами и народами, и увидеть себя, свой город, свою державу в общем узоре ойкумены.

Русь понемногу начинает вновь мыслить себя как нечто, способное претендовать на серьёзную роль во всемирно-христианской мистерии. Ей возвращается способность увидеть и оценить себя со стороны, с высоты птичьего полёта. Эта способность набирает силу и концентрируется в Москве времён Ивана Великого. Москва, прежняя лесная глушка, впервые получает силу создать собственный миф – устойчивый образ, через призму коего ближние и дальние соседи будут воспринимать Великий город.

2.

Когда Москва оказалась столицей объединённой Руси, её государи стали смотреть и на главный город своей державы, и на самих себя совершенно иначе. Иван III величал себя "государем всея Руси", чего прежде не водилось на раздробленных русских землях. При нём введены были в дворцовый обиход пышные византийские ритуалы: вместе с Софией Палеолог в Московское государство приехали знатные люди, помнившие закатное ромейское великолепие и научившие ему подданных Ивана III. Великий князь завёл печать с коронованным двуглавым орлом и всадником, поражающим змея.

На рубеже XV и XVI столетий появилось "Сказание о князьях Владимирских" – похвала и оправдание единовластному правлению великих князей

* На реке Каяле половцы разгромили войско новгород-северского князя Игоря Святославовича. И половцы в данном случае ассоциируются с татарами как их предшественники – степные враги Руси.

** На реке Калке в 1223 году монголо-татары нанесли поражение коалиции русских князей.

московских. “Сказание” вошло в русские летописи и получило в Московском государстве большую популярность. В нём история Московского княжеского дома связана с римским императором Августом: некий легендарный родственник Августа, Прус, был послан править северными землями Империи – на берега Вислы. Позднее потомок Пруса, Рюрик, был приглашён новгородцами на княжение, а от него уже пошёл правящий род князей земли Русской. Следовательно, московские Рюриковичи, те же Иван III и его сын Василий III, являются отдалёнными потомками римских императоров, и власть их освящена древней традицией престолонаследия.

Простота сущая? Да. Неправдоподобно? Да. Но ровно та же простота, ровно то же неправдоподобие, каким поклонились и многие династии Европы. Скандинавы свои роды королевские выводили аж от языческих богов! По сравнению с ними наш российский Прус – образец скромности и здравомыслия. Ну, да, от императоров. Ну, да, право имеем. Ну, да – подтвердит нечем. Но у нас – сила. Желающие могут с нею поспорить... хотя бы о Прусе. Пожалуйста. Мощь Москвы времён Ивана Великого позволяла завести хоть дюжину прусов – заводя с юной Россией связи, стоило остеречься поносных слов о подобных персонажах... В ответ “московит” мог привести совсем не тот аргумент, что отыскивается на пергаменных страницах летописей, а тот, что ходит под стягами полковыми.

По тем временам родство от Августа – идеологически сильная конструкция. Пусть и нагло, вызывающе сказочная. Более того, даже хорошо, что сказочная. Дерзость приличествует государственной силе.

Далее, как утверждает “Сказание”, византийский император Константин IX Мономах прислал великому князю киевскому Владимиру Мономаху царские регалии: диадему, венец, золотую цепь, сердоликовую шкатулку (чашу?) самого императора Августа, “крест Животворящего Древа” и “порамницу царскую” (бармы). Отсюда делался вывод: “Таковому дарованию не от человек, а Божиим неизреченным судьбам претворяюще и переводяще славу Греческого царства на Российского царя. Венчан же бысть тогда в Киеве тем царским венцем во святей великой соборной и апостольской Церкви от святейшаго Неофита, митрополита Эфесского... И оттоле боговенчаный царь нарицашеся в Российском царствии”. В годы, когда Киевская Русь пребывала под рукой князя Владимира, Византией правил Алексей I Комнин, а Константин Мономах скончался ещё в середине XI века. Поэтому вся легенда о византийском даре ныне ставится под сомнение.

Оправданно ли?

Отзвук каких-то реальных событий, связанных с внешней политикой великого князя киевского Владимира Всеволодовича, мог в источниках сохраниться и получить своеобразную трактовку в эпоху Московского царства.

Во-первых, Владимир Мономах, происходящий по материнской линии от византийского императора Константина IX Мономаха, имел шанс унаследовать от матери какие-то предметы, ранее принадлежавшие византийскому правителю (пресловутую “сердоликовую шкатулку”, например, – уж очень это знаковый предмет, не напрасно он запомнился).

Во-вторых, князь мог получить в виде дара от Алексея I Комнина некий высокий титул или же драгоценные вещи (в том числе и венец) из императорской казны. А может быть, церковные реликвии. Чрезвычайно оживлённые и не всегда мирные связи между Киевской Русью и Византией в эпоху Владимира Мономаха – неоспоримый факт. Дары подобного рода Византия рассылала щедро, не исключая и венцов, притом некоторые из них дошли до наших дней. Отчего ж не отправить их на Русь? В подобном деянии византийской дипломатии нет ничего невозможного.

Сейчас, конечно, невозможно с точностью определить, какие именно регалии получил Владимир Мономах, да и случилось ли это на самом деле. Да и не настолько это важно.

Важнее другое: московский историософ XVI века перебрасывал “мостик царственности” из XII столетия в современность. Тогда правитель Руси уже имел царское звание? Превосходно! Следовательно, нынешним государям России уместно возобновить царский титул – что и произойдёт в 1547 году. Идея царства, царской власти медленнее, но верно пускала корни в русской почве. Москва начала примерять венец царственного города задолго до того, как сделалась “Порфириноносной” в действительности.

3.

Великокняжеские игры с генеалогией намного уступали по смелости, масштабности и глубине тому, что высказали церковные интеллектуалы. Государь обзавелся официальной исторической легендой о собственной династии. Им... хватило.

Но Церковь мыслила на два-три шага дальше.

Учёные монахи-иосифляне первыми начали понимать: Московская Русь – уже не задворки христианского мира. Отныне ей и воспринимать себя следует иначе.

Незадолго перед тем произошли события, ошеломительные и для Русской Церкви, и для всех образованных людей нашего Отечества, и для политической элиты Руси. Во-первых, благочестивые греки “оскоромились”, договорившись с папским престолом об унии в обмен на военную помощь против турок. И митрополит Исидор – пришедший на Московскую кафедру грек, активный сторонник унии, – попытавшись переменить религиозную жизнь Руси, очутился под арестом, а потом едва унёс ноги из страны. Во-вторых, Русская Церковь стала автокефальной, то есть независимой от Византии. В-третьих, в 1453 году пал Константинополь, казавшийся незыблемым центром Православной цивилизации. И всё это – на протяжении каких-то полутора десятилетий. А затем, до начала XVI столетия, государь Иван III превратил крошево удельной Руси в Московское государство – огромное, сильное, небывалое по своему устройству.

После падения Константинополя в Москве, пусть и не сразу, вспомнили таинственные предсказания, издавна приписывавшиеся двум великим людям: Мефодию, епископу Патарскому, и византийскому императору Льву VI Премудрому, философу и законодателю. Первый погиб мученической смертью в IV веке, второй царствовал в конце IX – начале X столетия. Традиция вкладывала им в уста мрачные пророчества. Христианство, “благочестивый Израиль”, незадолго до прихода Антихриста потерпит поражение в борьбе с родом Измаиловым. Племена измаильтян возобладают и захватят землю христиан. Тогда воцарится беззаконие. Однако потом явится некий благочестивый царь, который победит измаильтян, и вера Христова вновь воссияет. С особым вниманием наши книжники вглядывались в слова, где будущее торжество приписывалось не кому-то, а “роду русему”.

После 1453 года московские церковные интеллектуалы постепенно приходят к выводу: Константинополь пал – свершилась часть древних пророчеств; но и вторая часть свершится: “Русский род с союзниками (причастниками)... всего Измаила победит и сedyмохолмый [град] примет с прежними законами его и в нём воцарится”. А значит, когда-нибудь Москва придёт со своими православными полками на турок, разобьёт их и освободит от “измаильтян” Константинополь.

Из медленного, но неотвратимого осознания какой-то высокой роли Москвы в искаленном, истекающем кровью мире восточного христианства, из очарования волнующими откровениями тысячелетней давности родился целый “веер” идей, объясняющих судьбу новорождённой державы и её стольного града. Чудесное превращение Московского княжества в единое общерусское государство вызвало у “книжных” людей того времени рассуждения не только о корнях и особой миссии московского княжеского дома. Они мыслили о смысле существования новой державы. Не напрасно же родилась такая мощь! Не напрасно милая лесная дикарка Москва неожиданно для всех оказалась в роли державной владычицы! Не напрасно вышла она из-под иноверного ига как раз в тот момент, когда прочие народы православные в него угодили!

Именно тогда появилась книга “Русский Хронограф”, составитель которой показал Русь как музыканта, получившего сольную партию в оркестре Православной цивилизации.

В исторической литературе Древней Руси было два основных жанра. Во-первых, всем известная летопись, содержащая сведения о прошлом Руси. Во-вторых, хронограф – едва ли не более популярный у современников, чем летопись, но ныне мало кому известный. Он рассказывал о прошлом всего мира.

Древнейшие русские хронографические памятники – “Хронограф по великому изложению” и другие – включали сведения из ветхозаветной истории,

евангельские сюжеты, кое-какие сведения об античных державах, а также биографию мировой христианской общины. Последняя представлялась в виде череды правлений православных монархов, но далеко не всех. В центре внимания была Византийская империя, затем Болгария и Сербия. Западные державы, в религиозном отношении подчинённые Риму, существовали там лишь в “фоновом режиме” – на задворках повествования.

Что же касается Руси, то она вообще не фигурировала в ранних хронографах. Причина проста: сведения по всемирной истории наши книжники брали из византийских и сербских источников. А для Византии и Сербии Русь была на периферии интересов, в тамошних исторических сочинениях писали о ней мало. Между тем, в отечественной исторической мысли столетиями не возникало идеи вписать свою землю и свой народ в судьбу мирового христианства. Отчасти это можно объяснить относительной молодостью Руси как христианской страны. Отчасти же наших книжников завораживал прекрасный мираж Царьграда, который долгое время воспринимался как величайший культурный центр мира. Было очень трудно осознать себя чем-то самостоятельным, пребывая в тени величественной Византии. Русь в хронографах выглядела далёким северным отблеском великой Православной цивилизации. Не более того.

Кроме того, в период ордынского ига и удельной раздробленности требовалось незаурядное умственное усилие, чтобы вообще помыслить страну как единое целое...

В свою очередь, летописцев очень мало интересовало всё, находящееся за пределами Руси. Поэтому летопись от начала удельной эпохи до восхода Московской державы несла отпечаток своего рода культурной провинциальности. Летописцы представляли судьбу Руси с необыкновенной тщательностью, но сама мысль соединить летописание и хронографию, вписать Русь как активно действующий субъект в историю Православного мира созревала крайне медленно.

Буря событий, произошедших в середине – второй половине XV века, послужила катализатором.

“Русский Хронограф” составлялся, скорее всего, в Иосифо-Волоцком монастыре между 1516 и 1522 годами. Предположительно, его творец – Досифей Топорков, племянник и ученик святого Иосифа Волоцкого. Он являлся убеждённым и весьма деятельным иосифлянином, прославился как крупный церковный писатель, великий знаток книжного слова.

Чтобы получить представление о “Русском Хронографе”, надо переплести пальцы правой и левой руки, а потом крепко сжать их. Именно так перемежаются в нем известия мировой и древнерусской истории. Собственно русские известия начинаются со времен Рюрика и первых Рюриковичей – ближе к концу памятника. Но в дальнейшем они присутствуют постоянно и в значительном объёме.

Более ранние хронографы представляют собой набор известий, без особого порядка выписанных из разных источников и собранных подобно нестройной толпе на вечевом “митинге”. “Русский Хронограф” – совсем другое дело. Досифей Топорков проводил тщательную литературную обработку статей, добиваясь единого стиля, гармоничного звучания текста.

На протяжении всего периода с начала XIII и до конца XV столетия повествование о событиях, случившихся в Северо-Восточной Руси, проходит под чередующимися заголовками: то “Великое княжение Русское”, то “Великое княжение Московское”. В начале XVI века всем ясно: ведущей политической силой на Руси является государь московский, прямой наследник древних князей владимирских, в частности, знаменитого Всеволода Большое Гнездо. Конечно, существуют ещё независимая Рязань и Литовская Русь, но Москва первенствует самым очевидным образом. Однако в неменьшей степени ясно и другое: ни в XIII столетии, ни в первые десятилетия XIV века она политическим лидером всех русских земель не была.

Таким образом, составитель хронографа показывает: история блистательного ожерелья северных русских городов была преддверием триумфа Москвы и её великих князей. В 70-х годах XV столетия, при Иване III, возник Московский летописный свод, чётко сформулировавший точку зрения государей московских на русскую историю. Он оказал столь сильное влияние на всю последующую историческую мысль России, что даже сейчас авторы учебников, не осознавая того, плывут порой по фарватеру, открытому летописцами

Ивана III... В 1495 году появился сокращённый летописный свод, уходящий корнями в этот монументальный памятник. Его-то и использовал Досифей Топорков как главный источник знаний по истории Руси.

Составитель “Русского Хронографа” скорбит о печальной судьбе других православных народов – они попали под власть турецкого султана. Столь плачевное положение – следствие кары Господней за грехи всей Православной цивилизации. Тут Досифей Топорков не делит православных на греков, сербов, болгар и так далее, оказавшихся “более грешными”, и русских, за которыми числится, как можно было бы подумать, меньшее количество прегрешений. Этого нет и в помине. Винаваты все православные. Он пишет: Господь “...не до конца положил в отчаяние благочестивые царства: если и предаёт их неверным, не милуя их, то отмщая наше прегрешение и обращая нас на покаяние. И сего ради оставляет нам семя, да не будем как Содом и не уподобимся Гоморре. Это семя яко искра в пепле – во тьме неверных властей; семя же глаголя – патриаршие, митрополичьи и епископские престолы...” Таким образом, беда греков и южных славян по сути своей – призыв к великому покаянию всех православных. И когда это произойдёт, гнев Господень сменится на милость: “Православнии же надежду имеют, что после достаточного наказания нашего согрешения вновь всецельный Господь погребеную, яко в пепле, искру благочестия во тьме злочестивых властей вождет зело и попалят измаильтан злочестивых царства, якоже терние, и просветит свет благочестия и паки возставит благочестие и царя православныя”.

Чем же отличается Русь, не только не попавшая под иго османов, но, напротив, относительно недавно освободившаяся от власти ордынцев? Особой государственной силой? Особым благочестием? Особой чистотой веры?

Досифей Топорков не заносится мыслями столь высоко, более того, он даже не пытается толковать непознаваемую сущность воли Господней, исключившей нашу страну из зоны великого наказания христианских народов. Он лишь подчёркивает сам факт: другие “благочестивые царства” – Византия, Сербия и прочие – пали, а Русь уцелела. Не вооружённой силой, а молитвой спасена. Древние православные страны “...грех ради наших Божиим попущением безбожнии турки попленили и опустошили, и покорили под свою власть. Наша же Росийская земля Божию милостию и молитвами Пречистыя Богородицы и всех святых чудотворцев растет и младает, и возвышается. Ей же, Христе милостивый, дай же расти и младаети и разширятся и до скончания века”.

Тем самым составитель “Русского Хронографа” сообщает соотечественникам: по милости Божией мы освобождены от страшной кары и ныне обрели особенную судьбу – лучше, чем та, что выпала на долю греков и сербов. Сохранение этой особенной судьбы зависит от силы упования на любовь Божию к Руси и от молитв о благом устроении дел её Высшим Судией. Другого пути нет.

Это значит: Русь оказалась достойна не только войти в компанию великих православных царств, она получила преимущество над всеми ними.

Русь не выглядит чище, благочестивее, высоконравственнее Византии, Сербии. Болгарского царства. Нет, вовсе нет. Просто над нею сжалилась Богородица – ведь Москва мыслила себя как “Дом Пречистой Богородицы”, а главный собор города освящён был во имя Её Успения. И это небесное покровительство Пречистой, по словам Досифея Топоркова, не исчезнет “до скончания века” – до Страшного Суда.

“Русский Хронограф” был исключительно популярен на Руси. Науке известно о существовании около 130 списков (копий) этого памятника, созданных в XVI, XVII и даже XVIII столетиях! Он мощно повлиял на более поздние русские летописи и хронографы. Немудрено: именно “Русский Хронограф” вывел отечественную историческую мысль с провинциального уровня на мировой. Именно в нём Русь впервые была представлена как великая православная держава.

4.

Идеи мудрых книжников, живших при Иване Великом и его сыне Василии, напоминают зеркала. Молодая Москва, ещё не осознавая вполне своей красоты, своего величия, капризно смотрелась то в одно, то в другое, и всё никак не могла решить, где она выглядит лучше.

Самое знаменитое “зеркало”, в которое смотрелась тогда Москва, родилось из нескольких строк.

В 1492 году пересчитывалась Пасхалия на новую, восьмую тысячу лет православного летоисчисления от Сотворения мира. Разъясняющий комментарий митрополита Зосимы сопровождал это важное дело. Там об Иване III говорилось как о новом царе Константине, правящем в новом Константинове граде – Москве...

Вот первая искра.

Большое же пламя вспыхнуло в переписке старца псковского Елеазарова монастыря Филофея с государем Василием III и дьяком Мисюрем Мунехиным. Филофеем была высказана концепция Москвы как Третьего Рима. Русский ум воспринял её с ленцой. И лишь течение времени привело к тому, что он оказался растрожен её смыслом. Надо помнить и понимать: она отнюдь не имела господства над мыслями тогдашнего “образованного класса” и очень долго обреталась на периферии.

Филофей рассматривал Москву как центр мирового христианства, единственное место, где оно сохранилось в чистом, незамутнённом виде. Два прежних его центра: Рим и Константинополь – Второй Рим – пали из-за вероотступничества. Филофей писал: “...все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя по пророческим книгам, то есть Ромейское царство, поскольку два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быти”. Иначе говоря, Ромейское царство неразруσιμο, оно просто переместилось на восток и ныне Россия – новая Римская империя. Василия III Филофей именует царём “христиан всей поднебесной”. В этой новой чистоте России предстоит возвыситься, когда государи её “урядят” страну, установив правление справедливое, милосердное, основанное на христианских заповедях. Но более всего Филофей беспокоится не о правах московских правителей на политическое первенство во вселенной христианства, а о сохранении веры в неиспорченном виде, о сбережении последнего средоточия истинного христианства. Его “неразрушимое Ромейское царство” – скорее духовная сущность, нежели государство в привычном значении слова. Роль московского государя в этом контексте – в первую очередь, роль хранителя веры. Справятся ли они со столь тяжкой задачей?

По словам историка средневековой русской литературы А. М. Ранчина, у Филофея “...Москва является последним Римом, потому что приблизились последние времена, в преддверии которых число приверженцев истинной веры, согласно Откровению святого Иоанна Богослова, уменьшится. Именно поэтому эстафета передачи метаисторического Ромейского царства уже завершена. Но неизвестно, удастся ли и Москве – Третьему Риму – исполнить свою миссию, своё оправдание перед Богом”. Филофей, таким образом, вовсе не поёт торжественных гимнов молодой державе, он полон тревоги: такая ответственность свалилась на Москву!

Идея Москвы как Третьего Рима долго не получала широкого распространения. Слова, сказанные в “Русском Хронографе”, завоевали признание у русских “книжников” быстро и прочно. А вот рассуждения Филофея были не столь известны.

Лишь во второй половине XVI века их начинают воспринимать как нечто глубоко родственное московскому государственному строю.

Так, они проникли в величественное сказание о борьбе Москвы с осколками Орды – “Историю о Казанском царстве”.

Когда повествователь доходит до победы, одержанной Москвою на Угре, и до запустения Большой Орды, он поёт хвалу великому городу, связывая его с иными древними столицами христианских держав. “И тогда великая наша Русская земля освободилась от ярма... и начала обновляться, как бы от зимы на тихую весну прилагаться. И взошла вновь к древнему своему величию и доброте, и благолепию. Как прежде, при великом князе при Владимире преславном, дал ей премилостивый Христос расти, как младенцу, и увеличиваться, и расширяться, и скоро прийти в возраст совершенлетия... И воссиял ныне стольный преславный град Москва, второй Киев. Не усрамлюсь... назвать её и Третий новый великий Рим. Просияв в последние лета яко великое солнце в великой нашей Русской земле, во всех градах... и во всех людех страны сея, красуйся и просвещайся святыми многими церквами... яко... небо светится пёстрыми звёздами, утверждённый Православием незыблемо от злых еретиков, возмущающих Церковь Божию!”

При утверждении в Москве патриаршества была составлена “Уложенная грамота”. Писавшие её московские книжники вложили в уста Патриарха Иеремию похвалу царю Фёдору Ивановичу: “Твое... благочестивый царю, Великое Российское царствие, Третьей Рим, благочестием всех превзыде, и вся благочестивое царствие в твое воедино собрася, и ты един под небесем христьянский царь именуешишь во всей вселенной, во всех христианах...”

Конечно, и сам Иеремия, и всё греческое священноначалие Православного Востока едва-едва познакомились с московской историософией; вряд ли они разделяли такой взгляд на Москву и Россию; но, во всяком случае, наши интеллектуалы приписали греку идею Москвы – Третьего Рима как нечто, само собой разумеющееся.

5.

Выше говорилось о “веере” идей...

Вот ещё одна его “лопасть”.

В допетровской России любили сравнивать Москву с Иерусалимом. Русские книжники и русские власти были твёрдо уверены: новая русская столица переняла особенную божественную благодать от Иерусалима, который был ею прежде щедро наделён, но впоследствии утратил. Теперь Москва – город городов, огромная чаша, где плещется эта благодать.

Историк искусства А. М. Лидов говорил по этому поводу: “Идея о схождении Горнего града, в котором праведники обретут вечную жизнь и спасение, присутствует и в иудаизме, и в исламе. Однако в христианстве она приобрела совершенно особое, исключительно важное звучание – это в некотором смысле основа христианского сознания: обетование и ожидание Нового Иерусалима как конец пути и обретение счастья, гармонии, торжества справедливости. С этой идеей связана традиция перенесения образов Святой земли, попытки воспроизвести то особое сакральное пространство, в котором должно произойти сошествие Небесного града”. Так вот, в Москве желали уподобления Иерусалиму идеальному, образу Небесного Града, запечатлённому в Иерусалиме “ветхом”, историческом, но лишённому там должного вероисповедного наполнения. Достигнув такого уподобления, став совершенной христианской державой, Россия с Москвой в сердце слилась бы, по представлениям книжников того времени, с небесным прообразом Иерусалима.

Москву уподобляют Иерусалиму в летописях XV века. Святому Петру-митрополиту приписывают пророчество, согласно которому Москва в будущем “наречётся Вторым Иерусалимом”.

Но чаще всего Москву ведут по пути воиерусалимливания усилия зодчих.

Так, в середине XVI века Кремль украшается храмом Воскресения Христова – по имени центральной иерусалимской святыни христиан.

Образ Второго Иерусалима, города со множеством светлых храмов, отразился в особенном, необычном облике Троицкого храма, что на рву – его позднее назвали Покровским собором и собором Василия Блаженного.

На рубеже XVI и XVII веков Борис Годунов задумывает уподобить Московский кремль Иерусалиму, но смерть лишает его возможности довершить начатое.

В середине XVII столетия патриарх Никон выстроил под Москвой величественный Новоиерусалимский монастырь, все главные постройки которого символизируют места и здания в Иерусалиме-первом, связанные с евангельской историей.

Прежде всего, Никон начал возводить подобие Иерусалимского храма Гроба Господня или, иначе, храма Воскресения Господня. Каждая постройка, каждая деталь оформления новой обители соответствовали реалиям пребывания Иисуса Христа в Иерусалиме и расположению иерусалимских святынь – как его представляли себе в России XVII столетия. В соборе воспроизведены священные подобию горы Голгофы, “пещеры” Гроба Господня, места трёхдневного погребения и Воскресения Христа. Новоиерусалимский Воскресенский собор строился по разборной модели храма Гроба Господня из кипариса, слоновой кости и перламутра. Её доставил в Москву Патриарх Иерусалимский Паисий. А иеромонах Арсений специально произвёл обмеры храма в Иерусалиме. Однако Новоиерусалимская церковь отнюдь не стала точной копией храма Гроба Господня. Она не являлась таковой даже в планах. В конце концов, храм Гроба Господня представляет собой хаотичное наслоение разновремен-

ных зданий и пристроек. Возводя свою “версию”, наши зодчие приспособляли архитектурные формы всемирно известной постройки к русским обычаям, улучшали, модернизировали, добивались единства стиля. Подмосковный собор должен был выглядеть лучше “протографа”. В эстетическом смысле он действительно имеет гораздо большую ценность.

Вся местность вокруг обители наполнилась евангельской символикой. Холм, на котором воздвигали собор, называли Сионом, а соседние холмы – Елеоном и Фавором. Ближайшие сёла обрели названия Назарет и Капернаум. Даже подмосковная речка Истра – там, где она протекала по монастырским владениям, – стала именоваться Иорданом. А ручей, обтекающий монастырский холм, превратился в Кедронский поток.

В создании Новоиерусалимской обители отразилась идея, близкая московским интеллектуалам ещё с рубежа XV–XVI столетий, со времён Ивана III: действительная сила Православного мира постепенно уходит от греческого священноначалия и сосредоточивается в Москве.

Многочисленные греческие патриархи, митрополиты и прочие архиереи обладают превосходными библиотеками, умирающей, но всё ещё сносной системой училищ и большим духовным авторитетом. Однако они пребывают под гнётом турок-османов, поддаются влиянию Римско-католической Церкви, они просто очень бедны, наконец. А Москва богата и независима. Москва спасает греческих архиереев и греческие монастыри от нищеты. Центр православного мира должен переместиться сюда! Соответствующая “великая идея”, или, вернее, целая интеллектуальная программа, получила выражение в камне. Новый Иерусалим под Москвой – символический перенос духовного центра православия на новое место. Он словно извещал весь Православный Восток: благодать отошла от древних городов и ныне почивает на землях московских!

6.

Имелся во всей этой историософии один изъян.

Русский паломник шёл в Царьград или на Святую землю, томимый жадой облобызать древние святыни, помолиться у чудотворных икон, отстоять службы в храмах, которые старше самой Руси. Тамошние власти его интересовали очень мало. Что такое император византийский в XIV веке? Фигура слабая, небогатая, великому князю московскому не чета. А уж в XV веке и сравнения быть не может! Слишком оно, это сравнение, окажется не в пользу рассеивающегося цареградского миража. А вот святыни – это серьёзно: их сила и слава не ослабевают.

В понимании нашего церковного мудреца, Москва как новый Рим или новый Иерусалим должна была превратиться в такое же скопище святынь, как столица василевсов и столица древнего Израиля. Станет она такую – чего ж ещё желать? Теперь и ездить не надо в такую даль – всё будет под боком!

Подобное понимание в каком-то смысле абсурдно. Нынешний Лондон большинству наших школьников становится известен по знаменитому тексту, где сказано, что сей город – The Capital of The Great Britain, средоточие контрастов и обиталище Тауэра, Биг-Бена, Трафальгарской площади. Допустим, кто-то назовёт Москву “новым Лондоном”. Сам того не понимая, он попытается произвести в умах миллионов людей, когда-то проходивших оный текст, странную метаморфозу. “А что, Тауэр и Биг-Бен к нам тоже перенесут?”

Умы сопротивляются...

Вот и в XVI веке коллективный разум русского интеллектуалитета, как видно, гордясь новой ролью Москвы, отчего-то... противился ей. Третий Рим? Второй Иерусалим? Отчего ж, красиво! Но как-то не на первом месте.

7.

В 1560-х годах возникает грандиозный памятник богословско-исторической мысли – Степенная книга. Там русская история изложена по “граням” (степеням) “царского родословия” – от правителя к правителю. Россия показана как Новый Израиль, а подданные московского государя – как народ богоизбранный, который когда-нибудь освободит Константинополь, низвергнув силу ислама.

Степенная книга – венец размышления Москвы о себе. То, что в ней сказано, определит будущий московский миф надолго. Известно полторы сотни

рукописных копий её! Это при поистине титаническом объёме... Степенную книгу почитали в допетровской России. Её, конечно, дописывали, развивали, кое в чём исправляли, но прежде всего – именно почитали, обращались к ней как к истине, соединившей правду веры и правду действительных исторических событий.

Что в ней такое Москва?

Прежде всего, оплот царственности.

Церковные интеллектуалы, составлявшие Степенную книгу, чётко провели идею “трансляции царства”. Иными словами, перехода центра державности русской с течением времени от одного города к другому. В самом начале эта идея высказана с полной ясностью: “От Рюрика начаса державство в Новеграде. От Игоря же сына его – в Киеве и до Всеволода Юрьевича державствоваху; от них же вси страны трепетаху, ближнии и дальнии; и сами гречестии царие вси повиновахуся им; Угрове и Чахи, и Ляхи, и Ятвяги, и Литва, и Немцы, и Чюдь, и Корела, и Устюг, и обои Болгары, Буртасы и Черкассы, Мордва и Черемиса, и сами Половцы дань даяху и мосты мостяху; Литва же тогда бояхуся и из лесов выницати... От Всеволода же Юрьевича и до Данила Александровича в Владимери державствоваху. От Данила же на Москве Богом утверждено бысть царствие русских государей”.

Москва как крепость – дитя Суздалья. Она стояла на страже Суздальской земли, она облеклась в одеяние из прочных стен и высоких башен по воле Юрия Долгорукого, государя суздальского. Но Москва как царственный город, как Порфиригенита – дочь Владимира и от него приняла венец державного первенства.

Степенная книга с большим разбором называет кое-кого из правителей Руси “самодержцами”: Владимира Святого – да. Всеволода Ярославича – да. Святослава Ярославича – нет. Святополка Изяславича – нет. Юрия Долгорукого – нет. А вот его отца Владимира Мономаха – да. И далее, после Юрия Долгорукого, – самых достойных из рода Владимира Мономаха, к которому принадлежал, кстати, и Московский княжеский дом.

Всеволода Большое Гнездо Степенная книга твёрдо именует “самодержцем всей Русской земли”. Он правит “скипетром Русского царствия”. Он завещает наследникам “Владимирское скипетродержавие”. Но уже и об Андрее Боголюбском сказано, что он самодержавствовал “... в Суждальской земле, в преименитом граде Владимире”.

Даниил Московский, родоначальник московского княжеского семейства, предстает как человек, избранный Богом для особого служения: “Сего блаженного великого князя Данила храняй Господь от пелен матерних... Сего блаженного Данила избра Бог и возрасти и снабде нератуема ни от кого же; ему же и поручено бысть в наследие богоснабдимое державство преименитого града Москвы, его же и праведное семя возлюби Бог и прослави, наипаче же благоволи царствовати в роды и роды”.

А великого князя Василия III Степенная книга прямо именует “царем”. Хотя и иносказательно, как “царя над страстями”, но всё же именно царя, – пусть формально, по титулу, но пока ещё бывшего великим князем.

Чего же больше в Степенной книге? Глядясь в зеркала истории, видит ли Москва себя в одеяниях Третьего Рима? Или, может быть, Второго Иерусалима?

По капельке в Степенной книге можно отыскать и то, и другое. Но над всем этими “капельками” преобладает ливень совершенного другого мифа. А именно того, который уходил корнями в древнерусскую реальность, а не в византийскую. Родное возобладало.

Что такое Новгород Великий? Дом Святой Софии.

Что такое Псков? Дом Святой Троицы.

Что такое Тверь? Дом Святого Спаса.

В эпоху удельной старины всякая земля выбирала себе небесное покровительство и выражала его в освящении главного храма всей области. А потом держалась за это покровительство с необыкновенной цепкостью.

К Москве “царственность” перешла от Владимира. А Владимир имел небесной покровительницей Пречистую Богородицу. Степенная книга проводит эту мысль без малейшего сомнения, без малейшей оговорки. Собственно, вся “царственность” самого Владимира началась с “путешествия” Пречистой из Киевской земли в дальний лесной край, на Клязьму. После рассказа о смерти Юрия Долгорукого и о последовавшей за нею междоусобной борьбе

за Киев, сказано: “Начало Владимирского самодержавства: уже тогда киевские великие князи подручни были владимирским самодержцам. Во град ибо Владимир тогда начальство утвержашеся пришествием чудотворного образа Богоматери. С ним же прииде из Вышеграда великий князь Андрей Георгиевич и державствова”. Андрей Боголюбский, действительно, привёз с Киевщины чудотворную икону Богородицы. Для московского “книжника” середины XVI века ясно без комментариев: с иконой-то утекла оттуда и вся державная сила. Ушедшая икона явилась знаком возобладания Севера над Югом.

Для Москвы времён Ивана Калиты покровительство Пречистой – дело очевидное. Оно связано с личностью Св. Петра-митрополита. Святитель когда-то, задолго до восхождения на степень главы Русской Церкви, написал образ Богородицы и удостоился особых милостей от Неё.

Да и похоронен Пётр в храме Успения Пречистой – то есть в месте, которое освящено во имя его небесной покровительницы. О строительстве храма он сам попросил Ивана Калиту: “Если меня, сыну, послушаешь и храм Пречистой Богородицы воздвигнешь во своем граде, и сам прославишься паче иных князей, и сыновья твои, и внуки из поколения в поколение. И град прославлен будет во всех градах русских, и святители поживут в нем, и взыдут руки его на плеча враг его, и прославится Бог в нем”.

Чего ж яснее?

Главный храм Москвы, а вместе с тем и всей области Московской, – Успенский, тот, что возник на древнем Боровицком холме. А значит, *Москва – Дом Пречистой*.

Русский Хронограф за полстолетия до Степенной книги объявил об этом небесном покровительстве. Составители же Степенной книги развили идею Досифея Топоркова до совершенства. Они множили и множили примеры нерасторжимой связи между Царицей Небесной и царственным градом. Для читателя эта связь подана как нечто само собой разумеющееся.

В 1380 году Дмитрий Иванович, собираясь на Мамаю, долго молился именно Пречистой, у Неё просил помощи даже более, чем у самого Господа. Проходя через Коломну, он опять вознёс моление в Богородичной церкви.

В 1395 году именно заступничество Пречистой, произошедшее через её чудотворную икону, привезённую в Москву, воспринималось как причина скорого ухода Тамерлановых орд из страны. Степенная книга прямо сообщает: Богородица “устрасила” завоевателя и тем дала “избавление” Руси от его нашествия.

Время Василия I вообще наполнено постоянным “диалогом” со Святой Заступницей.

Под 1403 или 1404 годом летописи сообщают о небесном знамении – трение солнечного диска. Оттуда известие перекечовало в Степенную книгу. Четырьмя годами позднее в Москве замечают чудесное исхождение мирра от Богородичной иконы, доставленной митрополитом Пименом из Константинополя. В Степенной книге делается вывод: “Это Всесильный Бог Своєю... божественною святыею и многими чудесными знаменьями всюду прославляя Свое Трисвятое имя Отца и Сына, и Святого Духа, наипаче же снабдевая Свое святое избранное достояние великия державы, иже на Москве всего Российскаго царствия, в нем же утверждая непоколебимо истинное благочестие и всяческих еретических смущений невредимо соблюдая и от находящих врагов всячески защищая и от всяких бед милосердно избавляя и на супротивныя победы даруя”. Ещё шесть лет спустя в Можайске был обретён чудотворный образ Богородицы Колоцкой. Чуть ранее на Пахре Богородичная икона источила кровь...

В 1480 году, после победоносного “стояния на Угре”, Москва устанавливает ежегодный крестный ход на 23 июня – во имя и в благодарение Пречистой Богородице.

Весной 1547 года Москва терпит страшный урон от большого пожара. Когда Владимирскую икону Пречистой пытаются вынести из Успенского собора, она не двигается с места. Более того, она оказывает спасительное воздействие от бушующего пламени. Степенная книга объясняет: “Ибо сама Богомати сохраняя... и соблюдая не токмо Свой пресвятыи образ и всю Церковь, но и всего мира покрывая и защищая от всякого зла”.

Чрез иконы Пречистой Москве по всякий важный случай бывают знаменья и чудеса; Богородица как будто водительствоует своей землей...

Для образованного русского наших дней, если он придерживается русской же культурной почвы, мысли о Москве как *Третьем Риме* и *Втором Иерусалиме* драгоценны. Коренная, святая, хлебная, державная Русь пребывает в тесном родстве с ними. И в них же часто видят суть того восприятия Москвы самой себя, всей Россией, да и соседями, которое сформулировали наши “книжники”.

Но нет, нет! Правды тут никакой. Эти идеи когда-то будоражили умы старомосковского общества. Они нравились то больше, то меньше, ими играли, их ценили, к ним относились с уважением. А всё же... первенство оставалось отнюдь не за ними.

Суть первого и самого сильного московского мифа совершенно другая. Москва, прежде всего, – Дом Пречистой Богородицы, а уж потом *Третий Рим* и далее по списку. Без Небесной Заступницы не было бы и не будет в Великом городе никакой “царственности”. Всё – от Неё. Всё – через Неё. Прочее же – прекрасное умствование.

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ

О, светло светлая и украсно украшена земля Руськая! И многими красотами удивлена еси: озера многими удивлена еси, реками и кладязьми месточестными, горами, крутыми холмами, высокими дубровами, чистыми полями, дивными зверьми, различными птицами, безчисленными городами великими, селами дивными, виноградами обительными, домами церковными, и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всего еси исполнена земля Руская, о, правоверная вера христианская!

Слово о погибели руския земли по смерти великого князя Ярослава

Моя тайга... степь, озеро, река, луга, поля и нивы... — моя родная русская земля. У всякого, не спалённого дотла пороком, не заплесневевшего в корысти, не засохшего в книжном учении, яко полевая ромашка в тяжком томе о заморских красотах, есть таёжная падь, приречная долина, широкий дол, кои землянин величает: моя земля. Хотя земля и не куплена в торгах... Попробуй, купи степь необозримую, тайгу непроходимую... хотя и не выпала земля в наследство, хотя, кроме тебя, уйма народа в здешней земле обитает, хотя и сам ты уочевал в чужедальние края, а всё одно — моя земля. Здесь отзвенело детство полевыми колокольцами, стояло в белом тумане сенокосное отрочество, здесь похоронены мать и отец, после коих обветшали избы, утопающие в дурнопьяной лебеде и крапиве, обредела деревенька и ушла в землю.

Свой крайчик земли, словно краюха ржаного хлеба, засолоневшая от пота, от слёз кручины и отрады; своя земля... и земляк в своё время понимался как человек, с которым ты свято и клятвенно связан единой землей.

“Мой угор, угорышек...” — любил ввернуть в речь крестьянский писатель Фёдор Абрамов, летуя в родном селе Веркола, умилённо оглядывая с угора желтоватые поля, бережно объятые поскотиной-городьбой, чтобы коровы хлеба не потравили. Благодать Божия: веет с небес прохладный ветерок, гуляет под вольно выпущенным, широким рубищем, ласково колышет волосы, и взгляд писателя уплывает в зеленеющие пастбища, к синеющей реке, к храму, белеющему на холме, сливая ниву с небесами.

Издревле воспевали и оплакивали русские родную землю...

“О, Русская земля! уже ты за холмом! <...> Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, // но часто вороны граяли, // трупы между собой деля, // а галки свою речь говорили, // собираясь полететь на добычу <...> Чёрная земля под копытами костью была засеяна // и кровью полита: // горем взошли они по Русской земле <...> А поганые со всех сторон приходили с победами // на землю Русскую” (*“Слово о полку Игореве”*).

“Кто, братья и отцы, и дети, видевши такое Божие поущение на всей Русской земле, не плачется? Грех ради наших попустил Бог найти на ны поганья; наводит бо Бог, по гневу своему, иноплеменников на землю, чтобы сокрушёнными ими обратятся к Богу” (*Из Лаврентьевской летописи*).

“Русская земля да будет Богом хранима! Боже, сохрани её! На этом свете нет страны, подобной ей, хотя бояре Русской земли несправедливы. Да станет Русская земля благоустроенной и да будет в ней справедливость” (*Никита Афанасьев*).

“Эти бедные селенья, // Эта скудная природа – // Край родной долготерпенья, // Край ты русского народа! // Не поймёт и не заметит // Гордый взор иноплеменный, // Что сквозит и тайно светит // В наготы твоей смиренной. // Удручённый ношей крестной, // Всю тебя, земля родная, // В рабском виде Царь Небесный, // Исходил, благословляя” (*Фёдор Тютчев*).

“Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения Великой России... И предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама Русской земли” (*Лаврентий Корнилов*).

* * *

В ископной красе хранили русские крестьяне любовное, обрядово-поклонное отношение к земле. Хотя земля числилась и третьей в череде языческих поклонений (первый – царь-огонь, вторая – вода), но лишь землю крестьяне величали матерью. И в земледельческом таланте крестьян, кроме вселенского природознания, трудолюбия и терпения, кроме сбережённых многовековых земледельческих навыков, таилась неизбывная, всепоглощающая, обрядово-поклонная, жертвенная любовь к матери сырой земле – любовь, увы, порой впадающая в духовную прелесть – языческое одухотворение земли. Долго после Крещения Руси крестьянин нет-нет да и забывал, что земля – Творение Божие – не обладает самосвятостью. “Почитание русскими язычниками “матери-земли”, – писал Лев Лебедев, – это отнюдь не наивность. Заблуждение язычников в том, что, не ведая Бога – Создателя человека и земли, – они поклоняются творению, а не Творцу”¹. “Вначале сотворил Бог землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. <...> Адаму же сказал Господь: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедовал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя: со скорбью будешь питаться от неё во все дни жизни твоей; <...> в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься” (*Быт. 1: 1, 2, 17, 19*).

Земля в дохристианских верованиях славян, долго хранимых русскими крестьянами в сумраке памяти, понималась яко *мать*, от которой не токмо нарождается всё живое, но произошло и само тело человеческое. Казалось бы, древнее воззрение не противоречит Священному Писанию, где сказано “Всяк человек – земля есть и в землю отыдет...”; но, повторим, заблуждение крещёных славян крылось в том, что язычники наделяли землю самостийной, не зависимой от Бога творящей силой, не ведая душеспасительного Бога Творца, сотворившего землю, а из земли – человека и всё живое.

“Предания о происхождении человека, равно принадлежащее всем индоевропейским народам, в том числе и славянам, говорят, что тело человеческое взято от земли и в неё же обращается по смерти, кости – от камня, кровь – от морской воды, пот – от росы, жилы – от корней, волосы – от травы. Верование это высказано в “Стихах о Голубиной книге”:

*Телеса наши — от сырой земли,
Кости крепкие взяты от камня,
Кровь-руда — от чёрна моря.*

Народные загадки метафорически называют волосы – лесом, а траву – волосами <...>. Рядом с поклонением небу должно было возникнуть и утвердиться религиозное почитание земли. Следы этого обоготворения сохранились и у славян... Богатыри, поражающие лютых змеев, в ту минуту, когда им грозит опасность быть затопленными кровью чудовища, обращаются к земле с просьбой: “Ой, ты еси, мать сыра земля!.. расступися на все четыре стороны и пожри кровь змеиную”, – и она расступается и поглощает потоки крови”².

Даже богатырь Илья Муромец, прототипом которого был святой Илия Муромский, крестьянский сын из села Карачарова, казачий атаман, насельник Киево-Печерской лавры, – даже этот былинный богатырь, когда супостат, одолев его, замахивается мечом, вопрошает: мол, что ж ты, мать сыра земля, ныне повыдала меня³?

* * *

Одухотворённой матушке сырой земле посвящены большинство славяно-русских языческих обрядов, если не сказать, что чуть ли не всякий трудовой и праздничный обряд так или иначе, славя солнце и небесные воды, касался и земли, поскольку *мать сыра земля*, обласканная солнечным теплом, в громовых и молниеносных страстях покрытая дождями и росами *небесного отца*, рожала хлебушек, рожала *жито – живот, жизнь*. Были века в славяно-русском язычестве, когда *мать сыра земля – Макошь (макушка лета)*, “покровительница” урожая и судьбы, почиталась как верховное божество, рядом с которой, судя по старинным русским вышивкам, сохранившим языческие сюжеты, по леву и праву руку восседали верхом на лошадях рожаницы Лада, богиня вешнего пробуждения земли и первой зелени, и дочь её Леля с сохами, притороченными к сёдлам.

Священные знаки земли – обереги от нечистой и лукавой силы – красовались почти на всём, что окружало нашего предка-руса: на прялке, на причелинах и подзорах избы, на девичьем кокошнике, на резной спинке кошевых саней – везде рядом со знаками Солнца и Вод сиял знак Матери-Земли. Эти обереги (аграрно-магические знаки) в домовой резьбе, в росписях посуды уже, вероятно, без сознания их силы, дожили чуть ли не до нынешнего времени. Особенно выразительны они на внешнем декоре семейских⁴ изб в Забайкалье. Даже “захоронения предков в земле, – писал Борис Александрович Рыбаков в книге “Язычество древней Руси”, – могли означать, во-первых, то, что они как бы охраняют земельные угодья племени (“священная земля предков”), а во-вторых, они, находящиеся в земле предки, способствуют рождающей силе земли”⁵.

Александр Афанасьев глубоко исследовал древнеславянские мистические воззрения на природные стихии и Вселенную (в том числе и землю), проведя, нередко спорные, космогонические параллели между героями русского фольклора, символикой крестьянских усадеб и миром Вселенной. Он же даёт и картину многих аграрно-магических обрядов, подтверждающих одухотворение матери-сырой земли в древнерусских верованиях.

“Как всеобщая кормилица, земля есть источник сил и здоровья, – писал Александр Афанасьев, – она же растит и целебные травы. Тот, кто приступает к собиранию лекарственных зелий и корней, должен пасть ничком наземь и молить мать сыру землю, чтоб она благоволила нарвать с себя всякого снадобья... Чтобы нечистая сила не поселилась в нивах и не выжила с пастбища стад (то есть не повредила бы тем и другим), хозяева в августе месяце выхоят раннюю зарею на поля с конопляным маслом и, обращаясь на восток, говорят: “Мать сыра земля! Уйми ты всяку гадину нечистую от приворота и лихого дела”; затем выливают на землю часть принесенного масла. Обращаясь на запад, продолжают: “Мать сыра земля! Поглоти ты нечистую силу в бездны кипучие в смолу горячую”; на юг произносят: “Мать сыра земля! Утоли ты все ветры полуденные со ненастью, уйми пески сыпучие со метелью”, и, наконец, на север: “Мать сыра земля! Уйми ты ветры полуночные со тучами, содержи (сдержи) морозы со метелями”. За каждым обращением льют масло, а в заключение бросают и самую посудину, в которой оно было принесено <...> Это жертвенное возлияние масла и пива имело символическое зна-

чение влаги, проливаемой небом и дарующей нивам урожай; ибо и “масло” и “пиво” были метафорическими названиями дождя. Увлажнённая дождем земля сулила обилие, богатство и счастье⁶.

Древние славяне-язычники почитали землю как женское начало “божественного” мироздания, а небо – как мужское, и считали, что от совокупления их, выраженного через *солнечную ласку и грозовые страсти*, после оплодотворения небом земли посредством влаги (дожди и росы), рождается всё живое на земле и, прежде всего, хлеб. Нечто подобное происходило в понимании язычников и в человеческой жизни, а посему они напрямую связывали аграрные обряды *поклонения матери сырой земле и отцу-небу* со свадебными обрядами и даже с плотским взаимодействием мужчины и женщины (*плодородие земли – чадородие женщины*).

Порой сии древнеславянские магические аграрные и свадебные обряды сливались меж собой, порождая *аграрно-свадебную* обрядовость. Отзвуки её выявили народоведы и в обрядовой культуре крестьян Восточной Сибири. “Возьмём аграрно-брачные обряды, – пишет Фирс Болонев. – Основное их назначение было связано с двумя понятиями: охраной от зла и идеей плодородия. О магическом использовании зёрен ячменя, овса, пшеницы в календарной и свадебной обрядности известно давно, но находящийся с этим ритуалом в непосредственной связи обычай сбора беременных женщин на свадьбу почти не известен. Он записан автором в с. Анга Иркутской области. Приём симильной магии, дожившей до XX в., по своей наглядности, колоритности и яркости, пожалуй, не имеет аналогов, хотя об участии беременных женщин в свадебной обрядности славян имеются неоднократные упоминания⁷.”

Крестьянские обряды, корнями таясь во временах праславян – скифов-пахарей, – во Владимирово княжение обретя христианское звучание, в самом главном – в одухотворении земли – жили ещё долго, чтобы уж разом умереть. То же крашеное яйцо, освящённое наговорным словом и орошённое *святой живой водой*, задолго до Святого Крещения Руси, когда лишь вызрело само понятие *русская земля*, сияло аграрно-магическим символом плодородия матери сырой земли, чадородия жён-матерей, как являлось и живым, земным знаком солнца, в мистическом сознании язычников имевшим верховную “божественную” силу. Как из яйца чудом чудным, дивом дивным нарождается жизнь, так и под солнцем она нарождается на земле.

* * *

Даже суровые старообрядцы⁸, сплетая древние природные обряды с христианством, не избежали мистического поклонения матери сырой земле, а заодно и предкам, захороненным в ней и якобы имеющим с ней мистическую связь. Об этом писал протоирей Андрей Иоаннов Журавлёв, прибывший вместе с гонимыми старообрядцами в польские земли, на Ветку: “Старообрядцы в день Пятидесятницы (*Святой Троицы, что празднуют накануне Духова дня. – А. Б.*), ложась ниц на землю, слушают молитвы, а священник читает их, на коленях стоя к престолу, зря на восток⁹”.

Небо и земля становятся “церковью”, и некоторые “староверческие толки (беспоповщина и нетовщина) до последнего времени исповедовали грехи свои, зря на небо или припадая к земле¹⁰”. Вот так радели иные старообрядцы, якобы в чистоте сохранившие исконное, древнее Православие, в отличие от “нововеров”, что в лихую годину церковного раскола якобы выправили богослужебные книги и церковные обряды на манер греческого Православия, о ту пору испрокаженного.

Мало того, именно у старообрядцев появляются религиозные толки, где прихожане поклоняются матери сырой земле. В XIX веке у семейских Бичуры, Мухоршибири, Большого Куналея (*семейские села в Бурятии. – А. Б.*) образовался таинственный толк “землепоклонников”. Сошлись в нём крестьяне, которые не признавали икон, попов и уставщиков, а поклонялись священной земле как самосвятой. В. П. Мотицкий писал в книге “Старообрядчество Забайкалья”: “Землепоклонники всей семьёй или небольшой группой выходили в поле и там, осенив себя двуперстным крестным знаменем, становились на колени и кланялись так низко, что лбами касались земли, прося её о помощи¹¹”.

О землепоклонниках писал этнограф и диалектолог Лазарь Ефимович Элиасов, многие годы изучавший фольклор семейских, подготовивший рукопись “Толки семейских”. Он же писал и о том, что в начале XIX века в семейских селах Окино-Ключи Бичурской волости, Хонхолой и Шаралдай Мухоршибирской волости появился новый толк, получивший название “песочников”, когда при крещении ребёнка употребляли не воду, а подогретый песок.

Л. Е. Элиасов записал от семейских обряд крещения: “Мать держала ребёнка на руках, а уставщик сыпал ему на животик или спинку мелкий тёплый песок. После этого ребёнка осеяли крестом и давали ему имя, затем умывали в тазу, очищали от песка, пеленали и клали в зыбку. Если ребёнок засыпал сразу, то родители были уверены, что он будет здоровым и счастливым, а если не сразу, то его ожидала нелегкая жизнь”¹².

В отличие от общеправославных крестьян, старообрядцы, оберегши до середины XX века даже во внешнем облике исконно славянскую статью, сохранили и многие верования древнеславянского язычества. Историк русской православной церкви Н. М. Никольский писал: “Крестьянская “старая вера” имела мало общего со старой верой профессионалов или посадских людей, и если напоминала старую веру, то старую дохристианскую веру (выделено мною. — А. Б.)”¹³. А. П. Щапов и вовсе с расколом связывал возрождение языческих верований, волхований и чародейства¹⁴. В. Я. Пропп, повторяя языческую точку зрения на староверчество, пишет: “Изучение языческой сущности праздников лишит их ореола святости”¹⁵.

* * *

Хотя после Крещения Руси внешне понятие земли у крестьян стало уже ясно христианским, и без обращения к Богу мужики не приступали к пахоте, севу и жатве, но суеверное, с отзвуками древнеславянского язычества, мистическое отношение к земле долго жило в крестьянском мире, воплощённое в обрядах и обычаях. В земледельческих обрядах ощущалось причудливое сплетение христианского и суеверно-языческого, о чём в книге Сергея Максимова “Нечистая, неведомая, крестная сила” сказано: “Связь человека с землёй устанавливается и Священным Писанием: “Всяк человек — земля есть и в землю отыдет” <...> Земля, куда схоронены кровные и близкие, называется родительскою и считается священной, она могущественна до такой степени, что горсточка её, взятая с семи могил, укрывающих заведомо добродетельных людей, спасает всех родичей, оставшихся в живых, от всяких бед и напастей. Почти такой же силой обладает и вообще родная земля <...> (Ночью суеверные женщины, запрягши честную вдову в соху, опахивали землю окрест села или деревни, славя землю, воля проклятия нечистой силе. — А. Б.) В других деревнях носят образ Св. мученика Власия, признаваемого по всей святой Руси покровителем домашнего скота, и к свечам прибавляют ещё ладан. В Судогодском уезде Владимирской губернии опахиванье предпочитают производить под Духов день, а в иных местах — в ночь на 24 июня, причём поют “Да воскреснет Бог”, проводят сохой крест на всех перекрёстках селения, в копаные ямы закладывают ладан и т. п. <...> В деревнях Нижне-ломовского уезда Пензенской губернии во главе подобного шествия видели старух с иконами Спасителя, Успения Богоматери и медными распятиями на груди, и слышали, вместо стихов заклатья, пение молитв Богородичной и Господней <...> Вера в мать-сыру землю всё-таки сохраняется незыблемо. Даже и там, где, по-видимому, Христово учение успело уже войти в плоть и кровь, стоит снять с языческих обрядов наложенные тонким слоем христианские краски, чтобы обнаружили черты древних языческих верований”¹⁶.

Выражая простонародное отношение к земле, Фёдор Достоевский писал: “Земля у русского человека правее всего, в основе всего; земля — всё, а уж из земли и всё остальное, то есть и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и порядок, и Церковь”. Писатель — не ради красного словца, а из великой любви к русскому простолудью — опрометчиво, ошибочно вознёс землю над Церковью. Церковь Христова — Дом Господень, — Божественная Вселенная, где небо — Престол Божий, а земля — лишь изножье Престола. Лишь изножье...

Русская Православная Церковь долго не на живот, а на смерть сражалась с обоготворением и одухотворением природы, понимая природу как Творение Божие: “не нарекутся богом стихии, ни солнце, ни огонь, ни источники, ни древа”. Праведная брань за крестьянские души породила благодатные плоды... Крестьянское осознание природы как Творения Божия нашло мифологическое выражение в великом произведении народной поэзии, повеличенном “Стих о Голубиной книге”.

*Солнце красное — от лица Божнего,
Млад светел месяц от грудей Божих,
Звёзды частые — от риз Божних,
Зори белые — от очей Господних,
Ночи тёмные — от опашня Всевышнего,
Громы — от Его глаголов,
Ветры буйные — от Его дыхания,
Дробен дождик и росы — от Его слёз...*

Постепенно из русской народно-обрядовой этики выветривался языческий мистицизм, и если иные заговоры обратились в стихийные народные молитвы, в поэтические обращения к Спасителю, к Царице Небесной, Божиим Ангелам, святым мученикам и угодникам, то и крестьянские обычаи, обряды, утратив древнеславянскую магию, обрели христианское звучание, и вместо языческих идолов покровителями земли, воды, лесов, дворовой животины и птиц становятся святые во Христе¹⁷. Святая Параскева Пятница — покровительница полей и скота, Святой Мамонт-овчарник — покровитель коз и овец; Святой Никита — гусятник; Святые Флор и Лавр — покровители коневодства; Святые Кирик и Улита — покровители кур; Святые Борис и Глеб — сеятели; Святой Прокопий — жнец; Преподобный Сергий Радонежский — покровитель вод и целебных источников.

Христианизации древнерусских обрядов и обычаев, связанных с поклонением природе — и, перво-наперво, земле, — очевидно, способствовал изначально и сам Новый Завет, из которого православные крестьяне, кроме Христовых заповедей, познали и то, что вочеловеченный Сын Божий, любя ближних, любил и окружающую Его природу, любил и ценил крестьянский труд, о чём свидетельствует даже сам язык Спасителя: образы в притчах Христа взяты из природы, из земледелия и рыболовства. “Уже бо и секира при корени древа лежит: всяко убо древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает и во огонь вметаемо”; “Емуже лопата в руце Его, и отребит гумно Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу, плевры же сожжет огнем негасающим” (Мф. 3: 10, 12). Вспомним и притчу о сеятеле зерна — Слова Божия: “Се изыде сеятель, да сеет. И сеющу, однаво падоша при пути, и приидоша птицы и позобаша ея; другая же падоша на каменных, иде же не имаху земли многи, и абие прозябоша, не имаху глубины земли. Солнцу же возсиявшу присвянуша: и зане не имеяху корения, изсохша: другая же падоша в тернии, и възде терние, и подави их другая же падоша на земли добрей, и даяху плод...” (Мф. 13: 3-8). Евангельская образно-языковая система — из природной крестьянской жизни.

С летами, в сиянии православной веры одухотворение, а тем паче обожевление земли меркло, словно ночная темь на алой заре; долго жила лишь обрядовая поэзия, подобная сказочной игре. Несмотря на отсветы и отзвуки безбожных языческих поверий, в земледельческих обрядах побеждает дух православного христианства. Боголюбивый русский крестьянин, отвергаясь поклонения матери сырой земле, без упования на Бога, без молитв Божиим Ангелам, Святым Христа ради не приступает к пахоте, севу, жатве. Молились Царице Небесной пред её иконой “Спорительница хлебов”¹⁸, Апостолу Филиппу, коего Спас испытывал, когда насытил пятью хлебами пять тысяч человек; молились праведным Иоакиму и Анну, Священномученику Харлампию, который даёт плодородие земле, Иоанну Предтече, Крестителю Господню, мученикам, благоверным князьям Борису и Глебу, Святым равноапостольным царю Константину и благоверной царице Елене, мученице Параскеве Пятнице, Святителю Тихону, епископу Амафунтскому.

Перед посевом крестьяне парились в бане, выгоняли из себя тяжёлый грешный дух, надевали в поле чистую посконную рубаху, чтобы чистыми были всходы. А накануне боголюбивые крестьяне молились в храмах, после исповеди причащались Святых Даров. “Сев и подготовка к нему как важнейшие мероприятия в жизни земледельца не совершались без особых обрядов: очистительных, запретных, охранительных и продуцирующих. Например, приготовленные для посева семена нельзя было есть, жевать, так как существовало поверье, что от этого хлеб может не взойти. Ничего и никому нельзя было давать взаймы, чтобы не передать удачу, счастье. Когда опоражничали закром, то в нём запрещалось мести веником из опасения, что в закроме будет пусто. Поэтому выметали в нём тряпкой. По сообщению К. М. Афанасьева (1888 г <ода> рождения), в с. Новая Брянь <...> запрягали коней, у икон зажигали свечи, клали начал (молились), просили у всех домашних: “Благословите”, – а те отвечали: “Бог благословит” <...> В зерна пшеницы клали яйцо, подсыпали куриный помёт и говорили: “Дай, Бог, на всякую долю – мне и птицам”.

По сообщению С. И. Жерлова (1888 г <ода> рождения), в Новой Бряни, выезжая на посев, совершали следующий обряд: “Зажигают свечи у икон и кладут начал, читают Богородицу – 3 раза, варят 7 яиц, из них 3 яйца раскладывают в семена, одно кладут на божницу. И оно лежит весь год, а остальные старшим в дому отдают. Приехав на пашню, кладут 3 поклона на восток. Это так заведено со старины, а зачем – не знаю” <...> В Тарбагатае, по сообщению А. К. Думновой (74 лет), в первый день сева разговлялись яйцами, а в семена крошили яйца, которые целый год пролежали на божнице <...>. В Архангельском, по сведению супругов А. В. и Ф. К. Куприяновых, в ярицу перед посевом клали три варёных яйца и вербу; сея, разбрасывали их по полю из первого мешка. Это делалось для того, чтобы “не было никакого гнуса и урожай был бравый”¹⁹.

Всё это живо видится, потому что так жили в старину почти все крестьяне, кроме тех, кои отлучились от земли и, скажем, привадились к охоте, рыбалке, мелкому ремеслу либо к отхожему промыслу.

Сергей Максимов запечатлел народно-православный земледельческий обряд, предшествовавший севу зерновых: “Поставлен на поле стол, покрытый чистой скатертью. На нём серебрится на солнышке водосвятная чаша, желтеют свечки и сереет большая коврига печёного хлеба. Перед столом полукругом стоят бородачи с иконами в руках, закрытыми полотенцами. Против них поместился священник с причтом, а за ними и весь этот народ, от чрева матери обречённый в поте лица своего снести хлеб свой. Молебен отпели: толпа зашевелилась и загудела, как пчелиный рой. Подали священнику севалку – лукошко с веревочкой, чтобы ловко было перекинуть её через плечо, – берёт он из неё горсть сборной ржи от каждого двора и ловко, привычной рукой разметывает зёрна по пашне. Затем идёт он краем поля, поперёк всех загонов, и кропит все полосы святой водой. И чью полосу окропляет, тот хозяин крестится, а иной ещё сверх того шепчет про себя, какую знает, молитву <...>.”

При посевах всяких сортов хлеба великую роль играет так называемая “благовещенская” просфора, которую крестьяне или получают кусочком из рук священника при раздаче в конце обедни антидора, или сами подают за евхаристией, чтобы вынули части за здоровье живущих и за упокой умерших. Просфору эту или кладут в сусеки, чтобы увеличить силу плодородия зёрен, или на дно лукошка-севалки и в мешки с зерном. По окончании же сева просфору делят между семейными и съедают <...>.

И нет сомнения в той святой истине, какая исповедуется всем русским миром, что “земля любит навоз, как лошадь – овёс, как судья – принос”. “Для того и кладут навоз, чтобы больше хлеба родилось, а полбу, чтобы людям годилось”. “Где лишняя навозу колышка, там лишняя хлеба коврижка”. “Какова земля, таков и хлеб”. О даровании же хлеба насущного на худых и холодных землях молят в умилении сердца и преклонив колена в церквах, в избах и на зелёных полях – на последних, когда показалась весёлая и радостная улыбающаяся зелень всходов. Широко и размашисто кладутся крестные знамения и во всю трудовую спину – поясные поклоны. Звонко, с восторгом разливаются голоса поющих молебен. Искреннее увлечение всех предстоящих очевидно: все настроены благоговейно. Но в то же время кто может поручиться за то, что если бы была своя воля действовать, то не вырвались бы

толпой бойкие бабы, не сбили бы священника с ног и не начали катать его по зеленым, а сами кувырнуться рядом, пожалуй, даже и с приговором: “Нивканивка, отдай твою силку, пусть уродится долог колос, как у нашего батюшки-попа волос”²⁰.

* * *

У матери сырой земли свой особый праздник: в Духов день земля именинница – от рассвета до рассвета никто не смел ни пахать, ни сеять, даже колупать носком чуни – и то было грешно: руки отсохнут, и ни жене чадородия, ни земле плодородия не видать, как своих ушей; и целовали землю – кормилицу, поилицу, утешительницу, – с молитвой становясь на колени.

“Весною, когда земля вступает в брачный союз с небом, поселяне празднуют в её честь Духов день; они не производят тогда никаких земляных работ, не пашут, не боронят, не роют землю и даже не втыкают кольев, вследствие поверья, что в этот день земля – именинница, и потому надо дать ей отдых”²¹.

В Духов день “по православным деревням обязательно служатся всенародные молебны. Народ собирается к часовням, толпится на площадках и окропляется святою водою не потому, что в эти дни совершаются молебствия по случаю избавления от бед, а потому, что в эти дни мать сыра земля бывает именинница. На Духов день, по объяснению, доставленному из Вятской губернии, земля потому именинница, что в этот день она сотворена (Господом. – А. Б.). Считается <...> грехом беспокоить именинницу, и крестьяне, нисколько не стыдясь и вовсе не скрываясь, припадают на колени и по нескольку раз целуют землю <...> на всей Руси великой крестьяне строго придерживаются правила, что в эти дни никто не смел ни копать, ни рыть ям, ни пахать полей. Делается это для того, чтобы не обидеть кормилицу-землю и чтобы не осерчала она, и без того своенравная и капризная, тугая на подъём и скупая на милости”²².

Ветхорусские крестьяне, по неграмотности не читавшие Священное Писание, а токо внимавшие батюшкам на службе либо, увы, вольным, легендарным, мифологическим толкователям Писания, вольно толковали и день рождения земли.

В Духов день крашенные луковой шелухой яйца, пролежавшие на божнице год возле пучка вербы, крестьянин зарывал в землю и, крестясь на восток, молился об урожае. Те же пасхальные яйца крошил в семенное зерно и запахивал их в первую борозду, чтобы градом не побил хлеб, чтобы ползучая и летучая тварь не заела, чтоб щедровитым уродился хлебушек.

Народно-православная земледельческая обрядовость породила и стихийные молитвенные обращения к Богу, Царице Небесной, Христовым Апостолам и Святым угодникам, пророкам, блаженным, страстотерпцам, святителям. Сергей Максимов в девятнадцатом веке записал со слов крестьянина мистический обряд – стихийно-молитвенное обращение к Илье-пророку, где уже нет языческого обожествления земли: “В некоторых местах (даже под самым г. Орлом), когда выходит засевальщик в поле, то, снявши шапку, молится на восток: “Батюшка Илья, благослови семена в землю бросать. Ты напои мать сыру землю студёной росой, чтобы принесла она зерно, всколыхала его, возвратила его мне большим колосом”²³.

* * *

Эпоха советского богоборчества, истребляя из русской души веру во Христа Спасителя, попутно истребила из души и мистическое поклонение матери сырой земле. Но на закате прошлого века, на заре грядущего, когда ожили православные храмы, стало оживать и очищенное от суеверий молитвенное отношение к земле – ниве хлебодной.

Вспомнилось близкое: после Рождества Христова и до Пасхи Господней мы, иркутяне, прихожане Михайло-Архангельской (Харлампиевской) церкви, готовились совершить паломническое путешествие в Забайкальский край, к землям бывшего Иоанно-Предтеченского монастыря. В Чикойских горах, на высокогорной елани, поросшей буйным разнотравьем-разноцветьем, век назад подвизался преподобный Варлаам Чикойский; там православные обрели его святые мощи. “Препояши мя, Господи, силою Твоею свыше на вся вра-

ги видимыя и невидимыя, и буди ми покров и заступление”, – в согласии с молитвенным правилом преподобного Варлаама мы и совершили паломническое путешествие.

По дороге посетили церкви Забайкалья, святые обители православного Прибайкалья – Свято-Троицкий Селенгинский монастырь и Спасо-Преображенский Посольский монастырь. Прибыли в старорусский купеческий град Верхнеудинск (ныне – Улан-Удэ), где прошли детство, отрочество и юность духовного вдохновителя и руководителя экспедиции протоиерея Евгения Старцева, настоятеля Михаило-Архангельской (Харлампиевской) церкви.

Из Верхнеудинска тронулись на Кяхту...

Вздыхая на таёжный хребет, в златоствольные сосняки, и за ветровым стеклом машины вольно распахивается Гусиное озеро; видятся в сизоватом мареве трубы Гусиноозёрской ГРЭС и сам город Гусиноозёрск, как и многие провинциальные города России, полвека назад богатый и процветающий, а ныне – лет двадцать назад – брошенный властями на произвол безжалостной судьбы и пребывающий в удручающем упадке и запустении. Изрядная часть трудового люда от бескормицы уковала, за гроши продав свои квартиры, другая часть перебивается с хлеба на квас, и дотягивают свой век пенсионеры. Вдоль степного берега озера, словно после бомбёжки, угрюмо чернеют остовы и печи разорённых дач. И далее – мать-сыра земля, ныне, как и по всей России-матушке, брошенная, заросшая травой-дурниной.

Весь паломнический путь мы беседовали с отцом Евгением о судьбе забайкальских приходов, кои мы посещали и где батюшка либо служил молебн, либо возглавлял крестный ход, либо проводил беседы по строительству новых и реставрации старых церквей.

От берегов Гусиного озера без привалов доехали до купеческой Кяхты, процветавшей в старые добрые времена, стоящей на известном всей России “чайном и шёлковом” торговом пути. Здесь батюшка служил настоятелем в Успенском храме, будучи одновременно настоятелем и нескольких сельских приходов – в сёлах Тамир, Ивановка, Кудара-Сомон, Усть-Кяхта. И о ту пору, и поныне, к прискорбию нашему, в забайкальских сёлах острая нехватка сельских попов.

Тамир? – древнематёрое русское село, словно чудом выплывшее из семнадцатого века... Улицы уставлены сплошь дородными бревенчатыми избами с рублеными фронтонами – явный признак старинного изысканного зодчества. И, может, потому, что деревня вытянулась вдоль широкой, насквозь продуваемой долины, усадеб едва коснулась гниль. Да и, слава Богу, хозяева обихаживали дедовские избы, отчего они и не ветшали, не вращали в землю-матушку. В отличие от других сёл и деревень, немного высмотрел я в Тамире брошенных усадеб, как мало увидел и нынешнего убогого новостроя; из поколения в поколение жили и живут многие тамирцы в могучих хороминах, рубленных дедами и прадедами.

О деревенской судьбе мы беседовали с главой сельской администрации, старостой здешнего церковного прихода Юрием Климовым. А судьба Тамира, как и прочих российский сёл и деревень, словно жизнь, когда хоть помирай ложись: молодёжь бежит из села в город притче, нежели в советские времена, ибо нет работы – почти все колхозы-совхозы рухнули. Доживают тоскливый век пенсионеры – мало-мальская пенсия есть на хлеб и чай, да огорожина и подворная скотина выручают. Иные молодые, коим некуда бежать из села, пьют беспробудно; как и во всех российских деревнях и сёлах, шинкарки, наживаясь на великом русском горе, бойко торгуют дешёвым контрабандным спиртом, в народе прозванном “палёный, катанный; палёнка, катанка”. Другие молодые пашут от темна до темна, не разгибая спины, дабы свести концы с концами; держат полное подворье скота: десять-пятнадцать-двадцать коров, тёлочек, бычков, с пятка, а ино и десяток лошадей, что летом пасутся в долинах рек, а зимой копытят на полях, где ветер выдувает снег. За тридцать лет супостаты, фармазоны, полонившие Россию, до нитки ограбили страну, и ныне бесом избранные с жиру бесятся, а простолюдые, тем паче крестьяне, с кваса на хлеб перебиваются. Но о том в ином очерке.

Речь шла о хлебе насущном, что круто позолен крестьянским потом; но и с духовным хлебом у нынешних крестьян разлад. А Господь рек: “Не хлебом единым будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божиих” (Мф. 4:4).

Хотя в иных районных и малых селах возродились церкви, где батюшки, чаще наезжие, служат Пасху Христову и великие праздники да от случая к случаю крестят, отпевают, исповедуют, причащают, соборуют, тем не менее народ деревенский не спешит в храмы Божии, приглядывается: не маскарад ли?.. В своё время крестьянский писатель Валентин Распутин сказал: де, сколь трудно было сельского жителя отлучить от Православной церкви, столь трудно будет снова его в церковь залучить. Помните, “Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдёте в Царство Небесное” (Мф. 1:3). Русские крестьяне – суть дети земли, с коими властям, мирским и духовным, и надо обращаться искренно, любя восхитительно и сострадательно, но и держа в крепкой отеческой руке, понуждая к добру где лаской, а где и таской. Деревенский люд, по-детски искренний, рядиться в Православие и фарисействовать не будет, а придёт в церковь, лишь поверив в полную душу в Отца и Сына и Святого Духа, в бессмертие души, в Царствие Небесное с раем и адом. Для крестьян, как в Благой Вести: “... Да будет слово ваше: да – да; нет – нет; а что сверх того, то от лукавого” (Мф. 5:37).

Покаюсь, за вечерней трапезой у тамирца Юрия Климова я, многогрешный рабичишка Божий, забыв о смирении, послушании, почитании священнического сана, вступил с отцом Евгением в перебранку, защищая нынешних крестьян, которые, увы, пока ещё проходят мимо сельских церквей: иные не в силах справиться с материализмом, который вбивали в их разум с отрочества, иные от лености души, иные от беспробудного пьянства. Справедливо укорял батюшка хмельных, ленивых, безбожных селян, а я оправдывал: бывший деревенский парень, жалел я несчастных сельских жителей, которых испокон русского веку ломали через колено – крепостное право, коллективизация и раскулачивание крепких хозяев, а когда селяне привыкли к совхозам и колхозам, обрета в них былую общину, когда расцвело село, власть жестоко порушила коллективные хозяйства, кинув крестьян на произвол безжалостной судьбы; и уйма крестьянских малосемейных дворов, отвыкших выживать единолично, погрузились в беспросветную нищету и пьяную тоску. Одыбаются ли село, вернётся ли в храмы – Бог весть... Одна надежда: сельские души, если и пустые, то чистые, не исписанные демонскими письменами мудрости мира сего, как у интеллигенции, когда уже нет вольного поля для Глаголов Божиих. Опять же, если интеллигенция приходит к Богу, читая духовные книги, то рабоче-крестьянское простонародье обретёт былую православную веру лишь по слову священника, а батюшка духом, душой, житейским образом должен быть достоин Слова Божия. Для русского простолюдья Бог, церковь, поп – едино, и приходской пастырь, желающий обрести паству, жаждущий, чтобы поучения его “падоша на земли доброй, и даяху плод...”, обязан и жить-то жизнью, близкой жизни прихожан с их заботами-хлопотами, с их радостями, с их нужей и стужей, и быть ещё и нравственным образцом в своём некорыстном, бесребренном, нелукавом служении Богу. Иначе простолюдьё лишь усмехнётся, слушая лукавого батюшку: *сладко в рот, да горько в глот; поёт добро, творит зло*; а грамотей и на Писание сошлётся: “Люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня” (Мф. 15:8).

Переночевав в селе Тамир, уехали в село Ивановка, где отец Евгений совершил молебен в строящейся сельской церкви, а потом возглавил крестный ход по ивановским полям, смертельно страдающим от затяжной засухи. И – воистину по молитве и Промыслу Божию! – когда наш крестный ход подходил к завершению, когда батюшка под хилое пение ивановских прихожан, смиренных на палящем солнце, освятил-таки поля вдоль семикилометровой дороги, разверзлись небеса Божии, и на посевы тёплым потоком хлынул дождь. Излилась благодать Божия на хлебородную плоть матери сырой земли.

* * *

Своя земля и в горсти мила... Уходя из деревни в чужедальние края, – в город ли, на отхожий ли промысел, на войну ли, – крестьяне брали зашитую в тряпичную ладанку родную землю: щепоть из-под печки, чтоб не забыть тепло и добро родной избы; щепоть из-под приворотной веревки, чтобы помнить ход на подворье; щепоть с росстаней дорог, чтоб не заблудить на жиз-

ненных путях и перепутьях и не забыть дорогу в родные земли. *“И никому-то не хотелось лечь на чужой стороне, всякий-то про свою родину думал и, умирая, слёзно молил товарищей, как умрёт, снять у него с креста ладанку да, разрезавши, посыпать лицо его зашитой там русскою землей. . . У меня одного ладанки с родной земли не бывало. . . И востосковалось же тогда сердце моё по матушке по России”²⁴.*

Не сдуру для слепого, хладнодушного исполнения древних заветов, не для лукавой потехи, а ради душевной утехи рядом с нательным крестиком в сумочке с ладаном — в ладанке — прела на груди щепотка земли: земля родимая, освящённая крестом и Христом, от всех бед и напастей *отворотит*, а странника избавит от сухоты-кручины по родине. Крестьяне, прости им Господи, в первые века после Святого Крещения ещё верили в *приворотную* силу и *отворотную*, как, увы, язычески одухотворяли и землю, наделяя ее самосвятостью. *“Третья (первое — небо, вторая — вода. — А. Б.), по старинному счёту, мировая стихия — земля — почтена наивысшим хвалебным эпитетом: с незапамятных времен она называлась “матерью”, и у всех народов, в том числе и у нас, русских, была возведена на степень божества”²⁵,* — писал народовед Сергей Максимов.

Обороняли и спасали душу лишь молитвы к Богу и Святой Троице, к Царице Небесной, Божиим Ангелам и Архангелам, ко всем святым, во Христе просиявшим. Не спасала земля, просолевшая потом в ладанке, не отводила шальную пулю, но крестьяне полагали: от иных напастей и оберегала, ибо не давала забыть отчую землю — землю *отичей* и *дедичей* — и, томя память светлой печалью, совестила, уводила от греха. А коль с грехом разминулся, то и горе, и погибель стороной пройдут, испугаются, яко чёрт креста с ладанкой. Эта же, плачеей оплаканная, намоленная землица напоминала о покинутой земле предков, о ждущих родителях, исподволь наказывала слезливым материнским шёпотом: ох, не лезь, парень, поперед батьки в пекло, берегись, сынок, не суйся лишний раз туда, куда не просят; себя не жалеешь, так нас пожалей, отца с матерью, — сам пропадёшь и нас по мирупустишь. Эдак святая, всемогущая сила земли русской, сила любовной памяти о ней спасала мужиков от гибели, от потери лица человеческого.

А вот другой, не менее распространённый обычай в крестьянской среде, поведанный Сергеем Максимовым, знатоком народных обрядов: *“Особенное отношение нашего народа к матери — земле сырой — выражается, между прочим, в так называемых земных поклонах. В старину русские люди при встрече с наиболее уважаемыми людьми кланялись до самой земли, касаясь до неё лбом, или, взамен того, ударяя оземь шапкой. . . Сын, дерзнувший оскорбить на миру мать или отца, обязательно целует землю после того, как произнесёт клятву, смотря в небо и перекрестясь троекратно”²⁶.* Бытовал и такой обычай: клялись на земле — щепоть её съедали в подтверждение данной клятвы, и уж не было твёрже слова, даже клятва на крови — и та не равнялась с земным словом. *“В старину на Руси вместо обыкновенной присяги долгое время в спорных делах о земле и межах употреблялся юридический признанный обряд хождения по меже с глыбой земли”²⁷,* — писал Александр Афанасьев, знаменитый собиратель русских народных сказок, автор выдающегося исследования *“Поэтические воззрения славян на природу”*. Воинственные древние русы чаще клялись на крови, а после Святого Крещения, клянясь, осеняли душу крестным знамением и целовали крест.

Долго крестьяне не расставались с древними *земными* повериями; до начала XX века выжил старинный обычай, когда супостатов, отвеку и поныне зарившихся на Русь, и татей дорожных, и тяжко прегрешивших пред крестьянским общинным миром, одолевши, заставляли грызть землю — молить прощения у матери сырой земли и у рода-племени, пуповиной сросшегося с нивой. Недаром было распространено и выражение такое, произносимое в сердцах: и как тебя, супостата, земля носит?! чтоб тебе провалиться сквозь землю!

Помянем былое: дымом и полымем исходила Москва, лилась кровь братьев во Христе, сиротливая, вдовья Русь коченела в сугробах от холода и гладя, и русские воители посулили французам в слезах и в сердцах: заставим вас, супостатов, землю грызть. И те грызли. Грызли землю, оледенелую и отчуждённую, скребя сорванными в кровь, отмороженными ногтями, — грызли и, может быть, каялись, просили у земли русской милости.

Крестьянская любовь к земле – целомудренно затаённая, дабы всеу не истрепать, светлая и нежная, подобная мужней любви к жене богоданной и чадородливой, – любовь сия выразилось даже в том, что в первой половине прошлого века, когда создавались колхозы, среди забайкальского крестьянства (и особо – среди старообрядческого) явились вдруг *сохачи*, пашущие землю лишь сохой²⁸.

В словаре Элиасова есть пояснение этого слова, вошедшего в забайкальский говор: “Сохач – крестьянин, отказавшийся пахать плугом, не признающий техники в сельском хозяйстве, приверженец сохи”²⁹.

Вероятно, забайкальскому сохачу-оратаюшке больно было... аж мороз по коже пробегал, и холодело под ложечкой... томительно было даже вообразить, как вонзятся тяжёлые железные плуги в мать сыру землю – словно в его собственную плоть, – изрежут, избороздят её, вывернут наружу глину, завалив животворный слой; тогда как соха – лёгонькая, деревянная, – по мнению сохачей, вроде не пашет, а ласкает, бодрит, расчёсывает нивушку.

“Как орёт в поле оратай, посвистывает, // Сошка у оратая поскрипывает, // Омешики по камешкам почиркивают...” Так пашет, а сказывая былинным слогом, орёт крестьянин Микула Селянинович, с силушкой которого не мог равняться и святорусский богатырь Святогор, а Илию Муромца, тоже крестьянина, оратай Микула посадил в карман вместе с борзым конем³⁰.

Соха ласкает нивушку... Со времён ли скифов-пахарей, или от эпохи древних русов и славянского племени полян сроднились наши пращурь с сохой из дубового корня, а потому и нелегко было от сохи махом и отречься; впрочем, семейские мужики, будучи расторопными и умудрёнными, первыми в Забайкалье стали пользоваться плугом – легче вздывать целину, тем паче на таёжных еланях и после корчевания леса.

Соха... Любомудрое, краснопевное русское крестьянство поклонялось сохе, пословино-поговорочно, загадочно выразив благодарственные поклоны: *Богу молись, крепись, да за соху держись; полюби соху, будешь с хлебом; кто ленив с сохой, тому весь год плохой; у матушки сошки – золотые рожки; держись за сошеньку, за кривую ноженьку; держись крепче сохи да бороны; было бы поле, найдём и сошку; веретеном оденусь, сохой укроюсь; соха кормит, веретено одевает, а подати на стороне; не давай коня в соху, не пускай жену в свахи; летела пава, села на припале, рассыпала перья по всему полю (соха, которая пашет); тулово рябино, хребет собольный (соха); баба яга, вилами нога: весь мир кормит, сама голодна (соха).*

Можно нынче драть нос перед ранешним сохачом, можно ухмыляться над его наивностью – мы долго над всем родным дедовским ухмылялись, даже лица покоробило, повело от вмерзших в лицо ухмылок, и лишь теперь, вспомнившие вдруг родство, спохватились, захотели приглядеться к дедовской жизни, да уж мало что видно; можно посмеяться над сохой и над сохачом-оратаем, словно над есенинским дуралеем-жеребёнком, вздумавшим угнаться за “железным конём” – паровозом, но грех забывать то, что движимы были сохачи-оратаюшки, как и приверженцы древних земляных обрядов, перво-наперво любовным, сыновним и дочерним поклонным отношением к матушке-земле. Впрочем, в приверженности к сохе имелся и резон: вспомним неглубокую, безотвальную вспашку в хозяйстве народного агронома Терентия Мальцева; вспомним его неодобрительное отношение к тяжёлой, убивающей землю в камень, грубой технике, к избытку химических удобрений; вспомним попутно и о щедрых урожаях на мальцевских полях. И таилось в страхе сохачей перед техникой и некое далёкое, скорбное предвиденье трагедий технической цивилизации, коя, хлебом-солью приветив антихриста, стремительно приведёт мир к концу.

Велика тяга земная...

Вспомнилось... Едва стоял снег, и на солнопеках стеснительно, робко пробилась младенческая травка, набухли почки, березняки потянулись голубоватым маревом, и гужом повалил народ из каменной духоты на лесные про-

сторы и дачи, что только-только проснулись от зимней спячки. Манит мать сыра земля – дивное Творение Божие... Закурились дымки на усадебках, поплыл горьковатый запах горелого листа, мурашами забегали дачники меж грядок, парников и теплиц, подкармливая землю перегноем и назьмом. Для пожилых дачников с их христорадной пенсишкой картошка-моркошка, и всякий овощ – ладное подспорье, с голоду не пропадёшь. Вижу диво: по лесному дачному проулку тихо шуршит лаково блестящая, похожая на майского навозного жука заморская легковуха – “Мерседес”, поди, – прикидываю я: коль сроду не держал в руках баранку, все иномарки для меня – на одну заморскую харю. Крышка багажника открыта, а в багажнике... навоз. Я, вечно мотаясь в садоводство на электричке, дивлюсь: имеющий эдакий лимузин мог бы запросто купить той же картошки-моркошки, тех же цветов садовых, ан нет – самому охота сеять, в земле ковыряться. Манит мать сыра земля... И видится: перелопатит мужик навоз из багажника в огуречный парник, истопит баньку, выхлещет березовым веничком устал и унынье и, не чужа плоти тихо ликующей душой, притулится к песенному застолью, и вдруг потянет дивом дивным явленное в душе: “Отец мой был природный пахарь, а я работал вместе с ним...”, и сквозь слёзную наволочь вдруг узрит испоконное: сизый туман пасётся в речной долине, а на солнопечном взгорке оратай Микула Селянинович листовичным корневищем раздирает целый под пашню, весело судачит с мохногим деревенским меринком, и вольный ветер гуляет в русской бороде, полощет холщовое рубище, бодря закомлевшую распаренную плоть.

Микула Селянинович... Да, не родилось на земле сословия сильнее крестьянского, ибо крестьянин несёт крест Христов... Илья Муромец³¹ – сын пахотного мужика Ивана Тимофеевича из села Карачарова, что под городом Муромом, отчего поганые да обезбоженные бояре дразнили Илию деревенщиной. Богатырь Илья Муромец в героическом русском эпосе – обобщённый образ русского народа: крестьянин по родове и духу, казак-шлемоносец по ратной службе, оборонитель Святой Руси, защитник вдов и сирот, а на склоне жизни – покаянный инок, замаливающий смертные грехи, скопленные в казачьей вольнице, и в глубокой старости – Святой, в Земле Российской просиявший, чьи нетленные мощи покоятся в дальних пещерах Киево-Печерского монастыря.

Будучи по роду-племени, по натуре до скончания века деревенским мужиком, Илья обладал исконным и законным правом молвить слово и сражаться от имени всего народа русского, который, напомним, ещё в начале двадцатого столетия на все девяносто процентов жил крестьянским миром и ладом. По чудесному исцелению, обретению богатырской силы былинный Илья Муромец – крестьянин-землепашец: корчует лес под пашню, выдирая дубы с корнями, удаляя громадные камни. В акафисте преподобному Илие Муромскому воспевается: “Силу великую почуяв в себе, Илие, испив чашу чудодейственную, яко мощи ти горы представляти и древа дубравная из земли исторгати, рече о сем странником, вопрошающим о явлении силы твоя, и в радости воспел Спасителю: Аллилуйя”.

Ведомо, могучностью Илью превосходили лишь Святогор и пахотный крестьянин, оратай Микула Селянинович. Святогор... его со стоном и слезьми носила на себе мать сыра земля... мог Илию вместе с конём посадить в карман, но даже Святогор не тягался с природным пахарем Микулой Селяниновичем. Да и какое там тягаться, Микулину сумочку переметную и ту...

*...не мог пошевелить;
Стал здымать обема рукама —
Только дух под сумочку мог подпустить,
А сам по колена в землю угрыз...*

Ибо таилась в Микулиной сумочке тяга земная, одному оратаю Микуле Селяниновичу подсильная. Недаром Божьи посланники, калики перехожие, напоившие Илию святой водой, и те упреждали богатыря:

*Не бейся с родом Микуловым,
Его любит матушка сыра земля...*

Грехи, тяжкие преступления в русском (паче старообрядческом) крестьянстве — преступления перед землёй: непочтительное, равнодушное, нерадивое отношение к ниве хлебодородной, к сенокосным угодьям и пастбищам. За эдакие грехи мужиков в Забайкалье *потчевали земляникой*, — нещадно пороли плетями. В словаре Лазаря Ефимовича Элиасова есть толкование сему слову: “Земляника — наказание крестьян плетями за плохое отношение к земле”. Для пушшего уяснения “земляники” можно прочитать и воспоминания забайкальских крестьян, приведённые в своей книге Лазарем Ефимовичем: “Выходит староста из соборни, — поминает крестьянин Орлов, — подходит к мужикам и говорит: кто сёдни должен землянику получать? — Вот им надо дать землянику. Хлеб у них на пашне наполовину осыпался”. А вот жалуется — жалуется, похоже, без обиды — другой забайкальский мужик — Катков: “Поугощали нас, бывало, земляникой. Мой-то отец землянику не получал, а его братанник четырежды штаны спускал”. Ещё обстоятельнее растолковывает дело крестьянин Кобелев: “Староста появлялся перед мужиками и говорил, чтобы Ивану или Поликарпу дать земляники. Землянику получали те мужики, что поздно засевали поля, с опозданием урожаем собирали”. “С полсотни земляник получишь, — вспоминает Меркушев, — так с месяц не присядешь”.

Что особо примечательно и поучительно для работников сельского хозяйства — *земляникой потчевали* за дурное отношение даже не к общинной земле-кормилице, а к частной, к той, кою мир отмежевал тебе под пашню, сенокос, пастбище. Если бы подобное наказание дивом дивным возродилось вновь, то скольким бы агрономам, председателям, директорам, а тем паче — сидящим повыше пришлось бы спускать штаны и ложиться на лавку в ожидании “березовой каши”³². Отведали бы, чем пахнет земляника, и иные учёные, и долго бы не садились за письменный стол и не писали бы жестоковывных бумаг, не спускали бы на безропотные мужичьи головы вредных инструкций. Даже я помню времена, когда у нас в районе на вечной мерзлоте велели сеять достопамятную кукурузу.

Нравственное отношение к земле среди забайкальского крестьянства впадало — по нынешним понятиям — и в крайности. Помню, ветхий старик из большой, расхристанной деревни толковал, что при размежевке мир не давал земли суразу — парню, *которого мать на меже подобрала и в подоле принесла*, — словом, в блюде прижила. Лихо жилось суразу, коль не ведал он богданного отца, родился от проезжего молодца; не солью посыпал — слезами поливал чёрствый хлебушек сельский обсевок, от чего и народилась горькая поговорка: “Что я в поле за обсевок?..”

— Но сын-то не виноват! — не внемля древнему старику, с молодой запальчивостью перечил я. — Сын-то за мать не ответчик!.. Дикость..

— Дикость, паря, али не дикость, Бог весть... — старик усмехнулся, — думали, другим девахам неповадно будет. Ты, дева, сперва подумай головой, какую ты жизнь ладишь нагулянному чаду, опосля грехи, коли греха смертного не страшишься. Тебе утеха любодейная, а суразу — маета пожизненная. Прикинешь, да, глядишь, и не станешь лишний раз подолом трясти, по кустам шастать. Лучше уж по-руськи, по-божецки, с венцом, тогда и чадо землёй не обидят. А за углом... — собачья сбегишь — снюхались, повязались, яко псы. Но, паря, бывалочи, ежли сураз путний, не то, что... в поле ветер, в заде дым, дак и отстаивал сход, и обсеvu земли давали.

Суровые, на теперешний взгляд, жестокие законы властвовали в крестьянском и, особо, старообрядческом миру: взять хотя бы *поругание* — старинный обычай у семейских, когда тяжко прегрешивший перед Богом, народом, матушкой землёй был *поруган* — опорочен на миру. Неверной девушке остригали волосы, изменившей жене брили голову, на вора набивали колодки, а уж про порку и речи нету — долго не чикались: согрешил перед землёй, перед миром — скидывай штаны и не разговаривай; отведаешь плетей или виц — наперёд заречёшься.

— Натерпелись мы поруганья от стариков; чуть что — сразу поруганье, вот и сраят тебя перед всем миром, — вспоминал со вздохом старик, а потом с ехидцей прибавил: — Зато теперичи браво: и девка гуляй, и баба хвостом трепли, и мужик воруй, не попадайся, — мир не осудит, старики поруганье не наложат. А уж за землю никто тебя не укорит, никто *земляники* не даст.

Так ещё до середины XX века русские народно-этические понятия *добрый, худой человек* основывались, прежде всего, на отношении человека к земле, и высшей похвалой было: *человек земляной, на крестьянскую колодку шитый*.

* * *

Ведомо, что среди российского крестьянства, а уж тем паче забайкальского, старообрядцы (семейские) выделялись непревзойдённым земледельческим талантом, а в основе таланта — азартное трудолюбие, крепкий домострой и сбережённый многовековой хозяйственный опыт. Замечательные книги написал о старообрядцах известный сибирский учёный-этнограф, доктор исторических наук, уроженец семейского села Большой Куналей Фирс Федосович Болонев, архивные материалы которого использованы в данном очерке. Так, в книге “Народный календарь семейских Забайкалья” читаем: “Семейские принесли в Забайкалье богатые трудовые традиции, многовековой крестьянский опыт, наблюдательность и смекалку земледельцев, прилежание и любовь к земле, стойкость перед невзгодами, деловой практицизм и трезвый расчёт...”³³.

Старосельские люди говаривали: не ведали бы счастья, да несчастье помогло. От насильственных переселений старообрядцы развили редчайшую способность осваивать землю под хлеборобную пашню даже в краях предельно рискованного земледелия, где морозы — за сорок и скудные, каменистые почвы. В 1772 году академик П. С. Паллас тщательно исследовал поселения семейских в Забайкалье и пришёл к выводу: “...Селенгинская страна и другие в рассуждении их обширности никогда не могут столь быть многолюдны и хлебом обильны, как другие сибирские места, не слишком к северу близкие, при этом везде сверх крутых гор по долинам и косогорам весьма каменисто или чрезвычайно песчано. Так что кроме кочующих народов, каковы бурета и тунгусы, никакому другому тут жить не можно”³⁴.

Но Паллас ошибся. Семейские не токмо прижились в “селенгинской стране”, но освоили под хлебородные нивы даже горные покати. Изучая дальше семейское крестьянство, Паллас уже пишет о том, что выведенные из Польши староверы “по лесистым горам не без малого труда и прилежания, но и не без желанного успеха расширяются. Оне имеют довольно хлебопашество (это уже через 6 лет после их поселения за Байкалом! — А. Б.), а жалуются только, что по подлежащим сенокосам немного для скота травы родится, которым напротив того оне уже довольно развелися...”³⁵. В этом же сочинении Паллас сообщает, что семейские первыми среди сибирского крестьянства стали использовать плуг, которым пашут “гораздо глубже и лучше коренья подсекают, нежели русскою сохою”³⁶. Соха добра на старых пашнях, а целик подымать малосильна, плугом сподручнее.

О хлебопашестве старообрядцев за Байкалом восхищённо отзывался и А. Мартос. Он писал, что оно достигло “высочайшей степени совершенства. Многие оратаи засевают хлеба по сту десятин. Рожь родится сам-десять, яровой хлеб обыкновенно — двадцать зёрен”³⁷. Заведение “польскими поселенцами”³⁸ устойчивого хлебопашества в Забайкалье необходимо было не только для того, чтобы прокормить себя: “...семейские должны были обеспечить Нерчинские рудники хлебом, в котором тогда ощущалась очень большая нужда”³⁹.

Хотя за Байкалом земли вдоволь, тем не менее, резали наделы строго, абы, перво-наперво, не утеснить бурятские роды (им с широкого царёва плеча выделяли по 80 десятин земли на душу мужского пола), потом — казаков (им — по 40 десятин), а уж крестьянам — по 16 десятин. Но если *сибирякам* (так семейские и “польские” поселенцы звали общеправославных, укоренённых в Сибири) могли дать и плодородные земли в долинах рек, то раскольников, случалось, загоняли на неудобьи, где трудно и помыслить о хлебопашестве. Коль у бурят оказалась изрядно доброй земли — долины, степи, тайга, — то семейские брали у них в аренду на 40 лет тайгу, и часть её разделявали под пашню.

Разумеется, освоение малопригодных для хлебопашества земель стоило семейским и огромного физического напряжения, и духовной стойкости, по-

скольку и тут власти, почитавшие их раскольниками, не давали покоя. Сообщая о старообрядческих пашнях, М. Геденштром пишет: “Бывший тогда селенгинский обер-комендант поручил одному майору отвести им под поселения земли. Сей, по ревности своей к Православию, ненавидя их, отвёл им леса и горы, предполагая усугубить их нещастие. Но благое Провидение неправедное усердие его обратило в пользу старообрядцев: с несказанным трудом расчистили <они> густые леса, и приобретённые пашни вознаградили их с лихвою... Лучшие пашни их расположены по высоким горам, и к некоторым из них можно достигнуть с трудом по крутой узкой тропе”⁴⁰.

Путешественники, побывавшие в староверческих селениях Забайкалья, писали о надсадном труде, о воловьей выносливости, благодаря коим возделывались земли высоко в горах, куда плуги, сохи и бороны завозили верхом на лошадях и где пахали в одну борозду. О сём писал литератор-публицист Н. М. Ядринцев: “В некоторых деревнях крестьяне сеяли хлеб на высоте 4 тысячи футов. Покосы бывали в таких ущельях, что сено приходилось вывозить верхом, связывая верёвками в охапки. И тем не менее, крестьяне облюбовали эти места за девственную почву... Благодать – чернозём 6 вершков глубины”⁴¹.

Приживаясь на забайкальских землях, семейские, хотя и жили скрытно, хотя и сторонились “поганистых” – патриарших сибиряков и бурят, – тем не менее, немало переняли из хозяйственного опыта у тех и других. Русские крестьяне, давно жившие бок о бок с бурятами и эвенками, возродили “баргутские каналы” – ирригационные сооружения, коими пользовались некогда обитавшие здесь народы. “...Многие крестьяне воспользовались древними инородческими каналами”, – писал Н. М. Ядринцев⁴².

Не только государственные мужи России XVII, XVIII, XIX веков и путешествующие этнографы, такие, как С. Максимов, но и знаменитые русские писатели Некрасов, Гончаров, Мельников-Печерский, Чехов с удивлением и восхищением писали о семейских крестьянах, которые обратили сухую степь и студёный горный камень в щедрую житницу и наладили в забайкальской тьмутаракани крепкое, красивое, мудрое житьё-бытьё.

Поэт Николай Некрасов с радостным дивлением описал Тарбагатай – большое семейское село в Забайкалье: *“Горсточку русских сослали // В страшную глушь за раскол, // Волю да землю им дали; // Год незаметно прошёл – // Едут туда комиссары, // Глядь – уж деревня стоит. // Риги, сараи, амбары! // В кузнице молот стучит. // Мельницу выстроят скоро. <...> // Вновь через год побывали, // Новое чудо нашли: // Жители хлеб собирали // С прежде бесплодной земли. // Так постепенно в полвека // Вырос огромный посад. <...> Как там возделаны нивы, // Как там обильны стада! // Высокорослы, красивы // Жители, бодры всегда, // Сыты там кони-то, сыты, // Каждый там сыто живёт, // Тёсом там избы-то крыты, // Ну, уж, зато и народ! // Взросшие в нравах суровых, // Сами творят они суд, // Рекуров ставят здоровых, // Трезво и честно живут, // Подати платят до срока, // Только ты им не мешай. // “Где ж та деревня?” // – Далёко, // Имя ей: Тарбагатай, // Страшная глушь, за Байкалом...”*

И. А. Гончаров, возвращаясь из кругосветного путешествия по Якутско-Аянскому тракту, встречался со станционными крестьянами. “Русские все старообрядцы, все переселенцы из-за Байкала <...> Не веришь, что едешь по Якутской области, куда, бывало, ворон костей не занавивал, – так оживлены поля хлебами, ячменём, и даже мы видели вершок пшеницы, но ржи нет. Хлеб – уже в снопах, сено – в стогах”⁴³.

Где в семье достаток, обрётённый праведным трудом, где крепок Домострой и чисты нравы, там и люди красивы не только душой, но и статью; и путешественники, этнографы, писатели восхищались: мол, девки и бабы семейские (“поляцкие”) красивы и дородны, напоминая донских и малороссийских казачек, а старики похожи на библейских пророков – все так и просятся на живописные полотна.

Ю. Д. Талько-Грынцевич, врач, археолог, антрополог и этнограф, познакомившись с раскольниками, сотни крестьян обследовав, пришёл к выводу, что семейские среди великороссов антропологически ближе всех стоят к исконному славянскому типу. Учёный “...нашёл в них выдающуюся по чистоте типа и сохранению народного культа отрасль великорусского племени”⁴⁴. С. Максимов отметил, что староверческие жёнки “поражают красотой лиц

и дородством тела⁴⁵. А декабрист Андрей Розен, побывав в старообрядческих селениях во время ссылки в Забайкалье в 1830 году, писал: “Избы и дома у них не только красивы углами, но и пирогами... а люди, люди!.. Ну, право, все молодец к молодцу! Красивы, не хуже донских, — рослые, белолицые, румяные... Всё у них... показывало довольство, порядок, трудолюбие⁴⁶. Подчёркивая, что и внешняя красота старообрядцев исходила из их нравственной жизни, Г. М. Осокин утверждал, что “ведя более правильную жизнь, не злоупотребляя вином, табаком, распутством, семейские дали краю крепкий, здоровый, сильный и красивый тип населения⁴⁷”.

Как ни утесняла раскольников государева власть, но и власть осознала, а иной раз откровенно признавала: ревнители *древнерусского благочестия* — духовно-культурный и хозяйственный цвет русского народа, о чём писал и П. И. Мельников-Печерский, будучи не столько писателем, сколько царским чиновником. Речь даже не идёт о том, что старообрядцы к XIX веку породили выдающихся купцов, промышленников, много содейвавших для процветания России. Похвальные слова семейским, с Божьей помощью и великим крестьянским талантом освоившим дикие забайкальские земли, звучали даже из уст Трескина, иркутского губернатора: “*Пример редкого трудолюбия, прилежания к хлебопашеству подают поселённые в Верхнеудинском уезде старообрядцы. Они поселены лет за сорок на местах песчаных и каменистых, где даже не предвиделось возможности к земледелию, но неусыпное трудолюбие их и согласие сделало, так сказать, и камень плодородным. Ныне у них лучшие пашни, и их хлебопашество составляет им не токмо изобильное содержание, но есть главнейшая опора Верхнеудинского и Нерчинского уездов. Начальство долгом считает обвести по всей губернии редкое прилежание, трудолюбие и общепользность крестьян-староверов Верхнеудинского уезда — Мухоршибирской, Куналейской и Урлукской волостей — и изъявить им за то совершенную признательность*”⁴⁸.

* * *

Семейские крестьяне — исконные хлеборобы, они несколько столетий выращивали на бесплодных, казалось бы, каменистых землях богатые урожаи пшеницы, ярицы, овса, ячменя, гречихи; а и в двадцатом веке забайкальские районы Бичурский, Мухоршибирский, Тарбагатайский, где основное население — семейские, почитались хлебными житницами.

Но семейские и прекрасные огородники, садоводы, отчего ощущается выраженная в говоре, обычае, обряде и наряде, хотя и далёкая, да немеркнущая, родовая связь с южнорусами — малороссами, белорусами. Паллас писал о садоводстве и овощеводстве староверов, переселённых всего шесть лет назад в Забайкалье: “Сеют здесь (в забайкальском селе Хилок, что на реке Хилке. — **А. Б.**) ярицу, также арбузы, кои по садам у поляков, так же как и около Селенгинска, хорошо удаются⁴⁹. Болонев Ф. Ф. в книге “Семейские” использует “письма о Сибири” учёного натуралиста-ботаника Иоганна Сиверса, который, путешествуя в Забайкалье в 1791 году, “отмечал, что “разного рода огородные растения, особенно белокочанная капуста, кое-где картофель, белая круглая репа, горчица, хрен, разные сорта лука, а также, конечно, гречиха вызревают здесь довольно хорошо... Много дынь и арбузов выращивается в деревне Усть-Кяхта, в 18 верстах от Кяхты, хотя вес их редко превышает 5 фунтов, но они, тем не менее, довольно вкусные. Точно так же преуспевают брюква, мелкая фасоль, огурцы и тыквы. Польские колонисты (*раскольники*. — **А. Б.**) пытаются разводить чечевицу и лён. <...> “Польские” и русские крестьяне (с. Урлук. — **А. Б.**), поселённые лет 30 назад, ввели земледелие и фруктовое садоводство⁵⁰”.

* * *

Автор сего очерка родился и вырос в забайкальской крестьянской семье, и коль речь зашла о семейских — знатных овощеводах и садоводах, — вспомнилась, живо увиделась давнишняя картина. Семидесятые годы обитал я в Верхнеудинске и, помню, на городском базаре торговали картошкой, домощенными огурцами, помидорами, луком бойкие семейские бабоньки и ста-

рухи в старинных русских сарафанах, запанах, повязанные цветастыми гарусными платками или в кичках. Наезжали жёнки с кулями и тальниковыми корзинами из городских предместий и ближних деревень — из того же, воспетого Николаем Некрасовым, Тарбагатайского посада. Как сейчас, дивясь, вижу длинные, похожие на огородные гряды, базарные ряды, заваленные овощами: в зазывно отпахнутых кулях ядрёная картоха, урождённая на сдобренных навозом песчаных землях возле сосновых боров, отчего и отменно крупная — хрушкая, не изрытая глазками и червоточиной, с шершавой кожейцей, рассыпчатая — чёрствая, не жидкая, не картоха, объеденье одно; а рядом — тугие, налитые забайкальским зноем, влажно поблескивающие, словно в предутренней росе, огурцы и помидоры; и под стать им — семейские бабоньки, крепко налитые — не ущипнуть, с певчим по-малороссийски либо по-сороцки частым, взвизгивающим, чудным говорком, — словом, семисюхи, как дразнили семейских коренные сибирцы за частый, вроде даже подсюсюкивающий говор, а заодно и, на взгляд простоватых сибиряков, за природную потаённость, скупость и вредность.

И — радостно дивило — все семейские на базаре, старухи, и пожилые бабы, красовались в ярких, цветастых сарафанах и пёстрых запанах, повязанных поверх сарафанов, отчего чудилось: бабы напялили ворох юбок. Головы венчались, опять же словно на малороссийский лад, цветастыми кичками. Зрелище дивное, сказочное... Лишь, бывало, глянешь на базар — душа радуется, ликует глаз от обилия зрелого овоща, от небесной, солнечной и цветочной яркости сарафанов и запанов, и слух увеселяется крикливым, но сочным, старинным говором, что сберегли семейские в чистоте и щедрости со времён царя Алексея Тишайшего.

Вельми поучительно для Иванов, презревших родовую память: по всей земле святорусской лишь старообрядцы до конца XX века облокались в исконный русский наряд: праздничный и обыденный; не пошло упрощённый, фестивальный — сарафан выше багрово набрякших колен, картонная корона на власах, — а подлинный, что бытовал в народе сотни лет и лишь в начале XX века по воле правящих супостатов утаился в сундуках. Тысячу лет эдак по-русски одевались, и вдруг застеснялись сарафана, косоворотки, простонародной речи, родного обычая и обряда...

И не для “машкарада” выражались семейские жёны и девки в стародавние сарафаны и запаны, не на посмеих крутили на косы затейливыве кички, а потому, что верно хранили устои предков. Недаром, отстаивая старинный русский сарафан, пели семейские девчата в довоенную пору:

*Я семейская была
И семейской буду.
Свой семейский сарафан
Сроду не забуду.*

Ветреная мода, упорно дующая с запада, выкидывала фортели один чуднее другого, и лишь перед семейскими жёнками мода никла: не попускались жёнки пестрорядными сарафанами, цветастыми кичками и... древлими обрядами. Но и в семейщине к концу двадцатого века исконный русский наряд — суть прикладное народное искусство — вытеснился безликим, безнациональным костюмом, словно железобетонные кубы заслонили солноликие избы.

И многоголосые, протяжные семейские песни, увы, потеснили вначале частушки-тараторки, потом — советские песни, а на закате прошлого века и вовсе — вопли нежити с Лысой горы. Хотя пение семейских, четверть века звучащее по радио, благоговейно слушал весь народ русский; а в начале XX века песни семейских, записанные Николаем Протасовым, высоко оценил Н. А. Римский-Корсаков, услышав в них “признаки древней чистой русской мелодии”. Песни, посланные Протасовым Римскому-Корсакову, были переданы композитору С. И. Танееву.

Теперь над дедовскими песнями, обычаями и обрядами может посмеяться и малый, нос рукавом утирающий: воздевай руки к небу, пой славу Богу, кланяйся земле — толку мало, удобрять надо. Верно, назымить надо, но и без поклонной любви к земле родится лишь дурнопьяная сорная трава. Земледельческие обряды — любовь к земле, ко всей Вселенной, Божиему Творению — любовь, воплощённая в народной поэзии, а уж из любви и рождается на земле всё живое, благолепное, ибо Бог есть Любовь.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Лебедев Л. Крещение Руси. Издательство Московской Патриархии. М., 1987.
- ² Там же.
- ³ Впрочем, сие лишь в былинном изложении сказителей.
- ⁴ Семейские – раскольники, сосланные в Забайкалье при царице Екатерине.
- ⁵ Рыбаков Б. Язычество древней Руси. М., 1987.
- ⁶ Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., 1982.
- ⁷ Болонев Ф. Ф. Духовная культура и быт русских крестьян-старожилов Юго-Восточной Сибири в XVIII – начале XX века (Семейские Забайкалья). Новосибирск, 1996.
- ⁸ Более подробно о сём в очерке автора “Семейский корень”.
- ⁹ Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах, собранное из потаённых старообрядческих преданий, записок и писем Церкви Сошествия Святого Духа на Большой Охте. М., 1890.
- ¹⁰ Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1865. Т. 1.
- ¹¹ Мотицкий В. П. Старообрядчество Забайкалья. Улан-Удэ, 1976.
- ¹² Там же.
- ¹³ Никольский Н. М. История русской церкви. М., 1930.
- ¹⁴ Щапов А. П. Русский раскол старообрядчества, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII веке и первой половине XVIII. – Соч., т. 1. Спб, 1906.
- ¹⁵ Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. Л., 1963.
- ¹⁶ Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С.-Петербург, 1903.
- ¹⁷ Подробно о сём в очерке автора “Русский обычай”.
- ¹⁸ Название иконе дано по благословию преподобного Амвросия Оптинского.
- ¹⁹ Болонев Ф. Ф. Народный календарь семейских Забайкалья. Новосибирск, 1978.
- ²⁰ Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С.-Петербург, 1903.
- ²¹ Там же.
- ²² Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С.-Петербург, 1903.
- ²³ Максимов С. В. Собр. соч. Т. 18. Неведомая сила. С.-Петербург, 1903.
- ²⁴ П. И. Мельников (Андрей Печерский). В лесах. М., 1989.
- ²⁵ Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С.-Петербург, 1903.
- ²⁶ Там же.
- ²⁷ Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., 1982.
- ²⁸ Соха – пахотное орудие типа рала у русских – с широкой рабочей частью (рассохой) из дерева, оснащённой двумя железными сошниками и железной лопаткой – полицей, и соединённой в верхней части с оглоблями, в которые запрягали лошадь. Главное отличие от плуга в том, что соха не переворачивала пласт земли, а лишь отваливала его в сторону. По сравнению с плугом соха требовала при пахоте меньшего тягового усилия лошади, но больших физических усилий и мастерства от пахаря. Глубина обработки почвы сохой – до 12 см. Соха использовалась для пахоты подзолистых почв в зоне хвойных и смешанных лесов, толщина плодородного слоя которых в начале XX века редко достигала 15 см. В русских письменных памятниках упоминается только с XIV в., однако применялась значительно раньше, о чём свидетельствуют находки железных сошников VII–VIII вв.
- ²⁹ Элиасов Л. Е. Словарь русских говоров Забайкалья. М., 1980.
- ³⁰ Далее из очерка автора о былинном Илье Муромце – преподобном Илие Муромском, Киево-Печерском чудотворце.
- ³¹ Подробно о сём в очерке автора об Илье Муромце.
- ³² Очерк писался в советские времена; а самочинных-самозванных правителей России конца XX – начала XXI не то что “земляничкой” угостить, мало на колы посадить: под корень извели российское сельское хозяйство.

- ³³ Болонев Ф. Ф. "Народный календарь семейских Забайкалья". Новосибирск, 1978.
- ³⁴ Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. СПб, 1772. Ч. 3. Половина 1.
- ³⁵ Там же.
- ³⁶ Там же.
- ³⁷ Мартос А. Письма о Восточной Сибири. М., 1827.
- ³⁸ Польскими поселенцами, поляками именовали старообрядцев, при Екатерине II переселённых с польских земель, кода Польша входила в состав Российской империи.
- ³⁹ Мотицкий В. П. Старообрядчество Забайкалья. Улан-Удэ, 1976.
- ⁴⁰ Геденштром М. Отрывки о Сибири. СПб, 1880.
- ⁴¹ Ядринцев Н. М. Раскольничьи общины на границе Китая. // Сиб. сб., 1886. Кн. 1.
- ⁴² Там же.
- ⁴³ Гончаров И. А. Фрегат "Паллада". Л., "Наука", 1986.
- ⁴⁴ Талько-Грынцевич Ю. Д. Семейские (старообрядцы) в Забайкалье. – Протоколы общего собрания Троицко-Кяхтинского отделения Приамурского отд. РГО. Кяхта, 1894. № 2.
- ⁴⁵ Болонев Ф. Ф. Старообрядцы Забайкалья в XVIII–XX вв. Новосибирск, 1994.
- ⁴⁶ Там же.
- ⁴⁷ Цитировано по книге: Болонев Ф. Ф. Духовная культура и быт русских крестьян-старожилов юго-восточной Сибири в XVIII – начале XX века (Семейские Забайкалья). Новосибирск, 1996.
- ⁴⁸ Цит. по: Болонев Ф. Ф. Народный календарь семейских Забайкалья. Новосибирск, 1978.
- ⁴⁹ Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. СПб, 17882. Ч. 3.
- ⁵⁰ Болонев Ф. Ф. Семейские. Улан-Удэ, 1985.

АЛЕКСАНДР МАЛИНОВСКИЙ

КРАСНОСАМАРСКИЕ РОДНИКИ

Путешествие в детство

1. Где же оно, поле?..

Подбил меня на наше неожиданное путешествие приехавший на лето из Москвы четырнадцатилетний мой внук Саша.

Слушая мои рассказы о сплаве на резиновой лодке от истока реки Самары до её устья, он загорелся:

– А давай махнём вдоль Самарки на велосипедах!

– Это ещё зачем?

– Испытаем мой новый велик!

– Там же бездорожье. Кругом всё заросло!

– Вот и хорошо! – воодушевился внук. – Пересечённая местность. Как раз то, что надо! Тут колесить вокруг дачки скупа...

И, не давая мне времени на раздумье, наступал:

– Вернёмся домой, отдохнём денёк и покатаем до села Богатое! Или дальше, к Бузулуку! Смотреть Бузулукский бор.

– Вдоль Самарки до Бузулука? – качал я головой. – Далековато!

У внука свои доводы:

– Я посмотрел по карте. Там асфальтовая дорога...

Я согласился на поездку до посёлка Красная Самарка. Внук, довольный, успокаивал:

– Разберём велосипед, положим в машину – и в Утёвку. Там переночуем, а с утра – в путь. Всего-то не более, как ты говоришь, пятнадцати километров. Доберёмся до моста под Крепостью, посмотрим родники. И обратно. Сам же говорил, что соскучился по ним.

“Действительно, – мысленно упрекал я себя. – В его возрасте от такого велосипеда и у меня бы дыхание перехватило. С каким удовольствием он поглаживает его чёрный руль! Как я в своё время шею резвого жеребчика”.

– Саша, куда? – когда рядом не было внука, тихо протестовала против нашей поездки жена. – Вспомни, как семь часов лежал под капельницей. Мыслимо ли? Не молодой уж...

– Мыслимо! – больше убеждая себя самого, отзывался я. – Одно дело – эта больничка, откуда вырвался, слава Богу, живым, другое – Самарка!

Через пару дней мы втиснули по частям разобранный велосипед внука в мою машину и отправились в село, в котором я родился и постоянно жил до восемнадцати лет – в Утёвку!..

Мы переночевали у моей сестры в Утёвке и рано утром выехали с заросшего травой двора через широкие жердяные ворота.

Решено было, заехав левее от села в Угол, точнее в Ясашный угол, подняться вдоль реки вверх до Крепости. Официально этот посёлок теперь называется Красная Самарка. Перебраться, если он ещё есть, по мосту на ту сторону реки. А там попить холодной водицы, насладиться родниковыми струями, бьющими из массивной кручи, уходящей вверх, к Бариновой горе, и вернуться к вечеру домой. Всего-то!

... Выехали на окраину села. И сразу оказались в Ясашном углу – пространстве между селом и речкой, разделённом надвое старым ветельником.

Ясашный угол! Я всегда любил это место. Со школьных лет знал, что до отмены крепостного права жители моего села, которому теперь поболее двухсот лет, относились к двум земельным обществам: Ясашному и Удельному. Удельные крестьяне платили все налоги князьям царствующей династии Романовых. А ясачные (в Утёвке говорят: ясашные) платили ясак государству. Вот этот ясашный люд и жил на краю села, примыкавшем к Самарке. В детстве здесь, на окраине сельской улицы, встречался я со знойным духом высокой золочёной пшеницы. Это было чудо! Песенное чудо! Широкий простор пшеничного поля, волновые приливы и отливы золотящейся нивы захватывали дух. В последние годы пшеничное поле было только слева от дороги и уходило бескрайне куда-то мимо села, на запад. Соединялось своей позолотой с небесной синью горизонта. Синее и золотое! Особенно волновало меня поле в пору созревания злаков, когда вдоволь солнечного света и властвует он над головой, проливаясь в волнисто-дремотное чудо...

Когда я был совсем мал, пшеница шумела и справа от дороги. Дорога шла по полю. И чтобы добраться до речки, надо было не менее версты пройти по этому чудесному уголку, где налитые колосья стояли вровень с твоими глазами. Забудешь ли такое!..

Едва мы, оставив мост и речушку Прыгалку справа, выскочили из села на простор, сердце сжалось. Где же оно, поле?

Не было золотящегося, волнующегося моря. Стоял поредевший ветельник справа, а слева вместо золотистого было серо-бурое пугающее пространство, заросшее всевозможными сорняками. Сорняк тут был как бы уже и не сорняк: полынь, берёзка, череда, репейник властвовали вокруг вольготно и безудержно. Становилось не по себе.

Озираясь, я машинально нажимал на педали. Дорога сама привела куда надо. Туда, где мы, ребята, купались, – к реке, на Искровскую купалку, обычно летом шумную и разноголосую. Теперь слева на подходе к купалке, на ровной площадке раскинулись ряды огромных теплиц. Я в замешательстве насчитал их двенадцать штук! Шесть рядов, по две длинных теплицы в каждом. Мы с внуком спешили, положили велосипеды сбочь от дороги на траву.

Теплицы стояли по левую сторону дороги, по правую была сторожка. Через песчаную дорогу от реки тянулась толстая тёмная труба – явно для полива.

Мы пошли в сторону теплиц. Всё исполнено было с широким размахом.

Помидоры в укрытии висели непривычно огромные для наших мест. Их было неестественно много, и кусты были в человеческий рост. Зелень и ярко-красные плоды напирали, ломились через полиэтиленовую плёнку наружу. В торцах теплиц, с обеих сторон, плёнка была приподнята, и там зелень и помидоры были ещё ярче и... вызывающими, что ли...

Потрогал одну помидорину. Она была тяжёлая и тугая, будто из чугуна. Внук последовал моему примеру. И тут же оценил.

– Во накачали! – удивился он.

– Что? – не сразу понял я.

– Помидоры химией накачали. Видно же, ненормальные. Кто их есть та-кие будет?.. Выперли!

Никого вокруг не было. Всё открыто, доступно. Так бывает у хозяина, который временно отлучился и который не опасается, что кто-то чего-то тут тронет. Как так? Он тут главный... Попробуй!.. Ощущение того, что этот "кто-то" очень уверенно, без оглядки, властно заполнил освободившееся, а вернее – бросовое поле, ранее звеневшее тугим пшеничным колосом, делало всю округу чужой, не похожей на прежнюю...

2. С подбитым крылом

Тут, где высокий обрыв и под ним пошумливает добравшийся сюда старым ветельником из широкой степи ручей, всегда было шумно от купающихся. Искровская купалка, знаменитая своей золотистой косой из мелкого сыпучего песка по правому берегу реки, всегда притягивала. Теперь песчаной косы почти не стало. Берег местами до воды зарос вездесущим осинником и многочисленными лопухами. С высокого берега река кажется уменьшенной, стиснутой берегами.

Когда спустились к воде, у коряжины поднялся рыбак. Обросший почти до глаз, как домовый... Но вроде знакомый... Машинально почти, занятый попыткой вспомнить, узнать, кто передо мной, спросил обычное в таких случаях:

– Клюёт?

– Какое тут клюёт?! Тарахтелку поставили как раз над моим прикормленным местом. Она! – он указал на насос у самой воды и солидную трубу, уходящую через дорогу к теплицам.

– Как же так... Раньше тут по-другому было...

– А вот так! Мы забросили, а они – прибрали. Кто прав? – Стариковские глаза рыбачка смотрели понуро.

– Кто “они”? – не понял я.

– Китайцы, – последовал ответ, – кто ещё?

– А кто разрешил?

– Кто ж в наше время что разрешает... Это мы сами всё творим. Сами себя... Чё на них-то пенять?..

Мы перекинулись ещё несколькими фразами. Когда уже поднимался наверх, услышал:

– Сашк, ты, что ли?.. Я ж Жека Давыдов! Не признал?..

– Ты ж на северах всегда был? – удивился я, вглядываясь в рыбачка.

– Был, да теперь нету. Все мои тут померли. А дом остался. Ну, и решился...

Я спустился к нему. Неожиданно для себя спросил:

– Помнишь ли, какое здесь было море пшеницы? – и махнул рукой наверх.

– Эх! Помню ли?.. Забыл, Маляк, что отец мой тут обычно косил пшеницу? А я у него помощником комбайнёра работал...

“Он и прозвище моё школьное помнит! “Маляк”, надо же...” – подивился я.

Если бы он не назвался, я бы не разглядел в приземистом косматом туземце своего бывшего одноклассника, ушедшего после седьмого класса учиться в ремеслуху. Мыкавшегося всегда где-то на стороне в поисках лучшей доли. После школы больше не видел его. А тут – встреча на реке!

С Женькой мы сидели за одной партой в пятом классе, вместе рыбачили на Самарке. Прибегали пораньше, часа в четыре утра, чтобы никто не видел, проверить подпуска, поставленные накануне поздним вечером. Азартным был Женька и неутомимым в рыбалке. А уж в настырности не было равных...

На какой-то момент при этой встрече Женька приблизился так, что вязко пахло перегаром. И я увидел совсем близко его... кроличьи глаза.

– Сашк, это... ну, дай рублей пятьдесят. Знаешь... по старой дружбе, горит...

На миг растерявшись, я суетливо полез в рюкзак за кошельком...

Когда мы уходили от Давыдова, я всё оборачивался. А он стоял и смотрел на нас молча, похожий на дремучий пенёк у воды. Или большую нахохлившуюся птицу с подбитым крылом.

– Увидимся ещё, – крикнул я. И не почувствовал от своих слов облегчения.

3. Прививки на реке

Этот благодатный участок реки от Искровской купалки до моста под Крепостью в детстве был нашим вторым домом. В нём жизнь текла по-особому: и на глазах родителей, и без них. Самостоятельная! Здесь мы, ребята, и дружили, и ссорились. Рыбачили с ночевой. Добывали себе пропитание.

Поречье подкармливало нас. Дикий лук, щавель, дикая мука, ягоды боярышника, черёмуха, ежевика, смородина, вишня, земляника — всё это в свой срок появлялось на заветных солнечных полянах, влажных луговинах, в сумеречных овражных зарослях... Мы знали эти места наперечёт и совершали туда мальчишеские вояжи. Всегда ватажкой, часто с забавами и приключениями.

Трудились вместе с родителями постоянно. Но находили себе забавы и приключения, которые и теперь, во взрослой жизни, не стёрлись из памяти. Наоборот, приобретая со временем особую прелесть, они хранятся в глубине сознания. И порой напоминают о себе, как отблески костерка, неподвластного никаким ветрам.

Вот по этому берегу реки, от Исковской милой сердцу купалки, мы и решили добраться до моста под Крепостью, до посёлка, теперь называемого Красная Самарка. Чуть выше него на правом берегу и бьют Красносамарские родники.

Кто заражён с детства сладким недугом — рыбалкой, тот поймёт прелесть встречи с родной речкой. Множество случаев помнят её берега, водица её! Помнят тебя, когда, подгоняемый неистребимой рыбацкой страстью, нетерпеливо сползал ты по песчаной круче с удочкой в руке. Помнят и твоих сверстников, которые теперь седовласые и важные и редко приходят сюда. Не забыли берега и тех, увы, кого уж нет.

Многого не было в детстве у нас. А река давала своё. То, чего порой не найдёшь даже в незаменимых для села клубе или библиотеке. Она давала изначальное чувство Родины! Это я теперь так формулирую. Река давала прививку на всю жизнь. Прикинул невольно: из тех, кто самозабвенно тянулся к нашей реке в детстве, не припомнил ни одного дурного человека. Через всю жизнь, не созная того,если они этот изначально заложенный добрый свет своих истоков, запас доброты. Река и растила, и воспитывала. В детстве мы все были ближе к земле...

Всегда, едва заговоришь о Самарке нашего детства, — светлеют лица. Пробивается это неодолимо в любую погоду и в любое время года.

Сколько раз я в детстве ходил по этим берегам? Сотни! Тысячи! А вот так проехать на велосипеде, заранее зная, что придётся продираться через заросли, по бездорожью, наугад, — впервые. Было десять лет назад нечто похожее. Тогда я сплавлялся от истока Самарки до города Самары с приятелями. Двадцать два дня сплава на рыбацкой резиновой лодке — это неповторимое по ощущениям и впечатлениям событие! Тот маршрут был в пятьсот километров, теперь — около пятнадцати со всеми зигзагами...

4. На речке Ледянке

Глядя из-под руки на речную гладь, внук спрашивает:

— Дед, ты рассказывал, что раньше весной баржи за солью доходили от города Самары до Домашки, а мне как-то не верится. И потом: в остальное время года как соль возили в Самару?

— Как? Почти от самого Оренбурга, от Илецкой защиты, в Самару везли соль по солевому тракту на лошадях, а потом уж по Волге-матушке на Север — для всей империи Российской. Когда в 1880 году построили железную дорогу между Самарой и Оренбургом, соляной тракт забросили... И река Самарка осталась как бы в стороне...

На Ледянке, чуть пониже мыса, где небольшой чистый песчаный бережок, двое весёлых крепких парней: дядька Сергей и мой крёстный Василий Лобачёв — вздумали однажды учить меня плавать. Остро помню явное несоответствие, поразившее тогда меня. Только что по сельской улице, по гусиной травке, к реке со мной шли чинно, рядом: крёстный — в военной лётной форме (он только что приехал на побывку) — и родной дядька. Оба спокойные такие, уравновешенные...

Когда мы шли по затравевшей, с гогочущими тяжеловесными гусями и пыхтящими утками улице, встречные смотрели на лётчика Василия во все глаза. И он приветливо улыбался. Теперь мне кажется, что он был тогда похож на Гагарина. И Юрий Гагарин потом, много позже, стал мне таким родным, может, от этой их похожести...

Всё было надёжно и спокойно. А тут вдруг эта их затея!

Я вырывался, улепётывал от них по сыпучему мелкому речному песку на безопасное расстояние. Но вновь оказывался в воде и в смятённом состоянии попадал под весёлую и бодрую их команду: “Плыви!” А дядька Сергей ещё добавлял совсем уж обидное: “Сухопутный пушкарь!..”

Барахтаясь, я пытался удержаться на плаву, сносимый быстрым течением искрящейся на солнце меж песчаных берегов быстрой Самарки. И на моё удивление – плыл! Да, плыл!

Выловив меня из воды, они тут же деловито вымеряли на мокром у воды песке, сколько я одолел. И вновь пускали меня в заплыв! Будто я – лодка. . .

Потом, отдуваясь, я сидел в тенёчке под бережно повешенным на рогульках из осинника лёгким кителем крёстного. Здесь, в этом тенёчке, любуясь кителем, тогда я и решил, что непременно буду лётчиком! Как мой красивый крёстный Василий!

Это было в конце сороковых годов прошлого века. Кто тогда из сельских мальчишек не мечтал стать лётчиком или моряком?! . .

Мне было в ту пору около пяти лет. Думаю так, потому что потом, года через два, ещё до первого класса, уже свободно переплывая Самарку, однажды спас своего младшего приятеля Кольку Зимина. При общей суматохе несколько раз нырял и схватил его за мокрый расплывающийся чубчик. Вытащил и молча поплыл на тот берег, горделиво ценя умение глубоко нырять, да ещё и с открытыми глазами.

О Колькиной судьбе задумался много позже, когда спасённого мной Кольку убили. Нашего непревзойдённого, неутомимого и весёлого игрока в чушки не стало. Не в лихие перестроечные это случилось, много раньше – в семидесятые. Уже двое сыновей росло у него. Шустрый был очень. Подался на Север за длинными рублями. . .

На Ледянке всегда было веселее и праздничнее, чем где-либо. Никогда не замечал здесь летучих мышей – этих пугающих карликов-нетопырей. Днём сновали тут над головой, исчезали в своих песчаных береговых норах и вновь появлялись то быстрокрылые стрижи, то элегантные золотистые шурки. Всем хватало места.

Ни в детстве, ни потом не видел я стрижей сидящими. Ни на земле, ни у воды. . . Они всегда летают. Всегда в воздухе, в полёте, в заботе! На лету они ловили, кроме мелких насекомых, и влагу, ловко хватая клювиками дождевые капли.

Отдыхают ли когда-нибудь стрижи? Они как наши деревенские родители. . .

Замечательные тут соседи у стрижей – золотистые изящные шурки. И стрижи, и шурки на Ледянке живут и теперь по соседству в песчаных норах. Однажды из любопытства мы с ребятами раскопали одну нору шурков – она оказалась длиной более метра.

Лёгкие в полёте шурки – такие же трудяги, как и стрижи. Одна беда – поедают пчёл.

В отличие от стрижей, шурки часто садились на ветки у земли, на сухие верхушки деревьев. То тут, то там кричат они своё: пуль-пуль-пуль. Будто подзадоривая друг друга!

Как я был поражён, когда увидел в норе шурка остатки добычи: кроме пчёл, ос, шмелей, там были и крылья шершней. Шершней! От которых в знойный летний день шарахался в сторону огромный сельсоветовский мерин Карий. Ай да изящные шурки!

Здесь, на высоком обрыве, и небо просторней, и берег приветливей. Без горемычных осин. Ледянка – излюбленное наше место в детстве было и для забав, и для рыбалки. Каменистый, остро выдававшийся почти до середины реки, словно клюв большой гигантской птицы, мыс Ледянки живописен и неповторим. В сужении реки он создавал сильный, с картавыми воронками, поток воды. За ним вниз по течению образовалась большая и глубокая заводь – соминая яма. И слышно было в июне-июле, когда прогреется вода, как на заре здесь клохчут сомихи. . .

На Ледянке, на просторной поляне, ежегодно проводились маёвки. Народ прибывал на бортовых машинах с песнями, празднично одетый. Гремела музыка, позвякивали у торговых палаток ящики с лимонадом. Неподражаемый голос Людмилы Гурченко выводил над речным обрывом песенку про пять минут. . .

И едва замолкала эта песня, возникала другая:

*Ландыши, ландыши,
Светлого мая привет...*

Всё было так органично и свежо. Стоило только шагнуть несколько шагов в тенистую чащобу — и сразу можно было оказаться среди хрустально позывающих в такт песне притягательных ландышей и сиреневых элегантных колокольчиков.

На этих массовках пел и мой приятель Володя Горностаев. У него был бас! Все знали, что он — наша восходящая звезда! После окончания школы его обещали взять петь в Волжский народный хор. Об этом знали в школе все. Но суждено было иное: Володя поступил в военное училище — захотел стать офицером. И уже лет двадцать, как его не стало.

5. Пять порций мороженого

Мы с Игорем Красковым, как и Володька Горностаев, тоже участвовали в художественной самодеятельности. Но не пели. Были ведущими, конференсье на всех выступлениях в Доме культуры, всеми признанными. До тех пор, пока впервые не поехали в город Куйбышев (ныне Самара) на областной слёт школьной самодеятельности. Мы должны были вести выступление, представлять наш хор, танцевальные номера, солистов. В отличие от многих, мы не особо волновались — уже поднаторели в этом деле. Легко импровизировали, иногда сами удивляясь своей лихости. Игорь вообще мог говорить одними стихами. Все знали: не подведём!

И всё-таки... Подвели нас с Игорем мороженое и сушки.

Возвращаясь из столовой, которая была совсем рядом со студенческим общежитием, где нас разместили, мы нашли на дороге прибитый ветром ли, ногами ли прохожих к дощатому забору небольшой свёрток. Помню, как быстро среагировал Игорь:

— Сань, это же деньги! Гуляем! Идём есть мороженое! Вечером репетиции нет. Тут хватит на десять порций.

Своих денег у нас было всего ничего, а тут... Резво повернули в обратную от общежития сторону, к Волге. Мороженое нам подвернулось на набережной.

Игорь малость ошибся: нам хватило на пять порций мороженого каждому и ещё на две большие связки сушек.

Мороженого в селе у нас не было никогда, а сушки, если и появлялись, то очень редко. Как можно устоять против такого соблазна!

Мы явились в общежитие, пред ясны очи переполошившейся из-за нашего долгого отсутствия пионервожатой Хохловой с сушками на шее.

— Где вы были? — металлическим голосом вскричала вожатая. — И что это? — она указала на связку, висевшую на длинной худой шее Игоря. У моего друга реакция всегда была неплохая:

— У вас ушки на макушке, а у нас на шее сушки! Ешьте, ребятушки!

И он клоунским жестом протянул рыжую связку подскочившим к нам ребятам. Все, смеясь, начали ломать и есть сушки.

На следующий день у нас обоих заболело горло и сели голоса. Мы хрипели, а не говорили. Вместо нас выступление вела строгая Хохлова. Было торжественно, но скучно. Не хватало всегда задорного, искрящегося на сцене Игоря. Призовое место мы не заняли.

Про приключение с мороженым узнала вся школа. Такой получился номер нашей с Игорем самодеятельности.

6. У Полоузного ключа

Полоузный ключ по весне от полой воды бурно оживал. А к середине лета он превращался в этом сумеречном месте в болото, или бучило, как говорил мой дед. Слабенький ручеёк, питаемый холодными родничками, вытекал из сумрака леса и, радуясь свету, встречался с Самаркой. У Полоузного ключа

ча всегда росли осины – громадные, с зелёной корой. А у самого обрыва стояли подружки осин – три ольхи. Вокруг заросли крапивы, в ней скрывались крупные ягоды смородины. Кусты и деревья увиты хмелем. Непролазная чащоба. Но мы через неё продирались. Там была у нас “тарзанка”. Была “тарзанка” и около озера Лопушного, на Лещёвом озере. Но здесь – самая классная.

Трос к наклонённой осине Колька Селезнёв привязал так, что он болтался другим своим концом над болотом. Чтобы “тарзануть”, трос сначала надо было подтянуть к себе длинной хворостиной. А уж потом, разбежавшись с ним по расчищенной площадке, махнуть на ту сторону болота. И разбежаться, и оттолкнуться надо было ловко и удачно. Иначе ты либо не долетал до крутого противоположного берега и повисал, ткнувшись ногами в обрывистую стену над чащей с тиной, либо пролетал мимо желаемого пятачка земли – и, как маятник, болтаясь над вязкой тиной, ожидал помощи с берега.

Часть тех осин обнаружилась внезапно, на первый или второй день после того, как мы побывали в лесу. Их привезли и свалили огромными кучами около клуба. Лежали осины – совсем недавно ещё живые трепетные шепотуньи, а теперь – странно, мёртво мерцающая зелёными тушками, обречённые стать топливом. На одном совсем не толстом бревне я нашёл потёртое место. Похоже, это была верхушка того дерева, на котором крепилась наша “тарзанка”. Я не мог спокойно ходить в школу мимо этого кладбища осин – пробирался задуми: оттуда их было не видно. А вскоре около клуба заработали пилы, застучали топоры – и осин не стало. Все они, расчленённые на поленья, к моему удивлению, уместились в небольшом приземистом деревянном сарае – туда их сложили на зиму.

... Полоузный ключ! Его ещё надо было преодолеть с нашими велосипедами! Мы решили взять вправо от реки, где топи обычно не было, – там каждое лето после водополя соорудалась песчаная насыпь.

Вокруг нас и теперь был лес, но без могучих осин. Вязы да вездесущие клёны захватили жизненное пространство. Был и осинник. Но разве похож он был на прежний... Несравнимо! И этот непролазный кустарник...

Я положил велосипед на песчаную обочину и пошёл туда, где мы “тарзанили”. Старался не шуметь. Помнил, как мы однажды обнаружили здесь лежащего в застоялой, но всё ещё подpiraемой небольшими родничками холодной тине рогача. Лось пытался спрятаться в бучило от жары. Сейчас на болоте было тихо, сонно, душно. Дремотно и диковато смотрело на меня зелёным оком сузившееся, похожее на корытце болото. Я чувствовал себя чужеземцем в этой чащобе. Туча комаров так обрадовалась моему появлению, что я поспешил на свет, к внуку.

“Тарзанку” здесь вряд ли кто теперь соорудит”, – мысленно отметил я. И тут же добавилось: “И такой ребячьей ватаги, какая гомонила на нашей улице, теперь не соберёшь со всего села...”

7. Сын двух отцов

Следуя логике воспоминаний, я подошёл к моменту, когда в пору сказать о моём отце Станиславе.

... К Лопушному озеру, чуть правее Ледянки, по рассказам мамы, она с моим польским отцом приезжала несколько раз на корове, запряжённой в рыдванку, за дровами. Мама собирала сушняк, а отец, как говорила она (это меня в детстве особенно поразило), валил без топора и пилы сухой. Так был крепок мой отец!

Всегда я помнил и отмечал это место, освящённое некогда присутствием моего отца, от которого на все мои следующие пятьдесят с лишком лет не осталось ни малейшего материального признака бытия. Кроме меня самого...

И мы с дедом Иваном ездили к Лопушному за дровами. И каждый раз при приближении к Лушкиной поляне я чутко вздрагивал – призрачное присутствие моего отца в этой луговине лишало меня душевного равновесия.

Подобное случилось со мной, когда я учился уже на первом курсе института. Я обнаружил в Самаре (тогда Куйбышеве) небольшой особнячок на улице Чапаевской. На укрепленной на его стене табличке значилось, что в 1941–43 годах в нём находилось посольство Республики Польша в СССР.

Первые дни после такого моего открытия я был сам не свой, несколько раз безотчётно приходил к этому дому. Здесь должен был бывать и мой отец – ведь он же оформлял какие-то документы, состоял на учёте, призывался в Войско Польское. Он был здесь! Этот дом, эти холодные жёлтые стены видели его... Он смотрел на них. Говорил что-то здесь. Смеялся. Мама говорила, что он был красивый и весёлый. Тогда, в эти дни, я пылко дал себе слово, что буду искать отца всю жизнь! Пока не найду! А если он погиб, попытаюсь как можно больше узнать о нём.

Сведений об отце было совсем мало: всего лишь имя и год рождения. Мама знала, что он варшавянин. Брак их не был зарегистрирован. Он – иностранец. Она – русская. К моменту, когда мой отец Станислав появился в Утёвке, от первого мужа мамы, Василия, призванного на службу в 1938 году, не было с фронта писем много месяцев. Комиссовавшиеся искалеченные однополчане Василий мотали головами, не веря собственному возвращению. По их словам, Василий Шадрин погиб при разгроме армии Власова.

Мама и Станислав, попавший в Россию вместе с отступавшими польскими войсками, стали жить в доме моего деда одной общей семьёй. И жили, пока не пришла его очередь. Призванный в Войско Польское в конце сорок третьего, он пропал без вести.

А рядовой Василий Шадрин вернулся после плена в 1946 году. Когда вернулся, стал мне отцом, и фамилию мне менять не стали.

Об этом я кратко писал в одной из своих первых повестей “Под открытым небом”, поменяв фамилию Малиновский на Ковальский. Мне тогда так мало было известно о моём польском отце...

По молодости я недооценил сложности поставленной перед собой задачи: найти отца. Я обращался письменно и устно куда только мог, и у нас, и за границей. У меня было очень мало сведений. Все поиски были безуспешны. Активно работая на нефтехимическом производстве и в науке, я до 2000 года побывал за границей по долгу службы более двух десятков раз. И всегда, где только было можно, пытался наводить хоть какие-то справки. Во Франции, США, Швейцарии, Германии были обнадёживающие знакомства с поляками, но увы... Последнее моё обращение было у нас – в адрес популярной телепередачи “Жди меня”, которую вёл Игорь Кваша. Не сработало...

Я уже было начал готовиться к поездке в Польшу, намереваясь методично, посещая костёлы в Варшаве и её окрестностях, попробовать отыскать хотя бы какие-нибудь записи. Одновременно помнил о гигантском, чудовищном разрушении немцами Варшавы. И костёлов в том числе. Но всё же... Это было похоже на намерение искать иголку в стог сена. А что мне оставалось делать?..

Помог случай.

Франтишек – польский инженер, учёный – вот кто свершил то, что не получалось более чем сорок лет у меня. Мой теперешний польский друг Франтишек оказался тогда, в 2004 году, участником научной конференции, проходившей на теплоходе, следовавшем по маршруту “Самара – Астрахань”. Моя дочь Юлия – одна из участниц этой конференции, узнав, что на пароходе будут трое учёных-поляков, взяла у меня на авось скудные сведения об отце, отпечатанные на одной страничке. Франтишек пообещал начать поиски.

И вот через два месяца после конференции держу с трепетом в руках присланную по электронной почте выписку из Центрального Войскового архива Польши: “Станислав Малиновский, сын Михайла, 1919 года рождения. Призван в Войско Польское во 2-й артиллерийский полк девятого сентября 1943 года. Служил до 19 ноября 1945 г<ода>. Звание: капрал. Национальность: поляк”. Всё в выписке разнесено по графам, с армейской чёткостью. В графе “Адрес постоянного проживания до ухода в армию” значится: “Куйбышевская обл., село Утёвка, ул. Центральная”. Всё сходилась! В графе “Семейное положение” с трепетом читаю: “Женат. Жена: Малиновская Катерина”. Всё так! Только имя мамы моей далёкий писарь несколько переименовал. Вместо русского “Катерина” записал латиницей “Катарина”. Это при том, что отец с мамой не были расписаны. Когда Станислава призвали в Войско Польское, она была беременна мной на четвёртом месяце. Оказалось, что Станислав участвовал в освобождении своего родного города – Варшавы, где проживали его мать, отец, старший брат. Уволен был в запас капрал Малиновский по ранению.

Вот тут-то, как рассказывал позже о своих поисках Франтишек, после увольнения следы отца затерялись. И тогда Франтишек, понимая, что возраст моего отца преклонный, методично, как я намеревался искать когда-то записи о рождении в костёлах, стал искать имя моего отца в списках захоронений на кладбищах.

Он нашёл могилу моего отца на старинном Брудновском кладбище. Рядом покоится вторая жена Станислава – Барбара. Чуть поодаль – младшая дочь Юола. Здравствующая ныне старшая дочь (моя сестра по отцу) Ханна рассказывала мне, что женитьба отца проходила, как ей говорили, скромно. Без белого платья невесты. И без венчания в костёле.

В середине августа 2005-го я, моя жена Лариса и мой внук Саша уже были в Варшаве. Я всегда, с самого раннего детства, представлял себе отца Станислава красивым, крепким и ладным – так выходило по рассказам моей мамы и бабушки Груни. Бабушка Груня первой сказала мне, что мой отец поляк, когда я спросил, почему у меня такая непохожая на утёвские фамилия.

И теперь не могу сказать, было ли педагогической ошибкой то, что она мне сказала? Или только так и должно быть... Но понимаю теперь ясно, что с того дня, когда я это узнал, по-иному стал глядеть на многое, что окружало меня: и обычно, как раньше, и как бы со стороны...

Глядя на отца Василия, получившего увечья на фронте, на его мужественное преодоление и нездоровья, и нужды, я всячески помогал ему. А где-то в глубине сознания сверкало: там, далеко, у меня ещё один отец есть, красивый и сильный! И мне ничего от него не надо. Нам не надо! Пусть хотя бы он живёт – красивым и сильным! Хоть ему повезло! В то, что он жив, всегда верил. А раз жив, то уж в Варшаве-то жизнь не должна быть такой тяжёлой, как наша... в Утёвке.

На кладбище Ханна рассказала мне, что в 1968 году, когда отцу Станиславу не было и 50 лет, около дома на автобусной остановке его сбили трое пьяных на автомобиле. Был суд. У отца оказались множественные переломы обеих ног. Около года он пробыл в больнице. В одну ногу ему ниже бедра вставили металлический стержень, на другую наложили двенадцать скоб. Ходить он стал только с костылём. Жена Барбара с горя заболела и вскоре умерла. Капрал Малиновский, прошедший почти пол-Европы два раза, туда и обратно, освобождавший Варшаву, получил увечье около своего дома. И прожил инвалидом 31 год.

Когда я это узнал, встали, как живые, перед глазами на костылях оба моих отца: русский и польский. И не сдержался я: там, у могилы отца, впервые за последние лет сорок внезапно заплакал. На глазах у женщин и у внука.

8. Руки матери, молитвы её...

Мама для меня всегда живая. Она была такой.

Я вижу её руки. Сколько они выдержали в жизни! Сколько переносили одних только вёдер с водой из колодца! Чтобы была вода в избе, чтобы напоить нас, напоить скотину... Мы все помогали родителям. Но столько было всяких забот...

В летнюю пору она вставала в четвёртом часу утра: надо было подоить и выгнать в стадо нашу корову-корову. И с этой рани дотемна, пока не вернётся корова во двор, пока она её не подоит, не угомонит всех нас, четверых ребятишек, хлопотала она по дому. А потом, когда мы подросли, стала работать ещё и уборщицей в клубе.

Руки мамы. Руки, отяжелённые непосильной, изнурительной работой. Они были у неё несоразмерно большими при её малом росте. Она и носила руки свои как бы отдельно от себя: чуть вывернув локти в стороны, отчего кисти рук висели ладонями назад, как у штангиста-тяжелоатлета.

И при этом она была такой весёлой! Часто смеялась. В облике её так много было светлого. Моя маленькая мама походила на большую птицу... Так порой в ней проглядывало голубиное... И этот её говор! Щебечущий, уютный. Мы, дети, редко когда слышали от неё окрик... Нам всегда хотелось ей помочь...

Когда она ложилась отдохнуть, то клала руки свои, как большие инструменты или механизмы, вдолгу туловища. И они отдыхали как бы сами по себе, отдельно от неё.

Руки у неё, как она говорила, часто “гудели”. От напряжения. Тогда мама ими мерно помахивала, не поднимая выше пояса. Успокаивала их так. Или готовила к новой работе...

Здесь, напротив Полоузного ключа, мама, не умеющая плавать, перешла вброд Самарку и перенесла меня через реку на руках, словно на крыльях, гонимая бедой. И в военное лихолетье от горя в неиспелелимой материнской вере и надежде на моё прозрение в Мало-Малышевском храме Святого Архангела Михаила окрестила меня.

И тогда, на мамином обратном пути в Утёвку, оказался как бы случайно калика-старичок, подсказавший, как лечить меня от слепоты — страшного недуга, оставшегося после кори. И она, многое уже перепробовав — от заговоров до настоев из голубинового помёта, — начала лечить меня заново. Настоем дождевых червей смазывала каждый день мои глаза... Наступили холода, земля замёрзла, и дядька Сергей стал добывать червей в погребах. И на удивление врачей, тех, которые из сельской больницы выписали (читай: вы проводили в своём бессилии) меня незрячим, я постепенно стал видеть.

Мама просветлённо и скупко рассказывала о том, как произошло моё выздоровление в тот раз. Будто опасалась расплескать, не сберечь в себе тихую радость и благодарность за данную ей благодать.

...В один из сенокосов, когда косили сено за Самаркой, у Малой Малышевки, я увязался за дедом. Во мне вспыхнуло неодолимое желание увидеть, как мама говорила, кипенно-белоснежный храм с колокольной в честь Святого Архангела Михаила. Долго ждал, когда мы с дедом поедem косить в Моховое — местечко, недалекое от Малой Малышевки...

Михайловский храм, в отличие от многострадального храма Святой Троицы в моей Утёвке, никогда со времени его постройки в 1836 году не закрывался для прихожан, оглашая округу радостным для души звоном. Разве что в 1884 году, когда он перестраивался. Тогда, как я знаю, его изнутри обшили оцинкованными листами. Церковь, мне об этом рассказывал дед, пытались потом в лихие годы не раз поджечь, но металлическая обшивка её спасала. Эти подробности узнал я уже много позже, став взрослым. А знала ли мама тогда, явившись со мной на руках перед ликом Архангела Михаила, главы святого воинства ангелов, стоящих на страже Божьего Закона, что она одна из многих тысяч, кто обращался к нему с просьбой об исцелении? Знала ли, когда молила за меня, незрячего, что Михаил Архангел почитается победителем злых духов, которые в христианстве считаются источником всех болезней, что он прославлен своими чудесами по всей Руси! И ему посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов? Возможно, и не знала, оставшись одна со своей бедой. Но преодолевая нелёгкие эти пятнадцать километров, несла в себе великую материнскую веру в поддержку Ангела Божия. С верой и надеждой пришла она в храм! Молилась в окружении “афонских икон” — списков со святых образов, выполненных в иконописных мастерских русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне и принесённых паломниками, побывавшими там на богомолье. Знаю: в храме есть копия иконы Табынской Божьей Матери! Иконы чудотворной, крестный ход с которой, по преданию, остановил в 1848 году эпидемию холеры в самом Табынске, а потом в почти вымершем тогда Оренбурге. Крестный ход с иконой Табынской Божьей Матери был самым продолжительным по времени и расстоянию в России!

“Разве могла я в своих молитвах оказаться не услышанной?.. А уж там как Богу угодно...” — эти слова мамы я до сих пор помню.

9. Кувалда прогресса

Совсем ещё недавно, лет пять назад, ректор нашего университета, двигая меня к чтению лекций по экологии, убеждённо говорил:

— Мы кабинетные люди, а вы с производства. Притом с крестьянскими корнями. Практик! Вот побольше и давайте вместе с академическими знаниями практических примеров из жизни. Что они видели? Ребятам всего по двадцать лет! Делитесь опытом жизни — вот увидите, они это ценят. Вспомните себя студентом! Экологизация мышления, экологизация образования и воспитания нужна! И экологизация технологий — вот что всех нас может спа-

сти! Экология – синтез всех наук, взятый на вооружение во имя спасения человечества! Вот где выход! А мы всё шаманим, спекулируя вокруг да около... Не боремся за природу, а только делаем вид! “Будить в человеке человека” – когда ещё сказано!

И я решил не “шаманить”!

За лето просмотрев более полутора десятков учебников, пособий, статей в научных журналах и в периодике, подготовил положенные семнадцать необходимых студентам лекций.

Даже написал одну сверх того, под названием “Искусство – среда обитания”. Дал душе отдохнуть на стихотворениях наших классиков, связанных так или иначе с природой.

Как я мог начать говорить в аудитории не с Фёдора Ивановича Тютчева?

*Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...*

...И пока писал лекции, всплыл в памяти уже забытый давнишний-предавнишний страшный случай, свидетелем которого я оказался в детстве, пятьдесят пять лет назад.

Тогда, помню, пришло время Манаковым резать быка. Отец послал меня отнести им тяжеленную кувалду – Захар Манаков просил. Я поволок свой страшный груз, пребывая в смятении от его предназначения, которое ему предстояло исполнить во дворе Манаковых.

...Приготовления были просты, и я их едва уловил. Наискосок по двору мелькнула жена Захара – молчаливая тётка Ганя, оставив около изгороди большое корыто, а чуть позже – ещё и таз с тёплой водой. Неопределённо махнув рукой, удалился со двора хозяин. Захар не мог смотреть, как забивают любую животину, а тут – бык-полуторник.

Похрустывая свежим ноябрьским снежком, в подшитых резиной серых валенках, в жёлтой добротной фуфайке (у нас в селе таких ни у кого не было, видать, армейская) дядя Ваня Слепушкин короткими крепкими руками прикинул на вес кувалду и удовлетворённо мотнул головой. Вершил он своё дело немногословно и сосредоточенно. Катался, как приземистый бочонок, по двору. Во дворе остались только дядя Ваня, пришедший с ним его порывистый сын Матвей да я – любопытствующий. Для меня такое событие было впервые.

Матвей вынул большой крепкий нож и держал его в руках.

– Воткни тесак в соху, – кратко сказал Слепушкин-старший. Матвей по своему быстро исполнил команду, вложив нож между двумя продольными рейками, скрепляющими штакетины.

...Быка вывели и привязали к сохе. Матвей встал рядом, притворно ласково поглаживая рогатую голову жертвы. Бык, настороженно пятясь, начал валить шаткий штакетник. Когда Слепушкин замахнулся кувалдой, я зажмурился...

– Нож, где нож? – услышал я голос Слепушкина.

Я раскрыл глаза и увидел, как он нашаривает провалившийся меж штакети тесак...

И глаз быка увидел – залитый кровью, с остановившимся взглядом...

...Заваливаясь на бок, животина несколько раз судорожно ударила копытом о мёрзлую землю, а потом утихла.

Остро запахло калом.

И тут случилось самое страшное. То ли дядька Иван намеревался отодвинуть тазик, то ли он поскользнулся, но, неосторожно приблизившись к возвышающейся, казалось, бездыханной туше, он попал под сильнейший удар, нанесённый последним судорожным движением задней левой ноги быка. Удар пришёлся в пах.

Слепушкин скончался, не приходя в сознание...

Так много прошло времени с той поры, а случай этот не забылся. И видится он мне теперь в несколько других красках, нежели в детстве. В более жёстких и трагических. Хотя вроде бы должен был я огрубеть за свою долгую жизнь.

Мы так давно уже усердно бьём по природе кувалдой! А она, хоть и усталая, истерзанная, потерявшая былую силушку, былую устойчивость в ногах,

скосив на нас налитый гневом и предсмертной тоской взгляд, не шарахнет ли напоследок в пах или куда ещё? Как в случае с Иваном Слепушкиным. Мало не покажется...

10. Калачики

Пожары тогда вспыхивали часто. В середине нашего села стояла около Приказного озера высокая деревянная пожарная каланча. Внизу её пожарная команда с конным выездом несла постоянно службу. Иногда нам позволяли подниматься на вышку. Но не всякому. Пожары тушили всем миром. Хозяин каждого двора знал, с каким необходимым предметом для тушения (топором, вилами, ведром) он должен был бежать на общую беду. Висели на домах специальные таблички с изображением таких необходимых предметов.

Дом Францевых стоял на невезучем месте. Не в ряду домов – на отшибе, сразу за нашими задами, перед самой гатью. На эту гать чего только не выбрасывали!

Мы жили уже не так голодно, как совсем недавно. Отцу вместо второй группы инвалидности дали первую, связав его увечье с участием в войне. Прибавили пенсию. Это случилось после смерти Сталина. Я это хорошо помню. Была уже теперь у нас на столе не только мелкая картошка в мундире и затируха.

С Ванькой Францевым мы учились вместе в четвёртом классе. У Францевых всегда нечего было есть – шаром покати. Отец умер год назад, мать болела.

... Беда случилась под утро. Потушить загоревшийся Ванькин дом не успели. Всё, что не саманное, сгорело. Ванька с матерью перебрались жить к полоумной, как её звали у нас, Паше-дурочке.

Паша-дурочка жила в мазанке на краю села. Когда мы, ребяташки, шли к реке, то всегда озирались, торопились поскорее прошмыгнуть мимо её мазанки. Было страшновато: то ли дурочка, то ли колдунья, кто её знает...

– Там никак Ванька в золе ковыряется? – спросила мама.

– Да.

– Сходи, позови его поесть, голодный, чать...

Когда мы вошли с другом в наш дом, Ванька деловито осмотрелся, будто был у нас впервые.

– Хорошая изба, – глядя под конёк на соломенную крышу, сказал он задумчиво. – Хоть и без потолка, зато просторная. Вот у тёти Поли Юрьевой – совсем маленькая. И пол земляной, глиной обмазанный. Позвала меня. “На, – говорит, – куртку Юркину, а то вырос и уехал. Тебе сгодится. Только смотри, чтоб мать не продала”.

Он говорил и говорил, Ванька, словно его что-то подталкивало к этому:

– Наша изба была тёплая, у неё и потолок, и пол были деревянные. А в сарае ласточки жили. Ласточата сгорели.

Мама стояла около затопленной голландки и задумчиво так смотрела на него.

– Мам, а мы будем есть? – спросил я.

– А что вам сделать? Калачики или рваньцы?

Меня удивил её вопрос. Вчера ещё у нас не было муки, а тут калачики! Вся последнюю неделю мы ели, и то не каждый день, картошку. Иногда с постным маслом...

Мама посмотрела на меня и улыбнулась.

– Калачики подольше делать, чем рваньцы. Но вы поможете?

Мы оба подтвердили, что готовы помогать. Рваньцы мама готовила так: брала кусок теста, отрывала маленькие шматочки от него и бросала в кипяток. Затируху она делала, растирая тесто в мелкие-мелкие затирки. И тоже бросала в чугунок с кипятком.

Мама варила рваньцы, калачи, затируху, если не было никакой начинки: щавеля, лука, вороняжки, картошки...

Мама всё умела делать быстро! И ходить, и говорить, и работать. “Самолёт”, – говорили про неё, улыбаясь. Она нарезала кусочками теста, а мы из них скатывали жгуты толщиной с мизинец. Соединил оба конца такого жгута в колечко – и готов калачик! Конечно, калачики хорошо есть с молоком. Но у нас коровы нет теперь. Как её держать?

Отец снова, как мама говорила, “угодил” в военный госпиталь. У него туберкулёз костей, и долго он дома не бывает, чаще лечится. Даже когда мой младший брат Петька родился, он не приехал. Не отпустили. Куда такого? Вся левая нога в гипсе, а на поясе корсет из толстой кожи с железными пластинами.

Мама вылавливает нам большой деревянной ложкой из чугунка в наши миски калачики. Каждому по пять штук! Ванька сильно и деловито дует. Он вообще всё сейчас делает деловито и собранно. Независимый такой.

“Погорельцы, погорельцы, — сказал он на днях. — Все нас жалеют вокруг, а сами же нас подождли. То ли золу с непотухшими углями не донесли до гати, то ли папироску кто бросил. Если б я знал, кто это сделал!..”

— Больно ты боевой, — говорит мама. — Не надо так на всех, это нехорошо. Кто-то один виноват.

Ванька будто не слышит её слов.

— Мы с мамкой в Ташкент уезжаем. Что тут делать? А там у неё тётка!

Не успел я удивиться такой новости, как Ванька произнёс:

— Вот наемся там селёдки. До отвала!

— А разве есть там, в Ташкенте, селёдка? — сомневаюсь я.

— Ещё какая! Её там ешь — не хочу! Море!

— Какое же море в Ташкенте? — покачивая головой, с грустной улыбкой говорит мама.

— Не море там, а море селёдки! — уверенно поясняет Ванька.

Мама больше не возражает. А я верю своему другу. Безоговорочно. Ванька у нас в классе “книгочей первостатейный”, — так про него говорит наша учительница Любовь Николаевна. Все знают, что он её любимчик. Мы уже к этому привыкли. Когда на чистописании учительница сердится, она начинает хватать тетрадки и бросать их с криком себе на стол или ещё куда. У Ваньки она ни разу тетрадь не схватила. Ни разу на него не закричала. Видно же, что он коряво пишет. Зато всегда больше всех обо всём знает. Не говоря уж об уроках. В классе мы зовём его “голова”.

Я смотрю на Ваньку и радуюсь, что у меня есть такой друг.

— Не только мне, и вам надо попробовать ташкентской селёдки, — убеждает Ванька. И продолжает: — Селёдка — это что?! У меня есть мечта! Пока не скажу, какая! В Утёвке про неё смешно говорить. А вот там, в Ташкенте...

Ни письма, ни посылки с селёдкой от Ваньки Францева из Ташкента не пришло.

Поначалу, в детские годы, я всё думал: что-нибудь да будет! Нельзя же так, как в воду... На следующее лето ласточки поселились в нашей сельнице. Мне так тогда хотелось, чтобы об этом узнал Ванька. Но написать было некуда.

И стал я верить, наивный, взял в голову, что объявится Францев. Прогрешит Ванька на всю страну как учёный! Не зря же все отмечали, что он “голова”... Да и он говорил про какую-то свою мечту...

Так никто и не осмелился после пожара построить дом недалеко от гати, на наших задах. Место, где стояла когда-то саманная изба Ваньки, заросло высоченной полынью. И мало кто теперь у нас в селе помнит эту странную фамилию — Францевы.

11. Неожиданная встреча

... Мы приближались с внуком к самому дремучему месту на левом берегу Самарки — к Урёме. Урёма — так я когда-то переназвал Кунаев ключ, который впадает весной в Самару на правом берегу, напротив. Там летом в овраге, заросшем ежевикой и смородиной, всегда пасмурно и жутковато. Эта его дремучесть как бы перекочевала на противоположный берег, в старый скрипучий ветельник. Вместе с его названием.

— Живёшь в своей Москве между кирпичных глыб. Много ли там увидишь? А тут лесная нетронутость. Порой необходимо одиночество, чтоб остаться один на один с природой... — так я говорил внуку, когда мы под горку съезжали в лесной полумрак.

Всего метров сто предстояло проехать нам под таинственным навесом деревьев, где впервые с дедом Иваном увидел я лося, а потом услышал странный голос неизвестной мне птицы. Прежде думал, что это скрипит какое-то

кривое и сухое дерево. Или едет кто-то за кустами на поскрипывающей несмазанными колёсами телеге. Оказалось, что так кричит птица дергач.

...Мы едва не столкнулись с ними. Они выскочили на середину дороги из-под навеса старинных вётел и вязов, прямо нам навстречу. Мы еле успели уклониться в разные стороны узкой дороги. Колючие ветки шиповника и боярышника остро царапнули по одежде, по рукам.

– Ничего себе! – обескураженно вырвалось у внука. – Лихо!

Вот тебе и Урёма! Никого нет?!

Китайцы, их было трое, на юрком мотороллере с тележкой бодро проскочили мимо нас. На подъёме у них там что-то произошло. Они соскочили на землю и в своих тёмно-синих одинаковых комбинезонах начали дружно возиться около жёлтенького притихшего чуда техники. На нас они не обращали никакого внимания, будто мы были в параллельных мирах.

– Это, наверное, те, что с теплицами... Разведку ведут, – высказал предположение внук.

– Возможно, – отозвался я уныло. В который уже раз усмехнувшись по поводу своей академичности преподавателя. Не я ли, проповедуя на лекциях студентам плодотворность сохранения традиции, опору на опыт и мудрость своих предков, ставил китайцев в пример. И в помощники себе брал их великого мудреца Конфуция:

“Если у тебя есть телега – сожги её, есть лодка – проруби в ней дыру... Ты должен сидеть на месте, слушать пение своих петухов, лай своих собак и растить своё поле...”

Пришло время, и сами же китайцы опровергают своей жизнью древних своих мудрецов. Что делать?..

В тот раз мы с внуком никого больше в Урёме не обнаружили... Всё будто попряталось от посторонних глаз. Чернолесье в Урёме стояло молчаливо-настороженное, затаившееся... Будто чувствовало чужаков...

Мы подъезжали к мосту. Справа, где-то совсем рядом, хоронилась Зимняя старица.

12. Сенокос

Это был первый мой сенокос с отцом у Зимней старицы. У отца после туберкулёза костей не гнулась в колене левая нога и срослись позвонки в пояснице. Ездить ему было нельзя. Ходил он медленно.

Чтобы нам косить у Зимней старицы, он вышел в тот день рано утром и пошёл пешком. Часа через два я выехал на велосипеде. Нагнал я его у ближнего конца озера.

Я понимал, какой необычный у отца сегодня день. Впервые за последние пять или шесть лет, которые он провёл в военном госпитале, взяться за косьбу!..

Отец настроил дома себе косу на особицу. Она была насажена под таким углом, чтобы можно было косить с прямой спиной. Он и мне приготовил косу особенную – облегчённую. Окосиво у неё – из тальника, и сама вся лёгкая, с коротким полотном.

Мама, наблюдая за приготовлениями отца, украдкой вздыхала. И была непривычно молчалива.

...И вот мы на месте нашего сенокоса.

У самой Зимней старицы травостой вперемежку с тальником, разнежившись, непроходимым заслоном перекрыл подходы к воде. Трава, не знакомая мне, не такая, как на красноталовой солнечной поляне: нет неподатливого пырея, не видно злого чертополоха – густая и тучная зелёная масса. Июньское тепло и приозёрная влага свершили своё дело.

...Но и здесь видны знакомые лица: меж кустов красуются кремевые метёлки таволги, чуть в сторонке забрёл в траву и остановился высокий мятлик. Всё окружающее было как бы в полусонной истоме: едва шевелит листочки свои сероватный осинник, стоят великанши-вётлы в три обхвата, за ними – сизоватая полоска озера. В тени вётел меж кустов нежатся в дрёме шёлковистые, выше пояса, травы.

Празднично взглянув на меня, отец принялся готовить косу. За ним и я.

В завадинке зашумели, захлопали крыльями кряковые утки. Я инстинктивно пригнулся, забыв, что не на охоте, без ружья.

Такого сенокоса у меня ещё не было.

Чётким, незабытым движением поймал отец пятку косы подмышку,uscoил её. Взялся левой рукой за самый кончик полотна, а правой полоснул по стали жёлтоватым, стёртым наполовину, ещё довоенным брусом.

Сбочив голову, отец прислушался... Вновь махнул правой рукой... И пошёл! Пошёл гулять по поляне чистый, тонкий звук ожившей стали. Новое вязовое окосиво, схваченное сыромятным ремнём, ядрёно растопырившись, нетерпеливо ждало крепкой руки хозяина.

Я, радостно дёрнувшись, достал свой новенький, не трогавший ещё жгучее лезвие своими жесткими щеками серый брусок.

Отпыхиваясь от комаров, отец шагнул в траву. Вначале короткими взмахами пробил себе маленькую площадочку, и уж на ней, встав, как приноровился загодя во дворе дома, сделал первый настоящий замах.

Всего несколько махов понадобилось отцу, чтобы он нащупал нужный ритм. Вначале отец учился косить как бы заново. Но уже на втором ряду он двигался, как отлаженный механизм. Левую негнувшуюся ногу он подволакивал за собой – она была словно подпорка, а правой, нащупывая путь вперёд, мелкими шажками совершал поступательные движения.

Я раньше не видел, чтобы так косили. Но как уверенно отец двигался! С остановками, с переступами, но неуклонно вперёд!

Как дружно ложилась высокая трава под его жёсткими взмахами! Влажная трава, если не брать помногу, поддавалась легко и мне. Мешали кусты. Коса, ныряя в гущину, тянула за собой валок за валком.

Отец, почувствовав мой взгляд, остановился. Обернулся. И я увидел, как сосредоточенное лицо его озарила радостная улыбка.

– А ты как, Сашок, думал?! Ядрёна кочерыжка! Всё идёт, как я и планировал. Я улыбался в ответ.

У отца столько разных непривычных слов. И всегда он вовремя что-нибудь да скажет по-своему...

Отцу нравилось, как всё ладно получается.

– Не пропадём теперь, – лицо его непривычно светилось.

Он ещё напористей стал наступать на высокую траву, раздвигая покосиво. Я следовал за ним. Звенели надоедливые комары. На Старице пошумливали вшивки и лысухи, порой подавали голос кряквы. А мы запойно косили!

И тут появился лесник. Он остановил свой мотоцикл у дороги наверху. И окликнул:

– Фёдрыч! Ты, что ли?

– Точно, он, – отозвался отец.

И остановившись, досадливо взглянул на человека в форменном пиджаке с дубовыми листочками в петлицах.

– А ты, – человек с листочками в петлицах махнул рукой в мою сторону, – обожди! Отдохни покамест... Не части.

Я пошёл к ветле, где стоял бидончик с разведённым родниковой водой кислым молоком, искоса наблюдая за обоими.

Отец, опираясь на черенок косы, медленно пошёл к дороге.

“Зачем он взял с собой косу, – недобро подумалось мне, – просто вместо бадика?”

Настороженно обошёл дерево и увидел их обоих вновь.

Они стояли поодаль от мотоцикла и о чём-то говорили. Слышно было, как лесник довольно рассмеялся.

Коса мирно висела на сучке сухого вяза рядом с форменной фуражкой лесника.

Когда, гроза всего местного люда, лесной начальник уехал, отец вернулся к нашему стану. Не спеша напился из белого бидончика. Прислонился спиной к огромному дереву. Над непокрытой головой его, над мокрой рубашкой звенело комарье.

– Чё, пап, он? – спросил я как можно небрежней. – Весёлый вроде такой.

Глядя задумчиво поверх моей головы в синюю глубь неба, отец ответил, как мне показалось, до обидного спокойно и... обречённо:

– Голос у него соловьиный, да рыло свиное. Сказал, чтобы я пришёл пособлять, отработать два дня...

– За что? – вырвалось у меня. – Ведь мы косим по кустам. Там, куда никто не ползет?!

– За что? За самовольство. Куда деваться? Земля-то кругом либо колхозная, либо лесничества. Ему для пособу семерых мало.

Я подавленно молчал.

– Схожу, – скорее, как показалось, успокаивая меня, чем себя, произнёс отец. – Куда деваться... Ядох*...

...Взяв косы, мы пошли в сторону валков.

– Что нос повесил? – обронил отец. – Весна придёт, не надо будет коро-ву за хвост поднимать! Что ещё надо?! Голова! Сенокос-то какой!..

Остановившись у самого тальника, отец произносит:

– Сашок, придётся наверх траву выносить. В кустах она долго не высохнет. Темнотица.

Я понимаю, о чём он думает: он таскать траву не сможет – и так еле ходит.

– Перетаскаем, – говорю я как можно беспечней, – раз уж взялись!

– То-то и оно, – откликается в своей обычной манере отец, – раз уж взялись...

13. Охранная грамота

На Крепостном мосту между утёвскими и крепостными ребятишками иногда возникали потасовки, но так, без особых последствий.

А сейчас мне вспомнился случай, когда в разборку вовлечены были взрослые. Дело было не на мосту, а на нашей утёвской улице.

В тот февральский метельный вечер я вышел из клуба, где только что шла репетиция отрывков из комедии “Горе от ума”, и направился домой. Около столовой, которая была совсем рядом с клубом, заметил стайку ребятни из Тягаловки – дальней нашей улицы, которая всегда славилась своими бедовыми обитателями.

У коновязи, меж лошадьми и санями, волной прошлись они... и быстро схлынули. Подались косячком в Зубарев переулочок. Нетрудно было догадаться, что они срезали поперечники или, по-другому, чересседельники – ремни, стягивающие оглобли на седёлке в конной упряжи. Эти ремни, будучи разрезанными вдоль на несколько более узких, хороши были для крепления коньков к валенкам. Коньков на ботинках тогда ни у кого в селе не было – их никто из нас даже не видел.

Много чего по глупости было сделано в детстве, особенно в азартной компании, но никогда я не резал поперечники и не одобрял тех, кто позволял себе это делать. И тому была причина.

Мой дед Иван шорничал: готовил хомуты, седёлки, подпруги, уздечки и всякую другую сбрую. Кроме того, он потихоньку – тогда это запрещалось – выделял овчины. К нему в дом часто приезжали мужики из соседних деревень – привозили шкуры для выделки. Он был нужен многим.

Я видел, знал, какого труда стоило изготовление сбруи. И потом, поперечник в конской сбруе, как ремень у штанов: далеко без него не ускачешь. А мужики, оставлявшие свои подводы у коновязи возле столовой, часто приезжали из дальних сёл.

Нужды резать чужие поперечники у меня не было: мой дед из всякой кожаной обрести всегда мог выделить мне ремни на коньки.

...Я едва миновал столовую, когда из неё вывалились трое подвыпивших, разгорячённых парней и направились к своим повозкам.

Понимая остроту момента – что сейчас они обнаружат пропажу поперечников и начнут искать злоумышленников, – я невольно ускорил шаг, намереваясь скрыться в переулке – там стоял дом моего деда. Я, кажется, сделал ошибку: не тут-то было – это только парней подстегнуло. В спину мне понеслось:

– Вон он! Врёшь – не уйдёшь!..

Я разом оказался в окружении.

– Верни ремни! – прозвучал грозный окрик одного из них.

– Я ничего не брал, – отвечая так, я попятился к забору, но тут один из них сзади крепко толкнул меня в спину. Я, стараясь не упасть, размахивая ру-

* Ядох – законник, дока (здесь – насмешливо).

ками, отлетел в сторону окликнувшего меня парня в бараньей шапке. Поймав меня кнутовищем поперёк груди, он резко отшвырнул тут же назад.

— Куда ты их выкинул, говори! Зверёныш!..

Они стали швырять меня от одного к другому, как мячик. Шапка моя отлетела в сторону. Я понимал, что всё это может кончиться для меня плохо. Но что я мог сделать? Тот, кто был в бараньей светлой шапке, два раза хлестнул меня кнутом. На мне была плотная стёганая отцовская фуфайка. Было не больно, но... Я испугался за лицо. Только что я играл пылкого Чацкого, жил на сцене. Нет, не на сцене — в большом московском доме, жил иной жизнью, далёкой и завораживающей. Там звучала непривычная музыка фраз, миллионом терзаний мучился бескорыстный Чацкий. Бился против лжи! Руководительница нашего драмкружка шумливо прямо на сцене хвалила меня, утверждая, что я будущий народный артист СССР. Не менее. А тут?

“А что, если он высекнет кнутом мне глаз, как случилось в пьяной драке между Васькой Забаштой и Минькой Коршуновым? Какой из меня тогда артист, с изуродованным-то лицом?..” — пронеслась в голове мысль.

Парень широко замахнулся. Я выкинул полусогнутую в локте левую руку вперёд, надеясь успеть перехватить конец ременного кнута перед лицом. И тут прозвучало хрипло и властно:

— Погодь чуток!..

Передо мной в сумраке, в метельной снежной пыли вырос кряжистый человек в тулупе. Он был намного старше остальных, в руках у него был кнут с толстым таким кнутовищем.

— Верни ремни, — сказал он голосом Лазаря Баукина, которого играл в фильме “Жестокость” Борис Андреев. Он произнёс слово “ремни” с ударением на первый слог. У нас так не говорили в селе. Мне такое произношение показалось диким, и весь облик этого человека — первобытным.

— Стёпка, сбегай, посмотри, где он шёл. Может, втоптал их в снег. А вы двое не дайте ему убежать.

Один из парней послушно метнулся в сторону.

— Ты воображаешь, что нам ещё до Крепости надо добираться? Без поперечников!

— Понимаю, — ответил я. — Но я их не резал.

— А кто? Говори!

— Не знаю.

— Как не знаешь? Ты же здесь шёл только что?

— Шёл. И что с того?

— А то! — рявкнул “Баукин”.

И тут я произнёс совсем произвольно слова, которые только что говорил на сцене: “Длитель споры не моё желанье”*. Как я ещё не сложил при этом театрально руки на груди?!

Он странно посмотрел на меня и задал вопрос, который враз всё изменил:

— Чево? Ты чей такой будешь?

И я произвольно, сам не зная почему, ответил:

— Рябцев.

Назвал не свою фамилию — Малиновский, а фамилию моего деда. Что могла ему такому сказать моя совсем не здешняя фамилия?

— Ивана Дмитриевича внук?! Не зря я подумал, что где-то тебя видел. Похож...

Он подошёл ко мне совсем близко. Из-под мохнатой шапки на меня смотрели дикие и умные глаза матёрого волка в человеческом облике.

— Верно говоришь, что внук его?

— Внук, — подтвердил я, почему-то смелея и чувствуя подобие доверия к этому человеку. — А они, — я мотнул рукой на стоявших рядом налётчиков, — дураки! Все, что ли, такие в вашей Крепости? Горе от отсутствия ума?

Это вылетело у меня безотчётно. И не успел я подумать о возможной реакции на слово “дураки” и остальное, как прозвучал его зычный голос:

— Отпустите его. Он не мог резать поперечники.

Парни расступились, а я всё ещё стоял на месте.

— Ничего нигде нет! Ни поперечников, ни ножа! — объявил, вернувшись, парень, которого называли Стёпкой.

* Слова Чацкого из комедии “Горе от ума”.

– Пошли к лошадям, – повелительно произнёс тот, который был старшим. – Там мерекать будем...

И первый тяжёлой походкой, широченный в своём огромном бараньем тулупе с большущим воротником, зашагал в сторону столовой. Ремённый кнут волочился за ним по снегу...

Оставшись один, я нашёл свою шапку, втопанную в снег, и направился туда, куда мне было надо: в дом к моему деду, имя которого для меня, его внука, стало охранной грамотой...

* * *

Пора заканчивать мои сентиментальные записки о нашем с внуком неожиданном путешествии! Он и в это лето приехал к нам и агитирует меня повторить нашу прошлогоднюю вылазку на велосипедах, но удлинить маршрут до самого Бузулука, как он задумал ещё прошлым летом. Что ж, можно...

Вот только с болячками разберусь...

АЛЕКСАНДР ВОДОЛАГИН

“НОЧНАЯ ГОСТЬЯ” ТУРГЕНЕВА

Интеллектуальное общение людей мыслящих нередко выходит за пределы их межличностных отношений и становится многозначительным фактом духовной жизни эпохи. Так, казалось бы, мимолётный обмен мнениями в частной переписке А. И. Герцена и И. С. Тургенева взбудоражил полтора века тому назад всю думающую Россию. Правда, случилось это лишь потому, что один из друзей решил сделать некоторые свои мысли, высказанные в ходе полемики, достоянием общественности и опубликовал их в виде серии статей в подрывавшей устои империи газете “Колокол” под названием “Концы и начала”. Игнорирующий духовно-исторический контекст читатель не поймёт даже первой фразы развёрнутого ответа Тургенева Герцену – фразы, с которой начинается роман “Дым”:

“10 августа 1862 года в четыре часа пополудни в Баден-Бадене перед известною *Conversation* толпилось множество народа”.

Что бы значила эта необычная для Тургенева-романиста хронологическая точность? В связи с чем писатель, работая над романом, в 1867 году вспоминает упомянутую дату? Что случилось за пять лет до этого 10 августа? Да ничего не случилось! Просто именно 10 августа 1862 года Герцен написал третье (из возникшего цикла) письмо, на которое Тургенев и отреагировал созданием романа “Дым”. Прочитав первые два послания друга, он, видимо, ещё себя сдерживал. Третье, похоже, оказалось последней каплей. Но “начнём сначала”, как говаривал Герцен. “...Лёгкие пени на тебя, – писал ему Тургенев 27 августа 1862 года, – за то, что ты мог подумать, что твои две статьи (“Концы и начала”) могли меня рассердить. Я их только теперь прочёл (и, принимаясь за чтение, даже не подозревал, что они ко мне обращены, – потом скоро догадался) и нашёл в них всего тебя, с твоим поэтическим умом, особенным умением глядеть и быстро, и глубоко, затаённой усталостью благородной души и т. д., но это ещё не значит, что я с тобой вполне согласен; ты, мне кажется, вопрос не так поставил”¹. О каком же вопросе речь? Откроем “Концы и начала”.

По ком звонил герценовский “Колокол”?

“Будь уверен, что я вполне понимаю и твой страх, смешанный с отвращением перед неустройством ненаезженной жизни, – писал Герцен, – и твою привязанность к выработавшимся формам гражданственности, и притом к таким, которые могут быть лучше, – но которых нет лучше”².

Именно тургеневская привязанность к “формам западной жизни” как наиболее комфортным и отвечающим “эстетическим потребностям развития че-

ВОДОЛАГИН Александр Валерьевич — доктор философских наук, профессор. Член Союза писателей России. Автор книг “Метафизика воли” (2012), “Оливьева” (2000), “Ворох, или Играющий с огнём” (2010) и др.

ловека” настораживала Герцена, вызывала у него подозрение. Характерный для западного духа аполлонический **культ формы** нашёл свои самые яркие и впечатляющие выражения в области искусства, где действительно некие последние цели — *концы* — уже были достигнуты. Достаточно упомянуть имена Данте, Шекспира, Рембрандта, Моцарта и Гёте, что Герцен и делает в своём первом письме. Но все они принадлежат прошлому. Если же говорить о настоящем, приходится признать, что оно не только демонстрирует немощь в сфере формотворчества, но, более того, поставило под вопрос сам принцип организующей жизнь формы. “Где же новое искусство, где художественная инициатива? — вопрошает Герцен. — Разве в будущей музыке Вагнера?”³ Для него было очевидным, что Запад вошёл в такую фазу исторического бытия, когда определяющим оказывается совершенно иной принцип⁴ и, соответственно, опекаемое Аполлоном искусство с его мистериально-мифологической основой отходит на второй план, делаясь почти ненужным новым хозяевам мира: “Искусство чует, что в этой жизни оно сведено на роль внешнего украшения, обоев, мебели, на роль шарманки; мешает — шарманчика прогонят, захотят послушать — дадут грош...”⁵. Эстеты, ищущие спасения от экспансии *вульгарности* в искусстве прошлого, оказываются *дезертирами действительности*⁶ и, в конце концов, впадают в довольно-таки пошлый гедонизм⁷. Герцен, видимо, опасался, что и его “любезный друг” Тургенев, даже в облике своём воплощавший аполлоническое начало, рано или поздно окажется *лишним человеком*, подобно одному из своих персонажей. Нужно заметить, опасение не напрасное: Тургенев и сам испытывал в конце 1850-х годов беспокойство относительно собственного статуса и миссии в духовной жизни своего времени⁸, беспокойство, которое, по его словам, как *дым*, бродило в голове⁹ и, возможно, мешало видеть что-то самое важное в текущих событиях. Но, как известно, *нет дыма без огня*. Можно предположить, что **дым, заставлявший глаза Тургеневу**, был порождением “глухого и неугасимого огня”¹⁰ западничества, силу которого испытали на себе почти все русские гегельянцы. Речь об “огне негации” — отрицании безобразной, хаотичной жизни ради того высшего смысла, который может быть привнесён в неё космическим Умом-Логосом, *мировым духом*, без чего она остаётся абсурдной, невыносимо пустой и тягостной для мыслящего человека¹¹. Тем не менее, Герцен (как Толстой и Достоевский позднее) занял позицию безоговорочного приятия *живой жизни* во всей её иррациональности, став апологетом слепого *чувственного порыва*, морочащего народы, пьянящего и сводящего с ума *людей рефлексии*. У Тургенева было более сложное отношение к этой тёмной, дионисической стихии космического психизма: к восхищению художника и поэта примешивались почти ветхозаветные *страх и трепет*, а также *человеческая, слишком человеческая* боязнь “прекрасной индивидуальности”, сознающей свою брэнность и беззащитность перед напором *чудовищной мощи негативного*, испытывающей ужас перед “истребительной работой” Природы, которая “создаёт, разрушает”¹². Герцен же видел в тургеневской привязанности к выработанным Западом формам бытия лишь мещанскую боязнь “неустроенности”, беспорядка, поэтому-то и “вопрос не так поставил”. Иная постановка вопроса о “концах и началах” была предложена Тургеневым в романе “Дым”, не лишенном скрытого гностического подтекста. Этот трудно уловимый мистический подтекст поспешно осуждённого и забракованного современниками романа следует искать не в отголосках занимавших их поверхностных, идеологических распрей, но в самом поэтическом повествовании об играющих нами (*смертными*) силах, в изображении борьбы этих сил, оккупирующих человеческую психику, в описаниях противоборства аполлонической воли к форме, красоте и порядку и дионисического влечения к хаосу, *изначальному безобразию* и беспорядку. В романе “Дым” был поставлен мысленный эксперимент: “русская душа” (Литвинов), казалось бы, уже сделавшая свой аполлонический жизненный выбор, испытывается падением в дионисическую бездну губельной для неё, смертоносной любви. **Изображение человеческого бытия “в модусе падения”** и придаёт роману философское звучание.

В своей полемике со *жрецом Аполлона Гиперборейского* Тургеневым Герцен, изменив гегельянству своей молодости, явно отказывается от веры в упорядочивающий мировую жизнь Ум-Логос и делает ставку на **пробуждающийся хаос “тёмных влечений”**¹³, то есть на дионисическую стихию бессознательного *жизненного порыва*. Эта его радикальная переориентация была

спровоцирована событиями европейских революций 1848 года, в ходе которых аполлонический **принцип организующей формы** был окончательно приватизирован сословием лавочников, торгашей, *мещан* – этим воплощением лишенной даров духовных *посредственности*, и обнаружилась “какая-то пустота демократической мысли”¹⁴. Будучи безразличным или даже враждебным по отношению к *бесполезной красоте*, овладевшее миром мещанство (“толпа сплоченной посредственности”), тем не менее, не прочь воспользоваться и художественно-эстетическим наследием прошлого в своих, чисто утилитарных целях, сознавая при этом, что “красота, талант – вовсе не нормальны”¹⁵. В условиях установившегося на Западе “господства мещанства” у *сильно обозначенных личностей*, оригинальных умов, людей искусства нет будущего, – пытается Герцен довести до друга свою главную мысль. Они не в силах противостоят “стоглавой гидре мещанства” с её установкой на потребление всего и вся – *до полного израсходования*¹⁶. В своём ответе Герцену 8 октября 1862 года Тургенев, между прочим, высказывает верную мысль о том, что и наш народ носит в себе “зародыш буржуазии”¹⁷, то есть того же самого гибельного для культуры мещанства. Не та же ли *стоглавая гидра мещанства* душит и Россию последние четверть века? Очевидно, Тургенев оказался более проницательным, чем Герцен, в своих прогнозах относительно перспектив *русского социализма*: даже “тургеневские девушки”, ставшие *фуриями революции*, не спасли Россию социалистическую от буржуазной контрреволюции и всевластия мещанской посредственности.

В письме втором Герцен продолжает разговор о *великих последних* – Гарибальди и Мадзини, этих олицетворениях одного типа – “Дон-Кихота революции”¹⁸. И снова в тексте слышатся “звуки погребального колокола”¹⁹, который звонит по тебе, **утративший всякую духовную инициативу Запад!** Власть среднего слоя, убогого, сытого и боязливого, *диктатура посредственности*²⁰ – вот что мешает угнетаемому творческому меньшинству “сыскать слово новой веры”, выдвинуть на авансцену мировой истории “новый религиозный тип”, способный придать человеческой жизни хоть какую-то смысловую направленность. Цепляться в сложившейся ситуации за давно отжившие “идеи западного мира” и соответствующие им социальные формы, как это, в представлении Герцена, делал Тургенев, – значит, уходить от действительности в безумие или грёзу вполне по-донкихотовски. Не лучше ли противостоять сформированной самодовольными мещанами “бесплодной, отталкивающей среде” с открытым забралом? Или более того – сделать ставку в борьбе с поклонившейся *золотому тельцу* “мещанской мелкотой” на беспощадную стихию *огня пожирающего*, к чему призывал их общий друг Михаил Бакунин?

“Живой о живом думает. Вопрос между нами даже не в том, имеет ли право человек удалиться в спокойную среду”²¹, отойти в сторону, как древний философ перед безумием назарейским, перед наплывом варваров... Мне хочется только уяснить себе, в самом ли деле вековые обитатели, упроченные и обросшие западным мхом, так покойны и удобны, а главное, так прочны, как были, и, с другой стороны, нет ли, в самом деле, каких-нибудь чар в наших сновидениях под снежную вьюгу, под трючные бубенчики и нет ли основания этим чарам?”²² Герценовский вопрос задевал Тургенева за живое: собственно, **ради какого сомнительного блага ты прячешься от чарующей стихии русской жизни в уют западной цивилизации с её кажущейся прочностью?** Тургенев хотел ответить Герцену, не медля, в его же “Колоколе”, но был предупреждён властью о неприятных для него последствиях такой публикации, самым страшным из которых стал бы запрет бывать за границей, проживать где-нибудь на берегах Сены или в “милом Бадене”. Между тем, Герцен три недели спустя – 10 августа 1862 года – строчит третье письмо, которое, скорее всего, и подвигло Тургенева на создание романа “Дым”, возмущившего его “любезных соотечественников”, особенно славянофилов и почвенников, пренебрежительным отношением автора к идеализируемой ими русской стихии²³. Спутав Тургенева с одним из его персонажей (Потугиным) и осудив его за мнимое русофобство, а по сути – за *странную любовь* к России, наши “квасные патриоты”²⁴ полностью упустили из виду философское содержание романа, сопоставимое по своей оригинальности с герценовской философией жизни.

Между прочим, в задевшем Тургенева третьем письме Герцен высказал предположение о том, что западный мир – этот *лучший из всех возможных миров* – вот-вот даст трещину: “Ну, да что тебя пугать, до Орловской губер-

нии трещина не дойдёт²⁵. Странное заявление! Герцен, видимо, хотел пошутить. Не получилось. Тургенев, как знаток гётевского “Фауста” и гегелевской “Феноменологии духа”, знал, что мир Божий уже давно дал трещину, иначе не объяснить происхождение зла. В эту трещину и повалил **дым** — **явный знак начавшегося вторжения инфернальных сил**, готовивших появление самого Аримана или *космократора*, как называли сатану древние гностики, полагавшие, что он уже “лично присутствует в мире”²⁶. Присутствие “князя мира сего” — властвующего на Земле *мирового духа*, искушавшего и самого Христа в пустыне, — не менее остро, чем Гёте, ощущали русские писатели XIX — первой трети XX века. По-своему отреагировал на него и Тургенев, казалось бы, далёкий от какой-либо люциферианской мистики. Писатель точно указал то “место”, где мир дал трещину, — *человеческая голова*, точнее, *разорванное сознание* “просвещенной”, рефлектирующей личности, ставшей беззащитной перед напором инфернальных сил. “Тёмный покров упал на меня и обвил меня; не старянуть мне его с плеч долой. Стараюсь, однако, не пускать эту копоть в то, что я делаю; а то кому оно будет нужно? Да и самому мне оно будет противно”²⁷, — писал Тургенев П. В. Анненкову 12 ноября 1857 года из Рима. Но несмотря на все старания, всё же подпустил и дыма, и копоты в некоторые свои произведения. Из них самые задымленные — “Призраки” (1863) и “Дым” (1867).

Госпожа Смерть

“Уже с 1857 года Тургенев стал думать о смерти и развивал эту думу в течение 26 лет, до 1883, когда смерть действительно пришла, оставаясь сам всё время, с малыми перерывами, совершенно бодрым и здоровым”²⁸, — вспоминал П. В. Анненков. Иначе говоря, к сорока годам писатель ощутил то *жало смерти*, которое с рождения носит в себе всякий человек, и всерьёз задумался о непоправимой ущербности нашей жизни, свершающейся как *бытие-к-смерти*. Необычным выражением этой омрачившей жизнь Тургенева думы стал рассказ “Призраки” — один из первых опытов экзистенциальной прозы в русской литературе, не довольствовавшейся изображением реальности и прорывавшейся в сферу возможного²⁹. Мифопоэтический подтекст тургеневской “фантазии” приоткрывается в первом же абзаце произведения:

“Я долго не мог заснуть и беспрестанно переворачивался с боку на бок. Чёрт бы побрал эти глупости с вертящимися столами! — подумал я, — только нервы расстраивать...” Дремота начала, наконец, одолевать меня...”³⁰

И вот **дремлющее сознание**³¹ личности, разочаровавшейся в результатах нелепых экспериментов спиритизма, становится местом встречи человеческого “Я” с *призраками* — галлюцинаторными образами, в которых заявляют о себе действенные силы универсума. Первой “ночной гостьей” рассказчика оказывается **сотканная из дыма “белая фигура”**³² — *прелестная женщина*, явившаяся (в полном соответствии с оборотнической логикой мифомышления) в сиянии лунного света, то есть в пугающем ореоле пока ещё невидимой смерти. Знаменательно то, что свидания с ней происходят на опушке леса у поврежденного молнией старого дуба с надломленной и засохшей верхушкой. Дуб — символ Мировой оси, связывающей наш срединный, *промежуточный мир* с нижним *миром мёртвых*, которые *не мертвы* и продолжают по-своему участвовать в делах человеческих, и с *верхним миром*, населённым неведомыми нам субстанциями. Повествующий о своём сновидении рассказчик вглядывается в печальные черты “таинственной женщины”, признавшей в любви к нему и требующей безусловного повиновения:

— Отдайся мне, — снова прошелестело мне в ответ.

— Отдаться тебе! Но ты призрак — у тебя и тела нет... Что ты такое — дым, воздух, пар?..

Дым тут — главный атрибут призрачной фигуры, то есть *кажимости*, которая захватывает *дремлющее сознание* и начинает управлять поведением обладающей таковым сознанием личности. Относительная автономия и динамика фантомного образа свидетельствуют о его заряженности какой-то силой. Её природа очевидна:

“Я пропал, я во власти сатаны”, — сверкнуло во мне, как молния. До того мгновения **мысль о наважденье нечистой силы** (выделено мной — **А. В.**), о возможности гибели мне в голову не приходила”³³.

Угроза уничтожения связана здесь с **фантомом женской красоты** – этой дымовой завесой, за которой – “леденящее дыхание расколыхавшейся бездны”, “смерть и ужас”. Пленивший рассказчика-духовидца **призрак вечной женственности**³⁴ вовлекает его в ночные полёты, показывая разные “любопытные места”, приоткрывая, казалось бы, канувшие навсегда в прошлое слои времени, которое в целом также призрачно, дымообразно, поскольку не есть чистое бытие, но бытие, смешанное с небытием (*дым* здесь – символ временности, эфемерности человеческого существования, не способного поддерживать и сохранять самое себя без энергии Духа, без *огня*). Изображая ментальные путешествия своего “Я”, Тургенев, по сути, исследовал мифологически значимый опыт сновидений³⁵, совершаемый разорванным сознанием, то есть действовал как феноменолог (*наблюдатель*), воплощение *наблюдающего разума*³⁶. На чем же фиксировал своё внимание этот *гений наблюдения*?

Показанный в рассказе наблюдающий разум – образ и подобие того ветхозаветного Духа Божьего, который носился над водою (Быт. 1, 2). Правда, у Тургенева библейский сюжет почти растворяется в географически точной картине:

– Что это! Где мы?

– На южном берегу острова Уайт, перед утесом Благанг, где так часто разбиваются корабли, – промолвила Эллис, на этот раз особенно отчётливо и, как мне показалось, не без злорадства...³⁷

Британский островок Уайт, где Тургенев провёл в августе 1860 года несколько счастливых дней, предстаёт в рассказе в окружении “тяжёлых дымных туч”, подобных “стаду злобных чудовищ”, и под натиском “разъярённого моря”, напоминающего о неподвластной человеческой воле бездне. В завывании бури, в “тяжком плеске прибора” чудится *колокольный звон*. “Что это?” – можем мы спросить вместе с рассказчиком. Символ западной цивилизации, противостоящей мощи враждебной природы, о чём писал Герцен в своём “Колоколе”? Или нечто более значительное?

Ещё один ночной полёт – на этот раз над Понтийскими болотами. Зловещий запах *серы*, напоминающий о власти *духа Земли* (гегелевского *Erdgeist*) – “князя мира сего”:

– Рим, Рим близок... – шептала Эллис. – Гляди, гляди вперёд...³⁸

Мы видим вместе с автором, как в грезящем сознании движутся тени римских легионов – “мириады теней, миллионы очертаний”, затем выдвигается из тьмы внушающая ужас *голова* императора Юлия Цезаря – образ тысячелетней империи, оказавшейся социальной эфемеридой, превратившейся в дым. Далее мелькает “каменное, скуластое, жадное” лицо ночного Парижа – этого “человеческого муравейника”, вздымавшегося “к нам навстречу со всем своим гамом и чадом”³⁹. Париж, который всё никак не может забыть о своём Наполеоне – этом муравьишке с комплексом Цезаря. Затем – “окутанная паром” Германия, любимый тургеневский Шварцвальд и тоже – в “тонком лунном дыме”. Наконец, в тускло-прозрачном воздухе вырисовывается “больной город” в окружении “гнилых еловых лесишек и моховых болот” – Петербург со своим сомнительным имперским могуществом. “Грустно стало мне и как-то равнодушно скучно, – признаётся рассказчик. – И не потому стало мне грустно и скучно, что пролетал я именно над Россией. Нет! Сама земля, эта плоская поверхность, которая расстилалась подо мною; весь земной шар с его населением, мгновенным, немощным, подавленным нуждою, горем, болезнями, прикованным к глыбе презренного праха; эта шероховатая кора, этот нарост на огненной песчинке нашей планеты, по которому проступила плесень, величаемая нами органическим, растительным царством; эти люди-мухи, в тысячу раз ничтожнее мух⁴⁰; их слепленные из грязи жилища, крохотные следы их мелкой, однообразной возни, их забавной борьбы с неизменяемым и неизбежным, – как это мне вдруг всё опротивело!”⁴¹. Такова выстраданная Тургеньевым к 1862 году философия жизни, созвучная шопенгауэровскому пессимизму, нашедшему выражение в книге “Мир как воля и представление”, которой уже тогда зачитывалась мыслящая Россия⁴². Как видим, Тургенев был очень далёк от идеализации западной цивилизации и от гедонистического упоения её благами, в чём подозревал его Герцен, противопоставивший в “Концах и началах” увязнувшему в мещанстве Западу чарующую стихию русской жизни. У Тургенева об этой стихии сложилось своё представление, о котором он также поведал в “Призраках”:

“Чего только не было в этом хаосе звуков: крики и визги, яростная ругань и хохот, хохот пуще всего, удары вёсел и топоров, треск как от взлома дверей и сундуков, скрип снастей и колёс и лошадиное скакание, звон набата и лязг цепей, гул и рёв пожара, пьяные песни и скрежещущая скороговорка, неутешный плач, моление жалобное, отчаянное и повелительные восклицания, предсмертное хрипенье и удалой посвист, гарканье и топот пляски... “Бей! вешай! топи! режь! любо! любо! так! не жалеи!”...

Такой представлялась грезящему сознанию дворянина стихия русского бунта. Изображая своих “призраков”, среди которых мелькает, между прочим, Степан Тимофеевич Разин, Тургенев включал в работу *память крови*: расправа казаков с царицынским воеводой Тимофеем Васильевичем Тургеневым захватила его воображение; мысль о ней, видимо, оставалась невысказанным аргументом писателя против пропаганды герценовского “Колокола”. Звон набата вызывал у него неприятные ассоциации. Очевидно, в итоговой, “шопенгауэровской” картине мира⁴³, которую Тургенев предложил читателю в рассказе “Призраки”, нет места идеализации той или иной социальной формы: западная цивилизация ничем не лучше российской, а имперская государственность так же отвратительна, как и взрывающая её стихия бунта – слепого и тёмного *чувственного порыва*. Таким образом, Тургенев опередил Ницше и с открытием нигилизма, и со своим безапелляционным приговором всему “человеческому, слишком человеческому”. Расставаясь после очередного ночного полёта с пленившим его сознание *призраком вечной женственности*, герой-рассказчик так реагирует на ропот Эллис:

– Ступай домой, – отвечал я ей тем же голосом, каким говаривал эти слова своему кучеру, выходя в четвёртом часу ночи от московских приятелей, с которыми с самого обеда толковал о будущности России и значении общины⁴⁴.

Чего стоят эти толки и пересуды, было показано Тургеневым в романе “Дым”. В рассказе же “Призраки” вся эта приевшаяся ему псевдопатриотическая болтовня ещё не стала объектом испепеляющей иронии. Иллюзорно-идеологические вывихи сознания развенчаны. Мнимая значимость социальных ценностей, убожество навязанных нам безликой общественностью идеалов представлены в *ясном свете*⁴⁵ всемогущей, всевидящей и всезнающей смерти. Засылаемые ею в дремлющее сознание призраки – вестники неминуемого уничтожения всего *конечного*. Но сама она – эта *госпожа Смерть* – неуничтожима и ничему не подвластна. Уж она-то точно “не туча и не дым”⁴⁶, – полагал Тургенев. Говоря о мерно колеблющейся, “неизъяснимо-ужасной массе” смерти⁴⁷, он представил в конце рассказа одно из её фантомных порождений:

“Громадный образ закутанной фигуры на бледном фоне мгновенно встал и взвился под самое небо...”⁴⁸ На этой апокалиптической ноте писатель завершил первый набросок своего возражения Герцену, обеспокоенному тургеневской привязанностью к западным формам организованного противостояния стихиям природной и исторической жизни. Призрачные фигуры этого тургеневского рассказа обрели плоть через четыре года в романе “Дым”: “наблюдающий разум” предстал в облике Григория Михайловича Литвинова, жалеющая своими поцелуями Божественная Женщина-змея, женщина-пиявка – в виде манящей и обманывающей Ирины Осининой.

Мастер своей судьбы

В самом начале романа Тургенев вводит уже знакомую нам по “Призракам” систему координат, упоминая о “русском дереве – *a l'Arbre russe*, – у которого “обычным порядком собирались наши любезные соотечественники и соотечественницы” в Баден-Бадене, считавшие себя *fine fleur* нашего общества⁴⁹, то есть его “сливками”, элитой, на деле же лишённые главного качества таковой – активного, ищущего интеллекта. Итак, снова у Тургенева древо жизни напоминает о Мировой оси, задающей вертикальную, духовную ориентацию блуждающей в серединном мире *русской душе*, а также – о спасительном знании, преображающем человека душевного в человека духовного, *психика в пневматика*, и вместе с тем заключающем в себе *что-то опасное* для него. И тут же – толпящаяся у “русского дерева” псевдоэлита – аристократия, забывшая о своих родовых корнях, о предназначении и долге, воображающая себя “на самой высшей вершине современного образования”⁵⁰, болтающая ни о чём, страдающая от скуки. На этом фоне появляется фигура,

явно дистанцирующаяся от пребывающей в своём мнимом величии посредственности: “В нескольких шагах от “русского дерева”, за маленьким столом перед кофейней Вебера сидел красивый мужчина лет под тридцать, среднего роста, сухощавый и смуглый, с мужественным и приятным лицом. Нагнувшись вперёд и опираясь обеими руками на палку, он сидел спокойно и просто, как человек, которому и в голову не может прийти, чтобы кто-нибудь его заметил или занялся им. Его карие, с желтизной, большие выразительные глаза медленно поглядывали кругом, то слегка прищуриваясь от солнца, то вдруг упорно провожая какую-нибудь мимо проходившую эксцентрическую фигуру...”⁵¹. Этот главный персонаж романа (Литвинов) остаётся преимущественно *наблюдателем* на протяжении всего повествования – наблюдателем, ищущим “свое другое” в окружающих его вещах и людях и не ведающим о сокровенной сущности собственного “Я”. Таковым он предстаёт перед нами в начале повествования, таковым оказывается и в его конце, когда рассуждает о том, что *всё – дым*, не сознавая при этом, что самое его рассуждающее “я” – точно не дым, а нечто намного более прочное, устойчивое, субстанциальное (если использовать хорошо знакомую Тургеневу гегелевскую терминологию).

Диагностировав *русских гамлетов* и *дон-кихотов* как людей нездоровых⁵², Тургенев попытался в новом романе обрисовать тип здорового **русского человека, выдержавшего искуса пребывания на Западе** до конца, уверенного “в самом себе, в своей будущности, в пользе, которую он принесёт своим землям”, вернувшись на родину⁵³. Пребывание на Западе не прошло для Литвинова даром: он обрёл моральное тождество личности, **решимость быть самим собой** вопреки давлению социума с его мнимыми благами, сомнительными запретами и велениями. Обрушившиеся на писателя критики не разглядели в центральной фигуре романа настоящего почвенника⁵⁴, *стойчески* переживающего выпавшие на его долю испытания, бесстрастно созерцающего мирскую суету, настроенного на *жизнь в согласии с природой*. Их внимание привлекли фоновые, второстепенные, почти карикатурные персонажи, являющие различные виды ущербного сознания – *скептического* (Потугин), *догматического* (Губарев) и др. Идеологическая зашоренность славянофильствующих критиков “гнилого Запада”, являвших собой “смесь отчаяния и задора”, восторгавшихся “до пены у рта тому, что мы, мол, русские”⁵⁵, помешала им увидеть в Литвинове существо самодостаточное, *мастера своей судьбы*, видевшего смысл земного существования в молчаливом, лишённом какой-либо патетики служении родине:

“Но оттого-то Литвинов так спокоен и прост, оттого он так самоуверенно глядит кругом, что жизнь его отчётливо ясно лежит пред ним, что судьба его определена и что он гордится этой судьбой и радуется ей, как делу рук своих”⁵⁶.

Такой человек не будет заискивать ни перед Западом, ни перед Востоком, не согласится продать свою свободную волю за тридцать сребреников. Ни сытая, праздная жизнь, ни блистательная карьера его не привлекают. Не мелкий эгоистический интерес, а **идея служения** придаёт смысловую направленность всем его поступкам. К тридцати годам он сформировался как **человек долга**, для которого “закон внутри нас” важнее всех идущих извне императивов. Вся “тёмная, приготовительная работа” самоопределения для него уже в прошлом⁵⁷. Ему ясно, что нужно делать: не судить предков и не возноситься над ними в мнимом превосходстве многознания, а продолжать Дело своего деда и отца в новых условиях, на новом поприще, оберегать и возделывать землю, защищать свой жизненный мир, храня память о *мёртвых, которые не мертвы*, и почитая богов своих славных предков. Литвинов – консерватор, традиционалист, не заботящийся о том, чтобы быть современным, более того – живущий вопреки своему тёмному, опьянённому “прогрессом” времени.

Женщина в белом – богиня или “белокурая бестия”?

Встреча с фатальной женщиной в белом – главное испытание для *человека Пути*. Правда, Ирина Осинина – не просто женщина. Тургенев называет её *существом*, таящим в себе “что-то своевольное и страстное, что-то опасное и для других, и для неё”. Её глаза поразительны: “исчерна-серые, с зеленоватыми отливами, с поволокой, длинные, как у египетских божеств”⁵⁸. Она холодна и бессердечна, “горда, как бес”. Лишь изредка *злая улыбка* мелькает на её “сумрачном лице”. Собственно *человеческого, слишком человеческого* в

Ирине почти нет. Даже в облике её — “очертания богинь”⁵⁹. Итак, она почти богиня. Богиня, подлинное имя которой не названо или неизвестно. Попробуем угадать его. “Она сама не знала, какая в ней таилась сила...” — думает Литвинов, испытавший в юности на себе её очарование и враждебность, едва не доведённый ею до сумасшествия и самоубийства. Та же самая таинственная, гибельная, “неженская сила”⁶⁰ снова напоминает ему о себе, когда он через десять лет после разрыва с Ириной встречает её в Германии у развалин баденского Старого замка. И снова — как в юности — ощущение, будто попал в “заколдованный круг”, в *западню*. Но дело теперь уже не в Ирине и не в Татьяне — “ангельской душе”, от которой уводит его в плен первая возлюбленная:

“Он чувствовал одно: пал удар, и жизнь перерублена, как канат, и весь он увлечён вперёд и подхвачен чем-то неведомым и холодным. Иногда ему казалось, что вихорь налетал на него, и он ощущал быстрое вращение и беспорядочные удары его тёмных крыл...”⁶¹.

Подобно гоголевскому философу Хоме Бруту, Литвинов оказывается один на один с *нечистой силой* — во власти завладевшего его сознанием призрака “вечно-женственного” — и время от времени *теряет себя* (“точно он своё настоящее “я” утратил...”). Так было с ним и в “светлые мгновения первой любви”, когда бесчувственная властолюбивая дева-ведунья приворожила его. Похожее чувство потянутой и смятения переживает он и десятилетием позже, сознавая себя её вечным *рабом*:

“Видно, два раза не полюбишь, — думал он, — вошла в тебя другая жизнь, впустил ты её — не отделаешься ты от этого яда до конца, не разрежёшь этих нитей!”⁶².

Интересно, что Тургенев, также испытавший в своё время всю мощь приворота, именно в баденский период жизни заговорил о *яде* первой любви. Знакома читателя с главной героиней — Ириной Осининой, — он словно невзначай упоминает о её нордических предках — “чистокровных князьях, Рюриковичах”, некогда попавших в опалу по враждебному наговору в “ведунстве и кореньях”⁶³. Видимо, сведушая в алхимии любви двадцатисемилетняя Ирина — теперь уже рыжеволосая (как и положено северной богине любви и смерти Фрейе) — вполне осознанно подбрасывает в гостиничную комнату Литвинова букет пахучих гелиотропов — ядовитых цветов их “первой любви”. И вот в его “горячей, от табачного дыма разболевшейся голове” сквозь путаницу новых баденских впечатлений пробивается какое-то мучительное воспоминание:

“А главное: этот запах, неотступный, неотвязный, сладкий, тяжёлый запах не давал ему покоя, и всё сильней и сильней разливался в темноте, и всё настойчивее напоминал ему что-то, чего он никак уловить не мог... Литвинову пришло в голову, что запах цветов вреден для здоровья ночью в спальне, и он встал, ощупью добрёл до букета и вынес его в соседнюю комнату; но и оттуда проникал к нему в подушку, под одеяло, томительный запах, и он тоскливо переворачивался с боку на бок”⁶⁴.

Так отравившая его жизнь “первая любовь” возвращалась к нему, чтобы снова завладеть им, лишив его собственной воли и разума, сбив с избранного Пути, ввергнув в дионисическое неистовство “чрезмерной половой распущенности”⁶⁵. На этот раз “нервическая барышня” с таинственными глазами, глядевшими “из какой-то неведомой глубины и дали”, действовала уже со знанием дела, с пониманием своей *тёмной миссии*. Ещё до того, как Ирина в “алом полусвете” августовского вечера неожиданно предстала перед ним в дверях его гостиничных апартаментов, “закутанная в чёрную мантилью”, он прочувствовал дальное действие её завораживающей властной воли. “Литвинов потерял нить своих мыслей... да; но воля его осталась при нём пока, и он распорядился собою, как чужим подчинённым человеком”⁶⁶. После же ночи с ней:

“Странная перемена произошла в нём... во всей его наружности, в движениях, в выражении лица; да и он сам чувствовал себя другим человеком. Самоуверенность исчезла, и спокойствие исчезло тоже, и уважение к себе; от прежнего душевного строя не осталось ничего. Недавние, неизгладимые впечатления заслонили собою всё остальное. Появилось какое-то небывалое ощущение, сильное, сладкое — и недоброе; таинственный гость забрался в святилище и овладел им... Он уже не принимал более никакого решения, он уже не отвечал за себя”⁶⁷.

Так Тургенев изображает “все колебания психических состояний”, вызванных попытками магического *отсечения воли* посредством приворота и

возникновением *комплексной одержимости личности*. Мужчина, оказавшийся жертвой *красной магии*, превращается в тряпку, вещь подручную, хозяйственный инвентарь или средство передвижения, как философ Хома Брут — для ведьмы-панночки. Последнего, как мы помним, не спасла от гибели ни философия, ни молитва. Что же спасло Литвинова от смертоносной любви его “лучезарной царицы”? Можно сказать, его собственная, чисто духовная в своей основе инициатива: подавляя своё, казалось бы, неодолимое влечение к *прекраснейшей из женщин*, он решительно идёт на разрыв с ней, причём делает это отнюдь не ради другой женщины, а *для себя* — с целью освобождения от привязанности и обретения своего подлинного “Я”, забвение которого равнозначно гибели. Так личность, утверждаясь в своём метафизическом эгоцентризме, возвращается к самой себе, демонстрируя экзистенциальную *преданность самости*, нежелание влачить жизнь в модусе *бытия-для-другого*, быть чьей-то игрушкой или горящим орудием, то есть рабом (или рабыней). Изображая в романе *любовную борьбу индивидуальностей*, каждая из которых более всего в жизни дорожит собственной свободой как *неотчуждаемым высшим благом*, Тургенев осуществил свой *великий разрыв* с традицией мифологизации “вечно-женственного” начала, с западным культом женщины как сексуально притягательного объекта, загадочной *вещи-в-себе*. Исследуя женское своеволие в его многообразных (в том числе и демонических) проявлениях, писатель совершил открытие нового для русской литературы *идеального типа* — волевой женщины, взбунтовавшейся против овеществляющего её сексуального порабощения и заявившей о своей исконной свободе, о своём праве на признание в качестве духовного существа, способного к достижению интеллектуального превосходства над мужчинами, прячущимися от иррационального в своей жизни в кажущееся безволие. Так роман “Дым” возвращает нам мудрость легендарных Рюриковичей, детей северной Исиды — Фрейи: *благо ожидает свободного*.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Тургенев И. С. Собр. соч. в двенадцати томах. Т. 12. Письма 1831–1883. М., 1958. С. 347.
- ² Герцен А. И. Соч. в девяти томах. Т. 7. М., 1958. С. 464.
- ³ Там же. С. 468. Тут Герцен со своей постановкой вопроса — предтеча нищенской эстетики.
- ⁴ Противоположный аполлоническому принципу формы ориентир на дионисийский хаос, беспорядок, безобразие стал доминирующим в умирающем (сообразно гегелевскому прогнозу) искусстве XX столетия. Ещё в 1860-е годы Тургенев пришёл к сознанию бренности всего и вся, включая искусство, поставив под вопрос “достоинство тех бранных образов, которые мы в темноте, на краю бездны лепим из праха и на миг” (Тургенев И. С. Т. 7. С. 48).
- ⁵ Там же. С. 469. Мотив, проработанный Л. Н. Толстым в рассказе “Люцерн”.
- ⁶ Термин К. Ясперса.
- ⁷ Эта участь постигла их общего друга, западника и тоже гегельянца, В. П. Боткина — “дона Базилио”, как звал его Тургенев. В своей полемической переписке Герцен и Тургенев использовали термин “эпикуреизм”, что не совсем верно с историко-философской точки зрения, так как Эпикур отдавал предпочтение интеллектуальным удовольствиям (а не чувственным) и ориентировал своих учеников на достижение *атараксии* (греч. — *невозмутимости*).
- ⁸ В письмах П. В. Анненкову Тургенев прямо говорит о переживаемом им накануне сорокалетия “нравственном и физическом кризисе” (Тургенев И. С. Т. 12. С. 273).
- ⁹ “Мною овладело в последнее время какое-то беспокойство, которое не даёт мне ничем заняться последовательно, — признавался Тургенев в письме С. Т. Аксакову 27 февраля 1856 года. — В голове точно дым бродит какой-то, и на сердце не совсем легко” (Тургенев И. С. Т. 12. С. 201). Любопытно, что и Герцен в своём первом письме неназванному “любезному другу” говорит о “чаде образованной России”, мешающем видеть, что происходит в стране. С юности Тургенев воспринимал *дым* как сигнал смертельной опасности. В его мышлении “дым” фигурирует в качестве *знака экзистенции*, символизируя *тревогу*, каковой пронизано наше *бытие-в-мире*.

- ¹⁰ О “глухом и неугасимом огне” западничества, воодушевлявшем одного из главных персонажей “Дыма” – Потугина, – Тургенев писал Д. И. Писареву 4 июня 1867 года (Тургенев И. С. Т. 12. С. 376). Тяготевший к вульгарному материализму критик не понял, что речь шла об “огне негации”, хорошо известном русским гегельянцам.
- ¹¹ Вслед за Герценом на защиту дионисийской стихии от гегелевской “абсолютной деятельности формы” поднялся Фридрих Ницше со своей инициативой метафизической реабилитации “оклеветанных инстинктов жизни”.
- ¹² Тургенев И. С. Т. 7. С. 48.
- ¹³ Герцен А. И. Т. 7. С. 463.
- ¹⁴ Герцен А. И. Т. 7. С. 478.
- ¹⁵ Там же. С. 471. Попытки реабилитировать гениальность, граничившую с шизофренией, предпринял в своё время Карл Ясперс в патографиях Сведеборга и Стриндберга. Основная мысль профессионального психиатра и философа состояла в том, что творчество как духовный процесс поднимает личность над присущими ей психическими аномалиями и не может быть объяснено, исходя из них (подробнее об этом: Водолагин А. В. Психопатология и метафизика воли // Вопросы философии, 2008, № 5).
- ¹⁶ *Потребление до полного израсходования* – основополагающая установка Запада по отношению к существу в целом, ведущая планету, по мысли Мартина Хайдеггера, к опустошению, а человечество – к самоуничтожению.
- ¹⁷ Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену. Женева, 1892. С. 161.
- ¹⁸ Крайне неудачное сравнение. Во всяком случае, один из двух названных мастеров точно не был “последним”: Джузеппе Мадзини (1805–1872) – Великий мастер Великого Востока Италии, верховный руководитель иллюминатов, которые в настоящее время близки к достижению своих глобальных стратегических целей, сформулированных в рамках “доктрины Люцифера”.
- ¹⁹ Герцен А. И. Т. 7. С. 476.
- ²⁰ *Диктатура посредственности* – термин, используемый автором для обозначения той социально-политической системы, которая в конце XX века сложилась в России, попавшей в западню “западничества”.
- ²¹ Намёк на удаление Тургенева в Баден-Баден.
- ²² Герцен А. И. Т. 7. С. 466.
- ²³ Интересно, что не возмутился только Герцен, хотя автор “Дыма” представил его друга Н. П. Огарёва в образе славянофильствующего псевдоинтеллектуала Губарева. Из негативных отзывов о романе самые негодующие принадлежали Д. И. Писареву и Ф. М. Достоевскому. Ф. И. Тютчев был более сдержан и, выражая недовольство “отсутствием национального чувства” в тургеневском романе, тем не менее принимал воплощённую в нём философию жизни:
- Что это? Призрак, чары ли какие?
Где мы? И верить ли глазам своим?
Здесь дым один, как пятая стихия,
Дым – безотрадный, бесконечный дым!*
- “Пятая стихия”, то есть **квинтэссенция человеческой жизни**, по мысли Тютчева, подобна дыму. Жизнь лишь кажется нам чем-то устойчивым, “субстанциальным”, в действительности же она призрачна и эфемерна – как дым. Так Тютчев, соглашаясь с Тургеневым, писал:
- “... Грустно тлится жизнь моя // и с каждым днём уходит дымом”.
- ²⁴ О “квасном патриотизме” впервые заговорил П. А. Вяземский. Этот мотив был подхвачен и В. Г. Белинским, называвшим квасными патриотами тех, кто преувеличивал значимость декоративно-этнографических моментов повседневной жизни народа, увязал в эстетике быта, не доходя до понимания “субстанциального духа” русских, никогда особенно не ценивших мир сей, лежащий во зле, не собиравших себе *сокровищ на земле*, “где моль и ржа истребляют и где воры подкопывают и крадут” (Матф. 6, 19).
- ²⁵ Герцен А. И. Т. 7. С. 483. О трещинах и скважинах, связывающих “мир духов” с преисподней, Герцен вычитал у шведского мистика и ясновидца Э. Сведенборга.
- ²⁶ Школа Валентина. Фрагменты и свидетельства. СПб, 2002. С. 145. В гностических текстах, которые штудировал и обсуждал с друзьями Герцен, **Дым** – это **зон зла, проявление мировой Тьмы (Аримана)**. С гностической точки зрения, зло призрачно и вместе с тем – действительно. Дым – качество *Архидьявола*, боющегося с человеком (Йонас Г. Гностицизм. СПб, 1992. С. 212, 217).

²⁷ Тургенев И. С. Т. 12. С. 280.

²⁸ Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 403.

²⁹ В ставших привычными для нас трактовках тургеневской прозы акцентируется внимание на изображении известных психических типов — русских гамлетов, дон-кихотов, лишних людей, пасующих перед влюблёнными в них красавицами и страдающих от собственного безволия. При этом не замечают того, что перед нами — экзистенциальная проза, которая всё ещё остаётся открытой для интерпретаций, подобно “Исповеди” Августина Блаженного или “Мыслям” Паскаля. А если так, то наиболее интересным в тургеневских текстах следует признать не психологию характеров в сочетании с пейзажной лирикой, а символические выражения конкретного духовного опыта мыслящей индивидуальности — те знаки экзистенции и шифры Трансценденции, которые, как правило, ускользают от внимания психологизирующих историков литературы.

³⁰ Тургенев И. С. Т. 7. С. 7.

³¹ Об интересе Тургенева к феномену дремлющего сознания вспоминал Альфонс Доде (И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1988. С. 317).

³² 12 августа 1849 года Тургенев сообщает в письме Полине Виардо о приснившейся ему “высокой белой фигуре”, вовлекшей его в головокружительный полёт над бушующим морем, во время которого он испытал “трепет счастья”. Тургеневская “белая женщина” — одна из манифестаций “женщины в белом”, архетипической фигуры “коллективного бессознательного” нордической расы — Фрейи, подательницы жизни и смерти, богини сексуальной магии и колдовства, любительницы астральных путешествий: “Фрея была бела, подобно утреннему снегу, а голубизна её глаз превосходила голубизну радуги” (цит. по кн.: Вирт Г. Хроника УРА ЛИНДА. Древнейшая история Европы. М., 2007. С. 100). Можно подумать, что германофильство Тургенева было формой его возвращения к духовным корням собственного мышления, к архетипическим фигурам питавших его “фаустовскую душу” древних сказаний. Главная героиня романа “Дым” — белокурая bestия Ирина Осинина, явившаяся на бал в белом платье, — то ли русская Фрейя, то ли жрица египетской богини-царицы Исиды, которой, согласно Тациту, поклонялись племена Скандинавии.

³³ Тургенев И. С. Т. 7. С. 11. Х. Э. Керлот отмечал, что в мифопоэтическом мышлении “дым символизирует душу, покинувшую тело” (Керлот Х. Э. Словарь символов. М., 1994. С. 189). Душа без тела хотя и эфемерна, как дым, всё же как-то существует. Ю. Эвола приводит слова Гебера о том, что “дым” — это душа, отделённая от тела (Эвола Ю. Герметическая традиция. М. Воронеж, 2010. С. 20).

³⁴ Как и Герцен, Тургенев был близок к рафаэлевскому апофеозу “дественно-женской формы”. Вслед за ними жертвами этого призрака вечной женственности — Софии-Елены гностиков — стали Афанасий Фет, Владимир Соловьёв, Александр Блок и Андрей Белый.

³⁵ О своих полётах во сне Тургенев рассказывал Полине Виардо. “... Меня поймёт всякий, кому случалось летать во сне”, — писал он в “Призраках”, видимо, не вполне осознанно повторяя ночной полёт философа Хомы Брута из гоголевского “Вия” (Тургенев И. С. Т. 7. С. 13). “Тургенев говорил мне когда-то, что одно время вздумал описывать сны свои поутру”, — записал в дневнике 20 января 1855 года П. А. Васильчиков (И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. С. 137).

³⁶ Наблюдающий разум (*Beobachtende Vernunft*) остается беспокойным поиском “своего другого” в окружающих вещах. Он ещё не готов “спуститься в свою собственную глубину” и осознать своё чистое “Я” в качестве средоточия не поддающегося коррозии времени подлинного бытия (Hegel G. W. F. *Phänomenologie des Geistes. Nach dem Texte der Originalausgabe*. Berlin, 1975. S. 184–185). Наблюдающий разум — это дух, замороженный временем, застрявший в стадии сознания бренности всего и вся, то есть не пошедший дальше мудрости Экклезиаста, в которой “много печали”.

Об одном из опытов, которые ставит наблюдающий разум, Тургенев рассказал своему приятелю П. А. Васильчикову, который поспешил записать поразивший его своим “фантастическим характером” рассказ Тургенева в дневник: “Ему показалось, будто всё, его окружающее, — деревья, растения — всё силилось говорить ему что-то и давало ему как-то почувствовать, что оно связано. Перед ним стояла небольшая красивая берёза. “Мне показалось, не знаю почему, — продолжал он, — что она была женского рода; я сказал внутренно: я знаю, что ты женщина, говори; и в ту же минуту один сук берёзы медленно, как будто с грустью, опустился. Волосы стали у меня дыбом от испуга, и я бежал опрометью...” (И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. С. 127). В составленном М. М. Маковским “Сравнительном словаре мифологической символики в

индоевропейских языках” (1996) читаем: “Дерево считалось существом женского пола” (с. 138). В герметической традиции *дерево* – “персонификация Божественной Женщины”, воплощение “женской сути универсальной силы” (Эвола Ю. Герметическая традиция. С. 28). Героиня тургеневского “Дыма” Ирина Павловна *Осинина* – женщина-осина, любовь к которой гибельна, смертоносна. Поддавшийся её чарам Литвинов невольно отказывается от своей духовной миссии *наблюдателя (бдящего, бодрствующего)* и теряет голову, зависая над бездной эротического безумия.

³⁷ Тургенев И. С. Т. 7. С. 16.

³⁸ Там же. С. 19.

³⁹ Там же. С. 28–29.

⁴⁰ И опять – гоголевская метафора у Тургенева.

⁴¹ Там же. С. 34.

⁴² Двумя годами позднее Шопенгауэра открыл для себя Лев Толстой. По его совету Фет взялся за перевод “Мира как воли и представления” (1818).

⁴³ “Шопенгауэра, брат, надо читать поприлежнее, Шопенгауэра”, – рекомендовал Тургенев Герцену, который, на его взгляд, не вполне освободился от гегельянского доктринёрства, проступившего в пятом письме “Концов и начал” (Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену. С. 170).

⁴⁴ Там же. С. 35.

⁴⁵ *Ясный свет* – один из ключевых терминов буддийской философии, к которой Тургенев приобщился, читая немецких романтиков и Шопенгауэра. В этом понятии схвачено переживание смерти как кульминационного момента человеческой жизни. Примерно в то же время символ *ясного света* усваивает Лев Толстой и использует его в описаниях смерти в “Войне и мире”.

⁴⁶ Тургенев И. С. Т. 7. С. 35.

⁴⁷ Изображая смерть в виде материальной субстанции, Тургенев актуализировал важнейший мотив языческого неоплатонизма, связанный с толкованием материи как враждебного красоте бытия “крайнего зла, безобразия, мерзости” (Плотин. Эннеады. Киев, 1995. С. 60).

⁴⁸ Там же. С. 36.

⁴⁹ Тургенев И. С. Т. 4. С. 8, 9.

⁵⁰ Там же. С. 8.

⁵¹ Там же. С. 10–11.

⁵² “В природе здоровье всегда преобладает над болезнью; – разъяснял Тургенев норвежскому писателю Х. Бойсену свою философию жизни, – если бы в мире возобладал негативный принцип, у человечества не хватило бы жизненных сил для продолжения существования” (И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. С. 326).

⁵³ Там же. С. 12.

⁵⁴ Слепоту такого рода продемонстрировал и “тупица Страхов”, как назвал его однажды Тургенев, о чём с обидой за своего духовного учителя вспоминал В. В. Розанов (Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники: Н. К. Страхов. К. Н. Леонтьев. М., 2001. С. 118). Гегельянец-почвенник Страхов не узнал в тургеневском Литвинове “своего другого”, а очаровавшей его “ослепительной Ирине” не увидел демоническую вестницу наступающей Мировой тьмы.

⁵⁵ Тургенев И. С. Т. 4. С. 30, 33, 34.

⁵⁶ Там же. С. 13.

⁵⁷ Там же.

⁵⁸ Тургенев И. С. Т. 4. С. 43.

⁵⁹ Одна из этих египетских богинь, как уже было сказано выше, – крылатая *Исида*, управляющая снами “ладычица Нижнего Мира”, обладательница многих имён, среди которых есть и такое: *Фрейя*.

⁶⁰ Там же. С. 152.

⁶¹ Там же. С. 119.

⁶² Там же. С. 122.

⁶³ Там же. С. 41.

⁶⁴ Там же. С. 40.

⁶⁵ Важнейшая характеристика дионисического *негативного принципа*. (Nietzsche F. Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik. Frankfurt am Mein, 2000. S. 35).

⁶⁶ Там же. С. 122.

⁶⁷ Там же. С. 124.

АЛЛА НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

доктор филологических наук, профессор (г. Орёл)

“ДЕЯТЕЛИ НА ВСЕ РУКИ”

*Я видел Русь расшатанную,
неучёную, неопытную и неискусную,
преданную ученьям злым и коварным,
и устоявшую!*

Н. С. Лесков. “На ножах”

Тургеневское творчество и само имя Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) были чрезвычайно дороги Николаю Семёновичу Лескову (1831–1895). На протяжении всего своего писательского пути и даже на закате дней он продолжал отстаивать литературное наследие своего старшего знаменитого земляка. Показательно, что в лесковской **“Автобиографической заметке”** (1882–1885?) первым и главным из писательских имён было названо имя Тургенева. Его **“Записки охотника”** Лесков, знавший народ “в самую глубину”, как “самую свою жизнь”¹, признал своего рода “учебником” жизни и литературного мастерства. Об этом “учительном” значении, а также о глубочайшем эмоционально-нравственном воздействии тургеневского цикла свидетельствует следующее лесковское признание: “Когда мне привелось впервые прочесть “Записки охотника” И. С. Тургенева, я весь задрожал от правды представлений и сразу понял, что называется искусством. Всё же прочее <...> мне казалось деланным и неверным”.

Тургеневское творчество – глубоко правдивое, не имеющее фальшивых нот, – было своего рода камертоном для Лескова. Более того, по словам сына писателя, Тургенев был для Лескова “литературным богом”. Андрей Николаевич Лесков вспоминал: “Тургенева отец считал выше Гончарова как поэта. Каждое новое произведение Ивана Сергеевича было событием в жизни нашего дома”². Таким образом, Тургенев и его художественный мир постоянно занимали писательское сознание Лескова, были у него и на слуху, и на устах. Не удивительно, что эту “привязанность” он перенёс на страницы своих книг. Одно из наиболее весомых тому подтверждений – роман **“На ножах”** (1870–1871).

Роман вызвал много толков и споров среди современников Лескова. Некоторые причислили его к “антинигилистическому” роду литературы, определили как роман-памфлет. Другие писали как о “типично бульварном произведении”³. Иные в пылу литературной схватки даже зачислили “На ножах” в разряд “полицейско-эротических” сочинений⁴. Некоторые определили роман как “антибуржуазный”. Прочие осторожно назвали его “полемиическим”.

“На ножах” – прежде всего, религиозно-философское произведение, в основе которого – христианское миропонимание автора. Это особенно наглядно, если рассматривать лесковский роман сквозь призму межтекстовых связей.

“На ножах” Лескова стоит в ряду “общественных романов” Тургенева (“Отцы и дети”), Гончарова (“Обрыв”), Достоевского (“Преступление и наказание”, “Бесы”), отразивших всю остроту религиозно-нравственной, философско-мировоззренческой, социально-политической и литературно-эстетической полемики эпохи. На типологическое сходство “На ножах” с романами “В водовороте” Писемского и “Бесы” Достоевского, созданными в том же 1871 году, указывал сам Лесков: “Все мы трое сбились на одну мысль”. Стержневая мысль, о которой идёт речь, – исследование содержания и современных трансформаций русского нигилизма.

Решение этой ответственной идейно-эстетической задачи для Лескова было невысказано без обращения к опыту Тургенева – “представителя и выразителя умственного и нравственного роста России” – и, прежде всего, к его роману “Отцы и дети”, в центре которого – мощный образ нигилиста – “каланчи” (по образному выражению Д. И. Писарева) Базарова. “Талантливым пером Тургенева обрисован Базаров, произнесено слово “нигилизм”, – подчеркнул Лесков вскоре после выхода “Отцов и детей”. Далее писатель утверждал: “Я знаю, что такое настоящий нигилист”. Ориентируясь на образ “сильного и честного Базарова”, Лесков решительно отъединяет “истинных, настоящих нигилистов” от “нигилирующих” и признаётся, что ищет “способа отделить настоящих нигилистов от шальных шавок, окричавших себя нигилистами”. Эта “полезная сортировка” была произведена в романе “На ножах”.

Писатель рисует образы не просто “новых”, но уже “новейших” нигилистов-перерожденцев. Они выродились в буржуазных хищников, капиталистов, ростовщиков, мошенников, продажных газетчиков, брачных аферистов, подлецов, предателей, убийц – преступников всякого рода, попирающих человеческие и Божеские установления, не верующих “ни в Бога, ни в духовное начало человека”⁵. Модифицируют они и само наименование своего бывшего радикального направления, теперь именуя самих себя “негилистами”. В основе этого лексического новообразования – слово “гиль” в значении “чепуха, ерунда”. Идейный “вдохновитель” экс-нигилистов Горданов “в длинной речи отменил грубый нигилизм, заявленный некогда Базаровым <...>, а вместо сего провозгласил негилизм – гордановское учение, в сути которого было понятно пока одно, что негилистам дозволяется жить со всеми на другую ногу, чем жили нигилисты”.

Так “Отцы и дети” входят в “На ножах” в качестве своеобразного литературного фундамента. Тургеневский роман в деталях знают не только автор, но и его персонажи, которые выступают в том числе и внимательными читателями Тургенева. Композиция образов героев во многом строится через содержание их чтения. Горданов как персонаж-читатель, определяя свою жизненную позицию и способы поведения, “примеряет” на себя литературные образы: “Горданов не сразу сшил себе свой нынешний мундир: было время, когда он носил другую форму. Принадлежит не к новому, а к новейшему культу, он имел пред собою довольно большой выбор мод и фасонов: пред ним прошли во всём своём убранстве Базаров, Раскольников и Маркушка Волохов, и Горданов всех их смерил, свесил, разобрал и осудил: ни один из них не выдержал его критики. Базаров, по его мнению, был неумён и слаб – неумён потому, что ссорился с людьми и вредил себе своими резкостями, а слаб потому, что свихнулся пред “богатым телом” женщины, что Павел Николаевич Горданов признавал слабостью из слабостей”.

В соотносённости со своим героем – читателем романа Тургенева, – Лесков трактует образ и личность Базарова иначе. В статье “Николай Гаврилович Чернышевский в его романе “Что делать?”” писатель указал: “Тип Базарова многим нравится, многим не нравится. Мне лично он нравится, но я бы позволил себе пожелать ему быть несколько мягче, не мусолить собою без нужды непривычного глаза, не раздражать без дела чужой барабанной перепонки и даже, пожалуй, не замыкать сердца для чувств самых нежных, ибо они не мешают героизму”. Любовь, по мнению Лескова, не только не является признаком “слабости”, но ещё более обогащает героическую личность.

Горданов же, наделённый inferнальными чертами, патологически не способен к любви, “никогда не чувствовал потребности любить”. Сатанинская гордыня – в основе фамилии этого персонажа. “Гордашка” – так уничижительно именуется его прямая и честная героиня романа Катерина Астафьевна Форова.

С точки зрения отцов Церкви, гордость – корень всех грехов и пороков. Преподобный Максим Исповедник именует самолюбие “матерью всех зол”: “Начало всех страстей есть самолюбие, а конец – гордость”⁶. Против “безумной гордости” направлено истовое по духовному накалу и совершенное в художественно-образном выражении Слово 23 “Лествицы” аввы Иоанна Лествичника: “Гордость есть отвержение от Бога, бесовское изобретение, презрение человек, матер осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией, предтеча умоисступления, виновница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, грехов хранилище, причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень хулы”⁷.

В бесовском ослеплении Горданов кичится утратой Божественного дара любви как сильной стороной своего характера. “Любовь – это роскошь, которая очень дорого стоит, а я бережлив и расчётлив”, – цинично заявляет он, смешивая в этом высказывании “Божие” и “кесарево”.

Глава, приоткрывающая сущность Горданова, называется “Entre chien et loup” – “В сумерках” (по Пушкину: “Пора меж волка и собаки”). Это скрытый, маскирующийся, “сумеречный” тип хищника, удел которого – тьма, адская “бездна”, призывающая “бездну”.

Его смерть в конце романа содержит реминисценцию из “Отцов и детей”. Как Базаров умирает от заражения, полученного от случайного пореза пальца при анатомировании, так Горданов – от укола стилетом в ладонь, что приводит к ампутации руки. В то же время смерть ярко высвечивает принципиальную “разность” этих человеческих типов.

Базаровская роковая неосторожность была вызвана погружённостью героя в раздумья о неразделённой любви, которая захватила всё его существо; о силе судьбы и ничтожности земной жизни перед лицом вечности. Таким образом, смерть Базарова приобретает высокий трагический характер.

Горданов же поранил руку во время предумышленного убийства Бодростина, которое стало конечной целью запутанной сети хитросплетений и интриг. Гордановское свидетельское показание “опять всё наново переплетало и путало”, и в итоге он сам стал жертвой преступных козней и происков: был предательски-позорно отравлен сообщниками. Так проекция на финал “Отцов и детей” позволяет резко отграничить героический и трагический образ нигилиста Базарова от преступника – “негилиста” Горданова.

С образом Базарова входят в роман “На ножах” и его последователи – “базаровцы”, как называет их Лесков. По большей части они видоизменились в “гордановцев” и вполне отвечают характеристике, данной писателем в его статье, указанной выше: это “грубая, ошалелая и грязная в душе толпа пустых ничтожных людишек, искаживших здоровый тип Базарова и опрофанировавших идеи нигилизма”. Им негде взять “базаровских знаний, базаровской воли, характера и силы”. “Нигилиствующие” только внешне пытались копировать Базарова, не умея и не желая “дорасти” до сокровенной – героически-беззаветной и трагической – сути этого типа. Гражданское мученичество, готовность к самопожертвованию – то, что Лесков обозначил как “власяницу и вериги нигилизма”, – были отринуты ради “нынешнего спокойного, просторного и тёплого мундира”. Горданову “нетрудно было доказать, что нигилизм стал смешон, что грубостью и сорванчеством ничего не возьмёшь; что похвальба силой остаётся лишь похвальбой, а на деле бедные новаторы, кроме нужды и страданий, не видят ничего, между тем как сила, очевидно, слагается в других руках. <...> Все, желавшие снять с себя власяницу и вериги нигилизма, были за Горданова, и с их поддержкой Павел Николаевич доказал, что поведение отживших свой век нигилистов не годится никуда и ведёт к гибели”.

“Гордановцы” предательски отреклись от “истинных нигилистов” – “гражданских мучеников и страдальцев”: “Таких страдальцев в эту пору было очень много, все они были не устроены и все они тяжко нуждались во всякой помощи, – они первые были признаны за гиль, и о них никто не заботился”.

В то же время сами экс-нигилисты с успехом мимикрируют и приспосабливаются к буржуазному устройству, органически с ним сливаясь: “Вот один – уже заметное лицо на государственной службе; другой – капиталист; третий – известный благотворитель, живущий припеваючи за счёт филантропических обществ; четвёртый – спирт <...>; пятый – концессионер, наживающийся на казённый счёт; шестой – адвокат <...>; седьмой литераторствует и одною

рукою пишет панегирики власти, а другую – порицает её”. Лесков обозначил самые разнообразные типы продажных, беспринципных буржуазных дельцов – “деятелей на все руки”. Показательна в этом плане самохарактеристика “межеумка” Висленёва, стоявшего когда-то во главе “студенческой партии”: “все мы стали плуты”.

В связи с этим снова возникает аллюзия на роман “Отцы и дети”, где в знаменитой сцене идеологической “схватки” Базарова и Павла Петровича Кирсанова шёл спор о “принципах”. Замышляя убийство, Горданов в беседе с Глафирой заявляет, что хочет говорить “совсем не о чувствах, а...” Она резко прерывает: “О принципах... Ах, пощади и себя, и меня от этого шарлатанства! Оставим это донашивать нашим горничным и лакеям”. С неотвязным вопросом о “принципах” приступает к Горданову “суетливый и суетный” Висленёв: “Какому же ты теперь принципу служишь, так ты и не ответишь. <...> какой у нас теперь принцип? Его нет?”. “Мы отрицаем отрицание”, – следует витиеватый ответ.

В действительности употребляются другие – абсолютно неприкрытые, бесстыдные – установки на ограбление и развращение: “Приехав сюда из Питера, надо устремлять силы не на то, чтобы кого-нибудь развивать, а на то, чтобы кого-нибудь... обирать”. В том же ряду – откровенно хищнические предписания: “Всяк сам для себя, и тогда вы одолеете мир”; “В жизни каждый ворует для себя. Борьба за существование!”

Теория “дарвинизма”, применённая к человеческим отношениям, разрушает человека как “храм Божий” и формирует “человека-зверя”: “Живучи с волками, войте по-волчьи и не пропускайте то, что плывёт в руки”; “Глотай других, чтобы тебя не проглотили”. Как следствие – морально-нравственная порча и духовная деградация, свиное поприще образа Божьего в человеке, от чего предостерегал Господь в Нагорной проповеди: “Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас” (Мф. 7:6).

Слепая “вера в естественные науки” обернулась неизбежной ограниченностью и узостью взглядов. Такова “скорбная головой девица” Анна Скокова или Вансок – честная, прямолинейная, “рьяная”, из разряда “древнего нигилистического благочестия”. Изображая эту “староверку” “истинного нигилизма”, Лесков прибегает к самоцитации, используя название своего очерка о раскольниках **“С людьми древлего благочестия”** (1863). Вансок по-детски растеряна перед жестокими реалиями жизни: “Я прежде работала над Боклем, демонстрировала над лягушкой, а теперь... я ничего другого не умею: дайте же мне над кем работать, дайте мне над чем демонстрировать”.

Налицо реминисценция завершения Базаровым знаменитого спора со старшим Кирсановым: “...будем <...> лягушек резать”⁸. Лягушка как непременный объект естественных занятий и опытов нигилистов стала во многом благодаря тургеневскому роману их своеобразным символом. Лесков не обходит вниманием эту символику и атрибутику. Так, “истинный нигилист” из числа людей старой “базаровской” закалки майор Форов носит характерный брелок. Это “тяжёлая, массивная золотая лягушка с изумрудными глазами и рубиновыми лапками. На гладком брюшке лягушки мелкою искусною вязью выгравировано: “Нигилисту Форову от Бодростиной”. Дорогая вещь эта находится в видимом противоречии с прочим гардеробом майора”. Для бывшей нигилистки Глафиры Акатовой, ловко вышедшей замуж за богача Михаила Андреевича Бодростина и усвоившей себе истину, что “повесившись, надо мотаться, а оторвавшись – кататься”, как и для прочих “антигероев” романа, “борьба за существование – не то, что борьба за лягушку”.

Воспринимая литературу как художественную реальность, Лесков конструирует некоторые собственные образы, рассчитывая на быстрое “литературное” их узнавание. Так, о принадлежности майора Форова и девицы Вансок к базаровскому типу нигилистов старой закалки свидетельствуют “тургеневские” речевые отражения: “Но вот кто совсем не изменяется, так это Филетёр Иванович! – обратился Висленёв к майору. – Здравствуйте, мой “грубый материал”!” Отзвук-напоминание об “обнажённой красной руке” Базарова, ставшей “приметой” нигилистов-разночинцев, содержится в обращении Горданова к Вансок, когда он пожимает “грязноватую руку девушки”: “Давайте Вашу лапу!”.

В романе “На ножах” имеются и другие формы наличия “тургеневского слова”, а также разнообразные способы его включения в лесковский текст.

Приём косвенного присутствия тургеневской образности обнаруживается в повествовании, раскрывающем предысторию Павла Горданова – внебрачного ребёнка богача Бодростина и московской цыганки. Незаконный сын знатного помещика имел солидное денежное содержание, получил хорошее образование, однако никогда не знал ни родных, ни родного дома, отданный на воспитание сначала акушерке, потом в пансион, а затем в университет. “В жизни его было только одно лишение: Горданов не знал родных ласк и не видал, как цветут его родные липы”, – пишет Лесков.

Образ “родных лип”, несомненно, восходит к Тургеневу. Используемая в тексте лесковского романа без кавычек, эта реминисценция говорит о том, что липы стали восприниматься как устойчивый знак “дворянского гнезда”, отголосок тургеневских романов. Так, в романе “**Рудин**” (1855) Тургенев художественно запечатлел, словно с натуры, свой усадебный сад, который “доходил до самой реки. В нём было много старых липовых аллей, золотистотёмных и душистых, с изумрудными просветами на концах”. Заметим также, что симпатичная автору героиня носит фамилию Липина.

В “**Дворянском гнезде**” (1858) липы растут в саду Калитиных; “тень от близкой липы” падает на Лизу и Лаврецкого в его имении Васильевское.

По всей вероятности, Лесков был наслышан о знаменитых липовых аллеях в виде римской цифры XIX в парке родового имения Тургеневых Спасское-Лутовиново Мценского уезда Орловской губернии. Перифраз “родные липы” в значении родительского дома, домашнего очага Лесков употребил уже в первой своей повести “**Овцебык**” (1862), в её лирико-автобиографических главах: “Я снова очутился под родными липами. Дома в это время не произошло никаких перемен <...> выросло несколько новых липок”.

Воспитание и формирование человека вне семейной атмосферы родного “гнезда” Лесков считает неполноценным, обеднённым, ущербным. По всей вероятности, духовное оскудение, голый рационализм и звериный практицизм Горданова во многом проистекают из этого источника: “Он с отроческой своей поры был всегда занят самыми серьёзными мыслями, при которых нежные чувства не получали места. Горданов рано дошёл до убеждения, что все эти чувства – роскошь, гиль, путы, без которых гораздо легче жить на белом свете, и он жил без них”.

В романе “На ножах” встречаются также непосредственные указания на тургеневские произведения. Герои Лескова апеллируют к тургеневскому творчеству как к серьёзной аргументации. Например, в споре о подлинном и фальшивом Глафира ссылается на эпизодическую героиню Кору, о которой составила “понятие по тургеневскому *“Дыму”*”.

Одним из распространённых способов включения “тургеневского слова” в текст является цитирование – явное или скрытое – собственно автором или его героями, как, например, в следующем эпизоде.

Попав в контору к своему бывшему соратнику по “нигилистической партии” Тихону Кишенскому, Горданов ощутил, как в нём “шевельнулась дворянская гордость пред этим ломанием жидка” с его “невозмутимым, но возмущающим голосом, которым непременно научаются говорить все разбогатевшие евреи”. Не без удивления Горданов обнаруживает, насколько ловко Тишка успел “подковаться на все копыта” – материально обезопасить себя от превратностей жизни. Хозяина раболепно охраняют подобный ему рыжий чубастый лакей и “ещё более решительный рыжий бульдог”.

Мысленно оценивая нынешнее прочное финансовое положение газетчика-ростовщика, “отец которого, по достоверным сведениям, продавал в Одессе янтарные мундштуки”, Горданов прибегает к неточному цитированию тургеневского романа “**Дворянское гнездо**” (1858): “Ему уже нечего будет сокрушаться и говорить: “Здравствуй, беспомощная старость, догорай, бесполезная жизнь”. В эпилоге романа Тургенева читаем: “Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!””.

Неточность цитаты объясняется, скорее всего, не пробелами в памяти Горданова, а тем, что жизнь Кишенского нельзя назвать “одиноким”. Он уже успел обзавестись многочисленным потомством, в том числе и от сожительства со своей фавориткой и “деловым партнёром” по кассе ссуд Алинкой Фигуриной. Обокравшая собственного отца, по наглости она вполне под стать своему любовнику. При помощи замысловатых “каторжных сплетений” Кишенский сумел завлечь в свои злокозненные сети бесхитростного до детско-

сти русского дворянина Висленёва, женив его на Алинке и вынудив таким образом прикрыть честной русской фамилией отпрысков блудодеяния. “А имя моё? – запоздало сокрушается Висленёв, запутавшийся в хитросплетениях “ростовщика, процентщика”, – и ведь все знают, а дети, чёрт их возьми, а дети... Они “Висленёвы”, а не жида Кишенские”.

Вопрос вызывает другое: почему элегический эпилог одного из самых одухотворённых романов Тургенева “Дворянское гнездо” используется в ситуации, связанной с тёмным, преступным образом Кишенского?

Тишка Кишенский не только скаредный ростовщик, держатель ссудной кассы, но и продажный газетчик, умудрившийся сотрудничать одновременно в трёх разных изданиях противоположных общественно-политических направлений. Одну из своих пасквильных статей он озаглавил “Деятель на все руки”. Название как нельзя лучше подходит к нему самому и его разнообразной “деятельности”. Этот “ростовщик, революционер и полицейант”, “подлый жид”, как не раз его именуют в романе, нажил свой капитал аферами и предательством, в том числе сотрудничая с полицией в качестве провокатора и шпиона.

Зловещая фигура Кишенского никоим образом не соотносится с благородным образом русского патриота, дворянина Лаврецкого, чьи слова, мысленно произнесённые “хотя с печалью, но без зависти, безо всяких тёмных чувств, в виду конца, в виду ожидающего Бога”, процитировал Горданов.

Очевидно, “Дворянское гнездо”, как и другие произведения Тургенева, после прочтения которых “легко дышится, легко верится, тепло чувствуется”, “ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора”⁹, выступает в подтексте романа Лескова как морально-нравственный противовес злодейскому миру безнравственных и бездуховных людей, преступно уничтоживших в себе Божеское начало.

Таким образом, проекция на тургеневское творчество, цитаты, аллюзии, реминисценции, перифразы, мотивы и образы позволяет реконструировать не только читательский опыт персонажей Лескова, но и выполняют характерологические функции. Соотношения в художественном мире Лескова своего и “тургеневского” слова предоставляют возможность выявить речевую индивидуализацию, психологические особенности героев, выбор ими способа поведения и самого образа жизни. Тургенев и его творчество вплетаются в художественную ткань романа “На ножах” как положительный идеал, позитивный и высокий ориентир, противостоящий низменной морали дельцов нового толка.

О “многослойности” романа “На ножах” свидетельствует ещё один историко-литературный факт. К нему обращает фамилия Кишенский, вокруг которой возникает целое ассоциативное поле. Известно, что в творчестве Лескова, который любил, чтобы “кличка была по шерсти”, сложилась своеобразная концепция заглавий и обоснования имён. Писатель признавал способность имени выразить внутреннюю суть человека.

Лексико-семантический ключ фамилии лесковского персонажа обнаруживается в украинском слове “кишля”, что в переводе означает “карман”. (К слову, в настоящее время на Украине “Велика кишенья” (в дословном переводе – “Большой карман”) – наименование крупнейшей национальной сети розничной торговли и супермаркетов, поглощающей своих конкурентов).

Кроме того, этимология фамилии “жида Тишка Кишенского” уходит корнями в иврит и идиш. “Кишене” на идиш – “карман”. На иврите слово “кис” также означает “карман”. Созвучие с ивритским “кэсэф” – серебро, деньги – не случайно. Дизайнерский атрибут верхней одежды предназначен, в первую очередь, для хранения денег (ср.: “карманные деньги”).

В русской фразеологии “карман” синонимичен слову “кошелёк”. Для сравнения: *держи карман шире*; *тугой карман* (или *тугой кошелёк*, *тугая кошана*) – о наличии у кого-либо больших денег; *тощий (пустой) карман* (или *кошелёк*) – об отсутствии или недостатке денег у кого-либо; *набить карман* (или *мошну*) – разбогатеть, нажиться и т. д.

Делец, купец – “загребущая лапа” – набивает свой карман, свою мошну. Он, по словам Лескова в очерке “Пресыщение знатностью” (1888), “мошной вперёд прёт”. “Мужи кармана”, “прибыльщики” и “компанийщики” – так именовал писатель капиталистов, буржуа, банкиров, ростовщиков. Против их бесстыдных спекуляций Лесков выступал уже в ранней своей публицистике, а также в самом первом своём большом беллетристическом произведении –

повести “**Овцебык**” (1862). Именно здесь впервые появляется образ капиталиста — “мужа кармана” — Александра Ивановича. Главный герой повести — чистый сердцем и помыслами бывший семинарист Василий Богословский — с горечью вынужден признать: “Некуда идти. Везде всё одно. Через Александров Ивановичей не перескочишь”. Впоследствии пессимистическое словообраз “некуда” стало названием нового романа Лескова “**Некуда**” (1863).

Поэтика и символика онима “Кишенский” значением “муж кармана” не очерпывается. Фамилия персонажа, извивающегося в мошеннических махинациях и тёмных интригах, не может не вызвать зрительную ассоциацию с отвратительным клубком кишаших змей. Это впечатление дополняют аллитерации шипящих и свистящих звуков имени и фамилии “Тихон Кишенский”. Звуковые ассоциации, вызываемые именем, также значимы в поэтике писателя. Это подтверждает лесковская публицистика, поднимающая проблему исследования имён. Так, в статье “**О русских именах**” Лесков называет славянские имена “приятными для слуха”¹⁰. Писатель призывает способствовать “отраднему возвращению народного вкуса к именам приятного, родного звука и понятного значения”¹¹.

Таким образом, Лесков чутко различает “своё — чужое” в ономастике. Инородными именами, как правило, наделяются у него отрицательные персонажи, далёкие от Бога, народа и Родины. Так, например, “алыповатые и малоприглядные” нигилисты в романе “**Обойдённые**” (1865) награждены “отменно неблагозвучными нарицаниями — Вырвич и Шпандорчук”¹².

В чужеродной фамилии “Кишенский” также нет ни “родного звука”, ни сразу “понятного значения”; приятной для слуха её также не назовёшь.

Семантика слухового и зрительного образа “кишаших змей” уводит далее к библейской и метафизической образности — змея-искусителя, врага рода человеческого, сатаны. В романе “На ножах” Тишку Кишенского сопровождают признаки inferнальности. Он представлен не просто как “вёрткий фельетонист, шпион, социалист и закладчик” со своими “жидовскими слабостиками”, ведущий “дело по двойной бухгалтерии”. Его тёмные деяния показаны Лесковым как действие адской силы — “незримая подземная работа”, “затемняющая” и “перетемняющая” людей, с которыми он “привык по-жидовски считаться”. Дворянин Висленёв, запутанный в сатанинские тенёта Кишенского, чувствует, что “вокруг него всё нечисто: всё дышит пороком, тленом, ложью и предательством”.

Таким образом, философия имени в романе Лескова намного сложнее, чем может представиться на первый взгляд. Фамилия является иносказанием, функционально-оценочной характеристикой персонажа.

Лесков избегал “плакатных” именовании для своих героев. В то же время его внимание привлекали особенные имена и фамилии. Морфологически и фонетически необычная фамилия “Кишенский” позволяет высказать гипотезу о том, что она не выдумана писателем, а могла быть ему знакома, была у него на слуху.

В те же годы, когда Лесков работал над романом “На ножах”, именами Тургенева с конца 1866 года до середины 1870-х годов управлял Никита Алексеевич Кишинский, о нечестности которого молва распространилась весьма широко. Можно предположить, что Лескову (“в литературе меня считают орловцем”, — неоднократно подчёркивал он), не прерывавшему связей со своей “малой родиной”, были известны эти факты, представляющие не только филологический, но и культурно-исторический интерес. Нечистый на руку управляющий Тургенева, который распорядился таким образом, что буквально разорил писателя, мог послужить одним из реальных прототипов Кишенского в романе “На ножах”.

Из обширной переписки Тургенева с Кишинским явствует, что писатель безраздельно доверял своему управляющему, в котором желал видеть “честного и деятельного человека”¹³ (*деятеля на все руки* — в хорошем смысле). Письмо Тургенева к Кишинскому от 3 (15) апреля 1867 года заканчивается следующим обращением: “Прошу Вас знать одно: я никогда не доверяю вполвину, а Вам я доверяю, а потому не смущайтесь ничем и делайте спокойно своё дело”.

Кишинский действительно “не смущался ничем”, беззастенчиво пользуясь в своекорыстных интересах оказанным ему безграничным доверием, и за время своего управления нанёс всемирно известному русскому писателю

большой материальный ущерб; махинациями приобрёл себе земли и имение Сидоровку.

А. А. Фет, другие друзья и соседи Тургенева по орловскому имению предрепреджидали писателя о злоупотреблениях Кишинского. Тургенев отвечал Фету из Буживала: “Не сомневаюсь в том, что Кишинский нагревает себе руки”. В то же время писатель долго не мог поверить в нечестность своего управляющего, относя известия об этом в разряд досужих сплетен: “Не можете ли Вы – под рукой, но достоверно – узнать, где и какое он купил имение? – спрашивал Тургенев Фета. – Сплетников, Вы знаете, у нас хоть пруд пруди”.

Даже убедившись вполне, что происки Кишинского не пустые слухи, писатель сохраняет доброжелательное отношение к своему управляющему. С добросердечием, открытостью и доверчивостью Тургенев по-человечески стремится найти оправдание хищению его имущества. В ответ на не дошедшее до нас письмо Кишинского, в котором тот, очевидно, пытался “замести следы”, Тургенев писал: “Сплетни, о которых Вы упоминаете, напрасно Вас тревожат. Вы знаете довольно мой характер: я на такого рода заявления совершенно неподатлив. Я нахожу совершенно естественным и благоразумным, что Вы позаботились о приобретении себе недвижимой собственности, – это Ваш долг как семейного человека. <...> Впрочем, благодарю Вас за Вашу откровенность. <...> А потому, повторяю, Вам тревожиться нечего. <...> Фет написал мне о приобретении Вами земли, но я оставил это без ответа”; “Вы можете быть совершенно спокойны насчёт сплетен по поводу забранных Вами материалов <...> Я не имею привычки обращать на них внимания – и, коли доверяюсь, то вполне. Доверие моё к Вам именно такого рода”.

Подобных заверений немало в письмах Тургенева к Кишинскому. Однако вряд ли по ним можно судить о недалекости или житейской непрактичности писателя. Скорее это свидетельствует о благородстве его натуры, о неизменной вере в торжество добрых начал человеческой природы.

В то же время Тургенев начинал догадываться о нечистоплотном ведении его дел Кишинским. Несколько раз писатель просил избавить его капитал от “жидовских процентов”. Справедливо подозревая о махинациях со своим имуществом, писатель вынужден был обратиться к брату Н. С. Тургеневу с просьбой проконтролировать действия управляющего: “Побывай в Спасском или выпиши к себе в Тургенево Кишинского, и пусть он тебе растолкует хорошенько, какую операцию он намерен предпринять <...>, чтобы избежать жидовских процентов Тульского банка. <...> Мне кажется неслыханным, чтобы под залог недвижимого имения безо всякого долга драли такие проценты!”

Адресуясь с тем же вопросом к Кишинскому, Тургенев настойчиво и, по всей видимости, уже не в первый раз – “мне приходится только повторить мою просьбу” – требует: “Изложите мне в подробности, <...> какого рода перезалог Вы хотите предпринять <...> для того, чтобы избавиться от процентов, справедливо названных Вами жидовскими, – и как Вы от них избавитесь – и почему (что для меня особенно неудобопонятно) при закладе недвижимого и хорошего имения в банке приходилось заплатить такие громадные проценты?”

Обращает на себя внимание, что это письмо писатель уже не подписывает “преданный Вам Ив. Тургенев” или “доброжелатель Ваш Ив. Тургенев”, как неизменно на протяжении нескольких лет он заканчивал свои послания Кишинскому. На этот раз он ограничивается только сухой подписью “Ив. Тургенев” без выражения каких-либо уверений и чувств.

Месяц спустя Тургенев, не получив вразумительного ответа от Кишинского, который, по всей видимости, пытался запутыванием дела ввести писателя в заблуждение, скрыть жульничество, снова обращается к управляющему: “Не могу, однако, не заметить, что факт платежа 11 процентов под залог недвижимого, чистого от долгов, отличного имения – <...> мне представляется чем-то чудовищным!! <...> Я брожу, как во тьме, – и знаю только одно: имение моё заложено за какие-то жидовские проценты. Пожалуйста, потрудитесь всё это мне хорошенько растолковать и в исполнение моей просьбы отвечать отдельно на каждый вопрос”.

Однако Кишинский не торопился прояснить ситуацию, и в новом письме к нему снова находим недоумения Тургенева: “Вы на мои запросы не давали прямого ответа”. Всё это не может не вызвать в читательском сознании ассоциации с тёмными финансовыми спекуляциями “жида-ростовщика” Тишки Кишенского в романе Лескова “На ножах”.

Нельзя не изумиться деликатности и человеческой порядочности Тургенева. Даже в “чрезвычайной ситуации”, когда обнаружилось документальные свидетельства против Кишинского, Тургенев всё ещё боится обидеть управляющего несправедливым подозрением, продолжает быть с ним неизменно корректным и сугубо тактичным. Так, изучив приходно-расходные ведомости, красноречиво свидетельствующие об истинном положении дел, писатель адресует к своему управляющему с прежней искренностью: “Я намерен сообщить Вам все соображения, которые были возбуждены во мне эти<ми> ведомостями, в полной уверенности, что Вы не усмотрите в моей откровенности ничего похожего на недоверие или сомнение; сама эта откровенность обусловливается убеждением, что я имею дело с человеком вполне честным, к которому следует относиться с обычной во мне прямою. <...> Выходит, что расход равняется почти приходу – и, можно сказать, что овчинка не стоит выделки. Обо всём этом необходимо нужно основательно потолковать во время моего приезда в Россию <...> Ещё раз повторяю Вам, что Вы не должны видеть ничего для Вас неприятного в откровенных моих объяснениях”.

По приезде Тургенева в Спасское летом 1876 года Кишинский произвёл на него совершенно иное впечатление, чем при знакомстве в Петербурге в марте 1867 года, когда П. В. Анненков порекомендовал Тургеневу нового управляющего. После первой встречи с Кишинским Тургенев писал Полине Виардо: “Он мне нравится – это человек с энергичным открытым лицом, смотрит прямо в глаза”. Теперь от Тургенева не укрылись лицемерие и неискренность управляющего. Впечатление некой поддельности, ненатуральности создаёт сама его внешность: “Бородач Кишинский только потрясает своей бесконечно густой бородой и выставляет фальшивые зубы – от него толку мало”, – пишет Тургенев из Спасского И. И. Маслову.

На месте, в своём “родимом гнезде”, писатель, наконец, смог воочию убедиться в справедливости давно распространявшихся толков о злоупотреблениях и мошенничестве его управляющего. К чести Тургенева, не раздумывая, он обратился к решительным мерам: “Я вынужден произвести завтра в воскресенье своего рода государственный переворот и свергнуть моего Абдул-Азиза, г-на Кишинского, оказавшегося мошенником, которого я поймал с поличным. <...> Если я его ещё оставляю тут, он оберёт меня дочиста”.

В письмах того же периода к П. Ф. Самарину и А. М. Щепкину Тургенев также именует Кишинского “Абдул-Азизом”, сравнивая своего управляющего с турецким султаном, расхищавшим государственную казну. Помимо того, восточное имя, отягощённое такими неприглядными историческими ассоциациями, в контексте среднерусского духовного пространства производит впечатление чего-то постороннего, инородного. “Абдул-Азиз” по сути своей чужероден среднерусской усадьбе, расположенной в самом сердце России, и не способен праведно ею управлять.

Согласно официальной версии, реальный Абдул-Азиз покончил с собой, вскрыв себе вены ножами. В записке к А. М. Щепкину Тургенев говорит, что ему “удалось свергнуть Абдул-Азиза, не прибегая к ножницам”.

Упоминание об остром, в данном случае – смертоносном, предмете в реально-историческом контексте порождает зеркальную литературную ассоциацию с романом Лескова, герои которого пребывают друг с другом “на ножах”. В частности, о Кишинском сказано, что “долговременная жизнь на ножах отуманила его прозорливость и отучила его от всякой искренности”. Лесковская характеристика литературного персонажа прямо соотносится с реально существовавшим Кишинским, который утратил осторожность и почти в открытую грабил Тургенева. “Надо Вам сказать, – писал Тургенев Ю. П. Вревской, – что я выезжаю из Спасского разорённым человеком, потерявшим более половины своего имущества по милости мерзавца-управляющего, которому я имел глупость слепо довериться; я его прогнал”.

Писатель вынужден был не просто уволить “грабителя Кишинского”, но и выдать официальную доверенность на его уголовное преследование. В этом документе Тургенев устанавливает список преступлений своего управляющего: “оказалось, что г. Кишинский произвёл разные растраты принадлежащих мне сумм и имущества, совершил недобросовестные контракты и вообще допустил злоупотребления и беспорядки, причинившие мне существенный вред и убытки, обманул, таким образом, вполне данную ему от меня доверенность. Вследствие сего я прошу Вас принять на себя труд преследовать по за-

конам г. Кишинского в порядке гражданского или уголовного судопроизводства". Было ли возбуждено уголовное дело в отношении Кишинского, до настоящего времени остаётся неизвестным.

Кишенский в романе Лескова "На ножах" сумел остаться в тени, уголовному преследованию и суду Божьему подверглись другие его сообщники и жертвы.

Явную оппозицию тёмным силам составили любимые герои Лескова, исповедующие христианские идеалы любви, милосердия, деятельного добра: праведница Александра Ивановна Синтянина, "испанский дворянин" Андрей Подозёров, отец Евангел. Как скрытую оппозицию тёмному, безлюбивому, безбожному миру в архитектонике "На ножах" можно рассматривать тургеневское творчество, которое, по впечатлению М.Е. Салтыкова-Щедрина, наполняют "прозрачные, будто сотканые из воздуха образы, это начало любви и света, во всякой строке бьющее живым ключом"¹⁴.

Текстуальные связи романа Лескова "На ножах" и творчества Тургенева свидетельствуют о глубоком проникновении художников слова в истинную сущность изображаемого; помогают понять, как сквозь зеркальную призму тургеневского и лесковского творчества проступает неисчерпаемая сложность жизни, как "мимотекущий лик земной" соотносится с вечным, непреходящим.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лесков Н. С. Собр. соч. в 11 тт. М., ГИХЛ, 1956 – 1958. Т. 11. С. 12. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома римской цифрой, а страницы – арабской.

² Вестник литературы. 1920, № 7. С. 6.

³ Амфитеатров А. В. Собр. соч. СПб, б/г. Т. XII.

⁴ Журнальное обозрение // Дело. – 1871. – № 1. – С. 93.

⁵ Лесков Н. С. Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 9. М., ТЕРРА – Книжный клуб, 2004. С. 763.

⁶ Христианская жизнь по Добротолюбию. – М.: Свято-Данилов монастырь, 1991. – С. 121.

⁷ Св. Иоанн Лествичник. Лествица. – СПб.: Фонд «Благовест», 1996. С. 156.

⁸ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28 тт. Сочинения в 15 тт. Т. 8. М.-Л., Наука, 1964. С. 248.

⁹ Салтыков-Щедрин М.Е. Полн. собр. соч. – Т. XVIII. – М.: Гослитиздат, 1939. С. 143 – 144.

¹⁰ Лесков Н.С. О русских именах // Новости и Биржевая газета. – 1883. – № 245.

¹¹ Лесков Н. С. Календарь графа Толстого // Русское богатство. 1887, № 2. С. 196.

¹² Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. По его личным, семейным и несемейным записям и памятам. В 2-х тт. М., Худ. лит. 1984. Т. 1. С. 372.

¹³ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28 тт. Письма в 13 тт. Т. 5. М.-Л., АН СССР, 1963. С. 310.

¹⁴ Салтыков-Щедрин М.Е. Полн. собр. соч. – Т. XVIII. – М.: Гослитиздат, 1939. – С. 144.

НИКОЛАЙ СТАРЧЕНКО

ТУЧИ НАД БЕЖИНЫМ ЛУГОМ

“Тут не случилось великой битвы, нет на этом месте ни деревянных, ни каменных древностей. Луг этот похож на тысячу других российских лугов. И всё-таки луг необычный...”

Написал эти слова около сорока лет назад Василий Песков в очерке “Бежин луг”, который вошёл в его замечательную книгу “Просёлки”, а через много лет после этого, в октябре 2003-го, приехали мы сюда с ним вместе. Я видел луг впервые – незабываемое впечатление! Взволнован был после долгой разлуки с лугом и Василий Михайлович:

– Представляешь, те тургеневские мальчишки выросли – а Павлушу мне до сих пор жаль! – у них родились дети, потом внуки-правнуки, их потомки живут в соседних деревнях... А луг всё тот же.

Мне тоже с самого детства, с самого первого прочтения тургеневского рассказа было очень жаль славного паренька Павлушу, который “убился, упав с лошади”. Но не знал я до самого последнего времени, что, оказывается, ещё в 1935 году кое-кому захотелось внедрить сюда совсем другого Павлушу... Да какого – Павлика Морозова!

Любопытно, что об этом – если бы кто-то рядом обмолвился в разговоре – можно было узнать ещё тогда, в октябре 2003-го, так как в феврале этого же года в чернской районной газете “Заря” появилась публикация “Зори над Бежиным лугом”. Но попала она мне в руки только через девять лет, в ноябре 2012-го, когда был приглашён в Чернь на литературно-краеведческие чтения. Это были здесь первые такие чтения, организованные по инициативе нового деятельного начальника районного управления культуры Владимира Анатольевича Зайцева. Пользуясь случаем, я, конечно же, навестил – уже в который раз! – и Бежин луг. И там, у захватывающего дух обрыва, с которого далеко-

СТАРЧЕНКО Николай Николаевич родился в 1952 году в д. Осинка Суражского района Брянской области. Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Работал корреспондентом газеты “Орловская правда”, главным редактором газеты “Орловский комсомолец”, инструктором отдела культуры ЦК ВЛКСМ, ответственным секретарём журнала “Литературная учёба”, главным редактором журнала “Юный натуралист”. Член Союза писателей СССР и России с 1988 года, кандидат филологических наук, автор десяти книг прозы и двухтомника “Избранного” (2007). Лауреат литературных премий имени Н. М. Карамзина, А. К. Толстого, М. М. Пришвина, заслуженный работник культуры РФ. Основатель и главный редактор (с 1994 года) всероссийского литературно-художественного и научно-популярного журнала о природе для семейного чтения “Муравейник”.

далеко открывается просторная панорама, украшенная причудливо-извилистой рекой Снежедью, я и услышал:

– Тут и фильм снимался...

Я усмехнулся, вздыхая:

– Боюсь я фильмов по классике. Такого современные режиссёры накрутят-навертят...

– Да не-ет... Это не по тургеневскому рассказу. Хотя называется “Бежин луг”.

“Как же так?” – недоумённо спросит читатель. А вот как.

Идея создать кинотрагедию под названием “Бежин луг” принадлежит достаточно известному в 1930-е годы сценаристу Александру Ржешевскому (1903–1967), а снимать картину по написанному им сценарию, одобренному ЦК комсомола, было предложено уже знаменитому своим фильмом “Броненосец “Потёмкин” режиссёру Сергею Эйзенштейну (1898–1948). Приведём небольшую отрывок из воспоминаний Ржешевского:

“Но когда я уже потаскал его по многим местам, которые до сих пор всё ещё называют “тургеневскими”, и мы уже направлялись в телеге на станцию Чернь, чтобы оттуда поездом поехать прямо в Москву, Эйзенштейн вдруг, обращаясь ко мне, улыбувшись, произнёс:

– Ты что, ещё и сейчас серьёзно думаешь, что я буду что-нибудь снимать в этих местах?

– А почему бы и нет?

– Нет, я найду что-нибудь поинтереснее...

– Ну, уж вряд ли ты найдёшь, что заменило бы зрителю то, что вот уже целое столетие не перестаёт волновать читающий мир, как только он берётся за эту маленькую книжечку, именуемую “Записки охотника”. Я убеждён, что любому зрителю, который никогда не был в этих местах, было бы очень интересно и волнительно посмотреть в твоей картине самый настоящий Бежин луг, так прекрасно воспетый Иваном Сергеевичем Тургеневым... И что бы ты взамен этих мест ни нашёл, ты всё равно ничего равноценного не найдёшь настоящему Бежину лугу.

– Я дам шире!.. Масштабнее!..

– А мне не надо, чтобы ты вместо тургеневского Бежина луга снял нечто такое, что было бы хоть на сколько-то метров и даже в десять раз больше и шире, и длиннее истинного тургеневского Бежина луга. Я потому и назвал свой сценарий “Бежин луг”.

– Но ты же сам описал в своём сценарии события, которых вообще не было на настоящем Бежином луге!.. Ведь Павлик Морозов был убит не в тургеневских местах, а очень далеко от них... на Урале.

– Вот именно потому я и назвал свой сценарий “Бежин луг”, и очень жаль, что ты, оказываясь, не понял, почему я пошёл на такое смещение географических данных и сблизил два события, между которыми есть временной разрыв в целое столетие. Ты лишаешь “Бежин луг” достоверности, тем что отказываешься показать действительно Бежин луг”. *(Потом Эйзенштейну всё же пришлось под нажимом поехать с киногруппой на Бежин луг! – Н. С.)*

И дальше Ржешевский сетует на то, что Эйзенштейн отказался поехать в Спасское-Лутовиново, которое всего в десяти верстах от Бежина луга: “Мне и так всё ясно!”

Да-а, однако... Хотя в одном я соглашусь с режиссёром: я тоже не понял (и не принял категорически!), почему сценарист “пошёл на такое”. Один мой давний товарищ, любящий употребить новомодное словцо вперемежку с простонародным, так выразился, узнав от меня про эту дикую историю: “Чистый брэнд “Бежина луга” был присобачен чёрт-те знает к чему!” В самом деле, уму непостижимо: зачем понадобилось запакостить один из самых чистых, из самых лучших рассказов великой русской литературы?! Ровно через 85 лет после появления “Бежина луга” (он был написан Тургеневым в 1850 году, а Ржешевский в 1935-м почему-то говорит “уже целое столетие” – характерная “мелочь” и для тогдашних, и для большинства нынешних сценаристов, которым не важна точность ни в датах, ни в цифрах, ни в самих событиях), когда ещё были живы если и не сами мальчики, которых застал писатель в ночном у костра, то их многочисленные дети и внуки, – и вдруг тут затевается такое непотребное дело! С моральной точки зрения, это, безусловно, кощунство и глумление. И никакие объяснения особенностей “революционного искусства”

не могут быть нами приняты. Особенно, когда узнаешь, что же это был за сценарий, — удалось разыскать статью об истории кинофильма “Бежин луг”, опубликованную в журнале “Новости экрана” (№ 42 за 1967 год), где говорится:

“В основу первого варианта литературного сценария, написанного А. Ржешевским, лёг действительный факт убийства пионера Павлика Морозова, сообщившего в сельсовет о сговоре своего отца с кулаками. Действие было перенесено из уральской деревни в описанные И. С. Тургеневым места близ Бежина луга, а главный герой у А. Ржешевского стал Степкой Самохиным. В то время было поставлено немало пьес и фильмов на “деревенскую” тему, и сценарий А. Ржешевского не выходил за рамки среднего уровня этих произведений. Был здесь и традиционный для произведений такого рода подбор персонажей: бдительные пионеры, тёмные старики и старухи (упомянем ещё раз, что эти якобы тёмные старики и старухи — сыновья и дочери тех смыслёных мальчиков из “Бежина луга”. — Н. С.), начальник политотдела МТС и председатель колхоза. ... Центральными эпизодами фильма, вызвавшими наибольшие нарекания, были эпизоды поимки поджигателей МТС. Толпа врывается в церковь, где спрятались кулаки, и ломает иконы”.

Сцена разгрома церкви, судя и по другим источникам, была просто ужасающей по зверству и богохульству — настолько, что ошеломила и худсовет, и самую высшую власть страны. В таком виде фильм был отвергнут, было рекомендовано приступить к новому варианту. Сценарий переделывал уже И. Бабель (А. Ржешевский заниматься переделкой отказался), С. Эйзенштейн соглашался со всеми замечаниями, но и этот вариант не прошёл. “И в марте 1937 года постановка фильма была прервана навсегда”, — констатирует уже упоминавшийся здесь журнал “Новости экрана”.

Не поддался Бежин луг! Невольно вспомнишь вещь строку Ивана Бунина: “Но позора земли не прощает земля”. Мы всё ещё мало знаем о неограниченных возможностях природы, о её защитных свойствах, нам уже давно пора научиться вовремя слышать: “Остановитесь! Тут заповедано!”

Неудавшаяся судьба фильма “Бежин луг” (единственная копия утрачена в годы войны) во многом обрушила и судьбы режиссёра и сценариста. С. М. Эйзенштейн, начиная работу, позаботился и о всемирной рекламе, так что на Бежин луг, на реку Снежедь прибывали целые стада газетчиков-репортёров и просто любопытствующих из Москвы и из-за границы, всем хотелось увидеть и рассказать, как ведёт натурные съёмки признанный мэтр. А продемонстрировал свою, тогда ещё явно мало кем замечаемую ущербность. Деревню он не знал и о русском крестьянине не имел никакого понятия. Да и Ржешевский... Я с интересом — и местами с сочувствием — прочитал его воспоминания: натерпелся он в последующем немало всякого, вплоть до исключения из Союза писателей СССР с формулировкой “за бездеятельность”.

Упомянув в самом начале о статье “Зори над Бежиным лугом” в чернской районной газете от 12. 02. 2003 года, я хочу сейчас добавить к этому несколько слов. Публикация весьма обширная, на целых две газетных полосы большого формата, в конце её стоят две подписи: В. В. Волков, глава администрации муниципального образования Чернский район Тульской области, и А. А. Ржешевский, член Союза писателей России. Разумеется, я не против самой публикации как исторического свидетельства. И могу понять А. А. Ржешевского, родственника сценариста, но мне никак не понять тогдашнего руководителя района. Я слышал о Волкове как о человеке, немало сделавшем для сохранения тургеневского и толстовского наследия в Чернском районе, но я не нашёл в этой статье и малейшего намёка на то, что сотворенное здесь в 1935-м есть настоящее глумление и моральное преступление — пусть кем-то и неосознаваемое тогда — перед величайшим русским писателем и его земляками! Как не видеть того, что не светлые зори тут были, а тёмные тучи?

Ведь и до сего дня совершенно разнузданно, предельно грубо и издевательски вторгаются разного рода “революционные” сценаристы и режиссёры в нашу русскую классику, коверкая и извращая её до неузнаваемости, всячески понижая до своего убогого, пигмейского уровня. Достается здесь и Тургеневу. По его рассказу “Муму”, вошедшему во все хрестоматии, не так давно был поставлен на государственные средства фильм, где содержание одного из лучших произведений мировой художественной литературы искажено до уродства и патологии: якобы всё дело в том, что престарелая барыня вожделеет к глухонемому Герасиму. Это как понимать? И доколе будем молчать?

Помнится, зимой 1995 года вели мы разговор на литературную тему с признанным библиофилом М. В. Булгаковым. Моего собеседника всерьёз огорчало, что если раньше об охоте и природе писали и Тургенев, и Толстой, то “из нынешних грандов, тех, кто обосновался сегодня на литературном Олимпе, об охоте никто не пишет”. – “И слава Богу! – отвечал я. – Только радоваться этому надо! Потому что те, кто нынче угнездили на ими же сварганенном “Олимпе”, питаются из совсем других источников, вдохновением им служит не песня жаворонка над утренним полем, не вечерняя вальдшнепиная заря, а гнилостная мусорная свалка, всякого рода человеческие отбросы и нечистоты. Уж пусть они лучше и близко не подходят! Не то замутят и последние чистые родники творчества...”.

Да, чувствовала моя душа ещё тогда, что уже близко подходят, подкрадываются-подбираются к последним родникам... Определённая группа “творцов” вскорее, судя по всему, задалась вопросом: “Что ещё не обоглао нами в “этой” стране? Что ещё не опоганено по полной программе? А-а, охотники? Сейчас-ка мы их... Подадим под соусом простецкого юмора – *пилл всё схавает!*”. И состряпали быстренько якобы художественный фильм “Особенности национальной охоты”.

И если великий поэт и издатель Николай Некрасов считал, что “лучшая часть русского народа отделяется в охотники”, то тут мы увидели такое... Гнусно-пошленький и в то же время страшновато-мерзский, грязный фильм этот поспешно, наперегонки стали раскручивать по всем телеканалам и кино-театрам (а потом последовали ещё “Особенности национальной рыбалки” – в том же духе).

Это был ещё один плевок в Россию! Об этом я открыто высказался в своей статье “У развилки”, опубликованной в литературно-художественном ежегоднике “Охотничий сборник – 2005”. Мою оценку этой отвратительной анти-русской поделки разделяют многие настоящие охотники. Хочу здесь привести только одно письмо – из Санкт-Петербурга, от учёного-биолога, заслуженного работника Росохотрыболовсоюза Модеста Калинина:

“Я лично и большой коллектив охотников и просто русских людей благодарим Вас за то, что Вы первый (насколько я знаю) вступились за исконно русское занятие – “национальную охоту”! Поразительно, как мы невозмутимоносим постоянные оскорбления!”

И в целом, доколе будут топтать и бесноваться на наших святынях ново-явленные режиссёры и сценаристы самой сегодняшней жизни? Вот Красная площадь в Москве – беспорядная, великая святыня всей России. Тем не менее, вот уже два десятка лет на ней самой и на Васильевском спуске регулярно устраиваются всякого рода шабаши с заезжими вульгарными “звёздами”, зачастую ненавидящими нашу страну. Это выгодно только денежным мешкам, дельцам-ловкачам, ненасытным устроителям низкопробных шоу, а нам-то что, скромным и порядочным людям, потом остаётся? Только загаженная, замусоренная, заплёванная площадь. И ещё – острая боль и горечь в душе...

И почему это каждую зиму теперь на главной площади Отечества устраивается ледяная площадка для катания на коньках? Другого, что ли, места не нашлось? Это очень сильно понижает статус российской святыни-памятника. Я немало поездил по свету – и убеждённо свидетельствую: ничего равного и подобного по красоте, величию и гармонии Кремлёвским башням и стенам нигде в мире больше нет!

А что происходит теперь летом рядом с Красной площадью, в Александровском саду? Почти голые юницы и юноши валяются на траве, загорая, обнимаясь, трапезничая, выставив немытые пятки в сторону Вечного огня, могилы Неизвестного солдата, в сторону седой Кремлёвской стены. Наверное, так демонстрируется ложно понятая “демократия” и “свобода личности”? Почему так бездумно обезьянничаем, копируем чужое, заёмное? Александровский сад у Кремля – это не какой-то там Гайд-парк!

9 ноября сего года (28 октября по старому стилю) исполняется 195 лет со дня рождения И. С. Тургенева. Остаётся всего пять лет до 200-летнего юбилея. Надо достойно встретить это знаменательное событие – и обязательно помочь Бежину лугу как национальному памятнику литературы и природы.

Первые тёмные тучи закружились над лугом ещё в 1931 году, когда под обрывом стали брать гравий и песок – совсем рядом с тем местом, где некогда сидели у костра мальчики в ночном. И карьер всё разрастался и разра-

стался... И длилось это целые десятилетия! Уже и слово “экология” появилось повсюду в обиходе, и местные власти соглашались: да, мы понимаем, что Бежин луг – наша гордость, но вот же – очень большая сейчас нужда в строительстве, мы уж ещё один разок возьмём немножко – и больше уж точно не будем! Но и чуть погода всё брали и брали... Хорошо, что этому теперь положен предел.

Но подоспела другая напасть. От резкого упадка сельского хозяйства всё реже и реже стали здесь выкашивать траву. А если луг ежегодно не косить, он начинает заболачиваться и зарастать кустами.

– Теперь уже требуется рекультивация, – говорит Владимир Анатольевич Зайцев. – Нужен научный подход, необходимо восстановить исторический травостой, каким он был при Тургеневе. И Бежин луг – это ведь не только сам огромный луг (53 гектара), но и окружающий пейзаж, река Снежедь, эти вот привольные холмы... Тут тоже есть чем заняться. А туризм? Есть указатель на Симферопольском шоссе на Бежин луг, интересующиеся люди, бывает, на машинах, а порой и на автобусах заезжают сюда, а тут не оказывается квалифицированного сотрудника, кто бы им провёл качественную экскурсию... А вообще-то, хорошо бы над всей этой окрестностью, до села Тургенево, где остались отдельные строения от усадьбы, учредить охранную грамоту. И чтобы был тут, хотя бы пока областного значения, музей-заповедник “Бежин луг”!

Зайцев показал мне любопытный список – как по всей России используется название “Бежин луг” разными предприятиями и организациями. Приведём его выборочно: “Бежин луг” – дачный посёлок на Новорижском шоссе под Москвой; “Бежин луг” – питьевая вода, г. Екатеринбург, и там же, с таким же названием – архитектурно-ландшафтная мастерская; “Бежин луг” – творческий союз агрономов Тимирязевской сельхозакадемии и ландшафтного дизайнера; “Бежин луг” – сеть магазинов в г. Орле; “Бежин луг” – донские семена для газона (г. Ростов-на-Дону); ООО “Бежин луг” – оптовая торговля автомобилями (г. Владивосток); “Бежин луг” – песня, исполняет ансамбль “Сябры” (г. Минск); “Бежин луг” – молочный комбинат (г. Тула)... Здесь остановимся (всего в списке 16 адресов) и скажем, что пока на призыв Чернского управления культуры помочь Бежину лугу отозвался только Тульский молочный комбинат – в этом году предприятие выступило спонсором фольклорного праздника “Песни Бежиного луга”. Спасибо тулякам большое! А остальные пока что используют благородное название и не к месту, коряво (“Бежин луг” – керамическая плитка, косметика, соль для ванны, интернет-магазин винтажных вещей и т. д.), и к тому же без всякой оплаты-пошлины, которая очень бы пригодилась для восстановления тургеневского Бежина луга.

В дальнейшем разговоре мы приходим к выводу, что обязательно надо создать общественный фонд в поддержку Бежина луга. И чтобы этот фонд начал реально работать уже с завтрашнего дня – иначе все благие планы могут так и остаться только на бумаге...

Велика Россия, много у нас ещё красивых, цветущих лугов, но Бежин луг – он один такой. Будем же об этом помнить.

ГАЛИНА ОРЕХАНОВА

ТРЕВОЖНОЕ “МИНУВШЕЕ”

Искусство — это та область духа, в которой люди сходятся с самыми чистыми и возвышенными помыслами, вне политики, вне мелких личных целей, ради красоты и эстетической радости.

К. С. Станиславский

...Самое ужасное случается, когда под влиянием необходимости или в пылу боя руководители приносят в жертву политическим интересам величайшие моральные ценности: человечность, свободу и — высшее благо — истину.

Р. Роллан

“...Для меня стала откровением жертвенная борьба великой актрисы за утверждение своих принципов.

В основу надуманного конфликта двух МХАТ было положено лишённое смысла и логики противопоставление ДВУХ ВЕЛИКИХ имён в театре XX века. Несопоставимость ИМЁН (естественная для любого искусства!) и несоразмерность противопоставлений привели к ложным выводам, которые многие годы отравляли атмосферу жизни театрального сообщества России. Т. Доронина с честью вышла из многолетних испытаний, оздоровив атмосферу творческого экстремизма. Необходимо окончательно развеять легенды, которыми был овеян период разрушения репертуарного театра”.

В ноябре 2012 года это письмо пришло из Америки в МХАТ им. М. Горького. Его написал человек по имени Владимир Левиновский, ныне — гражданин США, в прошлом — русский режиссёр, работавший в БДТ под руководством Г. А. Товстоногова.

Эмигрировал режиссёр давно, в начале 70-х годов XX века. К 100-летию Г. А. Товстоногова он выпустил книгу, написанную на чужбине (по причине издания её в России он и приезжал в Москву осенью 2012 года). Книга носит название: “Работа Г. А. Товстоногова над “Тремя сёстрами” А. П. Чехова”. В том спектакле, как известно, Татьяна Доронина играла Машу. Отсюда и сегодняшний, не остывший с годами интерес автора к творчеству Т. В. Дорониной, как и потрясение от последней встречи с её работами ныне на сцене МХАТ им. М. Горького.

Казалось бы, давно должны утихнуть споры и разговоры, отчего в России существуют два театра с почти одинаковым названием — МХАТ? Правда, вре-

мя и конъюнктура всё же внесли свои поправки: МХАТ им. М. Горького под руководством Т. В. Дорониной сохранил историческое название театра, которое окончательно сложилось в 1932 году при жизни его основоположников – К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

МХТ им. А. Чехова в 1989 году совершил “акт исторической справедливости”, как писалось в его театральных программах, не только отказавшись от звания “академический”, но и поменяв имя М. Горького на А. Чехова в официальном названии театра.

Не многие уже точно помнят, как произошёл этот “развод”, сопровождавшийся большими человеческими трагедиями, вплоть до смертельного исхода, но, тем не менее, интерес к этому трагическому событию в жизни русского театра и по сей день не остыл и продолжает будоражить сознание неравнодушных к судьбе России и к её культуре людей. Как показало приведённое выше письмо, за рубежом – так же.

Как это было? Зачем? Кому было нужно это разделение? Что хорошего принесло оно? Кто от этого выиграл? По чьей инициативе разорвали единое “тело” великого театра?..

На этом вопросы не кончаются. Но!.. Пока – довольно вопросов.

Найти ответы на многие из них и подойти к истине сегодня значительно проще, чем во времена интересующих нас событий, потому что за 25 лет жизни “в разводе” было вполне достаточно желающих разобраться в сути дела, и есть досье, собранное в интернете, которое впечатляет наличием серьёзных, обстоятельных и всесторонних исследований этой проблемы.

Как восприняла разделение МХАТ СССР им. М. Горького Т. В. Дорониная? Как трагедию, как жестокий, непоправимый удар по русской культуре, как посягательство на жизнь русского драматического театра. Она пыталась бороться против раздела МХАТ, обращалась в различные органы печати, возила туда документы, подтверждающие правоту позиции тех, кто возражал против разделения уникального в истории театрального искусства творческого организма.

Никто не захотел вникнуть в суть дела, никто не выслушал подобающим образом авторитетного художника, русскую актрису – любимицу огромной многонациональной державы, народную артистку СССР – “сильные мира сего” встречи с ней трусливо избегали. Почему? Постараемся найти ответ и на этот вопрос.

Так никто и не расслышал предельно ясного вывода: разделение МХАТ СССР на две половины – это шаг к уничтожению русского реалистического театра!

Позже не раз на протяжении 25 лет Т. В. Дорониная продолжала объяснять и разъяснять: “Министерство культуры СССР это разделение оформило – разрезали театр по живому, операция была произведена без наркоза. Страшно, бесчеловечно расправились с уникальным русским театром, и никто ещё не представил список погибших в результате этого разделения. А этот список русских актёров велик. Умерли самые талантливые, самые совестливые и остро чувствующие художники. Надо признать, однако, что и О. Н. Ефремову это разделение на пользу не пошло. Я уважаю его как актёра. Но всё, что касается разделения МХАТ, – это не лучшее проявление Ефремова. Мне хотелось бы думать, что он это осознал, понял, наконец, что разрушение единого организма МХАТ – это начало уничтожения отечественной культуры.

После раскола оставшаяся часть труппы избрала меня Художественным руководителем МХАТ им. М. Горького.

Надо было восстановить репертуар, на развалинах театра создавать новые спектакли”.

О. Н. Ефремов также по поводу разделения МХАТ СССР им. М. Горького своего мнения публично никогда не менял – ни в начале, когда раздел состоялся, ни после очевидных неудач на поприще руководства МХТ им. А. Чехова. Каких неудач? Да хотя бы таких, как исход из театра, руководимого им, артистов-личностей: Иннокентий Смоктуновский, Олег Борисов, Евгений Евстигнеев, Екатерина Васильева, Анастасия Вертинская, Александр Калягин, приглашённые Ефремовым “спасать” МХАТ, покинули театр, каждый по своей причине, но это дела не меняет, – они ушли.

“Раздел был необходим”, – упрямо твердил Ефремов.

В 1990 году он дал пространное интервью журналу “Советский экран”, в котором участвовали журналисты со всего Советского Союза: И. Арсеньева из

Перми и А. Липская из Петропавловска, Т. Юпилайнен из Краснодарского края и А. Шахбанова из Дагестана, В. Томилова из Днепропетровска и Н. Геворкян из Еревана...

Он, Ефремов Олег Николаевич, — народный депутат СССР от Союза театральных деятелей СССР, главный режиссёр знаменитого МХАТ (тогда никто ещё не привык к новому названию МХТ им. А. Чехова), народный артист СССР, отвечал обстоятельно:

— Не считаете ли вы, что мхатовский раскол пошёл на пользу вашему театру, вашей “ветке”? — спросила С. Фёдорова из Ленинграда.

— Так бы я не сказал, — ответил Ефремов. — Хотя раскол всё равно был необходим, потому что неестественна труппа до двухсот человек — это уже не театр. Всякие преобразования ожидают и производство, и другие сферы жизни. В этом смысле всё, что произошло, правильно. Ведь не зря же мне пришлось в переполненный театр приглашать таких артистов, как Смоктуновский, Евстигнеев, Борисов, Калягин. То есть надо было создавать поколение, адекватное по талантам, творческим возможностям знаменитым мхатовским “старикам”. Иначе образовывался вакуум. Но с этим никак не могли согласиться многие из артистов, они-то и были против раздела. Выразила их тревоги и пожелания нынешний лидер той половины — Татьяна Доронина. Правда, как я понял, она столкнулась теперь с теми же проблемами, с какими столкнулся я, когда пришёл во МХАТ, — натолкнулась на недееспособность именно среднего поколения мхатовцев. Потому и стала она набирать новых артистов. Её я понимаю. Но ведь это же нечестно перед теми, кто с ней остался! Потому что она воевала вроде бы с ними и за них, а сейчас от этого поколения отвернулась, строит репертуар на других исполнителей. Вот вся ситуация. Разделение было наиболее гуманным, демократическим, в духе времени решением, которое с таким трудом и шумом далось, аж Политбюро включилось! Я уверен, что сейчас, с переходом на нормальную экономическую деятельность, это было бы абсолютно просто и естественно.

Совершенно верно, Татьяна Доронина набирала молодёжь. Без молодёжи ни одно начинание существовать не может, тем более — театр. Надо отдать должное её “чувству таланта” — первый же молодёжный набор оказался на редкость точным и результативным: Валентин Клементьев, Татьяна Шалковская, Михаил Кабанов, Андрей Чубченко, Юлия Зыкова, Максим Дахненко, Сергей Габриэлян... Сегодня это народные и заслуженные артисты, которые все годы борьбы за русский реалистический театр прошли вместе с нею. Они — основа основ репертуара МХАТ им. М. Горького. Молодёжь же в театр принимают каждую весну каждого нового года — обязательный конкурс проходят все, желающие поступить на сцену МХАТ им. М. Горького. Правда, принимают немногих. И удерживаются в труппе далеко не все — отбор строгий, к каждому артисту подход индивидуальный, по результатам работы.

Теперь о тех, “с кем и за кого воевала”.

Всего через три года после разделения МХАТ СССР им. М. Горького умер соратник Ефремова, начинавший с ним в знаменитом спектакле “Современника” по пьесе В. С. Розова “Вечно живые”, поддержавший его в баталиях “за новый МХАТ”, сыгравший роль Батарцева в “Заседании парткома”, прекрасный артист Михаил Николаевич Зимин, оказавшийся “непонятно как” в числе “недееспособных”. Следом за ним ушёл из жизни Николай Николаевич Засухин. В 1990 году умерла народная артистка СССР Анастасия Платоновна Георгиевская, великолепный народный талант, который в представлениях не нуждается.

Что же касается высказанного мнения о якобы “нечестном” поведении Дорониной “по отношению к тем, за кого воевала”, то это мнение неверное.

С первого дня новой своей жизни МХАТ им. М. Горького под руководством Т. В. Дорониной, “засучив рукава”, принялся за создание своего репертуара: ведь за одну ночь из театра вывезено было всё — почти все спектакли, а это декорации, реквизит, костюмы. Когда труппа наутро пришла в театр, повсюду валялись только обрывки бумаги, тряпки, осколки разбитой мебели и реквизита...

С Божьей помощью под руководством Т. В. Дорониной начали с восстановления по режиссёрским пометкам и записям К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко спектаклей “На дне”, где Н. Н. Засухин очень интересно играл Луку, а Л. Кудрявцева — Василису. Л. И. Губанов был соре-

жиссёром Дорониной в работе по восстановлению “Трёх сестёр”, играл Вершинина, она – Машу.

В следующем спектакле – “Макбет”, над постановкой которого работал пришедший по зову Дорониной (в отличие от Стуруа, Чхеидзе, Портнова, которые не пришли, но также приглашались и в ответ давали согласие работать) Валерий Белякович. Зимин в его спектакле играл роль Росса, Губанов – Дункана, Доронина – леди Макбет. К сожалению, Леонид Иванович Губанов стал много и тяжело болеть, и всё же до конца жизни играл по мере сил в спектаклях: в новой постановке Дорониной “Лес”, в старом спектакле ещё Станицина – Шиловского “На всякого мудреца довольно простоты” – Городулина, оставался членом Художественного совета театра.

Вслед за уже названной “мхатовской классикой” театр под руководством Татьяны Дорониной приступил к новым постановкам, и снова “мхатовской классики”. Режиссёром спектакля “Вишнёвый сад” А. П. Чехова был приглашён великолепный киевский мастер, народный артист СССР С. В. Данченко. В этом спектакле у Зимина была роль Симеонова-Пищика. Актриса первого выпуска Школы-студии МХАТ им. Вл. Ив. Немировича-Данченко Луиза Александровна Кошукова (также в 1987 году оказавшаяся за стенами альма-матер – здания Ф. Шехтеля) играла Шарлотту. Так было вплоть до конца её жизни. Луиза Александровна завершила свой путь, проявив свойственный корифеям МХАТ стоицизм – будучи смертельно больной, сыграла в день 85-летия, в свой бенефис, подряд два полноценных спектакля: главную роль в “Контрольном выстреле” С. Говорухина – Ю. Полякова и героиню комедии “Дорогая Памелла” Дж. Патрика.

Огромной творческой победой театра стал спектакль режиссёра Андрея Борисова “Прощание с Матёрой” по одноимённой повести ставшего ведущим автором МХАТ им. М. Горького Валентина Распутина. Спектакль выпущен в 1988 году. В нём были заняты “недееспособные”, по заключению О. Н. Ефремова, по словам же доктора искусствоведения, театрального критика Инны Соловьёвой, высказанного в интервью Марии Богатырёвой накануне 100-летнего юбилея Художественного театра, “. . . там оставались замечательные артисты” – А. П. Георгиевская, К. И. Ростовцева, Л. А. Кошукова, Н. Н. Засухин, Л. И. Губанов, Н. В. Пеньков, А. В. Семёнов, Л. В. Стриженова, Л. А. Кудрявцева. . . Именно они составили слаженный, глубоко проникший в суть произведения, откликавшийся на сокровенные чувства писателя ансамбль. Спектакль звучал как “чистый, пронзительный голос страдающей России”. Спектакль украшал репертуар театра долгие восемнадцать лет.

На фестивале, посвящённом Великой Отечественной войне, проходившем в Волгограде, этот спектакль был воспринят как Реквием. Шла заключительная сцена: маленькая, сжавшаяся, спаянная группка русских старушек, вместе с любимой Матёрой и отеческими гробами уходящая под воду. Они уходят непокорёнными, с чувством собственной человеческой значимости. Тишина оглушающая настолько, что в первом ряду никто не заметил, как весь зал в середине картины единым порывом тихо поднялся и застыл. Люди, стоя, не стесняясь текущих по лицам слёз, смотрели, с каким достоинством уходят, не предав родной земли, исконные русские люди. Они хорошо знали, зачем жили. Чувства раскаяния и восхищения переполняли публику, гордость за свой народ и великую, прекрасную землю.

Закрылся занавес. . . И только после затянувшейся паузы покатались, наконец, раскаты аплодисментов. Они длились так долго, что, казалось, им не будет конца. Аплодисменты ли? А что тогда нескончаемая овалация? . . .

Народный артист России Н. В. Пеньков был человеком публичным. Внешне строгий, даже отчасти суховатый, он был так талантлив, что никогда нельзя было понять, когда он “выходит” из роли. Натура глубокая, он страстно любил поэзию, был интересным писателем – его рассказы часто печатал “Наш современник”. Он регулярно выступал в Доме литераторов на поэтических вечерах и собирал огромные залы. Любимец и кинозрителей, театру он был самоотверженно предан, проявлял себя как “мастер на обособинку”: талант его был неподражаемым, острым, предельно убедительным. Достаточно вспомнить чинушу-паука Юсова в “Доходном месте” Островского. Именно МХАТ им. М. Горького раскрыв в полную силу режиссёрское дарование Николая Васильевича Пенькова, создавшего интереснейшие спектакли – “Роза Иерихон”, “Наполеон в Кремле”, “Аввакум”, – где он играл ведущие роли. По-мхатовски

служивший сцене, до самых последних дней жизни Николай Васильевич не оставлял её и, будучи уже безнадежно больным, пронзительно играл в спектакле “Сто шагов от праздника” по островам современной повести Лобозёрова.

Можно сказать, что именно под руководством Дорониной расцвёл талант Л. А. Кудрявцевой, которая в блистательной постановке “Доходное место” создала впечатляющий образ Кукушкиной. Броская, яркая, с должной мерой сарказма, эта работа народной артистки России Л. Кудрявцевой незабываема. Если бы не страшный недуг, вынудивший актрису покинуть театр, она бы ещё долго радовала зрителей. Отношение к Художественному театру как к лучшему, что есть в мире, бесконечная преданность заветам его основоположников, страстное желание работать (она работала на пределе сил!) отличали эту колоритную актрису.

Если же говорить об именах, снискавших славу ещё в советские времена, то Маргарита Валентиновна Юрьева, любимица А. К. Тарасовой, ходившая в юности “читать Блока” по особому приглашению в дом Н. Н. Литовцевой и В. И. Качалова, ныне по-прежнему на сцене: “Маргариту Валентиновну Юрьеву прошу приготовиться к выходу”, – звучит по трансляции сегодня, 17 марта 2013 года, голос ведущего режиссёра спектакля “Синяя птица”.

В ежедневных планах – “рапортчиках” – имя Юрьевой обязательно: готовится к выпуску спектакль “Пространство для любви” – о судьбе великой актрисы, пьеса принята к постановке специально для Юрьевой.

В этом рассказе о членах труппы МХАТ им. М. Горького нельзя опустить имя Любви Васильевны Пушкарёвой.

Принятая на службу во МХАТ самим Вл. Ив. Немировичем-Данченко 1 сентября 1941 года, сыгравшая на сцене великого театра роли, вошедшие в анналы его художественной истории, такие как Катюша Маслова в знаменитом спектакле “Воскресение” по роману Л. Н. Толстого, она умела до конца дней своих держать тот неповторимый уровень “актрисы Художественного театра”, который закрепился за “мхатовками” со дня его основания.

Высокая, статная, с прямой спиной и гордой посадкой головы, народная артистка России Любовь Васильевна Пушкарёва появлялась в стенах театра и приносила с собой праздник. Всегда безукоризненно одетая и торжественная, она интересовалась всем, что происходило в родном театре, как глубоко личным делом, до конца дней своих жила его заботами.

22 июня 1992 года играли премьеру спектакля по роману И. А. Гончарова “Обрыв”. Л. В. Пушкарёва – Татьяна Марковна Бережкова. Актриса была в этом спектакле добрым ангелом-хранителем, его душой. Все молодые артисты, занятые здесь, прошли школу мастерства и служения искусству русского реалистического театра под руководством вдумчивого педагога и художника Л. В. Пушкарёвой. Спектакль прожил восемнадцать лет и сошёл со сцены лишь потому, что ушла из жизни его вдохновительница.

В свой юбилей – 90-летие со дня рождения – Любовь Васильевна играла более чем трёхчасовой спектакль “Обрыв”, играла вдохновенно, в переполненном полуторжественном зале, ни на йоту не выказав ни усталости, ни, не дай Бог, недовольства хоть чем-нибудь. Более того, статная, величественная актриса в платье XIX века (а это предполагает обязательный жёсткий корсет) в течение нескольких часов уже после спектакля принимала поздравления от почитателей её торжествующего таланта!

Проходит время, но не забываются слова приветствия Л. В. Пушкарёвой, произнесённые ею на сборе труппы в начале последнего театрального сезона в её жизни (2009-2010):

“Дорогие мои! Ни на минуту не забывайте, что вам выпало огромное счастье работать в Художественном театре, созданном талантом выдающихся русских художников. Они оставили нам совершенное искусство воздействовать на душу человека, будить в нём светлые и высокие чувства. Театр – не праздная забава. Это огромное и очень важное дело воспитания человека высокой души. Это особенность чисто русского драматического театра! Помните, мы ответственны за это!”

Нет, совсем не “недееспособность среднего поколения” смущала Ефремова, когда отсекал он живых людей от единой театральной семьи, от исторической сцены. Да, он не мог справиться с ними, – в этом и признавался. А справиться не мог потому, что слишком убеждён был в своей непогрешимости, в праве “перекраивать” годами сложившийся уклад и стиль творческой

жизни МХАТ СССР им. М. Горького. Он пытался подчинить своим вкусам актёров, пытался выдавить из них их веру в великое учение основателей театра, воспринятое не формально, а всей душой.

Когда в 1970 году О. Н. Ефремов был назначен главным режиссёром МХАТ СССР им. М. Горького, он начал с того, что провозгласил: “Самое главное – общая творческая позиция, общий взгляд на назначение искусства, который неотделим от социальной позиции художника”. Эту точку зрения далеко не все разделяли, хотя понимание того, что театру нужно обновление, присутствовало. Но как прийти к обновлению? На этот вопрос общая точка зрения найдена не была. Вопреки широко распространяемому в обществе в то время мнению, приход Ефремова во МХАТ одобряли далеко не все “старики”: широко известно, как восстал против назначения Ефремова Борис Николаевич Ливанов, как активно не принимала его реформы Анастасия Платоновна Зуева, как категорически отрицала их Анастасия Павловна Георгиевская, с какой неохотой согласилась играть в спектакле “Валентин и Валентина” М. Рощина Алла Константиновна Тарасова. Остальные, замкнувшись, молчали. Конечно, об этом в прессе тогда не писали, напротив, с пафосом утверждали: “Старики” распахнули свой храм навстречу новому”. Общественности настойчиво внушали: МХАТ СССР им. М. Горького “устарел”, “потерял себя”, “МХАТ в упадке, погибает”. Об этом была оповещена вся страна, и так была построена пропаганда, что только от Ефремова ждали “чуда возрождения”.

В 2011 году издательство “Аргументы недели” выпустило книгу с пафосным названием: “Олег Ефремов. Настоящий строитель театра”. Это сборник, первая часть которого под названием “Мысли вразброс” состоит из комментариев к книгам и мыслям К. С. Станиславского, составленных в разные годы О. Н. Ефремовым. Это некая попытка диалога с великим создателем уникального русского реалистического театра, своеобразная “проба сил” и... попытка оспорить Мастера.

Вторую часть книги составляют воспоминания о Ефремове известных актёров, режиссёров, соратников. Книга заряжена на добро, направлена на то, чтобы симпатии авторов воспоминаний передались читателям. Конечно, почти каждый из авторов высказал и своё мнение о работе Ефремова главным режиссёром МХАТ СССР им. М. Горького. И никто не сказал, что этот опыт был удачным. (А ведь это 17 лет творческой жизни не только человека, но и огромного театра!)

Выделяются воспоминания ведущей актрисы “Современника” Лилии Толмачёвой. Касаясь перехода Ефремова во МХАТ, она писала: “...Зачем были те знаменитые три дня и ночи, когда он уговаривал нас идти во МХАТ вместе с ним? ... Думаю, он хотел поднять для себя планку: я создал театр “Современник”, следующая задача – возродить МХАТ, любимый, родной театр, из школы которого мы все вышли. Задача гигантская. Увлекательная. Только исполнимая ли? Мы не верили и не пошли за ним. Как могли, боролись за него. Не победили. Наши пути разошлись. Думаю, что тут и честолюбие свою роль сыграло.

А Олег был, безусловно, честолюбив (не тщеславен!)... Многие знают, что по окончании Школы-студии его в Художественный театр не приняли. Однако считая его талантливым, тут же пригласили преподавать. В своём юношеском дневнике он написал тогда: “Я ещё въеду во МХАТ на белом коне!”

Я и сегодня считаю, что его уход из “Современника” был ошибкой. Во МХАТ у него не было той мощной духовной поддержки, как у нас... Репетируя там, я увидела, как ему живётся в чужой для него атмосфере, где многие его не принимали...”

Придя во МХАТ как спасатель, Ефремов требовал обновления художественной идеи, а для этого необходимо было уничтожить “теснящие её организационные пути”. Семнадцать лет до рокового октября 1987 года он пытался внедрять всяческие реорганизации, создал Совет старейшин из “стариков”, пробовал через них продвигать свои идеи, но так ничего и не добился.

Та же Лилия Толмачёва писала: “К чему он стремился в поисках новых форм жизни? Мне кажется, его пугали громадные, неподъёмные постоянные труппы, где все были неприкосновенны, никого нельзя было отчислить. Таков закон, из него возникло страшное слово для артиста, слово – балласт. Неподвижность театра, омертвление. Так что ему, видимо, более справедливой и необходимой для театра казалась форма антрепризы, но не одного челове-

ка – режиссёра или директора, – а основного сложившегося состава. Антреприза коллектива”.

Выписки Ефремова “из Станиславского” могут многое рассказать о его творческих исканиях. Но порой создаётся впечатление, что он, обратившись к Станиславскому, “упрашивает” его о поддержке, старается утвердиться в своей правоте. Очень важно, читая Ефремова, обращать внимание на дату, когда была им “освоена” та или иная доктрина. Так, в рассуждениях от 1967 года Ефремов выделяет: “Станиславский стремился создать театр высокой мысли, современных идей, сплотить творческий коллектив единомышленников, воспитать актёра-мыслителя... В системе Станиславского, – продолжает он свои рассуждения, – главное, на мой взгляд, учение о сверх-сверхзадаче. ... Сверх-сверхзадача – это мировоззрение актёра, то, что он хочет сказать зрителю всем своим творчеством, каждой ролью. Значит, театр должен ставить только ту пьесу, идеи которой совпадают с мироощущением и гражданским назначением творческого коллектива. Иначе нельзя ничего создать серьёзного, общественно значимого, творчески откликнуться на зов времени”.

Здесь отражается программная установка, с которой Ефремов пришёл реформировать МХАТ СССР им. М. Горького.

Но весь вопрос в том, какова та идея, на которой базируется это “мировоззрение – сверх-сверхзадача”? Не ошибочна ли она? И действительно ли она, эта идея – тот главный нерв времени, биение которого верно отвечает запросам общества?

Вот, например, в воспоминаниях Александра Гельмана, помещённых в упомянутой книге об О. Н. Ефреме, в главе “История постановки одной пьесы” Гельман рассказывает (причём этим и исчерпываются его воспоминания!), как Ефремов в течение года бился “в неравной борьбе” с Министерством культуры СССР и лично с министром П. Н. Демичевым за разрешение постановки на сцене театра, восхищавшего в своё время лучшие умы мира высотой помыслов и художественным вкусом, пьесы “Скамейка”. Ефремов своего добился: спектакль вошёл в репертуар театра. Какая была в этом необходимость, и как это обогатило общественную жизнь? Сочтём вопрос риторическим.

Здесь уместно было бы озадачиться другим: возможна ли была подобная ситуация в жизни К. С. Станиславского? Боролся бы он за продвижение такой пьесы на сцену? Увы, уже сама постановка вопроса вызывает усмешку. Лучше вспомним о том, как формировался художественный вкус Станиславского, благодаря чему ему удалось не только выйти на самый высокий уровень служения искусству, но и совершить открытия, внести свой вклад в мировую сокровищницу лучшего, что создано человечеством в мире художественных завоеваний.

Обратимся к свидетельству людей посвящённых, например, Всеволода Мамонтова, сына известного основателя русской частной оперы Саввы Мамонтова. Не откроем Америки, если скажем: всё начинается с детства.

“Воспитанию детей в семье придавалось огромное значение – гувернёры и педагоги, домашнее обучение и удивительная среда, в которой с раннего детства находились дети, – писал В. Мамонтов впоследствии. – Тут и художники во главе с В. Д. Поленовым, В. М. Васнецовым, И. Е. Репиным, М. М. Антокольским, а также и более молодые – Н. А. Серов, М. А. Врубель, К. А. Коровин, и музыканты с Н. А. Римским-Корсаковым и с С. В. Рахманиновым, и певцы Мари Ван Зандт, Анжело Мазини, Франческо Таманьо, Н. Н. Фигнер и выпестованный моим отцом Ф. И. Шаляпин, и драматические артисты во главе с Г. Н. Федотовой.

В семье Алексеевых увлечение театром стало основой воспитания вкуса – художественного, литературного, музыкального. У семьи была ложа в Малом театре, и дети хорошо знали творчество корифеев Малого театра” добавим, были со многими знакомы лично: с М. Н. Ермоловой и – очень близко – с Федотовым, мужем Гликерии Николаевны, в число друзей семьи входили и Южин, и Ленский – великие мастера русского реалистического театра. Понимание значительности дела, которому К. С. Станиславский принял решение посвятить жизнь, и определило не только уровень требований в искусстве основателя Художественного театра, но и его титаническую работоспособность и самоотверженность служения театру, который стал для него смыслом жизни.

Если говорить о трудностях, с которыми столкнулся О. Н. Ефремов, придя во МХАТ, то и в Художественном театре, жившем под руководством

К. С. Станиславского и Вл. Ив. Немировича-Данченко почти полвека, подобных трудностей было не меньше, особенно в тот период русской истории, когда ломался не только весь уклад России и менялись критерии идеологические и социальные (1905), а потом и политические, вплоть до смены общественного строя в ходе революции 1917 года. Но основатели театра хорошо понимали значимость задач, перед ними поставленных, а именно: сохранить основу основ Художественного русского реалистического театра, жемчужины русской национальной культуры.

В 1905 году революционную Россию уже не привлекали тонкости чеховской драматургии. Россия 1917 года смела всё ранее почитаемое. Но К. С. Станиславский продолжал неуклонно искать решение: как в предложенных обстоятельствах сохранить Художественный театр? То, что его необходимо сохранить при любых условиях, сомнения не вызывало. Надо искать, и он не только искал, но и понял: спасение русского театра – в высокохудожественной литературе! Только мудрость её, знание жизни, умение проникнуть в тайны психологии и внутреннего мира человека даст тот материал, который принесёт новое освещение проблем и потребностей человеческой души. Именно в этот период Станиславский едет к Метерлинку и находит для театра “Синюю птицу”, тогда же, в 1906 году обращается к творчеству Кнута Гамсуна, найдя в его книгах тот тектонический сдвиг человеческой мысли и природную мощь природы, которые, верил Станиславский, дадут новый импульс жизни театра.

Так же можно говорить и о периоде общественного застоя в России 1910–1912 годов, в преддверии Февральской и Октябрьской революций. Тогда руководители Художественного театра обратились к малоизученному в то время творчеству Ф. М. Достоевского. Этот шаг вызвал неодобрение М. Горького, дружкой с которым художественники дорожили, и всё же они пошли даже на временный разрыв с ним, но свою позицию не изменили. Постановка Немировича-Данченко по роману “Братья Карамазовы” возродила театр к новым подходам, открытиям и находкам. Ни о каких перетрясках в коллективе и, тем более, перекройке труппы никогда вопрос не стоял.

В выписках, сделанных Ефремовым из работ Станиславского, есть такие рассуждения: “Хорошо было известно, как сложно складывалась репертуарная программа Художественного театра в первые годы после революции. Как соблазнительно легко было ответить на атаки постановкой какой-нибудь “нужной” агитационной пьесы и тем самым заявить себя в качестве революционного театра. Но Станиславский и Немирович по этому пути не пошли... М. А. Булгаков, Л. М. Леонов, Ю. К. Олеша, В. П. Катаев, И. Бабель были призваны в театр и принесли с собой ту правду новой жизни, которая должна была дать второе дыхание театру Чехова и Горького...”

Осенью 1928 года, в день тридцатилетия МХАТ, К. С. Станиславский скажет как раз об этом, о природе самого подхода театра к действительности, об органических основах творчества: “... Мы понемногу стали понимать эпоху, понемногу стали эволюционировать, и вместе с нами нормально, органически эволюционировало и наше искусство. Если бы было иначе, то нас бы толкнули на простую “революционную” халтуру. А мы хотели отнестись к революции иначе; мы хотели со всей глубиной поглядеть не только, как ходят с красными флагами, а хотели заглянуть в революционную душу страны”.

Эта запись Ефремовым сделана в 1983 году, когда полным ходом шла работа его с пьесой “Так победим” М. Ф. Шатрова, признанного создателя документально-публицистических драм.

Спектакль открыто ставил задачи пересмотра устоявшихся революционных догм, предлагал революцию в революции и мало интересовался “жизнью человеческого духа”. В режиссёре бурлила революционная страсть, желание выправить политическую историю России “под себя”, под нужды либеральных воззрений, желающих “направлять” течение времени по своему усмотрению. Всё чаще в поступках Ефремова проявлялся волонтаризм и явные расхождения со Станиславским. Или, может быть, он действительно думал, что посредством спектакля “Так победим!” можно “заглянуть в революционную душу страны”?

Шло время, революционный пыл Ефремова всё более увлекал его. Этим можно объяснить и пристрастие к пьесам А. Гельмана: одна за другой выходят постановки “Заседание парткома”, “Обратная связь”, “Мы, нижеподписавшиеся”...

Или другое, ещё более шокировавшее русскую интеллигенцию увлечение О. Н. Ефремова шаржированными пошловатыми “отображениями” советского общества – спектакли по пьесам М. Рождина “Старый Новый год” и “Перламутровая Зинаида”, за которую Ефремов “боролся” с “инстанциями” на протяжении более четырёх лет, постоянно вместе с автором подгоняя содержание “к злобе дня”?

Где скрывалась та “тайная сила”, что, вопреки провозглашаемому им почитанию основоположников Художественного театра, толкала его, реформатора МХАТ СССР им. М. Горького, в тенёта “революционной халтуры”? Кто не хотел позволить, чтобы он, “настоящий строитель театра”, совершил “чудо возрождения” МХАТ СССР им. М. Горького?

А “старики” тем временем один за другим уходили из жизни: в 1970 году умер Василий Осипович Топорков, в 1971 году ушли из жизни Фаина Васильевна Шевченко и Ольга Николаевна Лабзина, в 1972-м не стало Бориса Николаевича Ливанова, Михаила Николаевича Кедрова, Григория Григорьевича Конского, в 1973-м умерла Алла Константиновна Тарасова, не стало Владимира Вячеславовича Белокурова, в 1974 году ушёл из жизни Василий Александрович Орлов. В 1975 году умерли Ольга Николаевна Андровская и Александр Михайлович Комиссаров, в 1976 году ушли Виктор Яковлевич Станицын и Михаил Михайлович Яншин, в 1977 году театр простился с Алексеем Николаевичем Грибовым, в 1979-м – с Павлом Владимировичем Массальским, в 1980-м – с Анатолием Петровичем Кторовым. Год до разделения театра, слава Богу, не дождала Анастасия Платоновна Зуева.

Долгожителями оказались только Марк Исаакович Прудкин (1994), Ангелина Иосифовна Степанова (2000), Софья Станиславовна Пилявская (2000). Кира Николаевна Голованова жила и сегодня.

В книге “Моя жизнь в искусстве” К. С. Станиславский чуть ли не с первых страниц поднимает проблему, перед решением которой был поставлен и Ефремов:

“Замечали ли вы, – пишет Станиславский, – что в театральной жизни наступают долгие, томительные застои, во время которых не появляется на горизонте ни новых талантливых драматургов, ни актёров, ни режиссёров? Но почему-то вдруг, неожиданно, природа выбрасывает целую труппу, а к ним в придачу и писателя, и режиссёра, и все они вместе создают чудо, эпоху театра.

Потом являются продолжатели великих людей, создавших эпоху. Они восприимают традицию и несут её следующим поколениям. Но традиция капризна, она перерождается, точно синяя птица у Метерлинка, и превращается в ремесло, и лишь одна наиболее важная крупинка её сохраняется до нового возрождения театра, который берёт эту унаследованную крупинку великого, вечного и прибавляет к нему своё, новое. В свою очередь, и оно несётся следующим поколениям и снова на пути растеривается, за исключением маленькой частицы, которая попадает в общую мировую сокровищницу, хранящую материал будущего великого человеческого искусства”.

Думается, Олег Николаевич Ефремов не нашёл эту “крупинку” во МХАТ СССР им. М. Горького, когда пришёл его реформировать, не заметил её, а ведь она была, эта “крупинка”. Не нашёл и не понял, какой колоссальной энергией будущего расцвета она заряжена. Одержимый революционным пафосом, он отважно рассёк “шашкой” с головы до пят весь уникальный организм великого театра.

То, что даже во времена якобы признанного упадка почитатели МХАТ СССР им. М. Горького всё равно не пропускали спектаклей А. К. Тарасовой, когда она играла Кручинину в “Без вины виноватые” или Марию Стюарт вместе с А. И. Степановой, – это во внимание не принималось. И не считались с поразительной популярностью Андровской с Кольцовым в “Беспокойной старости”. Была своя публика, влюблённая в Яншина с Андровской в “Школе злословия”, и эта публика высоко ценила театр. Зрители “ломались” на ливановскую “Чайку”, на Грибова в “Селе Степанчикове”, на спектакли с Массальским, Станицыным, Белокуровым, Прудкиным, Зуевой...

“О творческой причине конфликта практически ничего не известно”, – цитировали мы мнение, выраженное в статье о Достоевском журналиста из “Киевской правды”, – в самой материи спектакля “Старая актриса на роль жены Достоевского”, – писал журналист, – присутствует тоска и желание причас-

тяться к старому легендарному МХАТ, его художественным откровениям, нравственному целомудрию, фантастической этике... Это тот материализованный в декоре, в звуках, во внутреннем трепете актёров конденсат, та искомая духовность, по которой истосковалась Доронина...". Если люди об этом тоскуют, значит, было всё это в том театре, который якобы "иссяк"? Была и "КРУПИНКА", и надо было её искать, ибо в ней, в этой крупинке, и было запрятано "ядро" новой жизни, способное "оплодотворить" труппу во имя благотворного обновления.

Наступил и прогремел 1985 год. Жизнь в стране резко менялась, порой с пугающей неопределённостью и скоропалительностью. Процесс назван был новым руководителем КПСС М. С. Горбачёвым "перестройкой". Многие восприняли её как грядущее, безусловно, положительное обновление всей жизни страны.

Новатор, демократ, лёгкий в общении человек, способный "зажигать" окружающих, всегда чем-то увлечённый и жаждущий постоянных революционных решений, которые обязательно, в этом он не сомневался, откроют новые горизонты театру будущего (на меньшее он был не согласен!), Ефремов нравился многим людям. Как хорошего партнёра на сцене ценила Олега Ефремова и Татьяна Доронина. Когда на последнем съезде ВТО СССР, состоявшемся 28 октября 1986 года, с рациональным предложением преобразовать ВТО в СТД выступил О. Н. Ефремов, она поддержала его, как и многие очень авторитетные деятели театра, в том числе Г. А. Товстоногов.

"Перестройка – дело всех и каждого! – говорил в выступлении на съезде Ефремов. – ...Какие же революционные преобразования мы можем утвердить в сфере нашей общественной жизни, которая связана с деятельностью театрального общества? Нам нужно театральное общество, которое действительно бы выражало и защищало интересы искусства, которое было бы не придатком к органам управления культурой, но самостоятельным организмом, имеющим социальные права и обязанности, связанные с творческим процессом". В репортаже со съезда журналист С. Пархоменко отмечал: "Доронина назвала предложение Ефремова главным и определяющим положением съезда. Пожалуй, ей лучше других удалось показать, в чём именно их особая важность для актёра, чем они так дороги ему.

"Актёр – самое униженное лицо в театре, – говорила она. – Положение о порядке формирования труппы содержит в себе недвусмысленную угрозу стабильности существования актёра. Я думаю, "умом" все понимают, что процедура аттестации облегчит условия работы для многих театров, создаст в них более деловую атмосферу, вернёт в театральную труппу нормальные творческие отношения. Но актёр, как известно, существо эмоциональное, а эмоция тут часто рождается одна: страх. В актёрской среде утвердилось устойчивое неприятие грядущих нововведений. И причина этому – отсутствие реальных сил, способных гарантировать соблюдение прав актёра в условиях, когда недобросовестный руководитель получает возможность распоряжаться его судьбой едва ли не только по собственному усмотрению". Она говорила: "В секретариат нужно избрать тех, кто не способен к предательству во имя своего удобства и своих благ, кто обладает человеческим и профессиональным авторитетом, чтобы обновить общественную жизнь, объединить наши усилия в борьбе с теми, кто пристраивается...".

Предлагаю при составлении проекта Устава включить в него такой пункт: членом Союза может быть только человек порядочный и честный...".

Мы возвращаемся к этой давней истории, потому что в этом выступлении актрисы сказались такая вера в дело театра, которому она служила и служит, такая искренность в отношении к людям, которым она поверила, что эти чувства не могли бы родиться, если бы человек не испытывал их. Она знала, что актёры, с которыми она теперь работала, ждут перемен и запуганы ими. Она надеялась, что всё разрешится во благо артистам. Но, думается, до конца тогда не понимала: почему так укоренился этот страх? Дело в том, что четырнадцать лет жизни в "пылу революционных реформ", на которые обрёл труппу Ефремов, руководя МХАТ СССР им. М. Горького в течение 70-х годов XX века, она уже не работала в этом театре, и знать всего, чем жили тогда артисты, не могла.

Т. В. Доронина поступила во МХАТ СССР им. М. Горького, оставив БДТ (чего не может простить себе и поныне!), в 1966 году. У неё сложился заме-

чательный творческий контакт со “стариками”, особенно с Б. Н. Ливановым: играла в поставленном им спектакле “Братья Карамазовы” Грушеньку; в “Ночной исповеди”, также в постановке Ливанова, — Глебову. Была введена в старейший спектакль “Три сестры” на роль Маши.

Когда во МХАТ 1 сентября 1970 года пришёл Ефремов, он сразу же предложил ей сложную, многотрудную работу (что она всегда принимала с радостью) — роль в первом своём спектакле, дебюте на прославленной сцене. Литературной основой этого спектакля была избрана пьеса-притча Александра Володина “Дульсинея Тобосская”, вольная фантазия на тему Дон Кихота. Ефремов занял в ней ярких мастеров старшего поколения: А. П. Зуеву, А. П. Георгиевскую, В. А. Орлова, М. М. Яншина в роли Санчо Панса. Сам он играл Луиса. Героиня Дорониной звалась Альдонсой. Спектакль был для мхатовской сцены непривычным, но стал явлением театрального сезона 1970–1971 годов.

Критика, однако, как свидетельствует “Энциклопедия МХАТ”, с осторожностью восприняла постановку: кто-то ждал чего-то от “Современника”, кто-то, напротив, надеялся на приближение к мхатовской традиции. Народ же “ломился” на блистательную Доронино. Популярность спектакль завоевал огромную.

Как писал известный театровед Константин Щербаков: “Официальные инстанции были недовольны открыто... Но Ефремову важно было быть легенде по росту. Легенде создателя “Современника”. И не обмануть тех, кто любит, понимает, надеется. И он, как прежде, как всегда, делал своё, не слушал предостережений, из каких бы они ни исходили кабинетов, компаний, сфер. Было ли ему тогда до конца ведомо, сколь неумолима жизнь к Дон Кихотам?..”

Т. В. Доронино покинула МХАТ СССР им. М. Горького. Она перешла на службу в Театр им. Вл. Маяковского — там ей предложили много интересной работы.

Приняли её хорошо. И сразу сцена особенно популярного в те годы театра вспыхнула огнём обворожительной и искромётной Альдонсы — теперь из пьесы Д. Вассермана “Человек из Ламанчи”. Постановку осуществил А. Гончаров. Сервантеса играл Александр Лазарев. Успех спектакля был оглушительным. На Доронино приезжали посмотреть из других городов. О ней спорили до хрипоты, одни — восхищаясь её дарованием и профессиональным мастерством, другие — не принимая ни “голоса”, ни “исполнительской манеры”, ни даже “красоты” актрисы. Только равнодушных не было.

Шёл 1973 год. “Да здравствует королева, виват!” — под таким названием вышел спектакль, поставленный А. Гончаровым по пьесе Р. Болта, в котором Татьяна Доронино играла сразу две роли — двух королев. Её партнёром был Армен Джигарханян, актёр сильный и мудрый. Характеры её героинь, чрезвычайно разные и противоречивые, требовали огромного душевного напряжения. В какие-то считанные секунды она должна была перевоплотиться не только внешне, но и внутренне: спектакль был поставлен так, что выходы королев следовали один за другим. Экстравагантная, необузданная и капризная королева Елизавета в мгновение ока превращалась в грациозную, женственную, чувственную Марию Стюарт, и снова, точно по мановению волшебной палочки, перед зрителем появлялась жестокая и надменная Елизавета. Закованная в неподвижный панцирь глухого чёрного платья, она несла на шее золотые цепи, и тяжесть их отражалась зловещими тенями на лице королевы, обрамлённой жёсткой скобою волос, и только в глазах — живых, трагичных, жадных — проглядывала страстная натура любовницы. Поражительный успех спектакля был общепризнанным! Более на театральных подмостках XX века столь виртуозного владения мастерством не повторил никто.

В Театр им. Вл. Маяковского пришла новая интересная пьеса “Беседы с Сократом” Э. Радзинского. Её автор, драматург, имя которого было хорошо известно Татьяне Дорониной, всегда увлекал её полётом фантазии, сложностью задачи, которой определял он назначение будущей постановки. Начались репетиции под руководством А. Гончарова. На роль Сократа был приглашён Армен Джигарханян, уже очень известный и популярный актёр театра и кино, на роль Ксантippy была введена после Светланы Мизери Татьяна Доронино. В работе над этой ролью обнаружились творческие расхождения актрисы с режиссёром. Она рвалась к крупным “мазкам”, он ограничивал её страсть к работе, фантазию, волю. Наконец, наметившийся конфликт обозначился ещё больше, когда театр приступил к постановке пьесы “Кошка на раскалённой

крыше” американского драматурга Теннесси Уильямса, в те годы чрезвычайно популярного в СССР. В рисунке роли Мегги, предложенном Гончаровым, Дорониной не хватало крупнохарактерности. Начались споры, неудовлетворение актрисы нарастало, ей казалось, что её ограничивают в работе, и, в конце концов, её отношения с режиссёром окончательно испортились. Её стали всё меньше и меньше занимать в репертуаре театра.

“В бытность мою в Театре им. Вл. Маяковского под руководством А. Гончарова, когда я второй сезон пребывала без какой-либо серьёзной работы, я поступила на Высшие режиссёрские курсы. Учиться было чрезвычайно интересно и полезно. . .

А затем я ушла из этого театра, потому что поняла, что нельзя дальше так существовать – за три года службы я сделала полторы работы”, – вспоминает об этом времени актриса.

Конец семидесятых – начало восьмидесятых годов в жизни Татьяны Дорониной – период наивысшего напряжения внутренней, порой мучительной, изнуряющей борьбы, но и стимулирующей не только зарождение энергии поиска своего места в искусстве, но и более определённого места в общественной жизни страны, подходящей к порогу своего трагического крушения. Как очень чуткий, талантливый человек, она всем своим существом предчувствовала неотвратимость серьёзнейших перемен в жизни своей Родины, и это не могло её не беспокоить.

А внешне всё выглядело почти как у каждой актрисы, известной, яркой, популярной, а значит, интересной любому театру и каждому творческому режиссёру. Она продолжала играть в пьесах Радзинского, он писал много, и всегда находился театр, где со вниманием относились к его новой работе. В Театре им. М. Н. Ермоловой начались репетиции его пьесы “Спортивные игры”. Постановщиком спектакля был Валерий Фокин, режиссёр “на особинку”, входящий в моду громко и шокирующе. Она играла Ингу, современную красавицу из сфер “золотой молодёжи”, а партнёром её был тонкий и очень одарённый молодой актёр Олег Меньшиков. Это была отличная работа.

Вскоре появилась ещё одна пьеса Радзинского – “Приятная женщина с цветком и окнами на север”. Её поставил Е. Лазарев в Театре Эстрады, и снова был успех.

Возможно, понимание того, что надо возвращаться в “родные пенаты”, на сцену МХАТ СССР им. М. Горького, пришло именно тогда, когда Татьяна Доронина играла Аркадину в “Чайке” на сцене Театра им. Вл. Маяковского. Это был замечательный спектакль с яркими исполнителями: Б. Тенин играл Сорина, И. Костелевский – Треплева, спектакль, в котором его постановщик А. Вилькин сумел пробудить чеховское настроение поэтической грусти.

Обновлённая, заряженная на новые открытия и масштабность в постижении мира, обогащённая опытом работы в разных театрах и с разными режиссёрами, Татьяна Доронина в 1983 году вернулась во МХАТ СССР им. М. Горького. Она пришла одновременно с Олегом Борисовым и Иннокентием Смоктуновским, и это также вдохновляло – великолепные мастера, творческий потенциал и требования к профессии которых были ею глубоко уважаемы. Ведь недаром сроднила их сцена театра великого Г. А. Товстоногова.

Но вернёмся к съезду ВТО – СТД. Так многообещающе начавшись, он дальнейшими результатами не мог обрадовать такого бескомпромиссного художника, как Доронина, ибо ничего нового после этого съезда в театр не пришло. Революционность Ефремова обернулась пошлейшими нервными собраниями: партийными, профсоюзными, многочасовыми заседаниями труппы, на которых решался один вопрос: кто будет играть на исторической сцене в Камергерском переулке, а кому туда путь уже заказан? Формальный повод для проведения этих изнурительных собраний был таков: наконец закончился ремонт здания Шехтеля, и временное, десятилетнее пребывание труппы на Тверском бульваре, 22 должно было закончиться. Ожидался переезд в историческое здание, но далеко не всей труппы. Театр лихорадило. Конец стал очевиден, когда Ефремов на вопрос Дорониной: “А куда же пойдут остальные мхатовцы, не приглашённые в Камергерский переулок?” – категорично ответил: “Да хоть в клуб “Каучук!”” – “В таком случае, я остаюсь здесь!” – был столь же категоричным ответ Татьяны Дорониной!

А 1 октября 1987 года пришло распоряжение из Министерства культуры СССР, подписанное министром Захаровым. В этом документе официально

удостоверялось, казалось, невозможное: театр поделён на две части, одной из которых будет руководить О. Н. Ефремов. Руководимая им труппа будет работать на исторической сцене в Камергерском переулке, под его руководство уходит Музей МХАТ и Школа-студия МХАТ им. Вл. Ив. Немировича-Данченко.

Другому коллективу надлежит работать на сцене бывшего филиала МХАТ СССР им. М. Горького по улице Москвина (некогда бывший театр Корша). Но поскольку это здание поставлено на капитальный ремонт, труппа временно остаётся в здании театра по адресу: Тверской бульвар, 22. “Ничего нет более постоянного, чем что-нибудь временное” — банальность, “которая всегда права”: МХАТ им. М. Горького под руководством Т. В. Дорониной, избранной коллективом театра на должность художественного руководителя единогласно, и по сей день работает в здании на Тверском.

Что означало для Татьяны Дорониной это “разделение”?

Человек умный, прозорливый, жестоко обманутый в лучших своих чувствах, она тяжело восприняла разыгравшуюся трагедию, считала, что совершён акт уничтожения русского реалистического театра. Было очевидно, что те, кто нанёс этот смертельный удар по великому театру, были уверены, что возрождение его невозможно, — слишком неподъёмной была эта задача. Но Т. В. Доронина после избрания её художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, собрав все силы и волю, приступила к воссозданию репертуара родного театра.

Откуда бралась в ней уверенность в возможности созидательной работы? Может быть, основанием её веры служило то понимание КРАСОТЫ, которое заложено в нравственной культуре народа? Ведь Креститель Владимир для Руси выбрал не ислам и не иудаизм, а именно Православие, покорённый красотой его церковных обрядов. В “Дневнике актрисы” Татьяна Васильевна придаёт огромное значение, на первый взгляд, незначительному эпизоду из жизни её крестьянской семьи. “В воскресенье родители повели тётю Машу в Эрмитаж. Мать рассказывала: “Вошли в залу-то, внизу которая, она на мраморную лавку садится, смотрю, матушки, валенки сняла и в носках шерстяных пошла по Эрмитажу-то. Мы говорим: “Тётя Машь, надень, смотрят все, что ты с валенками в руках да в одних носках гуляешь”. А она говорит: “В такие полы только смотреться нужно, а не сапогами топать”. Так два часа и проходила. Валенки-то Вася потом взял. Он нёс”.

...Какой интуитивной культурой, какой тонкой душевной организацией обладала ярославская крестьянка, которая в носках шагала по Эрмитажу, зажав валенки под мышкой! Она умела ценить чужой труд, умела понимать красоту, и первое, чему поразились в Эрмитаже, были не статуи и не картины, а пол, по которому она ступала. Вместо белых досок своей избы она увидела сияющую живую красоту, созданную из дерева. Поразились и, как полагаются православному человеку, поклонилась этой красоте своеобразно: сняла валенки, чтобы сохранить её, не испортить. Она умела видеть”.

Невольно вспоминаются слова К. С. Станиславского: “Красиво — значит, художественно”. И Доронина стремилась воплотить эту формулу в работе театра.

Когда появились первые результаты её созидательной работы, на Доронину обрушился шквал оскорбительных нападок. Вокруг её имени зароились сплетни, зазвучала откровенная ложь, раздалась оскорбительные обвинения в том, что это “она из жажды власти разрушила МХАТ”.

“Я не задаюсь вопросом, — говорила она в одном из интервью тех лет, — почему меня кто-то откровенно ненавидит. Кого-то любят, кого-то — нет, такова судьба актёра. Извечный это вопрос, и он касается не только моей работы. Индивидуальность рождает сложное и противоречивое отношение к ней. Особенности творческого самовыражения можно принимать или не принимать, и эта, в конечном счёте, любовь-ненависть, собственно, и определяет меру пригодности к творческой профессии. Я никогда не обижалась на критику, она неотъемлемая часть жизни театра. Но сейчас предпринимаются попытки зачеркнуть и то, что было признано уже как явление искусства. И я вижу в этом желание не дать мне работать дальше...”. Но она, несмотря ни на что, работала.

Только в первый сезон 1987–1988 года было выпущено восемь постановок: одни — лучше, другие — менее удачные, но театр постоянно находился в творческом поиске и напряжённой созидательной работе. Сезон

1988–1889 принёс лучшие результаты: из десяти выпущенных спектаклей семь оказались знаковыми, определившими ход дальнейшего развития театра. Это, в первую очередь, “Вишнёвый сад” в постановке С. Данченко. Помня о том, что МХАТ всегда ориентировался на современную пьесу, выпустили спектакль “Прощание с Матёрой” по повести В. Распутина. За ним – спектакль “И будет день...” по пьесе известного белорусского драматурга Алексея Дударева; это была первая постановка на мхатовской сцене В. Беляковича. Впервые за многие годы во весь голос зазвучал на мхатовской сцене А. С. Пушкин – великолепная сценическая композиция “Послушайте глагол моих”, созданная талантом великолепного режиссёра Б. А. Покровского.

Именно в этом сезоне было осуществлено возобновление легендарного мхатовского спектакля “Синяя птица” по пьесе М. Метерлинка. В программке значилось: “Возобновление спектакля, поставленного К. С. Станиславским, А. А. Сулержицким, И. М. Москвиным в 1908 году. Режиссёр возобновления К. К. Градополов”.

Именно в этом сезоне увидела свет рампы первая самостоятельная режиссёрская работа Т. В. Дорониной – “Зойкина квартира” М. Булгакова.

Диапазон интересов театра охватывал и современную зарубежную литературу: спектакль “Барьер” по повести Павла Вежинова отражал повышенный читательский спрос на бестселлер болгарской литературы. Одно перечисление созданных театром работ говорит о многом: об идейной направленности МХАТ им. М. Горького, о его ориентирах и вкусах – в поле зрения театра высшие достижения культуры.

Однако нападки на Доронину продолжались, причём “нападки” – это ещё мягко сказано. Ей не прощали ничего: как посмела взяться за режиссуру? Почему так талантлива? Почему красива?!

Вокруг театра очертили зону непризнания, и “хорошим тоном” в среде “театральной элиты” считалось с апломбом сказать: “Я в этот театр принципиально не хожу!” Однажды Татьяна Доронина выступила на литературном вечере журнала “Наш современник”. Её пригласили читать Есенина. Она стояла на огромной сцене спортивной арены в “Лужниках” в строгом чёрном платье, напряжённая, порывистая, и говорила, в какой атмосфере ей приходится работать: “Меня не оставляет ощущение, что я, идя по Тверскому бульвару, вдруг подвергаюсь нападению своры бандитов: они сбивают меня с ног, они избивают меня, упавшую на землю, бьют ногами... а мимо проходят люди, нормальные люди. Многие меня знают, но никто не останавливается, не только чтобы помочь и защитить, но просто хотя бы выразить сочувствие взглядом. Все проходят мимо. Избиение продолжается...”

*Мир таинственный, мир мой древний,
Ты, как ветер, затих и присел.
Вот сдавили за шею деревню
Каменные руки шоссе.*

*Так испуганно в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть.
Здравствуй ты, моя чёрная гибель,
Я навстречу к тебе выхожу!*

*Город. Город, ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь.
Стынет поле в тоске волоокой,
Телеграфными столбами давясь.*

*Жилист мускул у дьявольской выи,
И легка ей чугунная гать.
Ну, да что же? Ведь нам не впервые
И расшатываться, и пропадать.*

*Пусть для сердца тягуче-колка
Это песня звериных прав!..
Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.*

*Зверь припал... и из пасмурных недр
Кто-то спустит сейчас курки...
Вдруг прыжок... и двуногого недруга
Раздирают на части клыки.*

*О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты недаром даёшься ножу!
Как и ты — я отвсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.*

*Как и ты — я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.*

*И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зарююсь в снегу...
Всё же песню отмщенья за гибель
Пропоят мне на том берегу.*

Гениальная русская актриса читала стихи гениального русского поэта, читала так, что, несмотря на нестерпимую боль исстрадавшейся души, kloкочущую в ней, вызывала в слушателях единое чувство торжествующего достоинства Человека, умеющего себя уважать. Её чтение поглотило гигантский зал, в его звенящей тишине слышались всхлипы приглушённых рыданий, но люди любовались красотой белокурой женщины и величием веры, жившей в ней, веры в непобедимость духовно здорового человека на службе правого дела.

Именно в это время Виктор Сергеевич Розов согласился принять участие в дискуссии журнала “Театр”, тема которой была обозначена так: “Какое место занимает сегодня искусство в общей для всех нас жизни страны? Во имя чего живёт творческая личность? Что на данный момент представляет собой интеллигенция?”

Виктор Сергеевич Розов, знаменитый драматург, которого многие годы тесной совместной работы и личной дружбы связывали с Олегом Ефремовым, заявил на этот раз следующее: “. . . Было у нас всех за душой нечто такое, что старались не терять, не забывать, не продавать. А ведь многое из того, чем дорожили некогда, сегодня бездумно забываем, теряем, даже стыдимся.

Что-то с нами случилось. . .

Вот смотрю, как Доронина играет Гурмыжскую. Огромная, великолепная актриса. Но ведь её просто затоптали в последнее время. За что? Во имя чего? Причина тому — определённые политические взгляды на нашу действительность, которые кое-кому затуманили мозги. Политическое противостояние было, есть и будет во все времена и в любой стране. Но разве нормального человека интересовали когда-нибудь политические пристрастия, к примеру, Сары Бернар или Ермоловой? Это же форменная дикость, когда в отношении к художнику, к людям искусства превалирует политика. Художника немислимо судить за его гражданские убеждения. Это просто позор. . . Они ведь, в конечном итоге, стремятся уничтожить не убеждения, но, прежде всего, самого творца”.

Об этом же говорила и сама Доронина в 1997 году: “В последние десять лет не только не признаётся то, что сделано мною в это время, но вычёркивается всё, что было создано мной в русском искусстве и, так или иначе, вошло в историю советского театра. И это даёт мне основание полагать, что осуществляется целенаправленное уничтожение не только меня как актрисы, — всё это имеет отношение к тому, что называется “нелюбовью к Отечеству!” Я не хочу сказать, что называю себя определяющим знаком Отечества. Но в какой-то мере, я — русская актриса — этим знаком являюсь, и не только потому, что мне удалось привнести некоторые открытия в интерпретации ролей классического русского репертуара. . .”

На вопрос журнала “Театр”: “Что на данный момент представляет собой интеллигенция?” — Виктор Сергеевич прямого ответа не дал. Из вышесказанного им и так всё было ясно.

Но вот Олег Николаевич Ефремов в интервью “Советскому экрану” на вопрос журналистки Геворкян: “Какую черту в человеке вы больше всего цените, и какая вам отвратительна?” — ответил довольно эмоционально: “Отвратительна... Не знаю даже, как определить: темнотой это не назовёшь. Совершенно не выношу, не-на-ви-жу неинтеллигентность человеческую. Это всегда связано с переоценкой каких-то возможностей, с хамством, и одновременно — с лакейством. Это всё, что у нас определено названием “жлобизм” и что идёт от бесцеремонности, невоспитанности и от чего вовсе не гарантирует диплом о высшем образовании. То, что воспитал наш строй, когда общественным идеалом была борьба”.

Да, довольно странное понимание интеллигентности — спокойно наблюдать, как на твоих глазах твои же друзья открыто издеваются над лучшим из твоих партнёров (“Три тополя на Плющихе!”), над женщиной, наконец, и ни словом не обмолвитесь в защиту великолепного мастера и прекрасного художника! Защита?! Такое “интеллигентности по-ефремовски” недоступно.

А Доронина?

Откуда в ней такой стоицизм, недюжинные силы духовные, такая ясность мысли и самостоятельность суждений? Татьяна Доронина искусством своим и чрезвычайно смелой гражданской позицией противостоит разрушению страны. В пору разнузданной вседозволенности она сумела сохранить цельность внутреннего мира, ориентируясь на выстраданную веками православную высоту нравственных идеалов. Именно это она утверждает своим искусством.

Её позиция — наступательная, она действует, будучи глубоко убеждённой, что только опора на веками взращённые и выпестованные в народе традиции отечественной культуры и нравственности дадут, наконец, силы народу России вырваться из плена кризиса.

Приближался октябрь 1998 года — дата столетия со дня основания Московского общедоступного художественного театра. За десять с небольшим лет МХАТ им. М. Горького сформировал прекрасный репертуар, основу которого составляет русская и зарубежная классика. 27 октября 1998 года в афише МХАТ им. М. Горького значились 45 спектаклей, из них современных авторов — 13, среди них и Валентин Распутин, Виктор Розов, Александр Твардовский, Василий Белов, Виктор Некрасов; русская классика: Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров, А. Н. Островский, А. П. Чехов, А. М. Горький, М. А. Булгаков, зарубежная классика: Аристофан, У. Шекспир, Кальдерон, М. Метерлинк, Т. Уильямс, Д. Килти, Ж. Ануи.

Это было время беспрецедентной “блокады” театра, когда режиссёры один за другим срывали договорённости и обещания и отказывались от постановок “в этом театре”, подчиняясь травле, под давлением обывательского: “Я в этот театр не хожу!”

Т. В. Доронина находила опору в творчестве. Вынуждена была взять на себя труд режиссёра-постановщика. Ко времени наступления даты столетнего юбилея Художественного театра ею выпущено 12 авторских спектаклей, среди них — 4, в которых она ещё и играла главные роли.

Столетие Художественного театра обе автономные “половины” праздновали на разных сценах. Как писали тогда газеты: “Перед юбилеем Ефремов позвонил Дорониной и пригласил её на юбилей в свой театр, сказав, что выделен столик на 6 персон. Она в ответ пригласила его на празднование юбилея на сцене на Тверском, 22. Он обещал быть. Но никто из МХТ не пришёл, а Доронина направилась туда с приветствием делегацию представителей МХАТ им. М. Горького из актёров, в своё время игравших на сцене в Камергерском”.

Два дня подряд — 26 октября и 27 октября 1998 года — страна с напряжённым интересом следила за происходящими празднованиями. 26 октября в Камергерском переулке “вино лилось рекой”, хозяева щедро одарили им не только столики на сцене, но и весь приглашённый люд, сидящий в зале. Сцена МХАТ им. М. Горького была отдана (как это всегда бывало на праздниках в театре при К. С. Станиславском и Вл. Ив. Немировиче-Данченко) традиционному жанру капустника. С чувством здоровой иронии силами молодёжи были показаны “картинки из жизни театра 10-ти последних лет”. Зрители сумели увидеть и оценить, какой нелёгкий путь прошла труппа и каких результатов добилась: слаженность ансамбля, талантливость молодых исполнителей были неопровержимы.

Многие представители интеллигенции взяли на себя труд посетить оба праздника. Одним из них был Виталий Тоиевич Третьяков, ныне ведущий известной телевизионной программы канала “Культура” “Что делать?”, а тогда – главный редактор “Независимой газеты”. 30 октября 1998 года возглавляемая им газета отдала целую полосу документу, полученному из Центра хранения современной документации Архивного управления ФСБ РФ. Публикация носила название: “Письмо Бориса Ливанова Генеральному секретарю ЦК”. В подзаголовок было вынесено обращение народного артиста СССР Бориса Николаевича Ливанова, прослужившего сцене великого национального Художественного театра 45 лет, к Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу: “Я бы очень просил Вас найти время и принять меня”.

Читаем текст этой публикации:

“Глубокоуважаемый Леонид Ильич!

Я взялся за перо ради этого письма к Вам в очень трудную пору в моей жизни.

Проработав сорок пять лет в Московском Художественном театре, я покидаю сцену.

Я бы не стал привлекать Ваше внимание к крутому повороту в своей судьбе, если бы мотивы его носили личный характер. Но меня вынуждают, именно вынуждают к такому шагу принципиальные причины. Я категорически не согласен с назначением на пост главного режиссёра МХАТ народного артиста РСФСР О. Н. Ефремова, а такое назначение готовится Министерством культуры СССР.

Я с уважением отношусь к О. Н. Ефремову. Он не только талантливый актёр, но и способный, своеобразный режиссёр. В течение десяти лет он возглавляет созданный им театр “Современник”. Но именно поэтому я принципиально не могу принять его в качестве главного режиссёра МХАТ.

Творческая практика театра “Современник” и его руководителя О. Н. Ефремова последовательно и настойчиво утверждает определённую линию, а именно: в области идейной – претенциозное фрондирование, в области художественной – полемика с искусством МХАТ. Эта полемика проявляется во всём: в области репертуара – во МХАТ идут спектакли “На дне”, “Чайка”. И “Современник” ставит эти пьесы. Но, разумеется, по-своему, со своих позиций. В области актёрского искусства – МХАТ стремится к сценической правде. И “Современник” – тоже, но, опять же, по-своему, “поправляя” мхатовский реализм неореализмом итальянского кино.

Известно ли об этом Министерству культуры СССР? Безусловно. Более того – театр “Современник” и О. Н. Ефремов неоднократно подвергались Министерством критике именно по этой линии.

Отказался ли в результате критики О. Н. Ефремов от своих идейно-художественных принципов? Нет. Его последние работы и, в частности, спектакль “Чайка” убеждают в этом.

Полемика с искусством МХАТ продолжается. Причём полемика не с творческой практикой сегодняшнего мхатовского искусства, а полемика с принципиальными основами этого искусства, завещанными К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко.

Основатели МХАТ, в частности, резко выступали против натурализма, а неореализм, утверждаемый О. Н. Ефремовым в театре, является ничем иным, как одной из его современных разновидностей.

Почему же Министерство культуры собирается назначить руководителем МХАТ режиссёра, творческая практика и взгляды которого во многом противоположны искусству МХАТ?

В оправдание этого шага приводится формальный довод: О. Н. Ефремов – воспитанник Школы-студии МХАТ. Этот довод именно формальный. Известно, что, например, Мейерхольд был актёром Художественного театра и воспитанником К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, а между тем, его взгляды на театр в итоге совершенно противоположны взглядам его учителей. Он строил свой театр, и вряд ли кому-нибудь пришла бы в голову мысль назначить этого, безусловно, талантливейшего режиссёра руководителем МХАТ.

Причин назначения О. Н. Ефремова две.

Первая – критическое положение, сложившееся сегодня в Художественном театре и, прежде всего, кризис его современного руководства.

Вторая – групповщина, имеющая место в театре. Именно определённая группа из своих эгоистических соображений назвала кандидатуру О. Н. Ефремова как выход из критического положения. Это групповое мнение выдаётся за мнение коллектива. Вынужден остановиться на этом более подробно. Предложение о приглашении О. Н. Ефремова было выдвинуто М. И. Прудкиным на заседании Партбюро театра в мае с<его> г<ода>, накануне гастролей театра в Лондоне. Партбюро приняло решение: продумать и всесторонне обсудить этот вопрос после возвращения гастрольной группы. Но не успела группа во главе с директором театра К. А. Ушаковым и секретарём Партбюро А. И. Степановой уехать в Лондон, как М. И. Прудкин, нарушая принятое решение, внёс своё предложение Е. А. Фурцевой.

Будучи явно введённой в заблуждение, Е. А. Фурцева проявила ничем не оправданную в таком серьёзном деле поспешность: между возвращением из Лондона и отъездом коллектива на гастроли в Киев был один-единственный день. И вот в этот день наспех было собрано Партбюро театра и приглашено к Министру. Так как вопрос не был подготовлен, то он по существу и не обсуждался. А затем на квартире у М. М. Яншина состоялось “совещание” “старейшин театра” с О. Н. Ефремовым. На это “совещание” не были приглашены В. В. Белокуров, М. П. Болдунан, Б. Н. Ливанов, А. П. Кторов и ряд других старейших ведущих актёров театра.

Министерству культуры СССР, которому всё это хорошо известно, следовало задуматься и без ненужной поспешности проанализировать ситуацию и возможный выход из создавшегося положения...

В заключение, Леонид Ильич, я бы очень просил Вас найти время и принять меня, так как даже в самом пространным письме всего не скажешь, а речь идёт отнюдь не о моей личной судьбе, а о судьбе Московского Художественного театра.

Глубоко искренне уважающий Вас Б. Ливанов.
22 июля 1970 г<ода>”.

Как это ни покажется поразительным, но Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев НЕ ПРИНЯЛ народного артиста СССР Б. Н. Ливанова, всемирно известного русского актёра, выдающегося мастера великого Художественного театра, любимого ученика К. С. Станиславского, письмо которого от 8 августа 1936 года подтверждает это: “МХАТ призван спасти мировое искусство, – писал основатель Художественного театра. – За неисполнение этого указа судьбы ответите вы, оставшиеся в живых молодые последователи. Вы один из тех, о котором я думаю, когда мне мерещится судьба театра в небывало прекрасных условиях для его расцвета в нашей стране. Любящий и надеющийся на Вас,
К. Станиславский”.

Почему не принял Ливанова Брежнев? Наверное, объяснение кроется в служебной записке, сопровождающей письмо артиста. Вот она:

“ЦК КПСС

Тов. ЛИВАНОВ Б. Н. сообщает о своём решении оставить Московский Художественный театр им. М. Горького в связи с назначением на пост главного режиссёра театра народного артиста РСФСР О. Н. ЕФРЕМОВА.

Тов. ЕФРЕМОВ О. Н. утверждён в должности главного режиссёра МХАТ СССР постановлением Секретариата ЦК КПСС от 19 АВГУСТА 1970 года за № Ст-105/15с, по предложению Министерства культуры СССР.

1 сентября с<его> г<ода> т. ЕФРЕМОВ О. Н. приступил к работе.

Коллектив театра положительно принял это назначение.

С тов. Ливановым Б. Н. состоялась беседа у заместителя министра культуры СССР т. Попова В. И. по вопросам, связанным с назначением главным режиссёром МХАТ т. Ефремова О. Н., и перспективам дальнейшей работы т. Ливанова Б. Н. в театре.

В настоящее время т. Ливанов Б. Н. болен.

После выздоровления он будет принят министром культуры т. ФУРЦЕВОЙ Е. А.

10 ноября 1970 г<ода>. Зам. зав. Отделом культуры
(З. Туманова)”.

Обратим внимание на даты:

Письмо Б. А. Ливанова направлено 22 июля 1970.

Служебная записка за подписью зам. зав. Отделом культуры З. Тумановой ушла 10 ноября 1970 года.

Значит, вопрос на Секретариате ЦК рассматривался 19 августа 1970 года без учёта мнения Б. Н. Ливанова о назначении О. Н. Ефремова главным режиссёром МХАТ СССР им. М. Горького. Кто отстранил Л. И. Брежнева от решения важнейшего вопроса национальной культуры?

Информация к размышлению: с апреля 1960 года по 1973 год в аппарате ЦК КПСС работал А. Н. Яковлев. Последние четыре года в качестве исполняющего обязанности зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС. В августе 1968 года он был направлен в Прагу, где в качестве представителя ЦК наблюдал за ситуацией во время ввода войск стран-участниц Варшавского договора в Чехословакию. Вернувшись в Москву, в беседе с Л. И. Брежневым он выступил против снятия А. Дубчека.

В конце 1960 – начале 1970-х годов А. Н. Яковлев выступал за развитие в СССР социологии как науки, поддерживал деятельность Ю. А. Левады, Б. А. Грушина, Т. И. Заславской.

В ноябре 1972 года А. Н. Яковлев выступил в “Литературной газете” со статьёй “Против антиисторизма”. Статья обострила и так существовавшие противоречия в среде интеллигенции между “западниками” и “почвенниками”. В связи с критикой статьи со стороны М. А. Шолохова и после обсуждения вопроса на Секретариате ЦК и в Политбюро ЦК, в 1973 году Яковлев А. Н. был отстранён от работы в аппарате ЦК КПСС и направлен на работу послом в Канаду.

В 1983 году член Политбюро ЦК КПСС и секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв посетил Канаду, возобновил знакомство с Яковлевым А. Н. и настоял на его возвращении в Москву.

Летом 1985 года Яковлев А. Н. стал зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС. На июньском пленуме (1987) избран членом Политбюро ЦК КПСС, в 1989-м – народным депутатом СССР.

Вспомним реплику из интервью О. Н. Ефремова в связи с разделом МХАТ СССР им. М. Горького: “...Аж Политбюро включилось!”

Судьба народного артиста СССР Б. Н. Ливанова сложилась трагически. После назначения О. Н. Ефремова главным режиссёром МХАТ СССР им. М. Горького Ливанов ни разу не появился в театре и после тяжёлой болезни скончался в 1972 году.

В марте 2012 года МХАТ им. М. Горького под руководством Т. В. Дорониной праздновал 85-летие народного артиста России К. К. Градополова, вся жизнь которого прошла в стенах Художественного театра. Ребёнком он воспитывался за кулисами Художественного театра, будучи пасынком народного артиста СССР Массальского П. В., затем с ноября 1942 года, с 14 лет, играл на сцене: И. М. Москвин попросил П. В. Массальского разрешить Косте играть в массовках – мужчин категорически не хватало, вся молодёжь была на фронте. С открытием Школы-студии МХАТ К. К. Градополов стал студентом первого набора.

По окончании студии и до последних дней жизни – актёр Художественного театра 70 лет жизни отдал любимой сцене!

До самой его скоростижной смерти в конце ноября 2012 года он играл Душу Дедушки в “Синей птице”. Накануне юбилея К. К. Градополов дал пространное интервью, рассказав о своей жизни во МХАТ. По его категорическому настоянию опубликовано такое свидетельство: “До мелочей помню, как привела Фурцева Ефремова в театр. Представила. Это происходило на общем собрании труппы в здании на Тверском, 22. Я хорошо знал Ефремова, мы учились в одно время в Школе-студии. А уже в его бытность главным режиссёром МХАТ СССР им. М. Горького мы как-то зашли с ним в кафе. Сидя там, он мне сказал: “Костя, я трагическая личность. Я пришёл уничтожить Художественный театр”.

А потом состоялось другое общее собрание, на котором зачитали список тех, кого брал Ефремов в обновлённое после ремонта здание театра в Камергерском переулке. Они встали все разом и быстро вышли из зала. Об этом страшно вспоминать... Те, кто последние 30 лет держали репертуар, приглашены в историческое здание театра не были. На следующий день, когда мы

вошли в театр на Тверском бульваре, повсюду увидели следы разора...

Дежурный сказал:

“Ночью приходили машины, и весь реквизит, декорации, костюмы вывезли”. Я вспомнил ефремовское: “Я пришёл уничтожить Художественный театр”. Он сделал это”.

6 марта 1999 года МХАТ им. М. Горького давал премьеру. Это был спектакль “В день свадьбы” по одноимённой пьесе В. С. Розова – вторая постановка этого замечательного драматурга на этой сцене. Ещё в 1995 году Т. В. Доронина сказала: “Наступило такое время, что надо начинать всё сначала – учить детей добру. Более подходящего автора, чем Розов и его пьеса “Её друзья”, – не найти”.

Премьера “Её друзей” прошла феерически, в атмосфере тепла и соучастия, принимали артистов нескончаемой овацией. “Её друзья” в год 100-летия В. С. Розова и сегодня в репертуаре МХАТ им. М. Горького. Наверное, больше всех полюбилась зрителям народная артистка России Климентина Ивановна Ростовцева – домработница Нюша. Актриса с блеском играла эту роль, создав ярчайший народный характер такой привлекательности и обаяния, что все диву давались.

В спектакле “В день свадьбы” играли все “мхатовские старухи” – первый выпуск Школы-студии МХАТ: К. И. Ростовцева, Л. А. Кошукова, Т. С. Махова, М. В. Юрьева, Е. А. Хромова. Ни одна публикация в прессе не прошла мимо того, чтоб не рассыпать восторженных похвал этой плеяде “недееспособных” актрис. В. С. Розов приходил на каждый спектакль и, забывшись в угол директорской ложи, “слушал зал”, как он говорил: “удивиться и наслаждаться” – как замечательно принимают!

Где-то ранней весной по театру, как ветер, пронеслась Людмила Кудрявцева: “В театре Ефремов! Он сидит в шестом ряду на своём месте!” Она подошла к нему, пригласила в антракте на чай. Он вежливо отказался, показав, что не расположен к общению. По окончании спектакля быстро ушёл. И только спустившись по лестнице парадного входа, где у подножья её стояла машина, остановился, повернулся лицом к театру и долго смотрел на него. По щекам его текли слёзы...

Тряхнув головой, словно сбросив с себя что-то, он вдруг резко развернулся, сел в машину и уехал...

В мае 2000 года, когда МХАТ им. М. Горького был на гастролях в Ярославле, О. Н. Ефремов умер.

Так окончилась история трагического раздела великого русского театра.

ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН

НАШ ВЕЛИКИЙ ГЛАЗУНОВ*

Повесть о друге

1

Говорить с Глазуновым Ильёй Сергеевичем всегда интересно, поскольку трудно найти, не побоюсь сказать, такую гуманитарную область, которую бы он не знал и не разобрался бы в ней основательно. Особенно в живописи, зодчестве, философии, истории и литературе.

В самом начале нашего с ним знакомства я пытался записывать в своём дневнике почти всё, о чём мы с ним говорили в наших долгих, часто затягивающихся за полночь беседах. Потом понял, что всё сказанное им настолько убедительно, так объёмно и исполнено такой огромной душевной силы, что глубоко и надёжно западает в мою память, и теперь – записывай, не записывай – оно никуда до самой смерти моей не денется...

И действительно, стоит только слегка напрячь память в отношении того или другого эпизода нашей с ним встречи, как тут же, словно по команде свыше, я не только начинаю слышать речь Глазунова Ильи Сергеевича, но и явственно видеть всё, о чём он мне говорил! Время покажет: правильно я поступил или нет, перестав вести свой дневник, но всё же, на всякий случай, я в помощь своей памяти взываю к милости Божьей.

Но странное дело, оставив в покое дневник, я получил в наших последующих беседах лёгкость полёта и глубину мысли, полную свободу в выражении высоких чувств. Я прекрасно понимаю, что это не заслуга моего разума, а ещё одно явственное проявление силы воздействия на моё мировоззрение и душу великого человека, каким, безусловно, является мой наставник и друг.

Мы, современники Глазунова, в ответе за будущее нашего Великого Отечества и должны не завтра, а именно сегодня оценить и сохранить в сердцах своих всё великое, созданное художником за долгую, трудную и потому двойне достойную жизнь, не забывая при этом ни в коей мере и о нём самом как о человеке.

2

Начав собирать современную классическую живопись, я понимал, что моё собрание будет неполным без портрета Ильи Сергеевича, написанного одним из лучших его учеников. Обратился к одному, второму, третьему, и все, как сговорившись, соглашались, что, действительно, портрет необходим, но с виноватой улыбкой вежливо отказывались от заказа. Я для себя объяснял это тем, что они, очень желая писать, ещё больше боятся: а получится ли у них верный образ великого учителя? И обижаться за это на них или, не дай Бог, винить их я не мог, поскольку помнил слова самого Глазунова, обращённые к одному из студентов его Академии: “Ты мне не глаза напиши, а взгляд! Создай человеческий или профессиональный образ портретируемого, а не копируй – для этого есть фотографы!”

* Журнальный вариант.

Однажды я зашёл к руководителю портретной мастерской Академии живописи, заслуженному художнику России Дмитрию Слепушкину, человеку широкой души, очень обаятельному, любящему больше слушать, чем говорить, а главное – талантливому. Это он написал дипломную работу о Великой Отечественной войне 1812 года “Молебен перед боем”. Более трагичной, более глубокой и в то же время более поэтичной работы о том суровом времени я не знаю! Если бы эта работа была написана одновременно с репинской “Бурлаки на Волге”, и у меня был бы выбор, то я, без сомнения, для своей галереи приобрёл бы “Молебен перед боем”.

Его же кисти принадлежит большое полотно, на котором изображено заседание преподавателей Академии во главе с ректором, Ильёй Сергеевичем Глазуновым, над которым художник работал, естественно, с перерывами, почти восемь лет, и когда закончил, то, не раздумывая, преподнёс его в дар Академии живописи! Этот благородный поступок заслуживает большого уважения ещё и потому, что я, понимая, какую художественную ценность представляет произведение, предлагал автору за эту работу совсем не малые деньги, но он наотрез отказался, хотя в то время, как доподлинно мне известно, испытывал финансовые трудности.

И вот, как обычно в гостях у Дмитрия, сев на кожаный диван, я вдруг увидел стоящий на полу напротив меня классно написанный эскиз к будущему портрету Глазунова. Он мне так понравился, что я тут же предложил художнику приступить срочно к написанию портрета Ильи Сергеевича. К моему удивлению, Слепушкин, будто всю жизнь только и ждал именно этого моего заказа, сразу согласился. Тут же в мастерской мы согласовали размер, оговорили гонорар, и я ушёл счастливым.

Но ректор Академии не был бы ректором, если бы не знал, что пишут его ученики, пусть давно уже ставшие под его широким крылом уважаемыми преподавателями и большими мастерами. И когда я зашёл к нему в очередной раз в гости, он спросил меня:

– Иван Иванович, а правда, что вы заказали Слепушкину мой портрет?

– Так точно, заказал!

– А нельзя ли сделать так, чтобы вы заказ свой передали для исполнения моему сыну Ивану?

Честно говоря, от такого предложения я пришёл в замешательство, ибо был уверен в мастерстве Слепушкина, а вот в молодом Глазунове – не совсем. И в то же время, понимая отцовские чувства Ильи Сергеевича, не хотел его расстраивать.

Делать нечего, иду к руководителю портретной мастерской и, как на духу, всё ему рассказываю. Он меня понимает, но по его вдруг ставшим печальными глазам я вижу, что художник обиделся. Тысячу раз извиняюсь перед ним и ухожу, как побитая собака. Вечером звоню молодому Глазунову, кстати, автору портретов всех русских царей и императоров, которые украшают один из главных залов в Кремле:

– Иван Ильич, ваш отец хочет, чтобы его портрет для моего собрания написали вы. Что вы думаете по этому поводу?

– Я согласен, но при условии, что напишу даром!

– Это ваше право. Только, прошу, не тяните с выполнением заказа.

Жизнь шла своим чередом, неделя проходила за неделей, а известий о том, как пишется портрет, да и пишется ли вообще, ни от Ивана Ильича, ни от самого Ильи Сергеевича я не получал. Не выдержав, при встрече с Глазуновым задаю вопрос:

– А как портрет-то? Готов – нет?

– Какой портрет? Напомните!

– Да ваш, забыли, что ли?

– Ах, вспомнил! Ну, лучше бы вы о нём не напоминали!

– Что такое?

– Судите сами! – и, подойдя к стене, Илья Сергеевич повернул один из холстов ко мне лицевой стороной.

Внимательно вглядываюсь в почти законченную работу, про себя отмечая, что она, к сожалению, не удалась, но вслух предпочитаю ничего не говорить, надеясь, что портретируемый всё объяснит сам. Так и получилось.

– Иван Иванович, что молчите?! А, впрочем, говорить, и правда, нечего... Иван Ильич, к сожалению, в работе, как и в жизни, продолжает видеть

во мне только состарившегося, но любимого отца... А вам-то нужен образ художника! Или я не прав?

– Совершенно правы, — отвечаю я и с горечью думаю: “А Слепушкин бы справился. Как теперь быть, право, и не знаю”.

Прошло несколько лет. За это время, конечно же, у Дмитрия Слепушкина от обиды и след простыл. И как-то, забирая у него в мастерской очередную купленную работу, я нагло говорю:

– Дима, друг, а гения-то надо написать во что бы то ни стало!

– Эх, Иван Иванович, ну, куда же от вас денешься, попробую...

И он попробовал, да так, что когда я приехал к нему в мастерскую и увидел законченный портрет, то восхищенно сказал:

– Дима, да это же не портрет, а самая настоящая картина, правда, без сложного сюжета, но всё равно, ещё раз повторяю, картина! Ну, и молодец, ну, и мастер!

– Старался, Иван Иванович! Ведь заказ-то — особенный, и для меня не менее, чем для вас, дорогой!

Я знал, что художник не кривит душой, ибо не раз был свидетелем сыновьего отношения ученика к своему кумиру!

Картина изображает великого мастера, который совсем недавно закончил работу над “Венецианским адажио”, об этом свидетельствует палитра с невысохшей краской, лежащая на подставке. И вот он утром, перед тем как ехать в Академию, подчиняясь душевному зову, решил свежим взглядом посмотреть работу: всё ли написано верно? Убедившись, что ничего поправлять не надо, сел спиной к полотну, закурил любимую сигарету и глубоко задумался. Над чем? Конечно же, как любой настоящий мастер, над новой работой, поскольку самая лучшая картина — это та, которая ещё не написана! Вот такой сюжет...

3

Говорить о Глазунове-художнике без учёта его гражданской позиции — бесперспективно, ибо художник ещё и человек, горячо, беззаветно любящий всё национальное, все русское — от глубокой древности и до наших дней. И без этого мастер никогда бы не раскрылся во всю свою великую, я бы сказал, духовную мощь! Как-то в одной из телевизионных передач, куда его неожиданно пригласили, он заявил: “Русский тот, кто любит Россию!” В передаче, где большинство спорящих было явно настроено против художника, не нашлось ни одного человека, который решился бы этому высказыванию что-либо противопоставить. Да и как? Ведь ёмче и в то же время глубже формулы братских отношений между народами нашего многонационального Отечества просто быть не может!

“Неожиданно пригласили” я сказал не зря, ибо отечественное телевидение да и печатная пресса тоже не очень-то расположены доносить до массового зрителя, а верней — до глубинного, корневого русского народа исполненные глубокой любви и веры в будущее проникновенные, а часто и просто пророческие слова великого сына России. Тут нельзя не вспомнить другого русского патриота — Александра Солженицына! Когда он возвращался через всю страну в столицу, почти каждый телевизионный канал считал своим долгом начинать новостные выпуски с того, где остановился, с кем встречался, что говорил по тому или другому вопросу всемирно известный писатель. По прибытии в Москву его даже пригласили вести авторскую передачу на одном из центральных государственных телеканалов.

Но стоило патриоту земли русской заговорить о необходимости проведения в жизнь реформ, крайне важных для народа, в первую очередь, живущего на земле и кормящегося и кормящего всех, реформ, начало которым положил ещё в начале прошлого столетия Сергей Юрьевич Витте, а подхватил и стал развивать дальше, вплоть до гибели от рук врагов России ещё один великий патриот — Пётр Аркадьевич Столыпин, который, выступая в Государственной думе 10 мая 1907 года, заявил в адрес противников русской государственности: “... Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия”. Солженицына, наплевая на его мировую славу, новые враги России сразу же отлучили от всероссийского эфира. Горько и больно. Но ещё больше — стыдно.

Илья Сергеевич всегда держался в стороне от политики, никогда не стоял ни в одной партии. Он считает, что художник должен быть свободным в своём выборе, никакие, в том числе идеологические, рамки не должны стеснять творческий полёт его мысли. И всё-таки, как в случае с написанием дипломной работы, он не смог не высказать своего отношения к расстрелу Белого дома в 1993 году. С присущей всем его картинам глубокой исторической ли, современной ли правды, он и на этом полотне показал всё, что на самом деле происходило в те суровые октябрьские дни. Показал настолько сильно, что когда в Большом манеже проходила его очередная персональная выставка, сам тогдашний президент страны не мог не посетить её.

Художник об этом рассказывает так:

“Приезжает Борис Ельцин в сопровождении огромной свиты министров, помощников. Естественно, о высоком визите я был предупреждён заранее и потому вышел встречать важных гостей на улице. После официальных двусторонних приветствий стали смотреть выставку: я с Борисом Николаевичем – впереди, свита – сзади, но почти вплотную к президенту. Чем ближе мы подходили к мятежной картине, на которой изображены известные трагические события, тем свита стала всё дальше отставать. Подходим к самому полотну, Ельцин смотрит на него, и я по глазам вижу, что возмущение, готовое превратиться в бунт, поднимается в его душе. И всё же президент берёт себя в руки и лишь напряжённым, немного хрипловатым голосом спрашивает:

– А это что такое? Что вы хотите этим сказать, понимаешь?..

Конечно, Борису Николаевичу хватило одного взгляда на картину, чтобы всё правильно понять! Но найти выход из очень непростой ситуации он предложил мне самому. Но что можно было сказать, чтобы проходящая с таким фурором выставка высочайшим распоряжением не была закрыта, если на полотне танки с моста прямой наводкой, чуть ли не в упор, на глазах всего мира расстреливают удерживаемый народными избранниками Белый дом, который от взрывов снарядов вспыхивает: из окон жадными языками вырывается пламя и чёрными клубами, всё больше закрывая небо, валит и валит дым! Народ, радостно принявший порядки так называемой демократии, толпами, чуть в стороне от военных машин, изрыгающих смерть и ужас, с моста восхищёнными глазами прямо-таки любителю распятием законной власти! И всё же я не растерялся и, не моргнув глазом, отвечаю:

– “Торжество демократии”! Картина так и называется!

– Ну, если в таком плане рассматривать ваше больно уж суровое произведение, то работа неплохая... Хотя...

И, не договорив, пошёл дальше. Свита, мгновенно сообразив, что зря ожидала бури, тут же с воодушевлением подобострастно снова пристроилась почти вплотную к спине президента”.

Глазуновская персональная выставка действительно вызвала самый настоящий фурор, если не сказать больше. Люди из провинции целыми поездами съезжались в столицу и спешили к Большому манежу, не отставали от них и горожане. У входа выстраивались длинные многочасовые очереди, опоясывающие всё огромное выставочное здание.

Когда я подошёл к Манежу и увидел всё своими глазами, то невольно подумал: “Прямо, как в советское время к Мавзолею Ленина!” И, отстояв очередь, счастливый вошёл в здание. Первое, что бросилось в глаза: люди, восхитившись картинами мастера, становятся теперь уже в очередь к столам, на которых лежат специальные альбомы, куда каждый желающий мог записать свои впечатления, в подавляющем большинстве – благодарственные, с пожеланиями художнику здоровья и новых творений! А когда я выходил, то передо мной шли несколько женщин и восторженно между собой делились впечатлениями от увиденного. Одна из них произнесла: “Знаете, подруги, я как будто глотнула свежего, очищающего лесного воздуха! Замечательно! А как правдиво!”

Не потому ли по воле свыше для того, чтобы выстоять в грядущей жизненной борьбе, и начинался путь будущего национального гения, ох, как не просто! Заканчивая в Ленинграде Академию живописи имени Репина, он для своей дипломной работы выбрал тему войны, её тяжелейших первых месяцев, когда Красная Армия, несмотря на кровопролитные бои, в которых несла многочисленные потери, всё отступала и отступала!

Картина “Дороги войны” удалась! Я и сегодня считаю её одной из лучших работ Глазунова. Но тогдашнему руководству Академии она показалась слишком

уж смелой и никак не вписывающейся в идеологические рамки того времени. Как можно изображать на полотне измождённые лица солдат отступающих войск, растерянные, печальные глаза беженцев – на фоне полного господства в небе вражеской боевой авиации, зная, что, пусть через четыре года кровопролитных сражений, Красная Армия победоносно закончила войну в самом сердце гитлеровской Германии – в Берлине, водрузив красное знамя над Рейхстагом!

Руководство Академии дипломную работу молодого Глазунова признало чуть ли не вредительской. Но всё же ему позволили защититься в закрытом формате. И, так сказать, от греха подальше автора шедевра по распределению отправили, как в ссылку, в глубинку простым преподавателем черчения в одну из сельских средних школ. Понятно, сослать можно даже и туда, куда Макар телят не ганивал, но заставить художника замолчать, не заявлять о себе, скрыть Божий дар – невозможно. Рано или поздно о нём заговорят, он будет востребован. К счастью, так и случилось.

Многие художники, не получая серьёзных заказов на эпические многосюжетные картины, в прошлом зарабатывали созданием натюрмортов, пейзажей, портретов. Не избежал этой участи и молодой Глазунов. Но он не стал разбрасываться по жанрам, а сфокусировал в основном своё внимание на портретах современников. Портреты получались настолько выразительными, так достоверно передавали взгляд, душу человеческую, что весть о новом выдающемся мастере в течение нескольких лет разлетелась по всему миру.

И в адрес партийного и советского руководства пошли заказы от президентов, королей, министров зарубежья: все жаждали, чтобы их портреты написал Глазунов. И тогдашним властям ничего не оставалось, как вызвать из провинциальной глуши восходящую звезду живописи.

Так, обладая с рождения трудолюбием, помноженным на громадный талант, начинался художник Глазунов. Государство Российское приобрело в лице Ильи Сергеевича художника-летописца с мировым именем!

4

Часто вспоминается, как несколько лет спустя после нашего знакомства я по обычаю вечером приехал в гости, так сказать, на огонёк, к мастеру. На улице стояла поздняя осень с первыми утренними заморозками по закрайкам стеклянных луж, образовавшихся от обложных, мелко, но нудно и долго сеющих дождей; наполовину лужи были заполнены опавшей листвой, застелившей дорожки в парках и аллеях мягким, слегка влажным золотом. А оставшиеся на ветвях листья продолжали, трепеща на промозглом ветру, как маленькие птички сердца, самоотверженно цепляться за свою короткую, но яркую жизнь на ветках берёз, кленов и тополей.

Добродушный хозяин встретил меня в прихожей, помог снять лёгкую непромокаемую куртку и сразу же провёл в мастерскую на второй этаж. Там охотно показал свои новые работы, из которых мне особенно понравилась картина “Закат Европы”. Я и сегодня отношу её к десятку самых честных, самых актуальных и, конечно, самых высокохудожественных сюжетных поздних полотен мастера. После, так сказать, официальной части Ильи Сергеевич отошёл к одной из свободных от картин стен, закурил сигарету и спокойно смотрел, как я, понятно, с его великодушного одобрения рассматриваю друг за другом прислонённые к стене картины, написанные ранее. Вдруг мне на глаза попало одно из моих любимых полотен, но не подлинник, а авторская копия, – “Венецианское адажио”, – где на фоне высоких, растущих, как громадные волны из морской глубины, каменных домов с узкими, но высокими окнами с раскрытыми нараспашку узорчатыми, красочными ставнями в высоком южном небе плывут подсвеченные полуденным солнцем знаменитые глазуновские всполохи облаков. А у открытого окна сидит молодая красивая женщина – жена и Муза мастера. Илья Сергеевич, заметив мой восхищённый взгляд, обращённый на любимое полотно, нарушил молчание:

– Это я написал на заказ бывшему, очень богатому и высокопоставленному чиновнику одной из южных стран СНГ, но, к сожалению, его на родине убили в каких-то ли политических, то ли экономических разборках, вот работа и осталась...

– Илья Сергеевич, если не секрет, то, пожалуйста, скажите, сколько вам за эту работу денег обещали? – с нескрываемым любопытством спросил я.

– С удовольствием скажу, тем более что у меня от друзей секретов не бывает, – сто пятьдесят тысяч американских долларов! А что, Иван Иванович, вам действительно работа очень по душе?

– Не скрою, по душе.

– Так купите её!

– Илья Сергеевич, ну, что вы такое говорите! Откуда у меня могут быть такие деньги! Конечно, я не беден, но и не настолько богат!

– Хорошо, дайте за неё столько, сколько вам позволяет бюджет...

– В настоящее время у меня вообще свободных денег нет!

– Ну, Иван Иванович, в таком случае я вам её дарю. Берите – она ваша.

– Илья Сергеевич, я премного благодарен вам, но такого щедрого подарка принять не могу, не обижайтесь.

– Как не можете принять? Вы что, мне не друг?

– Извините, но пока назвать себя вашим другом никак не могу, – твёрдо сказал я и посмотрел в глаза мастера. В них легко читалась не обида, а оторопь и удивление. Но через несколько мгновений, придя в себя, он голосом, почти перешедшим в шёпот, спросил:

– Если, оказывается, вы мне не друг, то тогда кто же?!

Поняв по тону, что всё-таки обидел мастера, я примиряюще, с доброй улыбкой как можно вежливее ответил:

– Илья Сергеевич, в настоящее время я один из самых преданных почитателей вашего таланта. Пройдёт ещё какое-то время, и оно, как самый беспристрастный судья, безошибочно определит, кем мы с вами на самом деле являемся друг для друга.

Художник внимательно выслушал меня, и так как ответ, видимо, пусть не совсем, но всё же удовлетворил его, подводя черту под внезапно вспыхнувшим между нами спором, попросил меня пройти в гостиную на ужин. Гостиная была спроектирована, как и весь дом, вплоть до многорожковой позолоченной люстры, самим хозяином и представляла собой довольно простое помещение прямоугольной формы, с высокими потолками, украшенными выполненной в классическом стиле лепниной, с двумя большими окнами, выходящими во двор, где чуть в отдалении переливались золотом в скупых осенних лучах неяркого солнца маковки и кресты небольшой, но на удивление красивой церкви. Посередине гостиной стоял большой, из дорожного дерева, продолговатый с закруглёнными углами стол, одна половина которого обычно накрывалась к обеду или ужину.

В этот раз, как почти и во все предыдущие, на второе подали свежего, приготовленного на гриле норвежского лосося, к которому в качестве гарнира были предложены так же запечённые на гриле помидоры. Илья Сергеевич сам давно уже ни грамма не пьёт, но знает, что я никогда не откажусь от прекрасного армянского или французского коньяка. Поэтому на столе, ближе к моему месту, уже заранее была поставлена бутылка “Хеннеси” с коньячной рюмкой. Сев за стол, я всё же попросил ещё одну рюмку и, когда её принесли, поставил перед мастером, плеснув в неё немного коньяку, ну, а потом и себе. Весь ужин Илья Сергеевич, подперев левой рукой подбородок, как-то уж слишком откровенно смотрел, я бы даже сказал, вглядывался в меня, словно пытался взором проникнуть в самую глубь души моей. А я, с удовольствием попивая коньяк и поедая вкусного норвежского лосося, старался ему не мешать. Разговор сам не заводил, а лишь отвечал на те вопросы, которые время от времени задавал художник. Вдруг в самом конце ужина он, зашувив в блюдце с водой очередную сигарету, произнёс:

– А я знаю, Иван Иванович, что вам подарить, – я напишу ваш портрет!

Я мог ожидать чего угодно, только не этого! Великий портретист, кисти которого принадлежат портреты многих выдающихся людей современности, будет писать меня, простого русского поэта?! От такого предложения я чуть не поперхнулся. Однако, откашлявшись, ответил:

– Илья Сергеевич, я знаю, что самая низкая цена, за которую вы соглашаетесь писать портрет, равна пятидесяти тысячам долларов. У меня такой суммы нет и в ближайшем будущем не предвидится, но если всё-таки когда-нибудь я разбогатею, то обязательно вам попозирую! А пока второй раз за сегодняшний вечер благодарю вас за столь трогательную и высокую заботу, которую вы с таким радушием проявляете к более чем скромной моей персоне.

– Иван Иванович! Ну, как вы не поймёте, что с друзьями деньги за портреты я не беру! А вас хочу написать как одного из талантливых современных поэтов, портрет которого должен занять достойное место в Государственном музее! Извините, но я, в первую очередь, всё же думаю о России! И вам, мой дорогой, надлежит всегда и во всём непременно мыслить и жить только в такой последовательности!

В этот раз я приехал к Глазунову на своей машине без водителя. Ужин закончился глубокой ночью. Домой возвращался я по Беговой улице. Но в самом конце широченного моста увидел с левой стороны совместный пост ГАИ и медиков. Дорожное полотно было совершенно пустое – спрятаться за какую-либо автомашину нет никакой возможности. Расстроено подумав: “Будь что будет!” – сворачиваю на первую полосу – и тут же вытянутая рука милиционера со светящейся в темноте палочкой останавливает меня.

– Сотрудник ГАИ капитан Петров! Предъявите, пожалуйста, документы, а сами пройдите в медицинскую машину.

Пригнувшись, вхожу в микроавтобус, сажусь напротив человека в белом халате. Он сразу же записывает мою фамилию в какую-то тетрадь и просит дунуть в ненавистную всем российским водителям трубочку. Дую, врач смотрит, куда следует, и, удивленно вскинув брови, просит дунуть ещё раз, только сильнее. Дую во второй раз – результат тот же, так сказать, нулевой... Врач пристально смотрит мне в глаза и, конечно, видит, что они осоловелые. Это придаёт ему уверенности, и он в третий раз проделывает со мной ту же процедуру. Но опять по показателям трубочки получается, что я трезв, как стёклышко! Тогда доктор сочувственно спрашивает:

– Вы, случайно, не переутомились?

– Очень, доктор! Слишком тяжёлым был для меня весь день, да и вечер – тоже...

Выглянув из машины, врач просит инспектора вернуть мне водительские документы. Тот возвращает и желает счастливого пути!

“Ох, Илья Сергеевич, дорогой мой человечиче, вы, оказывается, не только пишете гениальные картины, но каким-то чудесным образом, как Христос обыкновенную воду в прекрасное вино, превращаете истейший коньяк в безалкогольный напиток... Фантастика, да и только!” – подумал я со счастливой улыбкой на губах, отъезжая от грозного поста.

5

Решение Ильи Сергеевича написать мой портрет имело своё продолжение. На дворе стояла сумрачная, как бы насупившаяся январская погода, время самых коротких дней. Город, словно непроницаемым панцирем улитки, был накрыт сплошными тёмными, волглыми тучами, в которых из-за полного безветрия никак не образовывались прогалы, чтобы солнце хотя бы на час-другой получило возможность озарить землю своими животворными лучами. Снег, то усиливаясь, то затихая, всё сыпал и сыпал. Дорожные службы города с ним не справлялись, и все улицы за какую-то неделю превратились в сплошные сугробы, в которых бульдозеры и грейдеры на проезжей части прорезали что-то вроде туннелей. Но из-за того, что многие автолюбители, не имея возможности ставить машины на специальные стоянки, бросали их прямо на дороге, напротив домов, где проживали, туннели получались очень узкие, и, как следствие этого, сплошные многокилометровые пробки делали передвижение на автомашинах по городу почти невозможным.

Накануне старого Нового года я всё же рискнул выехать в центр за покупками, подъехал к Петровскому пассажи, кое-как припарковал машину, но когда решил возвращаться, не мог даже тронуться с места – настолько плотно забилась улица. А бесполезный, но всё усиливающийся сигнальный гул давил на барабанные перепонки, чуть ли не сводя меня с ума. Простояв полчаса, я бросил машину, спустился в метро и уже через двадцать минут был дома. Машину с помощью знакомого водителя вызволил только глубокой ночью.

В один из таких январских дней позвонил Илья Сергеевич и попросил меня на ближайшие выходные дни ничего не планировать – он будет писать мой портрет. Последовавшие за этим с моей стороны бурные возражения были им самым решительным образом отменены. Делать было нечего, оставалось лишь готовиться к позированию, но я подумал: “Как же это он будет писать,

если зимний дневной свет настолько слаб, что не проникает через окна дальше половины комнаты? Может, при электрическом свете? Ладно, приеду – увижу”. И стал готовиться. Долго решали с женой, какой костюм надеть, чтобы выглядеть попрличней. Остановились на чёрном с едва заметными синими полосками, в тон к нему подобрали галстук.

К указанному часу, минута в минуту, вхожу в дом Глазунова. Услышав мои приветственные слова, хозяин быстро спустился со второго этажа. Он был в рабочей одежде: в рубашке с туго застёгнутыми на запястьях рукавами, с красным шарфиком, повязанным на шее, в чёрных брюках. Окинув мой наряд оценивающим взглядом, он удивлённо сказал:

– Иван Иванович, как же неудачно вы оделись!

– Илья Сергеевич, не понял... Объясните!

– Дело в том, что у меня сложился ваш образ как поэта! А какой же поэт в выходном костюме! Но ничего – быстро снимайте пиджак с галстуком и расстегните две пуговицы на вороту рубашки.

Не знаю почему, но я продолжал стоять, лишь широко улыбаясь. Тогда Глазунов, приняв это за желание быть написанным в костюме, мгновенно решил:

– Хотите при параде?

И, не дождавшись моего ответа, продолжил:

– Значит, будем писать два портрета! Но не в мастерской, там маловато дневного света, а в гостиной – у окна.

Действительно, едва поднялись в гостиную, я увидел стоящий напротив окна мольберт с холстом, натянутым на подрамник. Рядом на небольшом столике лежала палитра и краски с кистями. Классическая музыка лёгкими волнами разливалась по комнате, создавая романтический настрой, видно, очень вдохновляющий художника.

– Иван Иванович, так как в сложившемся у меня образе поэт должен быть изображён в полный рост, то и позировать вам придётся стоя. Но не переживайте: первый сеанс займёт не больше двух часов. Встаньте рядом с холстом с правой стороны лицом к окну.

Я послушно встал, и работа закипела... Да, да, именно закипела, ибо мастер принялся, не отрывая от меня пронизательного взгляда, быстро-быстро широкими мазками наносить на холст краски. При одном очень резком движении из-под кисти вылетела струя краски и запачкала мою рубашку. Мастер этого не заметил, настолько глубоко ушёл он в образ моего портрета! Время от времени он прерывал работу, отходил на два шага в сторону от холста, внимательно смотрел то на меня, то как бы во внутрь себя, делал несколько сигаретных затяжек и опять неистово продолжал писать. Через полчаса работы Илья Сергеевич, видимо, довольный результатом своего труда, несколько сбавил темп и стал меня расспрашивать о художниках. Больше всего его интересовали те из них, кто давно закончил Академию, на кого он возлагал большие надежды, но не имел ни возможности, ни времени видеть их новые картины. Я с удовольствием посвящал учителя во все творческие свершения и даже в замыслы его бывших “гениев” – так обычно он называл лучших молодых художников. За разговором совершенно незаметно пролетело время первого сеанса. Помыв кисти и опустив их в банку с водой, Глазунов вдруг сказал:

– Иван Иванович, я обычно никому из портретируемых не показываю своей работы, пока её не закончу и не оформлю в багет, но вам как писателю, тем более – поэту, думаю, будет полезно познакомиться с процессом написания портрета целиком, поэтому, в порядке исключения, после каждого сеанса буду показывать, что у меня получается на холсте. – И тут же попросил встать рядом с ним.

Разглядывая свой наполовину написанный портрет, я поразился, что всего за каких-то два часа пусть и напряжённой работы уже вполне можно было узреть мой поэтический образ. Особенно меня поразил мой собственный взгляд, он буквально пронизывал меня насквозь, я даже невольно, как бы прячась от самого себя, внутренне съёжился! И подумал: “Когда и где мастер смог своими цепкими глазами так верно схватить, как он говорит, не глаза, а взгляд, ведь я никогда при нём не сочинял?! Чудеса какие-то!” И, конечно, я был очень доволен, что мой образ мастер видел на фоне такой любимой каждым русским человеком красавицы-берёзы, а вдалеке, за рекой, на пригор-

ке, как бы венчая его, возвышался храм с голубыми куполами и золочёными крестами.

Немного передохнув, Глазунов приступил к написанию моего другого портрета, как он выразился, *портрета мецената* – в пиджаке и с галстуком. Но когда он закончил работу, и мне было позволено посмотреть на холст, я опять пришёл в изумление, ибо с холста на меня смотрел, понятно, я, но совершенно другим взглядом, чем на *портрете поэта*. Это был взгляд человека, знающего, для чего он пришёл в этот мир! Да, конечно, Илья Сергеевич мог меня наблюдать в кругу художников, но всё равно – это было поразительно! И, в первую очередь, потому, что эти два совершенно разных образа создавались мастером почти одновременно!

Вернувшись домой, я бережно снял запачканную краской рубашку, передал жене и сказал: “Света, очень тебя прошу не стирать эту реликвию, пусть она сохранится для истории со следами краски, вылетевшей из-под гениальной кисти!”

Через две недели оба портрета были закончены. Илья Сергеевич оформил их в дорогие, красивые багеты. В них они стали смотреться ещё выразительнее. Вспомнились слова художника: “Картина без рамы, что генерал в бане”. Вернее не сказать! *Портрет поэта* по просьбе Глазунова я передал в аренду в государственный музей, носящий его имя, а второй – *портрет мецената* – повесил у себя дома в рабочем кабинете. Пусть от тех огромных духовных сил, которые вложил в него гений, я буду в трудную минуту жизни становиться ещё упорнее, ещё уверенней в достижении доброй цели!

Передавая жене Светлане рубашку со следами глазуновской краски, я знал, что более надёжного хранителя семейной реликвии мне не сыскать! Очень часто на встречу с Ильёй Сергеевичем и его женой Инной Дмитриевной со мной ездила и она. В первый же вечер они с Ильёй Сергеевичем духовно сблизились, да иначе и быть не могло! Моя жена, родившаяся в простой рабочей семье (мать – хлебопекарь, отец – токарь), с раннего детства воспитывалась в среде, где слова о Родине были не просто словами, а повседневной действительностью. Все несправедливости современной *новой жизни*, обрушившиеся, в первую очередь, на простых людей, моя жена принимала настолько близко к сердцу, что своими размышлениями обо всех горестных событиях делилась со многими, в том числе и с Глазуновым. Он даже в одном из разговоров назвал её “нашей боярыней Морозовой”. А один раз, глубоко тронутый её справедливой горячностью, сказал:

– Ах, Света – наша боярыня Морозова, ну, почему ты сама не понимаешь, что если всех господ, как местных, так и прозападно настроенных, слетевшихся, как пчёлы на мёд, на израненное кровоточащее тело России, которая обладает несметными природными богатствами, переодеть в военную форму, то будет сразу видно, что мы живём в оккупации!..

Услышав эти слова, я в душе вздрогнул, хотел было возразить, но подумал: “А как иначе охарактеризовать хотя бы ту ситуацию, которая далеко не случайно сложилась в средствах массовой информации, в первую очередь, в электронных, когда представителям неважно какой профессии, но патриотически настроенным или вообще не дают слова, как будто они и в природе не существуют, или специально обмазывают такой чёрной грязью, от которой совсем не просто отмыться!”

Конечно, будет совсем не лишним отметить, что, в конце концов, и так называемое демократическое руководство стало по заслугам воздавать живописцу и на Родине, почти с пониманием значения всего, что сотворил Илья Сергеевич Глазунов.

6

В самом центре столицы, рядом с заново построенным храмом Христа Спасителя, красуется прекрасно отреставрированное (по чертежам и эскизам самого художника) трехэтажное голубое здание государственной картинной галереи имени Ильи Сергеевича Глазунова. После долгих реставрационных, изнурительных для самого мастера работ с установкой всего необходимого технического оборудования для поддержания влажности и температуры воздуха открытие музея произошло в торжественной обстановке с участием многих государственных, церковных, общественных деятелей, при огромном сте-

чени народа 31 августа 2004 года. В большом зале под номером 2 нашли своё достойное вечное место четыре самых больших на то время полотна, эпохально рассказывающие не только о нашей богатой на судьбоносные события истории, но и о современных страшных проявлениях так называемого *дикого рынка*. А следующий зал был посвящён жизненным эпизодам художника и полотнам личного характера. В этом зале устроили банкет, где друзья и ученики Ильи Сергеевича произносили свои поздравительные речи. От речи я отказался, но прочитал стихи, которые называются “Глазунов”. Там есть строки: “...И Царское село, и церковь на Нерли, / и зоревой Кронштадт, и Кремль златоголовый/ художника не зря из тьмы на свет вели –/ под стать, без спора, им величье яви новой”.

Скоро и вторая очередь музейного комплекса распахнёт двери перед поклонниками творчества русского гения. Это второе здание также построено по проекту художника.

Говоря об этих музеях, надо обязательно помнить, что в качестве ответного благодарного и одновременно сверхщедрого жеста Илья Сергеевич Глазунов подарил русскому народу не только все свои основные картины, но и все до последней старинные иконы, которые он собирал и бережно хранил многие и многие годы и которые в музее заняли половину третьего этажа, являясь свидетелями всех радостей и бед русской церкви и русского государства на протяжении многих веков! Но художник пошёл ещё дальше: он подарил государству и все имевшиеся у него в собственности великие полотна художников – Жуковского, Васнецова, Врубеля, Шишкина и многих других! Всего более сорока работ! А прикладное искусство? И оно пошло в дар России! Переоценить, нет, оценить всё художественное богатство, хранящееся сегодня в глазуновском музее для будущих поколений, просто невозможно!

Эй вы, клеветники гения! Назовите мне хотя бы ещё одно имя, которое по душевной щедрости, по любви к Отечеству, к родному народу можно было бы, пусть даже и с сильной натяжкой, сравнить с ним! Не назовёте! Потому что такого просто-напросто в настоящее время в природе не существует!

Как на небосклоне русской классической поэзии солнце Александра Сергеевича Пушкина – “наше всё”, так и в российской современной классической реалистической живописи имя Ильи Сергеевича Глазунова – *наше всё* для тех, кто любит нашу многострадальную и многонациональную великую Россию.

После открытия глазуновского музея как-то вечером заезжаю в гости к хозяину “Русского посольства”, и за чаем Илья Сергеевич посетовал, что нечем торговать в киоске, устроенном сразу у входа для удобства не только любителей живописи, пришедших набраться русского патриотического духа от бессмертных полотен гения, но и для тех, у кого времени хватит только на то, чтобы заскочить в музей и купить что-нибудь из репродукций художника. Я знал, что для того, чтобы ускорить реставрационные и строительные работы и наконец-то, спустя семь лет после принятия решения о создания музея, открыть, по выражению Глазунова, *центр русского самосознания*, он все личные деньги, выручаемые за написание заказных портретов, потратил на оплату отделочных работ, покупку штор, багета для оформления картин и т. д. Кстати, только на то, чтобы приобрести багет и вставить в него более трехсот картин, ушло более тридцати миллионов рублей!

Проникнувшись озабоченностью художника, я, ни секунды не сомневаясь, предложил ему за свой счёт издать какие-нибудь репродукции. Илья Сергеевич очень обрадовался моему порыву и сказал:

– Было бы хорошо для небогатых людей – поклонников моего творчества – издать репродукции полотен в виде открыток, а ещё лучше – буклетов!

– Буклетов так буклетов! – согласился я.

И мы тут же решили, что Инна Дмитриевна, жена художника, подберёт необходимые слайды, а я найду издателя.

Назавтра звоню своему новому московскому знакомому, не только известному прозаику, но и хозяину книжного издательства “Голос” Петру Алёшкину:

– Слушай, Пётр, есть очень ответственный заказ – от самого Глазунова. Надо напечатать как можно дешевле пятьсот тысяч открыток, но объединённых в буклеты по десять штук в каждом. Берёшься за предложение?

– Охотно! Тем более что я уже раньше выпускал целый большущий альбом репродукций глазуновских картин. Только совсем дёшево не получится, поскольку цветная печать, сам должен понимать, дорогая.

– И всё-таки, я прошу тебя войти в положение людей, благодарных читателей таланта Глазунова, но совсем не богатых.

– Ладно, ладно, что-нибудь придумаем...

– Значит, можешь сразу, как составишь смету, подъехать ко мне для заключения соответствующего договора.

Через две недели я передал ему подобранные женой Ильи Сергеевича слайды. И с нетерпением стал ждать выхода из печати открыток. Месяца через два слышу в телефонной трубке довольный голос издателя Петра Алёшкина:

– Иван! Можешь бежать в магазин за бутылкой – обмывать будем только что привезённые из типографии буклеты. Кстати, куда их везти, к тебе или сразу в музей, к Глазунову?

– За добрую весть – благодарю, а обмывочный коньяк уже ждёт тебя в холодильнике. Буклеты пусть пока полежат на складе. А вот несколько экземпляров, если не трудно, привези мне на работу.

– Договорились...

Получив желанные открытки, пулей лечу домой к Илье Сергеевичу. Никогда не забуду: стоял зимний вечер, московский воздух, насквозь пропитанный выхлопными ядовитыми газами автомобилей, отравлял душу, вдыхался с трудом. Ещё несколько дней назад выпавший снег, так и не убранный, превратил тротуары в сплошной ледовый каток. Каждый шаг по нему давался с трудом, многие пешеходы, особенно пожилые, поскользнулись и падали. Небо, затянутое промозглыми чёрными тучами, грозило новым снегопадом. Ветер если и налетал, то ненадолго. А вот вороны противно, скрипуче и неустанно каркали с утра до ночи по всем городским паркам и дворам.

Илья Сергеевич, видать, тоже с нетерпением ожидавший исполнения моего обещания, двери открыл сам и, дождавшись, пока я разденусь, сразу же повёл меня на второй этаж, в гостиную. Там движением руки указал на стол:

– Иван Иванович, дорогой! Раскладывайте скорее свои подарки!

– Илья Сергеевич, да какие подарки, просто это моя посильная помощь в просветительской миссии во имя служения родному народу!

Поспешно вскрываю конверты с открытками и показываю их художнику. Но что это такое? Он, только мельком взглянув на них, молча повернулся и ушёл куда-то вниз по лестнице. “Во дела!” – думаю я встревоженно. Вскоре Илья Сергеевич вернулся с альбомом, который, как я знал, был издан ещё в далёкие советские годы. Открыв альбом на нужной странице, Глазунов поднёс к репродукции одну из открыток и подозвал меня:

– Иван Иванович, – упавшим голосом чуть ли не прошептал он, – посмотрите внимательно на репродукции в альбоме и сравните с принесёнными вами открытками, и вы всё поймёте сами.

Хоть в то время я ещё совсем не имел опыта работы с цветной печатью, но, посмотрев, сразу всё понял и, поняв, чуть не взвыл от досады! Цвета напечатанных на открытках репродукций совершенно не соответствовали оригиналам! Так сильно, как подвёл меня Пётр Алёшкин, ещё никто за всю жизнь меня не подводил! Бурю моего негодования прервал суровый, какой-то чужой, совершенно не известный мне прежде голос Глазунова:

– Вы сегодня знаете, что сделали? Вы сегодня плюнули мне в лицо! Сразу предупреждаю: если ваш друг Алёшкин открытки пустит в продажу, то я буду вынужден подать на него в суд! Место этому браку – на свалке!

Я от стыда был готов провалиться сквозь землю! Лицо пылало, сердце бешено колотилось, в горле стоял ком. Извинившись, я быстро оделся и вышел на улицу. В душе я одновременно чувствовал злость на опростоволосившегося частного издателя Петра Алёшкина и пусть небольшую, но обиду на художника! Ведь я так искренне хотел ему помочь!

7

К великому сожалению, даже в самой крепкой дружбе между двумя личностями с сильными, волевыми характерами жизнь не может протекать в равновесии и в покое, как равнинные, полноводные реки. Рано или поздно коса находит на камень...

В тот памятный день не знаю, какая муха меня укусила, или просто утром я встал не с той ноги, но вечером, находясь в гостях у великого друга, за ужином, протекавшим в умиротворённом, спокойном ключе, я сорвался. Илья Сергеевич Глазунов, как и много раз прежде, в деловом разговоре применил в отношении меня слово “должен”. Ну, применил да и применил, что тут такого, но вдруг, неожиданно для самого себя, я, как хорошо отлаженный двигатель, в душе завёлся с пол-оборота и, не скрывая этого, воскликнул:

– Илья Сергеевич, в этой суровой, не всегда честной жизни я строю свои деловые и личные отношения с людьми так, чтобы вовремя и в полном объёме оплачивать все свои счета, какими бы они большими ни были, поэтому никому, в том числе и вам, ничего не должен!

Ему бы тут, как более опытному, убелённому сединами человеку, промолчать, дать мне выговориться или постараться перевести разговор в другое русло, но, видно, и он тоже встал не с той ноги:

– Вы это серьёзно?

– Какая разница? Ибо для меня вообще не существует такого слова, как “должен”, а коль всё же оно существует, то я просто не считаю для себя важным использовать его в разговоре! Я предпочитаю ему другое – “обязан”, и то, если только речь идёт о нашем многострадальном Отечестве!

– Ну, а почему?

– А потому хотя бы, что, как сказал один очень известный поэт; “... Родину не выбирают”. А в результате того, что мне пришлось одно время очень часто подолгу бывать за границей, я на собственной шкуре убедился, что без земли, на которой родился, которая вскормила и вспоила своим богатырским жизненным молоком, любая душа, даже отступника или предателя, умирает, поскольку обрываются глубинные корни, которые питали её живительным соком Отечества! А без души нет и самого человека!

– А родители? Неужели вы и им ничего не должны или, как там по-вашему, – ничем не обязаны?

Я понимал, что, как проржавленная гайка, сорвался с резьбы, но остановиться уже не мог.

– Что родители? И им, конечно, тоже! Подумайте сами: два любящих друг друга человека по обоюдному согласию обзавелись ребёнком, к примеру, мной. Но ведь мог бы родиться кто-то другой, и не мужского, а женского пола. Хорошо, что благодаря вынесенной из страшных лишений и страданий воле, при напряжении всех своих духовных и физических сил, назло судьбе, я всё же стал вполне счастливым человеком! Но не желаю даже врагу пережить всего того, что пришлось пережить мне! Я по собственному убеждению помогаю другим, в первую очередь, – попавшим в беду. А если бы жизнь у меня не задалась вообще, я бы мучился ежедневно так сильно, что проклинал бы тот день, когда появился на свет! И получается, что если я был бы обязан родителям своей счастливой жизнью, то значит, должен был бы и за все несчастья, обрушившиеся на меня, как горный камнепад, проклинать день своего рождения, а значит, и их! Так, что ли? Нет, извините, не обязан делать ни первое, ни второе!

– Пусть будет так! Но чем тогда в остальных случаях, не относящихся к Отечеству, вы руководствуетесь в жизни?

– Убедением! И только убеждением! Поскольку любая слепая помощь, как и слепая любовь, кроме вреда, ничего принести не может!

В таком духе я говорил, говорил и говорил. А Илья Сергеевич в ответ старался переубедить меня, как мог, когда мои суждения казались ему особенно неверными. Слава Богу, что в споре мы не перешли на крик и ругань.

По привычке я посмотрел на часы и ахнул! Время уже давно перевалило за полночь. Метро уже не работало, и я подумал: “Ладно, поймаю какое-нибудь такси или доберусь до дома пешком, тем более что ходьба является одним из самых моих любимых увлечений!” Одновременно с этим я почувствовал страшную усталость, как будто не языком болтал, а разгружал вагоны со щебнем. Видимо, поэтому сознание моё притупилось, желание спорить и во все пропало. Какое-то ещё не совсем понятное чувство вины за своё не слишком умное поведение стало закрадываться в мою душу. Мне захотелось как можно скорее встать и уйти!

Поблагодарил за вкусный ужин Инну Дмитриевну, которая, к своей женской чести, за всё время спора между двумя мужчинами не проронила ни сло-

ва. По лестнице спустился на первый этаж в переднюю. Быстро надев пальто и шапку, направился к входной двери и, открыв её, уже вышел за порог, но Илья Сергеевич, всё это время неотступно молча следовавший за мной, вдруг окликнул:

– Иван Иванович, в отличие от вас я просто *должен* в такое позднее время доставить своего друга до дома!

И показав рукой на свой “мерседес”, стоящий у крыльца, попросил сесть. Его просьба была произнесена таким напряжённым, тяжёлым голосом, что я испугался за здоровье друга и тотчас согласился:

– Илья Сергеевич, не волнуйтесь, я, как всегда, с радостью принимаю ваше предложение! До свидания! И спокойной ночи!

– И вам, Иван Иванович, хорошо выспаться...

Конечно, я понял, какой смысл был заключен в его пожелании “хорошо выспаться...”, но самообладание и здравый смысл снова вернулись ко мне. Уже подъезжая к дому, я вспомнил, что однажды, в далёком прошлом, одна очень известная ясновидящая предсказала мне будущее: “Вы должны твёрдо знать, что ваш жизненный путь усыпан не розами, а камнями с очень острыми гранями, каждый шаг по ним – через собственную боль, кровь, страдания, но не смерть, ибо до конца жизни вас будет охранять путеводная, исполненная надежды звезда. Уверовав в неё, вы достигнете многого, в том числе и в творчестве! Главное для вас – как бы вы больно ни падали, во что бы то ни стало вставать и идти дальше!”

А что – всё верно предсказала! Но всё же я обратился к Господу: “Ну, почему в этот вечер Ты отвернулся от меня, ну, почему?!”

Понимая, что из “мерседеса” вряд ли я услышу голос Всевышнего, ответил себе сам: “Да чтобы в следующий раз не совершить более серьёзной, может быть, даже самой трагической ошибки...”

Но, слава Богу, жизнь на месте не стоит, одни события следуют за другими, радости чередуются с горестями – и время, в конце концов, лечит душу. Да и кто старое помянет, тому глаз вон! Главное – не заклиниваться на неудачах, учиться на своих и чужих ошибках.

8

Благодарная жизнь предоставила мне ещё один случай помочь художнику. Илья Сергеевич давно страстно хотел издать отдельным изданием полное собрание своих икон. Я снова вызвался принять в этом ответственном мероприятии самое активное участие. Но при обсуждении макета будущего альбома поставил условие:

– Илья Сергеевич, мы с друзьями профинансируем издание собрания икон, если вы лично будете, образно говоря, ночевать у печатной машины!

– На это я согласен! Только я не могу на длительное время оставить Академию и музей, да и новые работы надо заканчивать.

– Значит, надо найти типографию непосредственно в центре Москвы, но такую, чтобы её печатные мощности смогли выдать “на-гора” репродукции высокого качества, по крайней мере, не хуже, чем, скажем, в Финляндии, в Словении или в Италии!

– Иван Иванович, такая типография есть, это на улице Вальной – Первая образцовая типография. Её директор – мой старый знакомый... Это совсем недалеко, поэтому, как вы выразились, “ночевать у печатной машины” я смогу когда угодно и сколько угодно! Лишь бы издать, дорогой ты мой друг, лишь бы издать!

Скажу честно, я хоть и крещёный, хоть и верующий, но, к своему несчастью, в вопросах религии небольшой знаток. На издание собрания икон меня подвигло сознание, что человеческая душа Создателем устроена так, что она не может жить без веры в Бога, в святыни, которыми являются и старинные иконы. В предисловии к альбому Илья Сергеевич приводит высказывание Иоанна Дамаскина, жившего в восьмом веке: “Икона является для зрения тем, чем является слово для слуха. Она – божественное явление, и её символическая сущность даёт нам представление о Божестве. Я иду в церковь, которая есть прибежище души, я смотрю на святые иконы, и моя душа просвещается”. Здесь, как говорится, комментарии излишни. Остаётся одно: служить вере Православной, Создателю всего сущего до конца дней своих.

Альбом с репродукциями икон, собранных Ильёй Сергеевичем Глазуновым, под названием “Русская икона” вышел в свет в 2006 году. Не знаю точно, сколько духовных и физических сил отдал поборник святости сему изданию, но по содержанию и по качеству собрание является настоящим художественным и печатным шедевром. И его значение в возрождении русского православного духа трудно переоценить! И я счастлив, что в этом великом миссионерском деле есть и моё участие. Не зря же волей Ильи Сергеевича на титульном листе напечатано красными буквами: “Выражаю признательность за издание этой книги Ивану Ивановичу Переверзину”.

9

Замысел картины “Раскулачивание” родился у Глазунова ещё во времена его учения в Ленинградской академии. Замысел смелый, я бы сказал, для тех лет даже дерзкий! Естественно, приступить к его осуществлению тогда было просто невозможно! Осведомители, которые в то время были во всех областях культуры, в том числе и в художественной, и в писательской среде, тут же донесли бы, куда надо.

Но почему именно Глазунову пришёл в голову этот грандиозный замысел, а не кому-то другому? Да потому, что раскулачивание – это прямой геноцид, устроенный властью против своего российского народа. Как патриоту, который любит своё Отечество, не отозваться на безмерную несправедливость?

Но надо было пройти почти половине столетия, чтоб появилась возможность реализовать дерзкий замысел художника. Его воплощение в картину происходило практически на моих глазах. Помню большого размера – 3,5 на 6 метров – белое, натянутое на тяжеленный подрамник, совершенно пустое полотно и стоящие возле него специальные, выполненные из легкого металла стремянки, без которых при написании такой большой картины никак не обойтись. Потом стал наноситься рисунок. И вот, когда он был полностью нанесён на полотно, я вместе с женой Светланой поднялся на так называемый смотровой балкон, окинул неспешно внимательным взглядом всё полотно – и ахнул! Ай да Илья Сергеевич! Зачем я потратил столько сил на чтение исторических работ о том страшном времени? Ведь на вашем полотне вся история раскулачивания лежала передо мной, как на ладони!

Спустившись в гостиную, потрясённый до глубины души увиденным ещё только в рисунке, я сразу сказал Глазунову, ожидавшему меня за столом с таким видом, как будто он никакого отношения к картине не имеет: “Илья Сергеевич! Дай Бог вам сил закончить эту великую по содержанию работу!”

Что же конкретно изображено на картине? Во-первых, на двух передних планах – огромное количество персонажей; одни – бедняки, голытьба, никогда не имевшие хотя бы клочка земли, на котором бы до десятого пота трудились, и потому, прельстившись лозунгом “Земля – крестьянам!”, охотно с пустыми руками вступившие в колхоз. Теперь они с красными флагами пришли смотреть, как других насильно – под ружьём! – вместе со всем имуществом загоняют туда же.

Их ведут под конвоем, грузят в вагоны, где обычно перевозят скот. И свободная жизнь, полная труда и заботы о родной земле, для них оборачивается ссылкой на поселение в специальные трудовые концентрационные лагеря, спешно построенные под командой чекистов на суровом Севере!

Очень символичен трагический эпизод, где в парнишку лет пяти-шести, когда ещё человек не в состоянии верно судить о происходящем или принимать какие-то самостоятельные решения, просто из чисто детского любопытства забравшегося на берёзу, но ставшего невольным свидетелем творящегося произвола, один из рядовых чекистов целится из винтовки. Однако то ли отец, то ли просто смелый крестьянин обеими руками схватился за топор, высоко вознёс его и вот-вот обрушит на голову преступника! При виде этой страшной сцены невольно хочется крикнуть смельчаку: “Только не опоздай! Не дай случиться горю!”

Во-вторых, в самом центре картины, как мне кажется, происходит главное действие: по воле голытьбы, привлечшей в помощь себе чекистов, одетых в кожанки, с маузерами на боках, разрушается не просто очередной храм, который стараются защитить от нехристей при помощи икон священнослужители, а самый фундамент, на котором стоит дух народный, – право-

славная вера. Прекрасно понимая это, настоятель храма, упав на самую большую икону, судорожно вцепился в неё с такой силой, что не оторвать! Если уж суждено погибнуть от рук нехристей, то вместе со святыней!

В-третьих, на дальнем плане, за рекой, по которой буксир, дымя чёрным угольным дымом из высокой, скошенной немного к корме трубы, ведёт большую деревянную баржу с запертыми в трюме кулаками, горит белокаменный православный монастырь, тот, который, возможно, дважды посещал Лев Толстой в поисках примирения с церковью, ибо он мятущейся душой понимал, что только верой в Создателя, как ничем другим, крепок дух народный!

10

Ещё один памятник, теперь уже не “рукотворный” – писательский – создал Илья Сергеевич Глазунов, написав большую по объёму, а главное – глубокую по содержанию книгу “Русь распятая”. Действительно, если человек велик, то во всём! В популярном журнале “Наш современник”, редактируемом Станиславом Юрьевичем Куняевым, тоже великим патриотом земли русской, рукопись этого выдающегося произведения была радушно встречена и сразу же напечатана в нескольких номерах. В результате чего в мерзкие, лихие девяностые тираж журнала не только удержался на высоком уровне, но и вырос. Это говорит о том, что мысли и суждения великого художника нашли живой отклик в душах многих и многих постоянных читателей журнала.

Сегодня это произведение выдержало уже несколько переизданий, стало буквально настольным путеводителем по истории России и откровением удивительной биографии автора для многих и многих истинных патриотов земли Российской. Пройдя долгий жизненный путь, наполненный до предела подвижнической деятельностью, встречаясь со многими сильными мира сего, художник накопил огромный материал для написания мемуаров. И это не просто воспоминания. Читая эти мемуары, профессиональные писатели разделились на два лагеря: одни хвалят, по достоинству воздают автору за его труд литератора и историка, другие, понимая, что написать на таком же высоком художественном уровне у них кишка тонка, – поносят, как только могут! В связи с этим вспоминается крепкая пословица: “Собаки лают, а караван идёт!”.

Но из всех глазуновских подвигов самый значительный для России, её будущего – это организаторско-преподавательский! Ещё возглавляя в Суриковском институте мастерскую портрета, несмотря на стоящее на дворе страшное время, которое принято называть перестройкой, а на самом деле ставшее катастрофой для России, Глазунов раньше всех осознал, что без создания нового высшего учебного заведения, в котором можно было бы с чистого листа приступить к возрождению классической школы европейской и российской живописи, будущего у талантливой молодёжи нет.

И он был прав, поскольку уже к тому времени и институт имени Сурикова, и репинская Академия в образовательном процессе с каждым годом всё дальше и дальше скатывались с высоких позиций классической реалистической живописи в трясину западного левого искусства, а попросту – авангарда, а ещё проще – к кубикам-рубикам...

Глазунову справедливо хотелось, чтобы создаваемая им новая Академия живописи разместилась в здании, построенном по проекту великого русского архитектора В. И. Баженова в конце восемнадцатого века. Это здание по распоряжению императора Николая I было специально выкуплено царским правительством для размещения в нём созданного в 1843 году Училища живописи, ваяния и зодчества. Сегодня мы с гордостью произносим имена учившихся и преподававших в этом храме искусства великих художников В. Г. Перова, А. М. Васнецова, В. А. Серова, М. В. Нестерова, А. К Саврасова, И. И. Левитана и многих, многих других.

К сожалению, после революции это славное учебное заведение было ликвидировано. Много позже – в годы Великой Отечественной войны – здание, в котором оно размещалось, было сдано в аренду более чем двадцати государственным учреждениям, конечно же, никакого отношения к живописи не имеющим.

Удивляет не только сам факт грандиозного глазуновского замысла, но и то, что к реализации его художник приступил в предпенсионном возрас-

те – в 56 лет. Сам Илья Сергеевич об этом вспоминает так: “Когда я пришёл на очередное занятие к студентам (а ходил я очень часто, чуть ли не каждый день), меня попросили зайти к ректору, скульптору Павлу Ивановичу Бондаренко. Он уважительно терпел моё присутствие в своём институте, но мы не были с ним в близких отношениях. Он предложил мне сесть за свой ректорский стол и приступил прямо к делу:

– Илья Сергеевич, что ты хочешь получить: insult или инфаркт?

Я искренне не понял его вопроса:

– Как понять ваши слова, Павел Ильич?

– Я прослышал, что ты благое дело задумал, раз тебя, как, впрочем, и меня во многом не устраивают государственные порядки нашего Суриковского. Отвечаю на твой вопрос: такие люди, как Вучетич и Томский, мой учитель, – гиганты, не чета нам, – пытались вернуть этот дом художникам, – он язвительно засмеялся, – ничего у них из этого не получилось, не смогли они выкурить 22 учреждения, в одном из которых ещё Сахаров работал.

– Павел Иванович, – сказал я решительно, – я сделаю всё, чтобы их вышибить и вернуть это здание молодым художникам.

Мой ректор улыбнулся:

– Давай, давай. “Безумству храбрых поём мы песню!..”

Я сам – по первой профессии строитель – могу похвастаться, что по моим проектам в родной Якутии построено более пятидесяти объектов промышленного и гражданского назначения, но тем не менее, вслед за П. И. Бондаренко, не могу не удивляться тому, что своё слово Глазунов сдержал! Действительно, высшее руководство советского государства в лице М. С. Горбачёва, Е. К. Лигачёва и А. Н. Яковлева подписало в августе 1986 года постановление о создании Российской Академии живописи, ваяния и зодчества. Все 22 государственных учреждения были переселены по другим адресам, и на деньги, выделенные по распоряжению Н. И. Рыжкова, тогдашнего председателя Совета министров, итальянская фирма “Кодест” начала реконструкцию интерьера по глазуновским эскизам. В результате, как пишет сам ректор: “Из руинно-аварийного состояния я создал тот храм русского искусства, о котором мы все мечтали”.

О высоком уровне сплотившегося вокруг него преподавательского состава, о содержательности учебных планов, по которым в Академии имени Глазунова обучаются молодые художники, готовые к написанию значительных полотен всех жанров, известно всем. Если, к примеру, работникам администрации президента или депутатам необходим для подарка портрет, они, не раздумывая, заказывают его у кого-нибудь из преподавателей глазуновской Академии.

Вспоминается рассказ Ильи Сергеевича: “В один из дней своего председательства в Совете министров Академию посетил Виктор Степанович Черномырдин. Я, уважительно встретив его, провёл по всем коридорам заведения, на стенах которого развешены дипломные работы выпускников. Узость коридоров, их слабое освещение не помешало Председателю правительства хорошо рассмотреть художественные работы и прийти в искреннее удивление:

– Илья Сергеевич! Вы что, специально к моему визиту привезли картины из Третьяковской галереи?

– Виктор Степанович! Упомянутый вами музей никакого отношения не имеет к вашему посещению стен Академии. Все картины, которые были представлены вашему взору, являются дипломными работами наших выпускников! Но, как вы сами убедились, это же непорядок – развешивать такие замечательные работы в коридорах, им место в музее, который, кстати, в царское время был построен, а в советское, извините, разрушен. Развалины его до сих пор лежат во внутреннем дворе, можете убедиться, просто взглянув в окно.

– А почему не восстанавливаете или не строите новое здание для музея?

– Так всё дело упирается в отсутствие денег, дорогой Виктор Степанович!

– Хорошо! Вопрос о выделении необходимых средств Академии я поставлю на заседании правительства. Думаю, решение будет положительным, – пообещал премьер.

Однако, как показало время, данное слово он не выполнил! И продолжают руины бывшего музея свидетельствовать о чёрствости и недалёковидности нынешних властей предрежащих. А все новые прекрасные дипломные работы в связи с тем, что свободных мест не осталось даже на коридорных

стенах, теперь просто складываются штабелями где только можно. Горько и обидно!

Я вот уже более двадцати лет собираю живописные работы современных художников, продолжающих хранить верность классической школе реализма, и от себя могу добавить: если в настоящее время организовать и провести выставку дипломных работ выпускников хотя бы одного из последних выпусков всех трёх вузов: имени Сурикова, имени Репина и имени Глазунова, – то любитель и ценитель живописи будет одновременно восхищён мастерством художников, закончивших “Глазуновку”, и огорчён низким уровнем работ многих выпускников и “Суриковки”, и “Репинки”.

11

В годы, когда Илья Сергеевич преподавал в Суриковском институте, заведу мастерской портрета, существовала порочная система набора молодых людей, пожелавших овладеть профессией художника. Во все республиканские министерства образования, за исключением российского, спускалась пресловутая разрядка, молодые люди, включенные в неё, чуть ли не автоматически становились полноправными студентами, если даже экзамены по общеобразовательным предметам сдавали на тройки. Абитуриентам из России, особенно живущим в глубинке и по этой причине не имеющим возможности закончить созданную при институте среднюю художественную школу, можно было поступить только в двух случаях: если молодой человек обладал талантом не ниже Фёдора Васильева или по звонку министра образования СССР!

Илья Сергеевич об этом вспоминает: “Началась перестройка, но всё шло по-старому, и я помню, как во время защиты дипломов на живописном факультете Суриковского института даже многие “интернационалисты” кричали: “Господи, киприоты, африканцы, корейцы, азербайджанцы!.. Когда же русские дипломники появятся...”

Сегодня в своей Академии ректор очень придирчиво относится к подбору преподавательского состава. В основном, в нём сейчас числятся выпускники мастерской портрета Суриковского института, то есть его лучшие ученики. Но Глазунов смотрит дальше. С целью пополнения и обновления преподавателей по его просьбе министерство образования создало при Академии аспирантуру, куда после строгого экзаменационного отбора зачисляются лучшие выпускники, ставшие настоящими художниками. После окончания многие из них становятся преподавателями родного учебного заведения, и уже сами передают молодым талантам секреты мастерства. Для Ильи Сергеевича очень важно, чтобы его питомцы являлись настоящими патриотами Отечества. При этом он понимает, как важна для укрепления международного авторитета России работа его учеников за границей. Он с гордостью говорит об Алексее Стиле, возглавившем Общество реалистов Лос-Анджелеса, об Олеге Супереко, которого итальянцы называют современным Тинторетто, о Царьковой – главном художнике Ватикана.

Потому-то ему и бывает больно, когда талантливые ученики ради денежного достатка предадут принципы патриотизма, полученные от учителя, и не дают истинных знаний молодёжи. В один из августовских выходных дней звонит Илья Сергеевич и расстроенным голосом просит меня подъехать. Приезжаю. Глазунов ведёт меня в библиотеку, где показывает художественный альбом внушительного объёма, в суперобложке, и раздражённо, с обидой говорит:

– Полюбуйся!

– Чем любоваться-то? Альбом как альбом!

– Да нет, Иван Иванович! Это не простой набор репродукций, это мой позор!

После таких слов, конечно, я уже не мог не подойти к столу и не взять альбом в руки. На лицевой стороне обложки, на фоне здания созданной моим другом Академии красуется фотография Михаила Шанькова, заведующего кафедрой рисунка.

– Иван Иванович, вы не обложкой любуйтесь, а откройте альбом там, где я специально для вас закладку заложил! – нервно говорит Глазунов.

Послушно открываю, смотрю и ахаю:

– Мать честная, он что, этот Шаньков, сдурел, что ли!?

– Нет, он предал меня, предал Отечество! – восклицает Илья Сергеевич.

И я вынужден был согласиться с ним, ибо написание картины о паническом бегущем, разгромленном под Нарвой русском войске с торжествующим на переднем плане шведским королём Карлом XII, заклятым врагом России, иначе как предательством назвать было нельзя. Скорее всего, я бы об этом не вспомнил, если бы в очередной раз не был приглашён на ректорский просмотр. Приехав немного раньше назначенного времени, захожу в Академию и сразу же от двери вижу выстроившихся в ряд преподавателей – все ждут ректора. Ровно в два часа Илья Сергеевич порывисто открывает дверь и, спустившись по ступенькам в холл, подходит к нам, каждому доброжелательно жмёт руку и тут же приглашает следовать за ним. Ректорский просмотр начался! В этот раз, к своему сожалению, я как создатель галереи современной живописи смог отметить для себя только один портрет и два пейзажа, написанные двумя талантливыми студентками. При просмотре ещё в то время не законченных полностью дипломных работ Илья Сергеевич вдруг спросил автора портрета:

– Скажите, пожалуйста, а почему вы решили написать этого артиста?

– Потому что он мне нравится, – несколько сконфузившись, ответила художница.

– Хорошо! Тогда назовите хотя бы один созданный им образ, которым могла бы гордиться Россия. А ещё лучше будет, если вы расскажете о его судьбе.

Выпускница, как ни старалась, ничего конкретного ответить ректору не смогла. Тогда он сказал: “Нельзя приниматься за написание портрета, не познакомившись глубоко с жизнью портретируемого, с его вкладом в русское искусство! В противном случае вы никогда не напишете его взгляда, как известно, говорящего о человеке и о его отношении к жизни больше и красноречивей всяких слов! Но главное – вы не создадите художественного образа, ради чего и взялись за кисть!”

В мастерской исторической картины Глазунова заинтересовала дипломная работа на библейские мотивы. Автор её – сухощавый, нервно комкающий в руках тряпку со следами свежей краски молодой человек – начал было рассказывать о замысле картины, но Илья Сергеевич вежливо его остановил, быстро снял красивый представительский, с иголки, пиджак, завернул до локтей сверкающие белизной рукава накрахмаленной рубашки и, ничего не говоря, широкой кистью стал быстрыми движениями вносить исправления в картину, конечно, в своей манере письма. И дипломная работа преобразилась! Дипломнику теперь оставалось только сфотографировать её и, смыв краску, нанесённую мастером, уже в своей технике, сверяясь с фотографией, переписать исправленные места. Я был потрясён и тем, как одним взглядом Глазунов выявил неверно написанные куски полотна, и тем, как быстро, пусть и в своей манере, он исправил их!

После окончания просмотра ректор быстрыми шагами направился в свой кабинет, чтобы там вместе с преподавателями подвести итоги: кого-то похвалить, а кого-то и пожурить. На лестничной площадке я остановился и стал пропускать вперёд художников, старающихся не отстать от Глазунова. И вдруг слышу у себя за спиной голос Михаила Шанькова: “Володя, ты понял, насколько низкого качества работы молодых? Так что нам с тобой можно спокойно ещё несколько лет не опасаться никакой конкуренции со стороны студентов...”

Я повернулся и увидел, что Шаньков обращался к Штейну, очень талантливому художнику. Он, встретив мой взгляд, немного смутился, зато его коллега посмотрел на меня самоуверенным взглядом неумного человека. Мне очень многое хотелось сказать по поводу его дикого высказывания, но я только презрительно бросил в лицо Шанькову: “Мерзавец!”

И правда, о чём можно рассусоливать с преподавателем, который после просмотра должен был бы обливаться горькими слезами раскаяния, ибо его прямой долг – учить с самого первого курса талантливую молодёжь, уже хотя бы потому, что он деньги за это получает! Впрочем, чему может научить молодых художников человек, сам до конца так и не ставший настоящим мастером?! Оказывается, он был известен среди студентов ещё и тем, что присваивал чужие творческие замыслы! Одна обиженная художница рассказывала нам, что картина о молодом Пушкине списана заведующим кафедрой рисования с её этюда. Говорят, недавно Михаил Шаньков выпустил отдельной книгой свои мемуары-воспоминания. Интересно было бы почитать. Хотя – нет!

Что путного может написать человек, написавший картину о разгроме русских под Нарвой, забывший глазуновские уроки патриотизма! Практически в это же время при очередном нашем со Светланой посещении Академии Ильи Сергеевич лично проводил нас в мастерскую, как он сказал, очень талантливого художника Павла Рыженко, познакомил нас и оставил наедине. Для чего он это сделал, для меня до сих пор остаётся загадкой, ибо им самим мне было разрешено беспрепятственно заходить ко всем преподавателям-художникам в любое время, включая и выходные. Во время показа некоторых законченных картин Павел поведал, что после окончания под руководством Ильи Сергеевича Академии он решил попытаться художественного счастья в Америке, но из этого предприятия ничего хорошего не получилось: он вернулся в родное Отечество без гроша в кармане. Но и на Крымском валу написанные им картины если и продавались, то очень плохо и дёшево. Вырученных денег едва хватало, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Вдруг судьба подарила ему встречу с учителем, и тот, узнав о бедах ученика, тут же пригласил его в свою Академию на должность преподавателя и выделил ему отдельную мастерскую.

Во время нашей встречи Павел Рыженко о своих коллегах по Академии говорил так, что получалось, будто одарённой него никого нет! Слушать такое о тех, чьи высокие художественные способности никаких сомнений не вызывают хотя бы потому, что ректор доверил им учить студентов, было, мягко говоря, неудобно. И мы с женой ушли озадаченные. И всё-таки я решил заказать художнику картину. Но когда пришёл за работой, то увидел, что ему активно помогает писать новое полотно один весьма талантливый студент старшего курса. Я откровенно удивился:

– Павел, ты что, взял себе соавтора?

– Да нет! Молодой человек просто помогает...

– Как помогает, когда он пишет самые главные куски в картине! Это не помощь, это соавторство!

И тут “гениального” “благодарного” художника прорвало:

– А вы, Иван Иванович, думаете, что Глазунов сам написал свои последние картины?

– Конечно, сам! Кто же ещё?

– Ошибаетесь! Это мы, преподаватели, приходим к нему в мастерскую и пишем. Сами посудите, что путного можно написать в таком преклонном возрасте!

– Слушай, Павел, ты в своём уме? Или у тебя крыша поехала от успешных выставок, которых без помощи, как ты говоришь, *благодетеля* не было бы никогда! Да я и сам свидетель того, что с возрастом талант Ильи Сергеевича не только не ослаб, но ещё и окреп! Свинья ты, Паша, больше никто!

И, хлопнув дверью, я с колотящимся от возмущения и обиды за своего друга сердцем вышел, чтобы уже никогда не заходить в эту мастерскую!

А совсем недавно по телефону разговаривал ещё с одним “гением” – Костей Мирошниковым:

– Иван Иванович, вы были на последней выставке Павла Рыженко? – спрашивает он.

– Нет, не был!

Словно не уловив раздражённый тон моего ответа, Мирошников продолжал:

– Какая жалость! Ведь в настоящее время художника, равного Рыженко, по моему глубокому убеждению, нет!

Я не стал вступать с ним в бесполезный спор, а просто спросил его:

– Ответь, пожалуйста, может ли вообще любой ученик, предавший своего учителя, быть не то что художником, а просто порядочным человеком?

Прекрасно понимая, о каком учителе идёт речь, Костя тем не менее тут же твёрдо ответил:

– Конечно, может!

– В таком случае, прошу тебя больше мне не звонить, а если мы где-нибудь в обществе настоящих художников окажемся, то не подходи ко мне, ибо я никогда не подам тебе руки! Будь здоров!

Положив трубку телефона, я подумал: “Почему и этот человек, исключительно благодаря доброму сердцу Ильи Сергеевича, а не своему таланту, в конце концов, получивший диплом художника, несёт полную чушь? Завидует его всемирной славе? Или просто неудачник?”

За примерами далеко ходить не надо. Возьмём ту же писательскую среду. Кто из действительно настоящих поэтов, прозаиков и критиков занимается многолетним неправым сутяжничеством со своими коллегами, рассылкой клеветнических доносов в разные инстанции, в том числе и в правоохранительные, кто в газетных публикациях или в телевизионных выступлениях ради приватизации общеписательского имущества нагло белое называет чёрным, а чёрное — белым? Никто!

Потому что для настоящих писателей главной всегда остаётся одна цель: писать талантливую правду. А для этого, кроме таланта, ещё необходимо иметь порядочность, совесть, человеколюбие. Но те, у кого с этим — просто беда и кто называет себя писателем, пользуясь своим служебным положением, или кто на изломе эпохи своей писаниной стал поносить всё национально-патриотическое, всё героическое, — такие перевертыши чувствуют себя в этих мерзких делишках, как рыба в воде.

Как тут не вспомнить слова поэта: “Добро должно быть с кулаками...” Да, должно! Ради того, чтобы зло окончательно не восторжествовало.

А своему другу Глазуну сразу же после открытия государственного музея его имени я сказал: “Илья Сергеевич, мне кажется, что большего безусловного признания ваших заслуг и родным народом, и государственной властью, чем воздвижение и открытие прижизненного памятника, быть не может! Что же касается ваших злопыхателей, то где вы, а где они? Вы — на самой высокой в мире, сияющей в лучах мировой славы вершине, а они — в такой глубокой безвестности, что нам даже при помощи самого мощного телескопа их не углядеть”.

Живи как можно дольше со счастливым сознанием своего величия!

МАРИНА ПЕТРОВА

“ХУДОЖНИК ПРАВДЫ БЕЗ ПРИКРАС...”

“Венецианов никогда не был среди отвергнутых. Каждое новое поколение открывало в нем что-либо, что делало нашего мастера особенно пленительным для новых вкусов. Его негромкое, по-домашнему удобное, какое-то шепотливое искусство чудесно отвечало разными своими свойствами требованиям самых разных поколений” (1). Так писалось о художнике в 1919 г. Но если “каждое новое поколение открывало” в искусстве Венецианова что-то новое для себя, то правомерно ли в этом случае говорить о его “шепотливости”? Таким ли уж оно было тихим и скромным, если со временем интерес к творчеству этого мастера не только не затихает, но, напротив, нарастает и именно потому, что каждый раз в исторической перспективе оно открывается своей новой гранью? Не есть ли это основание говорить не о “шепотливости” искусства Венецианова, а, напротив, о его потенциале?

Сам поэтический склад души этого художника, “его духовное воззрение”, как он говорил, не могли не откликнуться на красоту русской природы, ее просторы и ширь, увлекающие взгляд в бескрайние дали, рождая ту созерцательность ума и сердца, что так присуща русской натуре, и так тонко подмечена и прочувствована им.

Венецианов не приукрашивает природу, а пишет такой, как она есть, в ее подлинности и естестве. Правдивости. Недаром уже современники называли его “художником правды без прикрас...” И потому вполне закономерно родившееся у художника в начале 1820-х гг. стремление написать серию картин из цикла “Времена года”. Но из всего цикла было создано лишь две картины: “На пашне. Весна” и “На жатве. Лето”. Обе – в собрании Третьяковской галереи. Но даже этих двух полотен, небольших по размеру, внешне скромных, не броских, оказалось достаточно, чтобы сказать новое и весьма веское слово в искусстве. Слово, возымевшее существенное воздействие на дальнейший ход развития русского искусства.

В центре картины “На пашне” – молодая крестьянка в белой рубаше и рядном розовом сарафане, украшенном золотистой тесьмой, и сверкающем на солнце красном, расшитом шелком повойнике. Без всяких усилий, легко и непринужденно ведет она под уздцы двух лошадей, тянущих борону. Обычно всех поражает масштаб фигуры крестьянки, которая, в нарушение всех пропорций, оказывается выше лошадей. И чаще всего интерпретируют ее образ как Флору – античную богиню цветов, расцвета, весны и полевых плодов. Такое объяснение действительно “ложится” на сюжет картины и ее название. Но соответствует ли оно природе искусства Венецианова? Ассоциация с ан-

тичным образом противоречит самому характеру, основам творчества мастера. “Объемля красоту” (2) милой сердцу, родной природы, он первым воспел ее в тонких поэтических образах. Он первый в отечественном искусстве сумел выявить и отобразить национальную стихию русского народа: его мягкость, женственность, пассивность, созерцательность. Качества, которые русская философия сформулирует только на рубеже XIX–XX веков. И потому его “живая натура” во всем своем многообразии, увиденная, по словам самого Венецианова, “высшим, Духовным, чувством зрения”, и предстает на полотнах мастера в образах вдохновенных, одухотворенных, в которых также слышна особая напевность русского мелоса. Мягкого, протяжного, плывущего над Русской равниной, множась эхом в ее просторах и воспаряя к небесам. Художнику, все творчество которого пронизывает коренное, национальное начало, незачем было обращаться к античной богине. Его гораздо больше привлекала “христианская теплая душа” (3), как он говорил, своего народа.

В картине “На пашне” художник остается верен себе. Воссозданный им пейзаж – простой, непритязательный, в котором – ни холмов, ни рек, ни лесов. Одно огромное поле, протянувшееся до самого горизонта. Справа срезанное и обожженное молнией дерево да поднявшаяся здесь же редкая молодая зеленая поросль. Ничего особенного, примечательного. Но есть что-то завораживающее в этом пейзаже и в этой нарядной крестьянке, ее мягких, неторопливых движениях, этой ритмике плавной, почти танцевальной, как в хороводе, этой поступи, легкой, едва касающейся земли, словно парящей. Такой пластический рисунок оказывается характерен только для этой женщины и не распространяется на занятых тем же трудом двух других крестьянок: слева и еле заметную фигуру на самом горизонте. Понятно, что обработать это огромное поле в одиночку сложно. Такое тематическое оправдание служит надежным прикрытием главной идеи картины, сущность которой раскрывается исключительно с помощью такого средства выражения, как перспектива. Ее значение в живописи Венецианов приравнивал к “Грамматике в Литературе” (4). И не только потому, что “она, – писал художник, – научает с точностью переносить видимые нами... предметы на холст или бумагу” (5). Перспектива “так же, как Грамматика, – утверждал он, – способствует к правильному выражению идей и понятий, образующихся в уме нашем” (6).

Картина “На пашне” стала, пожалуй, первой, где Венецианов использует перспективу в самом широком ее толковании. Он выстраивает композицию сразу в трех перспективах. Сам по себе этот прием не нов и известен еще со времен Проторенессанса, где утверждение прямой перспективы было продиктовано самой идеологией эпохи Возрождения: “человек – мера всех вещей”. Но Венецианов, в отличие от своих предшественников, впервые в русском искусстве соединяет в композиции и прямую и две обратных перспективы. Началом последних становятся те самые две группы, что расположены художником слева и на дальнем плане. Поскольку идущие от них перспективы направлены к центру, то по отношению к нему обе они оказываются не прямыми, а обратными. В одной, что идет от горизонта, выдержана фигура женщины, в другой – лошади. Отсюда масштабное несоответствие фигур, поскольку и женщина, и лошади оказываются в разных пространственных сферах. На пересечении этих сфер и располагает художник всю эту группу, лишая тем самым общее построение картины повествовательности, простого протокольного перечисления, рассказа, но при этом обеспечивая теснейшую взаимосвязь всех планов. Но главное, что с помощью такого сложнейшего пластического приема именно эта группа становится не только композиционным, но и смысловым центром картины.

Как известно, обратная перспектива – одно из главных условий создания иконы, как отображения мира горнего. Венецианов, вводя в композиционное построение две обратных перспективы, не посягает на икону, но с их помощью задает своей картине определенный – духовный ракурс. Он-то, в свою очередь, и продиктовал особый язык иносказания – язык христианской символики, в которой “поле, – слову самого Христа, есть мир” (Мф., XIII, 38). Лошадь – символ движения и вместе с тем статности и красоты, но одновременно мужества и благородства. Зеленое дерево символизирует духовное возрождение и вообще развивает мысль о возрождении. В картине ничего проходного, случайного. Даже васильки, которыми забавляется сидящий на обочине ребенок, естественно и органично вписываются и в сюжет картины,

и в ее христианскую символику, в которой этот полевой цветок означает верность и постоянство, простоту и нежность, но также ассоциируется, как защита от дьявола, с Богородицей и Христом. Васильки также известны как символ власти и величественности. Раскрывшийся сокровенный смысл воссозданного пейзажа собирает, концентрирует в себе народный костюм, в который одета женщина, придавая всей этой символике национальную окраску. И тем самым воссозданная панорама возникает в картине образом русского мира, о котором говорит здесь художник: его духовных основах, о мужестве и благородстве русского народа, и вместе с тем воспекает его природную статность, красоту и величие. И в этом смысле картина – как признание в любви к своему народу, к России, чей образ преисполнен веры в ее духовные силы, ее святость. И потому ребенок на первом плане, как евангельский призыв художника: “Будьте, как дети”! Храните чистоту и девство ваших душ!

Как это ни покажется странным, но воссозданный Венециановым образ не является при всем том чем-то неожиданным для русского искусства, выпадающим из его контекста. Напротив, это откровение религиозной души художника очень естественно и органично вписывается в него. Уже исторические живописцы XVIII в. в своих работах проповедовали и христианскую любовь, и идею братолюбия, и торжество духовных сил над страстями человека. Картина Венецианова “На пашне. Весна” – это дальнейшее продвижение по пути, на который изначально и добровольно вступило отечественное искусство, и на котором оно обрело свои фундаментальные основы. И полотно Венецианова – это их дальнейшая, углубленная разработка, увенчанная емким, одухотворенным образом.

Спустя почти сто лет о том же, но уже в атмосфере трагического ощущения времени, его разлада и нестроения, будет говорить и Нестеров в своей картине “Душа народа”. Следуя той же евангельской идее, тому же призыву Христа, он поведет за мальчиком русский народ во имя его сохранения и спасения.

Высоким смыслом наполнена и другая картина Венецианова “На жатве. Лето” (середина 1820-х). Заниженная точка зрения, подняв высоко линию горизонта, придала построению планов особый ритм – по восходящей, когда планы не чередуются друг за другом, а возвышаются один над другим. Вертикальный формат картины закрепляет и поддерживает возникшее движение. Фигура молодой женщины на первом плане в красном сарафане и белой рубахе с ребенком на руках собирает, фокусирует на себе наш взгляд. Подхваченный восходящим ритмом, он устремляется вдаль, к самому горизонту и, отрываясь от земли с уже поспевающей жатвой, вздымает к облакам, мерно плывущим по небу, впитывая в себя его прозрачную голубизну. Чуть ли не половину холста художник отдает огромному, бескрайнему небосводу, под которым вершится жизнь человека, жизнь природы. И уже оттуда, из небесной выси, в золотистом мареве летнего тепла и света глаз обозревает в тишине и покое эту землю, ее поля с богатым налитым колосом, уже поднявшиеся ряды снопов и затерявшихся среди них людей. И все это соединяется, сливается в единое неразрывное целое, объединенное в картине общим золотистым тоном, как символом Божьего света. “Тут... зашевелится душа и запоет хвалебный гимн, пораженная красотами неба, дающего столь благо земли!” (7) – тонко подметила в своих мемуарах дочь художника А. А. Венецианова. Александра Алексеевна сумела услышать, почувствовать восторг души художника миром простым и безыскусным, но прекрасным в своем естестве, миром, пронизанном, пропитанном Божией благодатью. Такое воззрение на окружающий мир, его пассивное восприятие без активного воздействия на него и есть созерцательность. Только мастер не просто наслаждается эстетическим видением открывшегося ему пейзажа, но воспринимает, созерцает его “чувством высшим, Духовным”. Духовная созерцательность, как форма, как способ видения окружающего мира – вот то новое, что привнес, чем обогатил отечественное искусство Венецианов. Но появление этой новизны не есть нечто непонятное, возникшее неожиданно, неизвестно откуда. И дело здесь не только в религиозности Венецианова или степени его таланта, что играло, разумеется, немаловажную роль. Есть еще и сама природа русского искусства, которая определяется не только национальными мотивами.

И здесь хотелось бы вновь обратиться к предшественникам Венецианова. Первые выпускники Академии художеств еще не имели достаточного профес-

сионального опыта, возможности опереться на традиции светского искусства, которым еще только предстояло сложиться со временем. Тем не менее уже тогда своими произведениями они проповедовали не столько господствовавшие просвещенческие идеи, сколько близкие ими христианские ценности, которыми жили, к которым приобщились с раннего детства. Иными словами, русское искусство не постепенно, не по мере развития и роста профессионализма обрело свои духовные основы, а встало на этот фундамент сразу. И для последующих поколений художников он был естественной, востребованной их собственной духовной жизнью опорой. Отсюда идеи и идеалы, проповедуемые ими, отсюда же и их открытия, как откровения души, наполненной “чувством высшим, Духовным”. И хотя идеи Просвещения продолжали витать в воздухе, питая и настраивая общественное сознание, тем не менее тот же Венецианов все-таки приоритет отдавал религии. “Поэтические взрывы, выкомпилеванные из романов 18 столетия”, называл не иначе, как “чревобесие” (8). “Чёрт ли в том просвещении, где нет веры” (9), – писал он уже на склоне лет.

Его произведения, как “весенняя улыбка солнца”, были освещены каким-то вдохновенным, внутренним светом, согреты теплом и искренностью, которые источала его чистая, добрая душа. Потому столь притягательно искусство Венецианова, пронизанное искренней любовью к родной земле, простому человеку, “ко всему миру Божьему, что так прекрасен и радостен, и всегда неизменно велик” (10). Может быть, именно потому, что уже в этих двух картинах художник сумел так много сказать, так полно выразить свое духовное воззрение на мир, и отпала необходимость разрабатывать дальше задуманный им цикл. И если тематически он остался незавершенным, то программно реализован полностью.

Как известно, не только идеями, которыми насыщен художественный образ, определяется значение любого произведения, но и его воздействием, влиянием на последующий ход развития искусства. Вот таким импульсом и стал венециановский цикл, казалось бы, мягкий, легкий, “акварельный”, но который своей духовной энергетикой вызвал к жизни такие силы, такую мощь, которые навсегда определили непреходящую ценность русского искусства.

Понятно, что сам по себе прием, как таковой, еще ни о чем не говорит. Все определяет цель, достижению которой он служит. Но, может быть, именно потому, что сама цель в венециановском цикле была продиктована духовной жизнью, которой жила, которой наполнилась душа художника, впервые примененный им способ построения композиции и получил такое распространение среди наших живописцев. Большие мастера прибегали к нему не ради того или иного пластического или композиционного эффекта, но прежде всего стремясь воссоздать в своих картинах духовно осмысленное художественное пространство. И у каждого художника оно будет свое, наполненное новыми, но всегда очень глубокими, масштабными идеями, отвечающими за просу времени.

Необычайная действенность и плодотворность венециановского приема раскроется уже в знаменитой картине Александра Иванова, композиция которой также выстроена в трех перспективах. В одной выдержано все, что связано с реалиями жизни: и местность, и природа, и люди. А поскольку это – мир дольний, то и выстраивает его художник в прямой перспективе. В другой, тоже прямой, – фигура Иоанна Крестителя и именно потому, что он также человек. Вводя для него свою перспективу, художник подчеркивает тем самым его необычность, неординарность, рождению которого, как известно, также предшествовало благовещение Архангела Гавриила, что и продиктовало художнику необходимость выделить его особым образом. По той же самой логике, но только уже усугубленной божественной природой Христа, Иванов специально для Него вводит в композицию еще одну – третью перспективу. Но по своему характеру она, в отличие от первых двух, – не прямая, а обратная, как в иконе. Благодаря этому фигура Христа, масштабно не тождественная изображениям первого и второго планов, оказывается в ином – параллельном, или надмирном пространстве, началом которого является Сам Христос. И поэтому неслучайно прямо за Его фигурой разворачиваются голубые дали. Кстати, сам художник называл голубой цвет мистическим. И справедливо, поскольку в христианской символике одно из значений голубого – соответствие

“Ипостаси Духа Святого” (11). И потому вся эта мистическая голубизна, разрастаясь в обратной перспективе, возникает в картине образом духовного пространства, из которого, кажется, только что вышел Христос во плоти, что и станет в русском искусстве первой попыткой прикосновения к самому сокровенному — к божественной природе Христа. Отобразить в станковой картине божественность Спасителя, пусть даже опосредованно, через воплощенные Его духовного ареала, как это сделал Иванов, не удавалось еще никому. Таким образом, композиция, выстроенная сразу в трех перспективах, представляя собой средоточие трех разных сред, обретает некий символ, как точка схода разных миров: человечества, ветхозаветного пророчества и грядущего спасения. Тем самым художественному пространству картины задано сразу три измерения: историческое, временное и мистическое. И весь этот вселенский масштаб и боговдохновенная сила идей и образов картины достигнуты Ивановым с помощью приема, открытого Венециановым.

Спустя 10 лет к этому же приему прибегнет и В. Г. Перов в своей известной картине “Последний кабац у заставы”, где перспектива будет служить не только средством композиционного построения, но прежде всего сама станет выражением “идей и понятий”.

Перов, называвший кабац “вертепом разврата”, в противовес ему помещает на вершине невысокого холма маленькую церквушку. Спрятанная за деревьями, словно отгородившись ими от мирского смрада, она оказалась в основании разбегающихся от нее вверх линий. Справа — абрисом поднимающегося уступами обелиска, а слева — диагональю заснеженных крыш. Скомпонованная таким образом пространственная среда, отождествленная с небесной сферой, начинает существовать, как в обратной перспективе, разрастаясь, по восходящей. И свет, заполняющий ее, все более разгораясь по мере удаления от горизонта, набирает свою силу, под натиском которой отступают ночные тени. И тогда линия горизонта, совпав с вершиной холма, осененного храмом, становится пограничьем не столько между небом и землей, сколько светом и тьмой. И, следовательно, церковь оказывается ключевым звеном в композиции, вобравшей в себя образы двух миров: дальнего с его адскими, губительными страстями, и горнего, открывающегося в обратной перспективе духовным пространством Церкви с его просветленностью и чистотой.

По-особому использует этот прием и Нестеров в своей картине “Святая Русь” (1901–1905), пластическая драматургия которой оказывается как бы поделенной на две части: на Русь старую, держащуюся вековых основ Православия, и на Россию новую, современную, утратившую молитвенную связь с Богом. Паломники, данные в прямой перспективе, кто стоя, кто на коленях, теснятся ко Христу, но их взгляд скользит мимо, в сторону. Никто, кроме священника, не смотрит на Него, а значит, не видит Его. Пришедшие к церкви миряне пропустили встречу с Богом и с сонмом святых, может быть, самых главных и почитаемых на Руси. Для этих образов мира горнего художник использует обратную перспективу и пишет их фигуры, как в иконах, на фоне нарастающего ритма церковных крыш монастыря. Соединение двух разных по характеру перспектив позволило Нестерову осуществить свой замысел. Картина была задумана им как некая мистерия, что развернулась на полотне религиозной драмой русского народа. И потому сложившийся в историческом времени образ Святой Руси, лишенный в картине Нестерова своего благостного пафоса, обретает привкус горечи и боли, переживаемой художником, как он писал, за “обнищавшую духом Россию” (12).

Как видим, прием, введенный Венециановым в арсенал выразительных средств, оказался необычайно богатым. Родившись как способ построения духовного пространства и вообще для решения проблем духовной жизни человека, он впоследствии, несмотря на различие и многообразие художественных целей и задач, никогда за пределы духовной сферы в русском искусстве не выходил.

Не стала исключением и вторая картина венециановского цикла “На жатве. Лето”. Не одно поколение художников и прежде всего пейзажистов будет прикладывать немало усилий, чтобы наполнить атмосферу картины духовной созерцательностью, впервые воссозданной Венециановым. Не каждому удастся достичь заветной цели, но стремиться к ней они будут практически все.

Одним из первых, кому удалось достичь ее, был Иван Шишкин. Он и живопись-то понимал, как немую, но теплую, живую беседу души с природой

и Богом. И потому обозначенная венециановской картиной цель была ему необычайно близка. Но достичь ее удалось не сразу, а лишь в картине “Полдень. В окрестностях Москвы”, написанной в 1869 г., когда художнику было уже под сорок.

В этой картине гонимой перспективой дороги взгляд как бы на мгновение сдерживается сливающимися вдаль полями. И только потом начинает медленно восходить невысоким пригорком слева, вытянувшимися, словно свечки, белой колокольней и куполом церкви, а также высоко поднявшейся над избой тонкой струйкой дыма, едва различимой в мареве летнего полдня. А затем взгляд сразу же вздымает вверх и, подхваченный вертикалями облаков, начинает парить в этом голубом просторе. И уже оттуда, из небесной выси, глаз обозревает и раскинувшиеся внизу леса и доли, необъятную ширь полей, дороги и реки без конца и края, избородившие землю, умытую теплым дождем и успевшую уже просохнуть под лучами жаркого солнца. Бьющее откуда-то справа, оно разбеливает, словно растапливает облака. А ветер, разогнавший грозовые тучи, уже гуляет по полям, взбадривая высокий налитой колос, прогнувшийся под собственной тяжестью. Преображенная природа вновь возрождается к жизни. Возрождается не в буйстве красок, а сочной зеленью придорожной травы, желто-белым сиянием скромных полевых цветов, веселым шелестом спелой ржи, воздухом, напоенным свежестью и чистотой, звенящей тишиной летнего полдня, когда солнце в зените, и высокое, высокое небо, от которого и животворящий свет, и спасительная влага, и живительное тепло, и Божья благодать.

Иное наполнение обрела созерцательность в картине А. Куинджи “Север”. Именно здесь изначально присущая искусству художника масштабность пластического образа перешла как бы в свою новую стадию, обрела новую ипостась, которой еще не знала отечественное искусство.

Открывшееся глазу огромное, без конца и края, пространство представлено во всем многообразии северной природы, в которой так мало солнца и тепла. Но даже в этих условиях она не утрачивает своей естественной красоты, в которой нет экзотики, нет вычурности и эффектности, но есть сдержанность, скромность, простота. И как бы вторя этой негромкой тональности, наделяет художник колорит картины мягким, плавным сочетанием зеленого и нежно-сиреневого, низводя их, по мере сближения, до бледно-голубого, растворенного в нежной дымке там, на самом горизонте. Прозрачная, тонко прописанная дымка, прорвав пелену клубящихся облаков, вбирает, впитывает в себя зелень земли, сглаживает очертания редкого кустарника, снимает зеркальный блеск водной глади. Этим же светом художник тонально собирает цвета, согревая их теплом своего сердца, своей любви к природе, преклонением перед ее силой и размахом. И атмосфера картины наполняется какой-то неожиданной величием, торжественностью повествования, в котором небо и земля выступают его главными героями. Выступают не в противоборстве, не в противостоянии, как в ранних работах мастера, но в каком-то космическом единении, неотъемлемости, сопричастности друг другу, рождая грандиозный образ, исполненный доселе невиданного – планетарного, вселенского масштаба.

Вообще созерцательность – в самой природе русского человека, его национальной стихии. Именно в ней находило свое наиболее полное выражение русское сердце, русская душа. Впервые это национальное свое отображение также в искусстве Венецианова. Но в его крестьянских образах, в его пейзажах созерцательность предстает уже не только как стихийное проявление ментальности народа, но прежде всего как особое, ОДУХОТВОРЕННОЕ состояние души. Именно в пейзаже созерцательность раскрывается не опосредованно, а прямо, выявляя свою духовную высоту. И потому пейзажная живопись в России – это не только портрет природы, и не только эмоциональный отклик художника на родные просторы. Пейзаж – это прежде всего сама душа народа, его дух, его мирозерцание, что и придает ему, как жанру, характер национального. Духовная созерцательность русской пейзажной живописи и определяет ее принципиальное отличие от своего европейского аналога, несмотря на внешнюю – стилистическую и формальную близость. Об этом также в русском искусстве впервые сказал в своем цикле “Времена года” Алексей Гаврилович Венецианов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Эфрос А. “Вакханка” А. Г. Венецианова и его два портрета. В кн. “Кооперация и искусство”. М., 1919, с. 41.
2. Венецианов А. Г. Статьи. Письма. Современники о художнике. М., 1980, с. 61.
3. Там же, с. 144.
4. Венецианов А. Г. Статьи. Письма. Современники о художнике. М., 1980, с. 63.
5. Там же.
6. Там же.
7. Там же, с. 232.
8. Венецианов А. Г. в письмах художника и воспоминаниях современников. М.-Л., 1931, с. 177.
9. Там же, с. 210.
10. Врангель Н. Н. Алексей Гаврилович Венецианов в частных собраниях. С.-Петербург, без даты, с. 12.
11. Настольная книга священнослужителя. Т. IV, 2005, Свято-Успенская Почаевская лавра, с. 153.
12. Нестеров М. В. О пережитом. 1862–1917. Воспоминания. М., 2006, с. 350.

ВАЛЕРИЙ ХОМЯКОВ

К ПОЗНАНИЮ СИБИРИ

В. Г. Распутин “Возвращение Тобольска”. Верона. Тираж 50 экз.

Прочитал я книгу В. Распутина “Возрождение Тобольска” в удивительном оформлении Нины Казимовой и словно испил глоток чистой ключевой воды. Писатель сложил гимн Тобольску. Он не только воспел старинный сибирский град, но выступил в своей книге как философ, художник и историк. Начинается всё с похода Ермака, который трактуется писателем как одно из проявлений народной воли, как выражение мужества простого русского народа, чьи деяния останутся в памяти потомков. “Едва ли можно сомневаться, что сам Ермак Тимофеевич, одержав тяжёлую победу над Кучумом у Чувашского мыса, не мог не заглядеться на высящуюся неподалёку красавицу гору и не прикинуть, что лучшего места для острога не найти”. Действительно, место богоданное. В конце XVII века русский посланник Николай Спафарий писал: “А город Тобольск построен на реке Иртыше на высоком месте, на яру, и место зело красивое, и множество церквей Божьих, и дворов, и людей живут в верхнем городе...”.

Именно Тобольск несколько столетий назад стал своеобразным духовным центром Сибири. Как в Древней Руси исполненная благодатью земля рождает соборную молитву, так и Тобольск богоданный, осиянный светом иконы Абалакской Божьей матери, призывал Сибирь к единению духовному, к спасению земли сибирской и веры христианской. А как ещё иначе можно воспринять распутинские слова: “... у кого не могло не захватывать дух при виде Кремля из Нижнего города и необозримой, могучей картины, с какой устремляется от Тобольска Сибирь на восток – если смотреть с высоты тридцатисажённого кремля. Этот величественный исток полунощной страны, уходящей в поднебесную бесконечность, до сих пор для впечатлительных душ кажется таинственным, а что говорить о тех, кто всматривался туда, в эти широко распахнутые и таинственные ворота, три-четыре столетия назад”.

Семён Ульянович Ремезов, тобольский зодчий, картограф, писатель, иконописец, создатель “Чертёжной книги Сибири” и архитектурной жемчужины Сибири – белокаменного Кремля, – однажды очень поэтично и живописно охарактеризовал Тобольск: “Подобен сибирский град Тоболеск – Ангелу! Правая его рука – палатный разряд. На длани (ладони) имущий нижний посад, левая рука – соборная церковь и стена каменного столпа, правый бок – яр до Иртыша, левый – увал и река Курдюмка, правое крыло – Тобол до степи, левое – Иртыш. Этот Ангел является всей Сибири радоджителем и изрядное украшение, и с иноземниками мир и тишина”.

ХОМЯКОВ Валерий Иванович — доктор филологических наук, профессор Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.

Именно с Тобольска начался в Сибири прорыв к мировой культуре. Там возник первый в Сибири журнал «Иртыш», превратившийся в «Ипокрену». В 1703 году в Тобольске, по указу Петра I, митрополитом Филофеем (Лещинским) было открыто первое за Уралом учебное заведение – славяно-русская школа, где обучали письму, чтению, русской грамматике, церковному пению, катехизису. С Тобольском связано не только священное для всех сибиряков имя Ермака, но и творчество сынов русских: Семёна Ремезова, Петра Ершова, Петра Словцова. Здесь родился и жил великий русский учёный Д. И. Менделеев, замечательный композитор А. А. Алябьев, автор знаменитого «Соловья». А вспомним тобольского затворника Юрия Крижанича, о котором В. О. Ключевский сказал: «...читая преобразовательную программу Крижанича, невольно воскликнешь: да это программа Петра Великого, даже с её недостатками и противоречиями, с её идиллической верой в творческую силу указа, в возможность распространить образование и торговлю посредством переводной немецкой книжки о торговле или посредством временного закрытия лавочки у купца, не выучившегося арифметике».

Люди того времени были яркими личностями. Они обладали сильным характером, храбростью, железной волей. Такими были тобольские воеводы Юрий Яншеевич Сулешев и Петр Иванович Годунов. Князь Гагарин, личность «властная, энергичная и барственная». Фёдор Иванович Соймонов, судимый и битый нещадно, сосланный при Бироне на каторгу в Охотск. Да, не все шло гладко. Было и лихоимство, и произвол местных правителей, запреты и жестокие наказания. Процесс вбирания в себя Россией сибирского мира, изначально ей чуждого, нередко окрашивался кровавыми красками. Но Сибирь, как Феникс из пепла, поднималась на ноги. Поражаешься масштабностью задач, которые ставило русское правительство. Один за другим в Сибири появляются новые города. К России присоединяются Приамурье и Приморье, Алтай и Казахстан. А вспомним Великую Северную экспедицию, обследование Алеутских и Курильских островов, островов Ледовитого океана. В книге «Сибирь, Сибирь» В. Распутин пишет: «Нет ничего в мире, что можно было бы поставить в один ряд с Сибирью. Кажется, она могла существовать как самостоятельная планета, в ней есть всё, что должно быть на такой планете во всех трех царствах природы – на земле, под землей и в небе. Её собственно жизнь, столь разнообразную и разнохарактерную, невозможно обозначить известными понятиями. Со всем тем, что существует в ней плохого и хорошего, открытого и неоткрытого, свершившегося и несвершённого, обнадёживающего и недоступного, Сибирь – это Сибирь, которая имеет своё имя, лежит на своём месте и выработала свой, ни на что другое не похожий характер. Из конца в конец и из края в край над нею витает свой дух, словно бы до сих пор не решивший, быть ему добрым или злым, – в зависимости от того, как поведёт себя здесь человек. За четыреста лет, прошедших после покорения Сибири русскими, она, похоже, так и осталась великаном, которого приручили и привели местами в божекий вид, но так и не разбудили окончательно. И это пробуждение, это духовное осознание её самой себя, хочется надеяться, ещё впереди».

Но с конца XIX столетия Тобольск стал терять славу духовного сибирского центра, «превратившись в обычный райцентр, постепенно утрачивая свою выправку и былую именитость города-памятника, города-труженика, неотъемлемого ореола первопрестольного Сибири».

Но, к счастью, в конце XX столетия положение стало меняться. Нельзя не согласиться со словами Валентина Распутина, который сказал: «В самые тяжёлые и опасные для России 90-е годы минувшего столетия точно из-под земли вырос в бронзе великий зодчий тобольского кремля – и кремль в те же годы вновь принял в свои стены епархию, а Патриарх Всея Руси Алексей II дважды навещал Тобольск и назвал его третьим после Москвы и Петербурга духовным центром России».

«Тобольск и вся Сибирь» – это сочетание стало звучать торжественно, после того как подробные очертания всей полунощной страны представил миру сын боярский Ремезов. «Тобольск и вся Сибирь» – так называется свод выпускаемых вот уже несколько лет Фондом «Возрождение Тобольска» книг, отданных самым именитым сибирским городам и землям. В последние 15–20 лет в условиях самовывживания они отдалились друг от друга почти так же, как это было в XVIII веке, – и вот именно Тобольск взял на себя право напомнить им о нашем неотменимом родстве и общей судьбе».

Отдельное слово о тех мастерах, которые сделали книгу Распутина культурным явлением самой высокой пробы. Книголюбам наверняка знакомы прекрасные альбомы Аркадия Елфимова, мастерски сделанная им “Хорографическая книга Сибири” С. У. Ремизова, альманахи “Тобольск и вся Сибирь”, “золотую” сибирскую серию книг библиотеки альманаха. И теперь ещё неожиданный подарок. Манера художника оказалось созвучной распутинским размышлениям. В своих офортах Нина Казимова сумела передать тончайшие нюансы исторической и художественной мысли писателя. А выделенные шрифтом отдельные словосочетания: “Теперь слава его возвращается обратно”, “К познанию России”, “Памятник Ермаку”, “Надёжный страж”, “Духовный центр России” – воспринимаются как некие ориентиры, духовно-исторические меты, позволяющие соединить в одно целое Тобольск, Сибирь и всю Россию. Ибо “проснувшаяся память есть начало продолжения дела”.

ЕКАТЕРИНА ЗЛОБИНА

СЛОВО КАК ДЕЛО

Книга, подготовленная по студенческой инициативе и вышедшая при поддержке Литературного института им. А. М. Горького к 50-летию преподавательской деятельности М. П. Лобанова, стала настоящим подарком не только легендарному мастеру, но и читателям.

Михаил Лобанов, сам будучи независимым, принципиальным, честным и смелым литературным критиком даже в самые реакционные годы, в творчестве всегда ставил на первое место работу духа, глубину мысли и естественность, достоверность психологических ситуаций, деталей и характеров, чего требовал и от современной литературы, чему учил и своих студентов.

“Ничего нельзя скрыть в литературе. Каков ты сам, таково и твоё детище, то бишь книга твоя”, – объяснял мастер. “В творчестве не может быть чудес, так не бывает, что автор находится в состоянии духовной спячки, слепоты, нравственного ожирения, а в книгах растёт и углубляется”, – убеждал и предостерегал молодых литераторов М. Лобанов.

И был услышан.

Рассказы, собранные в книге, разрушают сложившееся в последнее время превратное представление о самом жанре как о короткой и занимательной истории, главное для которой – бойкий сюжет и обилие “трюков”. Здесь, наконец-то, можно всерьёз говорить о содержании.

Открывает книгу рассказ А. Серова “Хозяин”. Настоящим хозяином завода оказывается не ушлый делец-менеджер, пытающийся “оптимизировать” производство и ни в грош не ставящий человека труда, а простой рабочий Колька Мологин, для которого завод – вместе со станками и людьми – живое существо, а труд – жизненная потребность, без которой теряется смысл существования.

Та же тема, но уже трагически преломляется в другом рассказе – “Капитале” В. Килиякова. Он о том, как лихорадка частничества, одержимость наживой за чужой счёт, зависть и ненависть разрушают не только семью, судьбу и личность человека, но и отнимают жизнь, и это страшная плата за “капитал” для стремящихся “из грязи в князи” любой ценой.

С. Рыбакова с бесхитростным рассказом “В приходской библиотеке”, главная героиня которого обладает удивительным в наше время качеством – полным отсутствием праздного любопытства по отношению к людям, Н. Середина с “Золотой мушкой” – о незримой и крепчайшей связи супругов, проживших друг с другом душа в душу, Д. Щёлоков с современным “святочным рассказом” о бабушке, чудесным образом спасённой в заметённом метелью

поле, П. Косов с “Бывшим домом”, где потенциальные раскольники, почувствовав в заброшенном доме, предназначенном под снос, живое существо, испытывают психологический сдвиг в сознании и меняют своё отношение не только к вещам, но и к людям. Что общего между этими рассказами, между такими разными по творческой манере авторами?

Пристальный взгляд на каждую человеческую судьбу. Эти рассказы возвращают людям чувство собственного достоинства.

Или взять “новейшее поколение” студентов Михаила Петровича – А. Чернову с мистичным рассказом “Когда затухают фонари”, в котором милая и добрая хлопотунья–пенсионерка Мария Васильевна предчувствует и готовится пережить Конец Света; К. Яблочкина с метафизичным “Чудом” – явлением и отступлением смерти в виде холодного, хищно рокошущего танка, появившегося ночью прямо в твоём дворе и направляющего дуло прямо на твоё окно.

В них – поразительная способность совсем молодых по писательским меркам авторов за внешне совершенно обыденными фактами реальности почувствовать и суметь выразить бытийную глубину, уловить тонкие связи всего со всем.

В “Истории одного литератора” Д. Лукина дан яркий портрет литературного “вырожденца”, одарённого, но самовлюблённого молодого человека, который воспринял свой дар как обещание гениальности и личной известности, богемной жизни; в “Звёздном десанте” А. Евсюкова – гротескный портрет “настоящего мужика”, характер которого приносит ему и окружающим всяческие проблемы, но при этом покоряет дамские сердца. Здесь, в этих рассказах – удачный опыт психологического портрета, точные мотивировки, правда характеров.

В сборник вошли рассказы более тридцати авторов – выпускников лобановского семинара начала текущего столетия. Ни к одному из них нельзя предъявить претензии: “Зачем это написано?”. Все эти истории – пережитый собственный духовный опыт авторов, рассказаны они не красноречия ради, а потому, что сам жизненный материал потребовал художественного осмысления.

В сборнике представлены также письма студентам и статьи разных лет самого М. П. Лобанова, и сегодня не только не потерявшие своей остроты и актуальности, а, напротив, удесятёрившие своё значение и вес. В каждой из них мастер неизменно обращает внимание писателей на то, что литература интересна именно неповторимой личностью автора, что паразитирование на литературе недостойно, всеядность – нелепа, а эпигонство – прискорбно.

Когда нет ничего собственного за душой, когда нечего сказать – нельзя написать стоящее, нельзя называться писателем, не устаёт он повторять. Писательство – это не привилегия и не развлечение, это служение, труд и судьба. Слово – это дело. “*Есть что-то мученическое в участии русских писателей в России*”, – предупреждает своих учеников М. Лобанов.

В своём семинаре он учит никогда не писать “по расчёту”, брезговать литературным делячеством: это путь к творческому бесплодию. Если писать – то о главном, о важном, общезначимом.

А ещё – искать свой голос, собственную интонацию, вырабатывать внутреннюю цельность, видеть “пронзительность земных мелочей” и, как писал Л. Н. Толстой, “с каждым человеком говорить “вовсю”. Без этого настоящее творчество немислимо.

Трудно поверить, что сегодня есть такие писатели и такие книги? Откройте сборник “лобановцев” “В шесть часов вечера каждый вторник”. Читайте и возвращайтесь – в Настоящее.

г. Севастополь

СТАНИСЛАВ ЗОТОВ

РУССКИЙ ГОЛОС С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Виктор Пастухов. “На перекате”, Москва, “Российский писатель”, 2012.

Стало уже обыденным при упоминании о Дальнем Востоке вспоминать известную ленинскую фразу: “Край далёкий, но нашенький!” Действительно далёким этот край стал для нас, жителей центральной России в годы после крушения СССР. Билет туда стоит непомерные деньги, и нам теперь ближе, много ближе, скучная Европа или какой-нибудь жаркий Египет. А на “нашенький” Дальний Восток мы смотрим теперь, как на Луну – вроде виден, а ступить туда нельзя.

Но ведь и там живут русские люди! Живут, работают, учатся. Существует Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, а значит, есть образованные интеллигентные люди, есть учёные, писатели, есть поэты... О поэтах речь. Журнал “Наш современник” не раз публиковал стихи дальневосточных поэтов, и в 2011 году появилось среди них имя Виктора Степановича Пастухова – человека интереснейшего, учёного электротехника. Немолодого уже – 1950 года рождения, коренного дальневосточника. Он родился в городе Лесозаводске Приморского края. Рос в Приморье, учился в Новосибирске и в Ленинграде – вся российская география от океана до океана! Но после так и осел в своём царственном Владивостоке – городе, что увенчан с Тихого океана словно короной островом с характерным названием – Русский! И вот доколе будет он называться Русским, будет и весь Дальний Восток таковым, и как отрадно услышать из этого далёка неравнодушный голос русского поэта: “Как ни бьётся разум напряжённо, // но не знает, век земной верша, // под какие трубы и знамёна // встанет на полях Армагеддона // призванная в рекруты душа”. Здесь восклицательный знак хочется поставить! А ведь хорошо, что русский человек, поэт, и в преклонные годы не ослабился, не пал духом, как многие, а чувствует себя борцом, “рекрутом” той великой битвы за умы и души людей, что идёт сейчас. Пусть со мной спорят, но изюминка поэзии Виктора Пастухова именно в этом – в несломленности духа, и лучшие стихи его уже четвёртого сборника, но вышедшего, наконец-то, в Москве, это стихи борьбы.

Виктор Пастухов не склонен проходить мимо самых горестных явлений нашей, так сказать, “постперестроечной” жизни, но делает из них совершенно правильные выводы: “Оглядысь! Где нивы золотые? // Где твоя деревня за леском? // Вместо окон впадины пустые, // из которых тянет холодком (...). Посмотри, сестрица не твоя ли, // между кресел томно проскользлив, // ловит на полуночном вокзале // похоти прилипчивый призыв? // Поутру над баком для отбросов, // приглядысь, не твой ли старший брат // за краюхой, плесенью обросшей, // перегнулся, впитывая смрад?..”

Да, такие картины мы сейчас встречаем на каждом углу. И хорошо, что учёный, профессор Дальневосточного университета, кем является Виктор Степанович, человек, казалось бы, долженствующий “витать в эмпириях”, не остаётся равнодушным к социальным и общественным проблемам нашей нелёгкой современной жизни. И знаете, книгу его стихов читать просто интересно. В ней проскальзывают щемящие некрасовские нотки – и это хорошо! Это и отличает русского поэта от заумного стихоплёта – в русской поэзии обязательно должна быть “почва”, вот та самая почва, на которой твёрдо стоит человек. А русскому человеку сейчас надо стоять твёрдо, особенно на окраинах, чувствовать под ногами камни острова Русский и помнить, что с этого острова, с восхода начинается континент Россия!

У Виктора Пастухова это ощущение есть. Ощущение причастности радостям и бедам огромной страны. И очень болезненно, как и всякий русский человек, он переживает ощущение несправедливости по отношению ко всему русскому, что несёт нам наша действительность. Это ощущение ига, вроде древнего ордынского ига, что некогда давило Русь. В стихотворении “Орда” эта мысль звучит очень остро: “Чужая речь в чужом кагале... // Неужто Русь, куда ни кинь, // обречена на поруганье // своих героев и святых?” – Вопрос риторический, но нужно задавать этот вопрос хотя бы для того, чтобы сопровивляться и не сдаваться.

Конечно, и лирика не чужда нашему автору, но в этой книге мы не найдём стихов о любви и чувственности. Интересующихся этой стороной творчества Виктора Пастухова я отсылаю к его предыдущей книге – к сборнику “Обручение чувств”, вышедший в издательстве “Русский остров” во Владивостоке в 2012 году. Книга та так и озаглавлена автором, как “Сборник лирических стихотворений” и посвящена его любимой женщине, “жене и другу”, как вполне традиционно пишет автор, Пастуховой Елене Леопольдовне. Кто знает, может, великое чувство любви, пронесённое автором сквозь годы жизни, и сделало из учёного – поэта, из физика – лирика и открыло в авторе тот внутренний слух, что дал возможность слышать не только сладостные, но и горестные звуки нашего такого неспокойного мира.

“На перекате”. На сломе, на изгибе, на перевале... Вот именно, стихи Виктора Пастухова, что включены им в его новый сборник, оставляют впечатление какого-то перевала, на котором стоит поэт. Всё, что можно сказать откровенного, порой резкого, горького о прошлой и нынешней жизни, что хотел сказать автор – им сказано. Произнесена исповедь своей души, подведены какие-то итоги, но вот ощущения конца, успокоенности, этого ощущения нет. Словно новый этап жизни стоит сейчас перед поэтом, перед его ищущей, страдающей душой, которая пребывает как бы в предрассветных сумерках. И всё, что выбирает поэт, какой путь он обозначает себе – всё это сказано им в эпилоге сборника “На перекате”: “Но сумерки – межующее время. // Как смута, расколовшая народ. // И будь это закат или восход // моей страны – хочу остаться с теми, // кто раньше ловит свет // и дольше отдаёт”.

Таков голос русского поэта с Дальнего Востока. Далёкого края, но без которого России нет.

“У ВАС ВСЁ ВСЕРЬЁЗ”

Поздравления А. И. Казинцеву с 60-летием

Уважаемый Александр Иванович!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления в связи с 60-летием. Вы посвятили свою профессиональную судьбу литературному творчеству и неизменно остаётесь носителем лучших публицистических традиций. Ваши произведения, пронизанные огромной любовью к родине и русскому народу, ваши глубокие мысли о настоящем и будущем Отечества находят горячий отклик в сердцах патриотов России.

Ваше высочайшее мастерство, преданность избранному делу, активная гражданская позиция и твёрдые убеждения заслуживают самого искреннего уважения и благодарности.

От души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемого творческого вдохновения на долгие годы, благополучия, счастья, всего самого доброго.

Губернатор Белгородской области
Евгений Савченко

Уважаемый Александр Иванович!

Примите искренние и тёплые поздравления с юбилеем!

Ваша многогранная творческая деятельность достойна восхищения. В российской публицистике Ваши произведения занимают почётное место, и многие с нетерпением ждут Ваших новых статей.

Вы воспитали вкус к хорошей литературе у нескольких поколений читателей страны.

На страницах журнала “Наш современник” печатались многие начинающие литераторы, которые с Вашей лёгкой руки успешно продолжили свой писательский путь.

Пусть не иссякает поток Вашей творческой энергии и Ваши мечты воплощаются в жизнь. Желаем Вам здоровья, счастья, семейного благополучия и творческой удачи.

С уважением и наилучшими пожеланиями, от имени Правления ОАО Ханты-Мансийский банк

Президент,
председатель правления
Дмитрий Мизгулин

Уважаемый Александр Иванович!

От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! Знаю Вас как блестящего публициста, патриота, честного журналиста и нашего современника, дружбой с которым горжусь. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемых творческих сил, долгих лет, славных побед русского слова. Храни Вас Бог.

Депутат Тюменской областной думы
писатель
Сергей Козлов

Дорогой Александр Иванович!

Неумолимое время ошарашивает нас, бесчисленных Ваших читателей и почитателей, серьёзной юбилейной датой. Но, честно говоря, “несерьёзным” я Вас и не помню, хотя читаю с тех пор, как Вы появились в журнале “Наш современник”. А ведь было это более тридцати лет назад, то есть Ваше служение здесь превысило уже половину вашей жизни. Вот пример верности, ставшей ныне едва ли не дефицитнейшим из дефицитов! И эта верность нераздельна с ответственностью, которую Вы несёте в себе и которой пронизаны все Ваши труды. Данный Вам дар писателя, мыслителя, гражданина, крепящийся неподдельным патриотическим чувством, Вы не размениваете по пустякам, не обманываете читателя изощрёнными, но дешёвыми на поверку профанациями. У Вас всё всерьёз. Сознание высшего задания, которое изо дня в день выполняется Вами, не позволяет Вам с лёгкостью бросать слово на ветер, превращая его в бездумную пустышку, чем, увы, грешат сегодня многие пишущие.

Да, в чём-то с Вами можно не соглашаться и спорить. Однако при этом любой, кто дерзает стать Вашим оппонентом, понимает: перед ним автор, который смотрит необыкновенно широко и копает весьма глубоко. Сравниться с Вами в этом на поприще современной публицистики мало кому дано. У меня было счастье поработать над совместными нашими материалами, и в результате моё восхищение Вами ещё больше возросло.

О Вашей книге “Возвращение масс” я написал, что её должен бы прочитать каждый наш соотечественник. То же могу сказать о новом замечательном Вашем труде — “Поезд убирается в тупик”. Равного панорамного охвата жизни, которую мы проживаем нынче в стране и в мире, такого пристального, досконального, дотошного анализа происходящих общественных процессов, по-моему, в теперешней публицистике не существует. Да и в целом Ваш уникальный “Дневник современника”, длящийся уже более двух десятилетий самого трудного и опасного для России пребывания над бездной, достойно продолжает традицию великого предшественника с его знаменитым “Дневником писателя”.

“Русский человек в сегодняшнем мире не имеет права быть ротоземем, глуповатым “глотателем пустот”, — говорите Вы. — Только мобилизацией всех своих умственных сил, напряжением ума и воли он может спастись сам и отстоять свою землю”. Вот чему столь честно, страстно, с полным напряжением своего интеллекта и таланта Вы служите в родном для Вас и нас журнале. Новых сил и свершений в благой Вашей миссии, дорогой и насущно необходимый наш современник!

Виктор Кожемяко,
член редколлегии газеты “Правда”.

Уважаемый и досточтимый Александр Иванович!

Уральцы и сибиряки сердечно поздравляют Вас с шестым перевалом! Бодрости духа Вам, здоровья и столь же пронизательного и мудрого взгляда на мир, каким Вы удивляли и радовали нас всё это тревожное и неповторимое время! Русские не сдаются!

Александр Кердан,
координатор Ассоциации писателей Урала,
Поволжья и Западной Сибири
г. Екатеринбург

Омские писатели поздравляют Вас с прекрасным юбилеем, многоуважаемый Александр Иванович! Многие и благие лета Вам!

Света, добра, радости в исполнении всех намеченных планов. Душа Ваша беспокойна, но трудитесь Вы не суетно, размеренно и плодотворно. Пусть творчество будет всегда одной из самых главных Ваших жизненных составляющих! Здоровья, сил и верных сотоварищей!

С теплом,

Валентина Ерофеева-Тверская,
председатель правления Омской писательской организации

Дорогой Александр!

Писатели Республики Коми и я лично благодарим Вас за требовательную поддержку наших писателей. За верность Русской идее! За любовь к Русской Поэзии и Русской мысли. Это только первые 60! Воспользуемся эмоцией А. В. Суворова – “Какой восторг”! Сколько Вам ещё предстоит написать и обдумать! Казинцеву – первые 60! Мы с Вами!

Надежда Мирошниченко,
г. Сыктывкар

Уважаемый Александр Иванович!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Я всегда восхищаюсь Вашим гражданским талантом и дальновидностью. Хотя мы и ровесники, но я Вас считаю старше и мудрее. Горжусь знакомством с Вами, которому уже более десяти лет.

Новых Вам книг во благо России!

Владимир Подлuzский,
г. Сыктывкар

Дорогой Александр Иванович!

Природа не поскупилась, создавая Вас, и одарила не только статью и благородной внешностью, но и блестящим умом, литературным талантом, мощной энергетикой, даром предвидения и прогнозирования.

Желаем Вам, чтобы ещё долгие лета Вы были здоровы и радовали своим творчеством наших современников, которые так нуждаются в правдивом слове и надежде на лучшее будущее в опалённой невзгодами стране.

P. S. Очень жаль, что не смогла поздравить Вас лично, так как нахожусь далеко от Москвы, в санатории, на юге. Здесь много москвичей и питерцев. Оказалось, что они читают Ваш журнал, с огромным интересом ждут каждого номера. Ваши статьи для них порой просто откровение, и они присоединяются к моим поздравлениям.

Ольга Свердлова, и ваши читатели, и почитатели

Уважаемый Александр Иванович!

Знаю Вас не только как прекрасного публициста, обладающего острым пером и аналитическим умом, но и как строгого и взыскательного критика, способного тонко и остро чувствовать слово.

Рискую послать Вам свою новую книгу. Буду очень рада, если она найдёт в Вашей душе какой-то отклик.

Поздравляю Вас с юбилеем и желаю Вам радости, света, вдохновения и Божьей помощи.

Наталья Егорова
г. Смоленск

Дорогой Александр Иванович!

Одним из радостных мест в Москве является особнячок на Цветном бульваре, где на втором этаже есть еще более уютный уголок. Сюда ведет неизтребимое желание услышать голос умудренного человека, который вместе с сутью сказанных слов притягивает полнозвучными и неторопливыми нотками, что звучали у интеллигентов столетней давности.

Ненавязчивыми фразами в тебя втекает то, что как бы таилось на душе, но ларчик раскрыл именно мудрый человек. И я думаю, многие-многие испытывают – извините, но это так – душевное наслаждение от общения с Вами.

Спасибо, что Вы несете в наш суетный мир свою предельно чистую, незамутненную “измами” правду, которой ох как не хватает, которая ставит на ноги и дает уверенность в движении в обычном для России непростом времени.

Конечно, не радует, что особняк обрастает стеклянными бездушными монстрами, но это только придает особую теплоту жизни в нём.

Спасибо, что Вы есть, спасибо тем людям, которые подарили Вас нам, спасибо Вашему слову!

Сил Вам, здоровья и еще многих вкладов в сокровищницу русской публицистики, которая, как мне кажется, является, выражусь словами Егора Исаева, “тягловой лошастью” русской литературы.

Смотришь на Вас, а за Вами чувствуется обойма наших писателей: Гавриил Троепольский, Сергей Викулов, Василий Белов, Юрий Гончаров, Станислав Куняев, Альберт Лиханов...

Михаил Федоров,
г. Воронеж

Добрые слова дороги всегда, а в нынешнюю эпоху всеобщей отчуждённости – особенно. Я благодарен всем, кто прислал телеграммы и электронные письма. И тем, кто позвонил – Валентину Распутину, Валерию Ганичеву, Владимиру Крупину, Михаилу Лобанову и Татьяне Окуловой, главреду “Нового мира” Андрею Василевскому и главному редактору журнала “Волга. XXI век” Елизавете Мартыновой, директору издательства “Вече” Сергею Дмитриеву, Геннадию Иванову, Юрию Павлову, финансисту Александру Смирнову, генералу-ракетчику Борису Калиничеву и конструктору-ракетчику лауреату Государственной премии Анатолию Папуше. Спасибо тем, кто выступил на юбилейном вечере в ЦДЛ – Александру Севастьянову, Дмитрию Володихину, Сергею Сергееву, Геннадию Фролову, Валерию Исаеву, Андрею Шацкову, Андрею Рудалёву, представителю Белгородской области в Москве вице-премьеру областного правительства Александру Мацепуро, народному артисту Леониду Серебренникову и тем, кто пришёл послушать их выступления. Особая признательность изданиям, опубликовавшим материалы к моему 60-летию – “Правде”, “Литературной газете”, “Дню литературы”, “Российскому писателю”, и, конечно же, коллективу родного журнала, с которым мы дружно и вдохновенно – с пением и, представьте себе, плясками – отметили праздник.

Александр КАЗИНЦЕВ